

ВАДИМ СОБКО

Вторая
встреча
Рафаэля —
Берлиф



ВАДИМ СОБКО

Вторая
встреча
Ранна моя —
Берлиф

РОМАНЫ

*Авторизованный перевод
с украинского*
НАДЕЖДЫ КРЮЧКОВОЙ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980

Украинский прозаик Вадим Собко широко известен по ряду романов и повестей, неоднократно издававшихся в русском переводе. За роман «Залог мира» он удостоен Государственной премии СССР, роман «Лихобор» отмечен Государственной премией УССР имени Т. Г. Шевченко.

В новую книгу писателя вошли два романа — «Рапа моя — Берлин» и «Вторая встреча». Оба произведения построены на событиях, относящихся к эпилогу Великой Отечественной войны. «Рапа моя — Берлин» — роман о первых днях возрождения поверженной фашистской столицы, о том, как советские воины-освободители вместе с немецкими антифашистами закладывали основы новых отношений между нашими народами. В центре этих событий показан первый советский комендант Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин. Роман «Вторая встреча» посвящен бывшим товарищам по оружию, участникам Сопротивления — французским и советским гражданам, оказавшимся после войны на непримиримых идейных и классовых позициях.

Художник И. А. ГУСЕВА

Р
ага мод-
-Зеркут

Роман





становится странно и немного грустно, когда оказываешься в знакомых местах через тридцать лет. Странно, потому что очень уж непривычно тихо выглядит вот эта улица — она соединяет бывшую Франкфуртераллее и Ландсбергераллее в Берлине; я хорошо помню ее, когда вот здесь, на углу, стояла гаубичная батарея. Грустно — потому что между тем временем и сегодняшним днем пролегла целая жизнь. Улица теперь называется Берзаринштрассе, и Берлин немислим без нее, как немислим он без своей знаменитой площади Александерплац.

Генерал Берзарин командовал армией, в которой я служил. Рядом с ним, крупным военачальником, действовали не менее талантливые, умные и смелые генералы, все вместе они провели Берлинскую операцию, завершающую операцию войны; снова вместе после Победы проводили денацификацию, демилитаризацию и демократизацию Германии. Но почему именно Берзаринштрассе названа улица в Берлине?

Я хорошо помню последний бой в этом городе, когда все до единого, в том числе и те, кто еще яростно оборонял Берлин, понимали, что войне в Европе пришел конец и до падения оплота нацистов остались считанные дни. Зловещее зрелище представлял собой тогда разрушенный Берлин. Линия фронта уже миновала окраины, там тишина. Невероятно, но это действительно так — окраина Берлина стала нашим армейским тылом. А центр города еще горит, саднит и сочится кровью, как огромный фурункул, который уже созрел и вот-вот прорвется, зальет все кровью и гноем, — только после этого утихнет боль и наступит успокоение. И над всем этим кротко светит апрельское солнце, иногда набегают прозрачная, легкая тучка, и тогда сется теплый дождь, — идет весна, расцветенная молодой листвою каштанов и кленов, мягкая немецкая весна. Только на весну никто не обращает внимания: пусть закончится бой, а

над рейхстагом и, главное, над рейхсканцелярией взвывается Красное Знамя,— тогда и вспомним о ней, голубушке...

А Берзарин? Он в те дни и часы находился там, где положено находиться командарму, откуда ему было удобнее руководить, управлять операцией. Там, где армия наносила главный удар.

Молодая немка Герда Баум лежала на куче обгорелого тряпья в подвале дома, который выходил стеной на Франкфурт-траалее, неподалеку от железнодорожного моста в Лихтенберге, и плохо представляла, что осталось от самого дома; стоит ли он или рухнул, похоронив под своими руинами подвал. Все чувства и мысли Герды поглощала резкая, беспощадная боль; она то возникала в сокровенной глубине ее существа, то отступала, отпуская на миг, чтобы через мгновение возникнуть снова. Герда знала: начались родовые схватки, но лежала неподвижно, парализованная двойным страхом,— наверху, над головой, гремело и грохотало, лязгали гусеницы и рвались мины.

Конечно, на свете не было ни одного человека, которого интересовала бы судьба Герды Баум. Это ощущение беспомощности и обреченности было горестным и пронзительным до отчаяния. Она знала, что никто ей не поможет, хотя в подвале она была не одна; возле маленького окошка оцепенела, поглядывая на улицу, хозяйка, которая жила в этом подвале еще до войны, старая почтальонша Гертруда Зингер, а в дальнем углу, еле различимый в пропитанной пылью полумгле, сидел на сломанном стуле грязный и давно не бритый, некогда всемирно известный профессор Зоненбах, квартира которого помещалась прежде в бельэтаже, но сейчас, кто знает, сохранилась ли она. Во всяком случае, полчаса назад была еще цела, а жена профессора, заявившая, что скорее умрет, чем бросит на произвол судьбы свое хозяйство, не подавала о себе вести. Однако у профессора были основания надеяться, что супруга его жива, потому что последние полчаса бомбы рвались где-то вдали от их дома.

Грязная, мокрая от недавнего дождя улица была безлюдна, мертво-пустынна, и именно поэтому показалось неожиданным, невероятным появление небольшой, почти квадратной автомашины на толстых рифленых колесах, которая выехала из-за угла и остановилась у стены их дома. Трое военных — двое в касках и один в зеленой фуражке с кокардой, в центре которой ясно обозначилась красная звезда,— соскочили на землю.

— Они идут! — отчаянно выкрикнула Гертруда. — Они уже здесь!

Тяжелое, пропыленное одеяло, которым была завешена дыра в стене подвала, шевельнулось, упало, и в облаке пыли появился солдат с автоматом в руках. Мгновение он смотрел в задым-

ленную глубину подвала, явно ожидая, не огрызнется ли враждебная полутьма автоматной очередью, потом глаза его привыкли, он, видимо, различил фигуры людей, инстинктивно прижался к стене, вскинул короткое, косо срубленное рыльце автомата и выкрикнул:

— Кто здесь? Ложись!

И как ни странно, и Гертруда и профессор, которые не знали ни одного слова по-русски, сразу все поняли, плашмя растянулись на полу.

— Товарищ генерал! — крикнул солдат. — Сюда!

В проломе стены появился невысокий плотный человек в зеленой, пропыленной, как и у солдат, форме. Три звезды на погонах — генерал-полковник. Очевидно, неожиданный артиллерийский огонь батарей, расположенных где-то в Тиргартене, загнал в подвал какое-то высокое начальство. Вслед за генералом в пролом прыгнул офицер с пистолетом в руке, наверное, адъютант. Его встревоженное лицо затеняла армейская зеленая каска. Плащ-палатка висела на плечах.

— Ну, сыпанули огня, чертовы фашисты! — возбужденно говорил офицер. — Еще до дьявола у них артиллерии! Счастливого отделались. Все целы.

На улице грохотала канонада. Генерал снял фуражку, провел ладонью по пыльной седой шевелюре, вытер платком округлое молодое лицо, на котором особенно выделялись крупный рот и серые, с легким прищуром, глаза.

Ему было лет сорок, не больше, и седые волосы странно контрастировали с молодым лицом. Короткий нос придавал ему задорное выражение, будто генерал был доволен и этим пережитым артналетом и грядущими событиями.

И действительно, с самого начала Берлинской операции генерал-полковника Николая Эрастовича Берзарина подняла и понесла на своем гребне могучая волна удачи и воинского счастья. Он хорошо знал, что победа никогда не приходит сама, ее необходимо организовать, и он давно научился это делать, а вот ощущение полного удовлетворения было неожиданным. Оно появилось в тот день, когда стало известно, что в Берлинской операции его 5-й Ударной армии будет поручена задача особой важности — овладеть правительственными кварталами в центре города. И вообще — теперь уже не повторится прежнего положения, когда готовилась операция Берзариним, а проводить ее поручали кому-то другому. Для этого всегда находились поводы и объяснения, но Берзарин знал, что о главной причине, о его работе на Дальнем Востоке вместе с Блюхером, не говорилось, но ответ тех лет суровой метой лег на всю его жизнь... В военной одаренности Берзарина никто не сомневался: еще в 1938 году одной из двух дивизий, которые разгромили войска самураев у озера Хасан, командовал полковник Берзарин. И все же легкая тень непризнанности, что ли, тянулась за ним всю

войну, вот до этой, последней операции. Когда в Москве маршал Жуков перечислил имена командующих армиями, которым поручалось взятие Берлина, Сталин на мгновение задумался, услышав имя Берзарина, потом спросил: «Справится?» — «Да», — сдержанно и подчеркнуто уверенно ответил Жуков. «На вашу ответственность». — «Есть!» — сказал Жуков, и судьба Берзарина была решена. Да, все сомнения исчезли, как только началась операция и Берзарин стал наступать на Берлин; в полосе наступления его армии лежал, правда, не весь город, но самая, пожалуй, труднодоступная его часть: гестапо, оплот Гиммлера, министерство авиации, вотчина Геринга, и, наконец, рейхсканцелярия, где глубоко под землей, в шестиэтажном, по-немецки основательно оборудованном бункере, засел Гитлер. Ни Гиммлера, ни Геринга в Берлине не было, Берзарин знал это доподлинно, но фюрер оставался здесь, и сознание, что судьба давала ему возможность уничтожить, стереть с лица земли, а может, и взять в плен самого Гитлера, наполняло сердце командарма удовлетворением и радостью. Волею судеб он оказался на самом острие истории.

В те дни последней декады апреля сорок пятого года Берзарин работал так, как может работать боевой генерал на сорок первом году своей жизни, в расцвете сил и таланта, познавший радость победной операции огромного, без преувеличения, исторического масштаба. Ему все время хотелось вырваться вперед, быть на командных пунктах дивизий, даже полков, здесь он особенно ясно и остро чувствовал темп и ритм наступления. Он ни на мгновение не выпускал из рук руководство боем, и теперь, когда полки начали штурм Силезского вокзала, огромного железобетонного, хорошо укрепленного и вооруженного здания, оказался неподалеку от передовой, в грязном подвале, где пахло сыростью, известковой пылью и меленитовым дымом. Берзарин знал: через несколько минут появится девушка-связистка, и подвал превратится во временный командный пункт. А бой за Силезский вокзал протекал своим чередом: все было рассчитано, приказы отданы, и подчиненные Берзарина знали, как их выполнять.

Но вместе с радостью близкой победы в душе его крепло желание узнать ближе, по-настоящему понять людей, которые назывались немцами и с которыми на протяжении долгих лет войны приходилось сражаться не на жизнь, а на смерть, и именно поэтому так заинтересованно приглядывался он к пленным, а еще больше — к штатским немцам. В конечном итоге гитлеровская армия состояла из них, этих немцев, лишь переодетых в военную форму, и, не поняв их психологию, невозможно было постичь внутреннюю сущность гитлеровской армии. А понять это Николаю Берзарину хотелось не для каких-нибудь теоретических обобщений, а для себя, для понимания того, как дальше строить свою собственную жизнь.

Возможностей для таких наблюдений и в прошлом было немало. Только кто скажет, где предел и наблюдению и пониманию? Командарм — душа армии, тот мозг, в котором разнообразная информация сосредоточивается, сопоставляется, мгновенно обрабатывается и снова направляется в войска, уже в форме боевого приказа. У него, командарма, много помощников, целый штаб, но последнее слово принадлежит только ему.

И вот теперь, когда 5-я Ударная армия, как хорошо отлаженная и прогретая машина, двинулась на центр Берлина, ломая сопротивление врага, командир ее стоял в полутемном подвале, вроде бы оторванный от своих войск, а на самом деле связанный с ними тысячами невидимых нитей, и смотрел на фигуры людей, распростертых перед ним на каменном полу.

— Кто такие? — коротко спросил он.

— Местное население, товарищ генерал, — ответил ординарец.

Он был еще совсем молодой, лет двадцати двух, не больше, и сильно смахивал на веселого, игривого щенка, с большими тяжелыми лапами и кудлатыми ушами, которому хочется выглядеть серьезной, солидной собакой.

Волна героизма подняла на своем гребне не только Берзарина, но и всю армию, она подхватила и его, ординарца, эта причастность к великому событию, свершающемуся на глазах, придавала каждому его жесту и слову особую значительность.

— Почему лежат? — вновь спросил командарм. — Живые?

— Так точно, живые, — быстро ответил ординарец. — Это я их уложил. Так-то надежнее.

Герда Баум снова застонала, тело ее напряглось, сведенное болью. Стон, прозвучавший в подвале, не содержал вроде бы ничего особенного, необычного, но Берзарин насторожился. Угробный стон женщины был чем-то несообразным, противоестественным времени, в котором приходилось жить. Он возникал из другой жизни, оказывался за пределами войны и был настолько неожиданным, что генерал, словно почувствовав опасность, отступил на шаг и спросил:

— Что с нею? Что за спектакль?

— Сейчас узнаем, товарищ генерал, — вытянулся перед ним адъютант, который свободно владел немецким языком, и, уже обращаясь к немцам, скомандовал: — Встать!

Гертруда Зингер и профессор Зоненбах тут же поднялись.

Герда осталась лежать. Ноги профессора дрожали от страха, и, хотя он много раз убеждал себя, что готов к смерти, чувство это было унижительным и мерзким. Он откровенно боялся расстрела, а значит, все слова о том, что жизнь его кончится вместе с поражением Германии, которые он раньше любил повторять, оказались вздором.

А для Гертруды подобных проблем не существовало. Расстреляют или позволят разнести письма — для нее, в конце

концов, не такая уж большая разница. Она немало прожила, и жизнь последних месяцев войны не стоила того, чтобы за нее цепляться. Хуже все равно не будет. И потому она сказала спокойно:

— Она собирается рожать.

— Она собирается рожать, товарищ генерал, — автоматически перевел адъютант, хотя Берзарин и сам понял. Немецкий язык, который приходилось учить на курсах комсостава, лежал где-то в глубине сознания мертвым багажом, но временами, словно по взмаху волшебной палочки, знания эти оживали. Потребность разговаривать с немцами самому, без переводчика, и была той волшебной палочкой; язык вспоминался медленно, слово за словом, но отчетливо.

— Ну пашла время, — неожиданно улыбнулся генерал, и именно эта его улыбка все изменила и поставила на свои места. — «Виллис» наш цел?

Ординарец выглянул через пролом на улицу.

— Вроде цел, товарищ генерал.

— Так вот, берите вдвоем эту даму, несите в машину. Сержант отвезет ее в ближайшую санчасть. Вы, капитан, вернетесь ко мне. Связь прикажите протянуть сюда.

— Товарищ генерал, — взмолился сержант, — как же я ее повезу? Она же рассыплется по дороге. Что я буду делать?

— Ничего. Вези в санбат и не обращай внимания. Доктора разберутся. Скажешь, я приказал. Сдай ее и немедленно обратно.

— Она умрет по дороге, — сказал Зоненбах. — Я врач, профессор.

— А здесь не умрет? — быстро спросил Берзарин.

Адъютант поднял Герду на руки без помощи сержанта и понес, как большую куклу. «Вот никогда не подумал бы, что он такой сильный», — с уважением отметил Берзарин, прислушался к удаляющемуся гудению мотора, потом взглянул на профессора и почтальоншу, словно хотел увидеть в их лицах что-то понятное только ему, и сказал:

— Ну, господа берлинские немцы, как вы выглядите при ближайшем рассмотрении? А?

Он остался с глазу на глаз с чужими и наверняка враждебными ему людьми, но не почувствовал неловкости, наоборот, интерес к ним снова проснулся в его душе.

— Шпрехен зи дойч? — спросил Зоненбах.

Берзарин усмехнулся. Странно, немецкий язык он учил чуть ли не всю жизнь, но никогда не думал, что он ему пригодится.

— Понимать понимаю, а говорю плохо, — сказал он и искренне обрадовался, когда почувствовал, что немец понял его.

— Гитлер капут? — спросил профессор.

— Разумеется, Гитлер капут, — засмеялся Берзарин и вспом-

нил, сколько раз ему уже приходилось слышать эти слова; после Сталинграда все пленные немцы повторяли их, как попугай, уже не говоря об итальянцах.— Гитлер капут. Если не сегодня, то дня через два-три, не позже.

— Берлин капут? — вновь спросил Зоненбах.

— Берлин? — Берзарин перестал улыбаться.— Почему Берлин капут? Берлин будет жить.

— Нет, Берлин тоже капут.— Зоненбах качнул своей седой колючей, как у ежа, головой.— Берлин капут. Эпидемия. Трупы. Вода. Шпрее. Каналы. Микробы. Тифус, дизентерия, холера, чума. Берлин капут. Его уже никто не спасет.

— Не торопитесь, профессор,— без улыбки, с холодком в светлых глазах ответил Берзарин.— Вот сначала устроим Гитлеру капут, а потом и о Берлине подумаем.

— О Берлине нужно думать сейчас,— сказал Зоненбах,— иначе будет поздно. Апрель. Тепло. Эпидемия.

Адъютант появился в подвале, ловко вскинул руку к зеленому козырьку полевой фуражки:

— Разрешите доложить, товарищ генерал? Даму доставили в медсанбат; совсем неподалеку от нас полковые тылы хозяйства Антонова. Я приказал на всякий случай поставить возле нашего дома охрану. Связь сейчас установят. Ваш командный пункт разместится пока здесь. Немцев я сейчас удалю...

— Подождите,— сказал Берзарин.— Я тут не задержусь.

Сколько раз за время войны приходилось ему менять свои командные пункты! Сначала переносить их все дальше и дальше на восток, потом, наоборот, на запад. Собственно говоря, там, где находился он, был и командный пункт, стоило только протянуть нитку связи.

— Теперь,— он обратился к своему адъютанту,— спросите господина профессора, как тот представляет свою жизнь, когда Гитлеру придет полный капут?

— Врачи всегда и всем будут нужны,— спокойно ответил Зоненбах.— Даже там, в Сибири.

Берзарин посмотрел на него внимательно, с лукавинкой. В его памяти возникли обширные степи, тайга раскинулась под крылом самолета. Байкал, как огромный прозрачный камень-самоцвет, сверкнул под крылом. Все это были картины прошлого, память о тех местах, которым он отдал свою юность и молодость и которые знал куда лучше, нежели свою родную Латвию или Ленинград, где пришлось провести голодное босоное детство. Для профессора Зоненбаха Сибирь была символом страдания, каторги, а для него, Николая Берзарина,— символом высшей, обожаемой им красоты. Если бы его спросили, где он чувствовал себя по-настоящему дома, он бы ответил не задумываясь: в Сибири или на Дальнем Востоке. И потому, услышав слова профессора, генерал не только не улыбнулся, но спросил едко:

— Вы думаете, мы отправим вас в Сибирь? Не много ли будет чести, господин профессор?

— Вы правильно перевели? — забеспокоился Зоненбах. — Почему же это мне «много чести»? Не понимаю.

— Я перевел точно, — усмехнулся адъютант.

— Так почему же все-таки «много чести»?

— Да потому, — сказал Берзарин, все поняв, — что перед тем, как разрешить вам хоть одним глазом посмотреть на нашу благословенную Сибирь, мы заставим вас раскопать и расчислить гнойную кучу, которую вы называли Третьей империей. Кто же это будет делать, как не вы сами? А Сибирь для вас роскошь.

— Не все ли равно, куда сошлют, — вдруг сказала Гертруда Зингер. — Какая разница — в Сибирь, на Северный полюс, к белым медведям или, как их там еще называют, моржам, только подальше от этого ужаса, от Германии и Берлина. Хуже не будет.

— Слышали, господин профессор?

— Слышал, — хмуро ответил Зоненбах. — Вы можете делать с нами что вам вздумается, потому что мы побежденные, но в одном фрау Зингер права — хуже не будет.

В этот момент в подвал вошла молодая девушка в зеленой гимнастерке с погонями, с орденом Красной Звезды, привычно отдала честь, приложив к зеленой каске маленькую вытянутую ладонь.

— Разрешите установить связь, товарищ генерал?

— Давай, Валя, именно тебя мне и не хватало для полного счастья, — улыбнулся генерал. — Тебя и радистов.

Он ничуть не преувеличивал: всегда, когда рядом появлялись рация и телефонная связь, а вместе с ними и возможность принимать донесения и отдавать приказы, он чувствовал себя в своей стихии, как рыба в воде.

— Местное население отсюда необходимо удалить, — категорически сказала Валя, и через минуту Гертруда и Зоненбах исчезли в соседнем подвале.

— Дай мне тринадцатый.

«Тринадцатый» был позывной командира дивизии, которая сейчас штурмовала Силезский вокзал. Валя покордовала над своим аппаратом и протянула Берзарину тяжелую черную трубку.

— Тринадцатый? — не очень опасаясь нарушить строгие правила засекречивания объектов, спросил генерал. — Ну, как поживает Силезский вокзал?

— Отлично поживает, — ответили в трубке. — Даже пожары погасили. Задание дня выполнено полностью.

— Потери?

— Потери есть, — после короткой паузы добавил полковник,

командир дивизии.— Они быются, как обреченные, эти фашисты.

— А они и есть обреченные. Значит, вокзал цел?

— В основном. Кое-где дыры все-таки пришлось проковырять.

Берзарин хорошо представлял себе эти «дыры»: при штурме Сплезского вокзала действовала артиллерийская бригада особой мощности — тяжелые пушки, установленные на специальных железнодорожных платформах. Их снаряды напоминали здоровенных, хорошо откормленных кабанов; один такой снаряд рванет — и от дома остается одно воспоминание.

— Что говорят инженеры? Когда можно будет пустить поезда?

— Для через два-три, не позже.— Комдив почувствовал неудовольствие в голосе Берзарина и заволновался.— Мы аккуратненько, мы его очень аккуратненько взяли, товарищ первый.

— Знаем вашу аккуратность. Стены стоят?

— И стены, и пакгаузы, и депо. Через два дня вокзал будет работать. Представители ВОСО¹ уже прибыли.

— Прикажите им к вечеру мне доложить.

— Есть! Они уже работают.

— И еще одно. Всех, кто отличился при штурме вокзала, сегодня же представить к наградам. Высоким. Не скупитесь.

— Есть, товарищ первый, только...

— Что «только»?

— Может, уж сразу за весь Берлин награждать будем? А то, если за каждый объект, никакой бумаги не хватит.

— Хватит,— засмеялся Берзарин.— И за Берлин героев наградим. И еще одно, полковник, я вам говорил и еще раз повторяю: идут последние дни войны. Мин, снарядов, патронов не жалейте, все, что можно сделать огнем, делайте огнем, поберегите солдат. У меня все.

Берзарин передал Вале трубку, прислушался. Наступление шло точно в соответствии с разработанным планом, может, даже немного быстрее. Собственно говоря, шел бой за центр Берлина. Где-то там, на отдалении нескольких десятков кварталов от КП генерала Берзарина, как паук в огненном кольце, сидел Гитлер. На что он мог рассчитывать, на что надеялся? Совершенно очевидно, проволочка во времени ему нужна только для переговоров с союзниками. Именно поэтому не жалеет Гитлер солдат, самых преданных ему эсэсовцев, бросает в бой всех, даже малолетних юнцов. Ему кажется, будто еще что-то можно выиграть, как-то выкрутиться, сохранить хотя бы тень коричневой, когда-то по всей Европе распростертой империи. А в действительности никаких надежд на это быть не может. Берлин окружен, и

¹ ВОСО — служба военных сообщений.

огненное кольцо с каждым часом сужается, как удавка на шее обреченного фюрера. Уже нет ни одного аэродрома в его распоряжении. Правда, легкие двухместные «шторхи» пробуют взлетать с Бисмаркштрассе, широкой улицы, которая пересекает сожженный артиллерийским огнем парк Тиргартен. Из Берлина Гитлеру, может, и удастся сбежать, но все равно на земле для него нет безопасного места. А вывод только один: наступать быстрее, как можно быстрее...

Берзарин подумал так и улыбнулся. В его представлении Берлин и Гитлер были едины. Задача Берзарина взять Берлин и, если будет возможно, захватить в плен Гитлера, хотя Берзарин понимал: пленить Гитлера вряд ли удастся. А если нет — тогда уничтожить! А потом поскорей очутиться подальше от Берлина, к примеру, в Ленинграде. Берлин — чужой и враждебный город, Ленинград, даже послеблокадный, — родной и прекрасный, там прошло детство. А родина всегда там, где прошло детство.

Тонко и пронзительно запищал зуммер полевого телефона. Валя взглянула тревожно: вызывали из штаба армии. Она даже встала, подчеркнуто точными движениями переключила аппарат.

— Да, я — «Хризантема», — сказала она. — Я — «Хризантема». «Тюльпан», вас слышу хорошо. Да. Прошу, товарищ генерал.

Берзарин взял трубку и сразу услышал хорошо знакомый голос члена Военного совета армии Бокова.

— Первый? Где ты находишься, не можем тебя разыскать. В хозяйстве Антонова?

— Да вот с местным населением немного поговорил...

— И отлично, — почему-то засмеялся Боков. — Одно к одному, на ловца и зверь бежит.

— Какой «зверь»? Почему ты такой веселый?

— Сейчас буду тебя поздравлять с новым назначением.

Сердце Берзарина екнуло и покатилося по ребрам, как мячик по ступенькам. Значит, все-таки ему не дадут взять Берлин... От одной этой мысли подвал вдруг стал грязным и вонючим, и исчезла радость, которая так легко несла его на своей волне с белоснежным гребнем.

— Куда меня переводят? — спросил он, стискивая трубку так крепко, что даже побелели пальцы, и приказывая себе быть спокойным, железно спокойным. Именно в этот момент армейская система приказов, точных, определенных, непререкаемых, показалась ему особенно жесткой. А так немного осталось до полного, настоящего счастья, до разгрома «логова зверя», о котором мечтали люди и в Москве и во Владивостоке, — взять рейхсканцелярию, последнюю ставку Гитлера. Именно ему, Берзарину, выпадало счастье поставить окончательную точку всей войне. И вот тебе на, ничего этого не будет. Не будет сча-

стья. Как всегда, в момент наивысшего военного триумфа его переводят.

Очевидно, голос его, чуть дрогнув, выдал волнение, потому что там, на другом конце провода, в штабе армии, который расположился на тихой окраине Берлина Бисдорфе, член Военного совета снова рассмеялся, и причин для этого неожиданного веселья Берзарин знать не мог.

— Не вижу причин для радости, — сухо заметил он.

— А я вижу, — откликнулись в трубке. — Не знаю, радость ли, но честь, бесспорно, большая. Слушай приказ: «Учитывая наиболее успешное продвижение 5-й Ударной армии при штурме вражеской столицы, а также выдающиеся личные качества ее командарма Героя Советского Союза, генерал-полковника Берзарина Н. Э., назначить его первым советским комендантом и начальником советского гарнизона города Берлина. Двадцать четвертое апреля 1945 года. Командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Жуков». Ну что скажешь, нравится?

Берзарин почувствовал, как тревога отхлынула от сердца. Этот приказ был важнее любой награды. Правда, назначение сложное: с одной стороны, конечно, высокая честь, но с другой — какая уйма работы!

— Что молчишь, доволен? — спросила трубка, потому что пауза затянулась, становилась двусмысленной.

— Доволен. Очень. Благодарю за приятную весть!

— И еще одно, тебя назначили комендантом и сразу же подумали о помощниках... Из Москвы к нам вылетают товарищ Вальтер Ульбрихт с большой группой немецких товарищей, через несколько дней прибудет товарищ Вильгельм Пик.

— Вот это по-настоящему добрая новость, — уже нашел в себе силы улыбнуться Берзарин. Теперь комендантство, в первую минуту просто ошеломившее его необычностью предстоящей работы, в которой у него не было никакого опыта, не казалось таким сложным... Хотя нег, не утешай себя, работа и в самом деле предстоит невероятно сложная и трудная. Это, пожалуй, потруднее, чем командовать армией. Почему? Немцам можно приказать, и они беспрекословно выполняют твой приказ. А какой приказ? Вот в этом и сложность: точно знать, какой отдать приказ.

— У меня все, — сказал голос в трубке. — Ты скоро вернешься?

— Не знаю, решу по обстановке. Но связь будет постоянно. Хотя я теперь и комендант Берлина, но город еще нужно взять.

— Думаю, это уже не проблема, — сказал член Военного совета. — Берлин возьмем.

Берзарин отдал трубку связистке и осмотрелся вокруг, словно впервые увидел и этот подвал и разрушенный город. Что-то коренным образом изменилось не только в его жизни, но больше того — в представлении о жизни вообще! Неужели ему теперь

придется делать работу, противоположную той, которую приходилось выполнять до сих пор? Собственно говоря, почему противоположную? Разве командование армией и комендантство в Берлине не две стороны одной медали, не логичный итог победы в войне?

— Разрешите поздравить вас с назначением комендантом Берлина,— вытянулся перед ним адъютант.

— Спасибо,— улыбнулся Берзарин.— Только, мне думается, особой радости в этом нет. Работа будет каторжной.

— Зато и честь какая! — не успокаивался капитан.— Первый советский комендант Берлина! Звучит!

— Звучит, звучит,— отмахнулся Берзарин.— Позовите этих немцев.

Гертруда с Зоненбахом снова появились в подвале.

— Вот они, товарищ комендант Берлина,— отпартовал капитан.

Зоненбах стоял, не сводя с Берзарина взгляда маленьких, глубоко посаженных, по-докторски внимательных глаз. Он не знал русского языка, но словосочетание «комендант Берлина» дошло до его сознания. Давно не бритые щеки его дрогнули, губы скривились, и он проговорил, сам пугаясь своих слов:

— Осмелюсь заметить, что сначала надо бы взять Берлин, а уж потом назначать коменданта.

Капитан перевел, и Берзарин улыбнулся.

— Переведите ему: Берлин мы возьмем, и никакой черт помешать этому уже не сможет. Но относительно профессора у меня свои планы. Можно надеяться, что активным гитлеровцем он не был...

— Я не был гитлеровцем,— обиделся профессор.

— Теперь все так будут говорить,— философски рассудила Гертруда Зингер.— Сейчас все немцы объявят себя коммунистами, особенно закоренелые нацисты, даже красные розетки нацепят. Но профессор Зоненбах говорит правду, гитлеровцем он не был, хотя аппендицит Гитлеру вырезал.

— Это был мой профессиональный долг,— рассердился профессор.

— Подождите,— остановил спор Берзарин.— Сейчас это никакого значения не имеет.

Он вынул из планшета блокнот, написал несколько слов на листке, оторвал его и протянул Зоненбаху.

— Капитан переведет. Это пропуск ко мне, в комендатуру.

— Где она разместится? — спросил Зоненбах.

— Еще не знаю. Найдете сами. Дня через два, не позже, я хочу иметь ваши соображения о санитарном состоянии Берлина.

— Вы уже приступили к исполнению обязанностей коменданта города? — спросил профессор.

— Да, приступил.

— Я снова осмелюсь заметить,— тихо сказал профессор, понимая, как фальшиво, может быть, даже глупо звучат его слова, но все же продолжая цепляться за призрачную надежду,— Берлин еще нужно взять...

Берзарин оставил эти слова без ответа: внимание его привлёк вбежавший в подвал ординарец, которого он посылал с Гердой Баум в санбат. Мальчишеское лицо ординарца озаряла довольная, плутоватая улыбка, словно ему удалось отколоть удачную шутку.

— Родила?

— Так точно! Парня! Ну, было мороки по дороге, товарищ генерал, натерпелся — и не сказать как. Думал, довезу благополучно, а снаряд как ударил, она и разродилась с перепугу прямо в машине. Даже крикнуть не успела. В медсанбате триста первой сняли с «виллиса». Говорят, все нормально.

— У тебя такой гордый вид, будто она тебе сына родила,— засмеялся Берзарин. — Ну, что там на улице?

— Вроде тихо.

И хотя на улице тишина была относительной, Берзарин ясно понимал, что оставаться здесь больше не следует, начинался бой за здание министерства авиации, гестапо, и главное, за рейхс-канцелярию.

— Валя, сматывай связь, перейдем на капэ Антонова,— приказал генерал. — Профессор прав. Берлин еще нужно взять.

2

В тот апрельский вечер он лег спать поздно, почти перед самым рассветом, когда ночная мгла становится непроглядно черной, плотной, как маскировочная штора. Приказал разбудить себя в шесть — немного времени отведено для сна, но бои идут, не разбирая, день это или ночь, а он — в бою.

На этот раз его временным жильем стала комната двухэтажного особняка, расположенного на восточной окраине Берлина; это явно спальня хозяев дома, которые бежали без оглядки, лишь только стал приближаться фронт. Постель широкая и удобная. Перины пуховые и жаркие. Нет, верно, никогда в жизни не привыкнет он спать под периной! Завтра же прикажет выкинуть пухлое барахло и привезти свое одеяло.

Он лежал, разглядывал потолок, стены комнаты, и казалось, что не спится ему из-за проклятых пуховых перин, а в действительности причина была в другом.

Не только в его жизни, но и в жизни каждого советского солдата или офицера назревал крутой, возможно, даже болезненный поворот. Четыре года для них всех громить врагов-немцев было необходимостью, вопросом жизни или смерти... А теперь он, Берзарин, стал комендантом Берлина и должен думать о том, чтобы немцам жилось спокойно, чтобы они не голодали.

Не много ли от него хотят? Четыре года — немалый срок. Ненависть к противнику устоялась, затвердела. Трудно, ох как трудно будет переубедить себя, отвыкнуть от этого чувства! А, собственно говоря, нужно ли переубеждать себя? И в чем? Он будет комендантом Берлина, твердым, как того требует военное время, и одновременно справедливым. В его руках сосредоточится огромная власть: судьба каждого берлинца будет зависеть от него. Гитлер не в одиночку создавал фашистский рейх. Ему помогали если не все, то очень много немцев. Мордастые колбасники легко поверили сказкам, что они сверхчеловеки.

А как же быть с Тельманом, Ульбрихтом, Пиком, вообще с немецкими коммунистами? Их же было в Германии почти полтора миллиона.

Двадцать первого июня сорок первого года один немецкий ефрейтор перешел нашу границу и предупредил, что завтра начнется война. Ему не поверили, но доложили по начальству. Сообщение достигло Москвы, когда уже затеплился рассвет двадцать второго июня. Ефрейтор был коммунистом и, конечно, рисковал жизнью. После этого немало пленных объявляли себя коммунистами, но это уже было маскировкой.

А теперь он, генерал Берзарин, должен будет думать о том, чтобы немцы не голодали, чтобы в городе восстановился полный покой и порядок, чтобы открылись кинотеатры, школы, чтобы можно было гулять по улицам; одним словом, думать о том, чтобы город жил.

Аппарат комендатуры будет состоять из солдат и офицеров, и настроение коменданта, как ты его ни скрывай, невольно передастся им. Ненавидя немцев, относясь к ним так, как призывали газеты и плакаты военных лет, ничего не удастся сделать, без помощи населения даже завалы на улицах не разберешь.

Где-то недалеко ударили пушки. Генерал знал, что идет бой за очередной дом, — гитлеровцев приходится выбивать, выкуривать из каждого дома, из каждой щели. Он вдруг понял, что заводит тем, кто сейчас ведет бой, для них все оставалось ясно, по-старому.

«Берлин еще нужно взять...» — вспомнились слова старого профессора, чем-то смахивающего на ежа своей жесткой седой шевелюрой. Интересно, принесет он коменданту свои наблюдения о санитарном состоянии города или нет? Наверное, принесет: немцы — народ аккуратный.

Он заснул внезапно, будто кто-то, как лампочку, выключил его сознание. И вдруг увидел сквозь щель в шторах, что за окнами уже светает. Спал он или не спал?

Конечно, спал. Голова свежая, ясная.

В шесть на севере началась канонада. Берзарин знал, это продолжает наступление 3-я Ударная армия. Рейхстаг в полосе ее действия. Но не в рейхстаге, а в рейхсканцелярии свил себе гнездо Гитлер...

Берзарин поднялся с постели, сердито откинул перину. Потянулся молодо, сильно, даже суставчики хрустнули. Приятно чувствовать свое тело здоровым и крепким. Умыться — и за работу, перекусить успеем позже.

Вода приятно искрится, такая она холодная и свежая, ordinarily поливает, не скупится... Конечно, четыре часа — не очень-то много, но и на том спасибо. Все-таки удалось поспать, за последние дни — это роскошь неслыханная. Давай сюда бритву, поскорее покончить с этими мелочами, и — к карте. Как она выглядит на сегодняшнее утро?

Начальник оперативного отдела наверняка не спал всю ночь. Глаза покраснели, запали, лицо обросло тонкой черной щетиной, нос заострился. Нужно приказать ему идти отдыхать, эта работа не на один день. Берлин еще нужно взять.

И вдруг в душе Берзарина эти слова приобрели другой, психологический оттенок. Вот именно, Берлин еще придется завоевывать после того, как закончится бой и мирная тишина воцарится над изуродованными улицами и площадями. Сейчас Берлин — враг, а его нужно будет обратить в друга, вот в этом и заключается важнейшая задача коменданта Берзарина.

Он смотрел на план Берлина — видел, как далеко продвинулись его дивизии. Сейчас они штурмуют Герлицвокзал и скоро с ним управятся. Теперь объекты на плане обозначены номерами. Патентное управление. Здание министерства авиации — гнездо Геринга. Огромное, на целый квартал, здание гестапо; по данным разведки, рейхсфюрера Гиммлера там нет, уже несколько дней, как сбежал на Запад, но все архивы остались, и их нужно, по возможности, захватить в целостности и сохранности. А от гестапо четыре квартала по Вильгельмштрассе — и уже будет видна рейхсканцелярия, где прячется Гитлер. Ничего не поделаешь, это последние кварталы войны... Долго же пришлось до них идти!

— «Виллис» к подъезду!

— Товарищ генерал, позавтракать нужно бы...

Это официантка Таня из столовой, свежая, отдохнувшая. Никогда он раньше почему-то не замечал, какая она хорошенькая. Или, может быть, красивыми всех сделало ощущение близкой победы?

Неожиданная мысль вызвала улыбку... Однако надо поскорее проглотить гуляш, запить чаем — и все, о еде можно не беспокоиться. Ну, где же «виллис»?

И еще один внимательный взгляд на план Берлина. Он должен охватить движение частей, да и о соседях забывать не след. 3-я Ударная армия генерала Кузнецова идет на рейхстаг, 8-я гвардейская генерала Чуйкова — на Тиргартен, она сосед слева, и есть опасность, что, поворачивая на север, она выйдет к тылам 5-й армии, танковая армия генерала Рыбалко помогает

всем... При первой же связи с маршалом Жуковым нужно попросить уточнить разграничительные линии между армиями.

«Виллис» проехал несколько кварталов и стал: улица впереди запружена машинами, подводами. Ни пройти ни проехать. Все спешат в Берлин, всем хочется увидеть крушение Третьего рейха. И чем черт не шутит — возможно, и фюрера удастся повидать? Бледного, дрожащего с перепугу. Вот было бы здорово! Посадить его в клетку, как бешеного пса, и выставить на Красной площади в Москве. Смотрите, люди добрые...

Улицу перегородил обоз. И снова ни тпру ни ну! Берзарин забеспокоился. Вся эта масса подвод, автомашин может превратиться в серьезную опасность. А не пришлось бы еще маневрировать...

— Возвращайся в штаб армии, — коротко приказал генерал водителю.

К начальнику штаба он вошел сердитый, озабоченный. Окинул взглядом карту Берлина. Появились новые значки. Хорошо наступают ребята.

— Отдайте приказ: немедленно вывести из Берлина все обозы. Черт знает что такое! Каждая дивизия везет за собой все свое тыловое хозяйство. В случае маневра, а это вполне вероятно, они свяжут нас по рукам и ногам. Я не смог проехать в тридцать второй корпус. Ни снарядов подбросить, ни раненых вывезти!

— Есть, товарищ генерал.

— Сверху никто не спрашивал?

— Нет. Все тихо.

Он не любил быть на глазах у большого начальства, чувствовал себя неловко в присутствии маршала и всегда желал оказаться подальше от его штаба, предпочтительнее — на своем командном пункте.

— Разрешите обратиться? Вот данные о потерях за вчерашний день. — Это подошел оперативный дежурный.

Берзарин взглянул на список, помрачнел. Гитлеровцы не отдают ни одного дома без сопротивления, и во время каждого боя кто-то падает: ранен или убит. В Берлине четыре миллиона населения, а сколько в нем домов? Сердце кровью обливается, когда подумаешь, какой дорогой ценой приходится платить, чтобы наконец свалить эту проклятую империю.

— Ясно. У нас в резерве есть артиллерия?

— Так точно. Вот перечень частей.

— Выводите из города тылы и укрепляйте дивизии самоходными установками. Пусть бьют.

— Есть.

— О выполнении доложите в четырнадцать часов. Я буду на командном пункте триста первой, у Антонова.

И снова пробирается между завалами и обозами маленький, похожий на жука «виллис». Большое «У» появилось перед гла-

зами — вход в метро на Дрезденерштрассе. Здесь командный пункт триста первой дивизии.

Два десятка ступеней вниз, в темноту. Для размещения командного пункта лучшего места, пожалуй, не найдешь.

— Товарищ генерал, — вытянулся перед Берзариным невысокий, еще совсем молодой командир дивизии полковник Антонов, — продвигаемся вперед успешно, овладели бульваром Куртдамм и Вассертсплац.

Берзарин вдруг поймал себя на том, что всматривается в глубокую, темную нору метро, будто старается представить на рельсах блестящие зеленые поезда, а над колеей плафоны, наполненные бледным матовым светом. Покачал головой, стараясь отогнать неуместные мысли. Полковник, командир дивизии, не понял, в чем смысл этого кивка, встревожился.

— Нет, все хорошо, — успокоил его Берзарин. — Это что такое?

На колее, внизу, несколько трупов в зеленой форме.

— Прямо из метро на нас вывалились. На узел связи. Девчатам пришлось взять в руки автоматы. Пленных уже отправили, а этих вынести еще не успели...

Для всех приготовил сюрпризы Берлин. Какие подарки преподнесет он Берзарину, когда прозвучит последний выстрел и закончится война? О том времени сейчас даже думалось с трудом, настолько оно казалось отдаленным и нереальным.

— Потери у нас большие, товарищ генерал.

— Мы планировали вывести вашу дивизию для пополнения и отдыха дня на два, но передумали. Пополнение получите в ходе боя. В других дивизиях потрешней, чем в вашей.

И это было правдой.

Но вот ведь как: огнем огрызается каждый дом, а пройди четыре-пять кварталов назад — и тишина. Можно увидеть почти идиллическую картину: ротный повар со здоровенным черпаком в руках наливает суп в немецкий выгнутый котелок. Руки женщины, которые держат алюминиевую посудину, почти прозрачны. Сколько дней она не ела? Магазины опустили на двери и витрины тяжелые стальные шторы, как только советские войска приблизились к столице. Женщина берет котелок с супом, но не ест, а спешит со своей драгоценной ношей куда-то в глубину развалин. У нее там, в подвале, наверное, дети. Очередь возле кухни растет. Берзарин смотрит на детские бледные от голода лица и чувствует себя неловко, будто он, комендант Берлина, виноват в том, что дети голодают.

Странное чувство! Не Берзарина нужно винить, а Гитлера. Ну, с фюрера теперь взятки гладки, с него многого не возьмешь, а вот Берзарин сейчас в Берлине комендант. Ладно, чем быстрее будет взят Берлин, тем меньше прольется крови и скорее удастся накормить детей. А чем он их накормит после того, как прозвучит последний выстрел? Ведь на него ляжет ответст-

венность за благополучие берлинцев... Ну и пускай голодают! Они о наших детях в Ленинграде думали? Так вот пусть теперь на своей шкуре испытают, что такое война...

Нет, как-то вкравь и вкось пошли его мысли. Придется ему после войны и думать и заботиться о каждом берлинце — никому да от этого не денешься.

— Успеха вам,— сказал комдиву на прощание Берзарин.— Пополнение пришло сегодня. И главное — не жалейте огня и берегите солдат.

— Есть, товарищ генерал!

Он возвратился на свой командный пункт, имея перед глазами точную картину боя. Теперь события мчались неудержимым потоком, где ночь, где день — не отличишь, смешалось время. Он работал, как хорошо смонтированная, прогретая, мощная машина, решал сотни, если не тысячи, проблем, отдавал приказы и размышлял над картой, сознавая, что это и есть высший, важнейший момент в его жизни, и именно для того, чтобы вот так самозабвенно, с полной отдачей сил работать, отвоевываая победу, он родился, учился, воевал и жил.

В боевых донесениях появились новые названия. Взят дом патентного управления. Здание министерства авиации. Квартал домов гестапо и целый комплекс корпусов рейхсканцелярии.

Первое мая выдалось ласковое, теплое. В Германии цвела зеленая, юная весна, а в Берлине — дым, огонь и смрад. Вдруг проглянет солнце, и следом припустит теплый дождик; только никто этого не замечает, некогда, недосуг, удар, еще удар — и падет рейхсканцелярия, а с ней и Гитлер.

Над рейхстагом уже реет Красное Знамя. А внизу, в подвалах его, идет бой. Это — последнее сопротивление обреченных, но от сознания своей обреченности они бьются люто, ожесточенно. Вдруг что-то изменится, вдруг случится чудо? Чудо свершилось, только не здесь, а в далеком заснеженном, исхлестанном злыми ветрами Сталинграде.

Они еще пытаются оттянуть время. Посылают парламентаров без полномочий. Там, в подвалах рейхсканцелярии, видимо, полная безнадежность. Каждый думает только о себе, хотя дисциплина еще держится. Гитлер справляет свадьбу с Евой Браун. Смешно и жалко выглядит эта свадьба на фоне великого сражения. А потом Гитлер первым уйдет из жизни, и эта смерть освободит от оков дисциплины всю его свиту. Теперь уже им не до Третьей империи, спасти бы свою шкуру.

Еще формируются какие-то советы и распределяются министерские портфели, еще кто-то что-то старается выиграть, но все понимают: это уже агония. Воины 301-й дивизии 5-й Ударной армии уже у стен рейхсканцелярии, в нескольких сотнях метров, и вдруг над Берлином разливается тишина. Она еще роб-

кая, неуверенная, она еще взрывается короткими боями то возле Бранденбургских ворот, то в подвалах министерства авиации, но это уже не правило, а исключение из правил; над Берлином — тишина, противник капитулировал.

Тяжело, медленно рассеивается черный дым разрывов, оседает на землю красная пыль разбитых кирпичных стен. Сеется мелкий, теплый дождь. Тишина над Берлином. Второе мая 1945 года. Гитлеровцы выходят из бомбоубежищ, пытаются улыбаться. Выстраиваются в колонны военнопленные. Не улыбаться им пужно, а петь от радости, кричать во весь голос — они остались живы...

Второго мая генерал Берзарин из своего штаба, который расположился в инженерном училище в Карлсхорсте, на восточной окраине Берлина, отправился в рейхсканцелярию. Улицы перегорожены сгоревшими машинами, рухнувшими стенами домов, нужно зорко поглядывать, чтобы на голову не свалилась каменная глыба. Колонны пленных идут плотно, сквозь них тоже нужно пробираться, как сквозь лес.

А как трудно было пройти эту улицу, когда каждый подвал, каждое окно огрызались лютым, смертным огнем!

И над всем этим кислый пироксилиновый дым, едкий запах битого кирпича, известки и едва заметный, но все же ощутимый трупный дух. Под руинами много трупов. Тысячи их еще лежат на улицах и в домах. Берлин нужно почистить и помыть, и отвечать за порядок не кто иной, как комендант города. Его еще нужно и накормить, этот Берлин. И в ответе за все, конечно, он, Берзарин. С него спрос. Ничего не скажешь, веселенькая ему выпала работенка. Ладно, всякое бывало на его веку, вот только комендантом немецкой столицы быть пока не приходилось... Поначалу надо хорошенько оглядеться, что это за хозяйство, Берлин.

Страшновато здесь жить, если присмотреться поближе, ни водопровода, ни электричества, ни канализации — все выведено из строя. Часть метро затоплена — последнее преступление Гитлера. Вспышка эпидемии вполне вероятна. Снабжение города нарушено, а в нем четыре миллиона жителей, и все голодные. Небогатое хозяйство досталось тебе, товарищ Берзарин! Не придумашь, с какой стороны подступиться к нему, как поспоровистее укусить эту черствую горбушку.

Возле здания гестапо — толпа. Из глубоких подвалов выводят последних пленных, погоны и знаки различия они с себя носрывали, а эсэсовскую форму издали видно. Страшное и злое еще это сооружение, дом гестапо.

И все-таки средоточие всех устремлений — рейхсканцелярия. Почти четыре года ее пазывали «логовом зверя». И в самом деле — логово. Комфортабельное, отлично оборудованное,

но — логово. Длинная колоннада еще закидана мешками с песком. В кабинете Гитлера на столе карта Берлина и фельдмаршальский жезл Роммеля, как он здесь очутился — непонятно.

Почему жезл именно Роммеля, ведь владельцу его пришлось застрелиться: Гиммлер узнал о его причастности к заговору против Гитлера. Они здесь грызлись, как пауки в банке, уничтожали друг друга, пока не уничтожили самих себя. Трупы Геббельса и его жены лежат в комнате рядом, обгорелые, но узнать можно. Детей своих они тоже отравили, нелюди. Где же Гитлер?

Хмурая и страшная в эти часы рейхсканцелярия. Едкий дым еще стелется по коридорам и кабинетам. На шесть этажей закопался, зарылся в землю фюрер, не помогло, выкурили.

Берзарин вошел в кабинет Гитлера. Заместитель командира триста первой дивизии, назначенный комендантом рейхсканцелярии, вытянулся перед ним:

— Товарищ генерал, проводится обыск помещения, внизу, возможно, еще остались гитлеровцы. Докладывает полковник...

— Продолжайте. Труп Гитлера нужно найти.

— Один труп обнаружили... Сейчас проводим экспертизу, ищем врачей...

Берзарин внимательно оглядел комнату. Огромный флаг с орлом и свастикой, личный штандарт фюрера, покосившись, обвис у стены. На параде Победы в Москве, месяце позже, его вместе с другими знаменами и штандартами бросят к подножию Мавзолея на Красной площади. Вот таков он, позорный конец!

Рейхсканцелярия недолго интересовала Берзарина. Он понимал, какая огромная ответственность легла на его плечи. На Берлин сейчас обращены взгляды людей всего мира. Война уже окончилась... А разве немцы изменились в тот миг, когда окончилась война? Изменились, наверняка изменились. В какую сторону? Какими они стали? Лучше или хуже?

«Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается». Слова эти, словно вырубленные на камне, отпечатались в памяти. Что в том хорошего, что немецкий народ остается? Разве не он породил Гитлера? И все же он не однородная масса, немецкий народ. Были Гитлер, Крупп, Тиссен, и были Либкнехт, Тельман, Клара Цеткин. Все они немцы. Вот и разберись, кто есть кто. Полтора миллиона коммунистов было в Германии, где они сейчас? Должен же остаться след их коммунистического прошлого? Разобраться в этом призван именно он, комендант Берзарин.

Когда ехали к штабу армии в машине, где, кроме него, сидели еще адъютант и связистка Валя, произошел короткий, но весьма важный для Берзарина разговор.

— Странно как-то, товарищ генерал, — сказала Валя, — полная победа настала, вы комендант Берлина, почетнее должности вроде и представить невозможно, а вы не рады.

— Правильно подметила, Валя. Где уж коменданту радоваться. Людям радость, а мне — заботы. О немцах приходится думать, Валя.

— А что о них думать, товарищ генерал, для меня они все одним лыком шиты.

— А вот для меня, Валя, не одним. Разные они, немцы.

— Ну, это еще доказать надо!

— Верно, Валя, доказать это надо в первую очередь самому себе. А доказательств между тем нет. Вот потому и озабоченный.

— Да плюньте вы на них, товарищ генерал, стоит ли в такие-то дни переживать?

— На Гитлера, на его опричников и приспешников плюнуть, конечно, можно, а вот на весь немецкий народ не плюнешь, не выйдет... Мы с тобой, Валя, коммунисты.

— Я беспартийная, — сухо ответила Валя.

— Нет, Валя, это тебе только так кажется. Просто партийного билета у тебя нет в кармане, а мы все, советские люди, — коммунисты, и этим все сказано...

Строгие глаза Вали по-прежнему смотрели напряженно, взгляд их не смягчился.

«Она совсем еще девчушка, — думал Берзарин, — а прошла до Берлина, и в жизни ее было немало страданий и горя. Как же я могу требовать от нее, чтобы она по-доброму относилась к немцам? А этого, может, и не нужно требовать ни от нее, ни от себя самого. Нужно всего лишь добросовестно и точно выполнить приказ... Нет, пожалуй, ничего не получится с точным выполнением приказа, ежели ты сам в него не поверишь, ежели не скрыта в нем великая вера в справедливость и целесообразность всего, что ты делаешь. А в твоей собственной душе, Берзарин, есть такая вера?»

Он задал себе вопрос и не смог ответить и от этого нахмурился еще больше.

— А я бы сделала так, — упрямо сказала Валя. — Выселила бы их всех из Берлина на остров в Балтийском море. Пускай бы сами в своих делах разбирались.

— А Красное Знамя над рейхстагом как себя чувствовало бы, Валюша? — усмехнулся Берзарин, ласково прищурившись, и светлые его глаза почти спрятались в густых ресницах.

— Ну вот, ты всегда так, Валентина, — недовольно сказал адъютант, — вечно тебя заносит твоя полная несознательность. Придется сказать политруку роты связи, чтобы провел с тобой разъяснительную работу. Это же люди! Понимаешь — люди.

— Вот именно, люди, — подхватил Берзарин, и голос его прозвучал неожиданно весело и просветленно, — а людей нужно уважать.

— Во всяком случае, меня никто не заставит уважать немцев, — недовольно сказала Валя.

— А это по принуждению и не делается. Это или делается от чистого сердца, или не делается совсем.

— Так вот, я не собираюсь этого делать вовсе. И у вас, товарищ генерал, тоже на сердце кошки скребут. Это вы только делаете вид, будто вам все ясно, потому что есть такой приказ высшего командования...

— Верно, есть такой приказ высшего командования. Но хорошо выполнять его можно только тогда, когда он совпадет с твоими собственными убеждениями и стремлениями.

— От меня этого не дождутся.

— Там посмотрим, — неопределенно сказал Берзарин.

И нельзя было понять, одобряет он или осуждает Валину позицию.

Они уже проехали мост через железнодорожную линию в Лихтенберге, добрались до перекрестка, где следовало свернуть на Карлсхорст. И вдруг сержант-водитель резко нажал на тормоз. Машина остановилась. Полусгоревший, изрешеченный пулями, пробитый осколками снарядов трамвай, который стоял, как заплата, перегораживая улицу, вдруг сдвинулся с места и медленно отполз к тротуару, освободив широкий проезд. За ним показался тяжелый прокопченный, когда-то темно-зеленый, а сейчас черно-бурый танк-тридцатьчетверка. Длинная пушка была повернута назад. Лобовая броня упиралась в бок трамвая. Гусеницы лязгали, высекая искры из брусчатки, но вагон все-таки двигался и двигался... Лейтенант-танкист стоял на броне и смеялся, светлые волосы его развевались на ветру. Увидев генерала, он хотел отдать честь, потом, вспомнив, что на голове нет шлема, смутился.

Генерал вышел из «виллиса», подошел к танку. Появление начальства всегда создает атмосферу напряжения и тревоги среди подчиненных, глаза лейтенанта метнулись из стороны в сторону, проверяя, все ли в порядке, и остановились на лице Берзарина.

— Здравствуйте, — сказал Берзарин. — Какой части?

— Двести двадцатая отдельная тапковая бригада проводит расчистку Берлина от завалов для восстановления нормального движения на улицах. Докладывает командир танка лейтенант Красников.

«Ему лет двадцать, двадцать три — не больше, — подумал Берзарин. — На гимнастерке пять орденов, вся жизнь впереди, а прямо перед ним как символ одержанной победы лежит поверженный Берлин, и, конечно, приятно не разрушать, а, наоборот, наводить порядок. Можно понять и веселый смех и хорошее настроение Красникова».

— Давай! — скомандовал лейтенант.

Танк немного отодвинулся, потом уперся передней броней, как грудью, в покореженный трамвай и еще подвинул его метра на три.

Дальше до Карлсхорста они ехали молча. Там, в центре Берлина, возле дымной рейхсканцелярии, еще словно продолжалась война, а здесь, в Лихтенберге и Карлсхорсте, мирные проблемы становились главными, и именно о них прежде всего приходилось думать Берзарину.

Почему ему? Да потому, что он с малолетства, с самого начала гражданской войны, в армии. В те полные революционной романтики времена, когда сабля и штык были еще настоящим оружием, а символом скорости и маневренности — воспетая в песнях пулеметная тачанка, тогда ему не было и шестнадцати лет. Но все равно он был военным; армия определила его жизнь и воспитала его.

Да, к выполнению боевых заданий его готовила жизнь. И подготовила. А для работы комендантом Берлина? Это ведь не военное, а, скорее, дипломатическое или даже политическое задание. К нему он готов?

Во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы хватило силы и умения выполнить эту работу. Ведь это и для него самого испытание не только на военную, но и на государственную зрелость. Именно так и нужно рассматривать это поручение.

В инженерном училище в Карлсхорсте, где разместился штаб армии, Берзарин сразу почувствовал себя как дома, но Берлин, заботы, связанные с ним, не отодвинулись, не ступевались. Теперь придется не разрушать, а созидать. Сложнее это или легче? Пожалуй, сложнее. Во всяком случае, работа предстоит непривычная и потребует изменения многих устоявшихся за войну представлений.

Он быстро вошел в свой кабинет, на ходу бросил адъютанту: «Заместителя по комендатуре ко мне», присел к столу, взял блокнот и стал записывать задания:

«Совместно с политотделом укомплектовать аппарат комендатуры.

Создать новый магистрат Берлина. Кандидатуры подобрать после консультации с немецкими товарищами из «Группы активистов первого часа», которые прибыли из Москвы.

Создать из немцев при магистрате организацию, ответственную за санитарное состояние Берлина.

Создать центр приема антифашистов, освобожденных из концлагерей, — по всей вероятности, именно эти люди станут костяком будущей немецкой администрации, — разместить его в Шпандау.

Создать...».

Он взглянул на исписанный лист бумаги и усмехнулся. Каждый абзац начинался со слова «создать». Он сейчас напоминал себе творца, который из хаоса хочет создать организованный мир. Во всяком случае, возможности творить добро у него теперь неограниченные, и все их необходимо использовать. Это плоды победы, за них заплачено кровью.

— Разрешите войти? — полковник, заместитель по комендатуре, появился на пороге.

— Здравствуйте, садитесь, докладывайте.

— Товарищ генерал, ваше задание выполнено. В Берлине двадцать два района, по-немецки — «бецирка». Коменданты назначены во все районы, и они сегодня же приступят к делу. В районах, расположенных на окраинах, работа уже идет полным ходом, в центре, где бои закончились лишь ночью, она начнется завтра. Должен сказать, что выглядит Берлин плачевно. Водопроводная сеть разрушена почти полностью. Над восстановлением ее основных узлов уже работают наши саперы. Электрическая сеть вышла из строя процентов на восемьдесят, работы по ремонту уже начались. Электростанцию Клингенберг во время боев удалось спасти, она уже дает ток, но удовлетворяет только незначительную часть потребностей Берлина. Снабжение города полностью нарушено. Ни один магазин не работает. Практически — в городе голод. Наши полевые кухни подкармливают детей, но это капля в море, да и запасы провианта в частях ограничены. Отмечены случаи тифа и дизентерии — берлинцы берут воду из Шпрее и каналов. Под развалинами гниют трупы, велика опасность инфекции...

— Ничего не скажешь, веселая картина, — проговорил Берзарин.

— Вот именно, — согласился полковник, — и ко всему этому масса всяких неприятностей и чепэ.

— Например?

— Во время ремонта водопроводной шахты в районе Шпандау пострадал сержант Иванов Сергей Петрович.

— Как допустили?

— Нырнул слишком глубоко. Хотел выиграть время и не рассчитал силы. Вытащили в тяжелом состоянии.

— Умер?

— Пока нет, но такая возможность не исключена.

Берзарин встал, молча прошелся по кабинету. Полковник посмотрел на него несколько удивленно: здесь, в Берлине, им пришлось увидеть столько смертей, неужели эта одна поразила генерала? И вдруг понял — настало мирное время, люди не имеют права умирать, они должны жить. Сейчас все измеряется другой меркой.

— Что еще? — сумрачно спросил Берзарин.

— Семнадцать случаев мотоциклетных аварий, в том числе девять смертельных.

Ну да, ребята дорвались до немецких мотоциклов, газуют как бешеные, вот и бьются. Берзарин понимал их очень хорошо. Он сам любил езду на мотоцикле, начал еще там, на Дальнем Востоке. Чудесная это штука — мощный мотоцикл. Чем-то напоминает породистого и норовистого коня. Однако девять смертей за один день, не много ли?

— Прикажите контрольно-пропускным пунктам отбирать мотоциклы у всех военнослужащих, не имеющих водительских прав.

— Практически их ни у кого нет.

— Именно это я и имею в виду.

Но сообщение о девяти катастрофах почему-то поразило его значительно меньше, нежели известие о героической, вот именно, иначе ее не назовешь, смерти Сергея Иванова. С одной стороны, лихачество, опьяняющая радость победы, с другой — осознанный героизм. Почему он спешит похоронить Иванова, ведь тот еще жив?

— Ну, чем еще порадуете?

— Есть одна неприятность. Приходил немецкий писатель, говорил, будто его жену того... обидели.

— Час от часу не легче! Как фамилия писателя?

— Флазер. Ганс Флазер.

— Известное имя. Что решили?

— Сказал: пусть придет в комендатуру к вам на прием.

— Правильно. Здание для комендатуры подобрали?

— Так точно. Улица Альт-Фридрихсфельде в Лихтенберге. Для временного размещения — вполне подходящий особняк. Потом отремонтируем и побольше и лучше.

— Ладно. Еще что?

— Группа немецких товарищей уже в Берлине и начала работу. Я имею в виду группу Ульбрихта. К слову, с ними сын Вильгельма Пика — Артур Пик. Сам Вильгельм Пик прибудет дней через восемь — десять.

— Наконец-то приятная новость. Это самое главное...

— Они уже начали организовывать вокруг себя антифашистов. Ваша встреча с ними в шестнадцать часов.

Полковник умолк, молчал и Берзарин, поглядывая на исписанный им лист бумаги, где так часто повторялось слово «создать». Заместитель доложил о важных вещах, но какими они кажутся ничтожно мелкими, если подумать о голоде в Берлине. И с хулиганами и с мотоциклистами справиться легко, голод и эпидемии побороть труднее. Богатое наследство оставил ему Гитлер. Сейчас это злобейший город — Берлин.

— Значит, так, товарищ полковник, определим наиболее главные проблемы, решать их будем в первую очередь, чтобы не распылять внимания и не дробить силы. Обеспечение населения. Борьба против эпидемий. Восстановление коммуникаций и транспорта. Создание органов немецкого самоуправления. Вот четыре проблемы, за них примемся немедленно. Свяжитесь с отделом кадров фронта, комендатура должна быть укомплектована не позднее послезавтра, там, в резерве, есть офицеры... Правда, в комендатуре им работать не очень захочется...

— Разрешите напомнить, товарищ генерал, — сказал полковник, — я к вам прикомандирован временно. Моя работа —

ВОСО, железнодорожные перевозки. Там тоже проблем непочатый край.

Берзарин взглянул на полковника и задержал пытливый взгляд на его ставшем напряженным лице.

— Сейчас и вы скажете, что вам не очень-то приятно на немцев смотреть?

— Именно так, товарищ генерал.

— А вы думаете, мне приятно? Как вспомню Ленинград, сердце разрывается.

— Мне тоже есть о чем вспомнить.

— Знаю. Но и вы, и я, и еще тысячи наших офицеров и солдат будут работать в комендатурах и помогут немецкому народу строить свое первое демократическое государство.

В это мгновение он будто бы посмотрел на себя со стороны, будто чужими ушами услышал свои слова, прозвучали они официально и газетно, но абсолютно убежденно, и это уже было хорошо.

— Одним словом, пока забудьте о своем ВОСО,— сказал он темного другим, более мягким тоном,— приказ отдан, вы заместитель коменданта Берлина. Но и для меня и для вас наша работа — большая честь и огромная, без всякого преувеличения, историческая ответственность. Мы с вами выиграли войну и теперь должны сделать так, чтобы Германия больше никогда, понимаете, никогда не развязала новой войны. Мы должны выиграть мир!

Он чувствовал, что слова его, правильные и точные, на полковника не производят впечатления. Не потому ли, что он сам не очень-то убежден в своих чувствах?

— Вы где служили до войны, товарищ полковник?

— В Харькове, на ХПЗ. Строил паровозы.

— Вот и вернетесь на свое место года через два-три. Раньше не обещаю. Создайте себе соответствующее настроение. Это хорошо, что вы железнодорожник, работы по восстановлению движения у вас будет тьма-тьмущая. Семья ваша через некоторое время сюда сможет приехать...

— У меня нет семьи,— тихо сказал полковник.

— Погибли?

— Да. Все. Жена и двое хлопчиков. Я их отправил на восток, когда бомбили Харьков, в заводском эшелоне. Прихватили их на станции Основа. Семь вагонов сгорело. И мои тоже...

Он произносил слова спокойно, словно извлекал их из дальнего уголка памяти, но они все равно оставались свежими ранами и жили неистребимой болью, сочились свежей кровью.

— Извините,— сказал Берзарин.— Мне печем вас утешить, слова здесь не помогут... Но работа есть работа...

— Да, работа есть работа,— тихо повторил полковник.— Наша жизнь — сплошная диалектика... Все верно. Есть боль-

шая политика, независимая от личных чувств и переживаний. Не беспокойтесь, я это понимаю.

Голос звучал отрывисто, напряженно, Берзарин посмотрел на полковника с уважением и симпатией.

— Хорошо, что вы это понимаете,— тихо сказал он.— Перейдем к делам. Только организованное немецкое самоуправление может справиться и с голодом и с хаосом. Нам непривычен их образ мыслей, обычаи,— значит, организовать свою жизнь и свое спасение от полной катастрофы, в которую их вверг Гитлер, могут сами немцы. Это главное положение, которого нам и следует держаться, товарищ полковник.

Они на минуту замолчали, каждый был погружен в свои мысли.

— Удивительная штука,— сказал Берзарин,— странно устроен человек, какой-то немецкий мальчонка голодает, а я этот голод чувствую собственным животом, как говорится, под ложечкой сосет.

— Ну это не всякий человек так создан. Нашего голода в Ленинграде они не чувствовали,— возразил полковник.

— И то правда,— согласился Берзарин.— Сегодняшний Берлин я чувствую, как свою собственную тяжкую рану.

Он смотрел в окно, как бы пробитое в глубокой нише, и не мог видеть всего города, но представлял его отчетливо, понимал его боль, страдания, надежды и страхи. Если ему, коменданту, хозяину города, нелегко привыкать к своему новому положению, то каково же им, побежденным? Для него все осталось неизменным — власть, уклад жизни, понимание мира и своего будущего; для немцев же в Берлине эти представления оказались разрушенными вконец, и неизвестно было, что могло вырасти на развалинах не только домов, но, куда важнее, — на обломках надежд.

Ему захотелось движения, быстрого, стремительного, захотелось почувствовать в руках тяжелые рога мотоциклетного руля, объехать Берлин, изучить свое хозяйство. Завтра он так и сделает. Не зная города, нельзя быть его хорошим комендантом.

Адъютант Берзарина вошел в кабинет, не спрашивая разрешения. Очевидно, случилось что-то важное, иначе капитан не позволил бы себе такой дерзости. Погоны на его плечах были золотые, где он их достал — уму непостижимо.

— На станции Эркнер в ваше распоряжение прибыло двадцать шесть вагонов перловой крупы.

— Что? — спросил Берзарин, не поверив своим ушам, настолько сообщение адъютанта показалось ему невероятным. Выходит, о Берлине и голодных немцах заботится не он один. Факт сам по себе не такой уж выдающийся, но значение его, конечно, измеряется не количеством тонн перловой крупы. Вдруг исчезло ощущение невозможности помочь этому разрушенному,

смердящему, как гнойная рана, городу. Он мгновенно представил себе мешки с твердой перловой крупой и неуверенно спросил: — А немцы едят ее? Ну, перловку...

— Будут рубать за милую душу, товарищ генерал, — весело заявил капитан. — Беда научит лаптем щи хлебать.

— Значит, так, — решил Берзарин, — свяжитесь со всеми комендантами районов, пусть каждый берет себе по вагону.

— Как капля в море, — сказал полковник. — Для Берлина двадцать шесть вагонов — только по губам помазать.

Берзарин представил себе Берлин, как чудовище с распахнутой пастью, туда не только двадцать шесть вагонов, туда двадцать шесть эшелонов загнать можно, проглотит, чавкнет и не оближется.

— Верно, — ответил он, — очень мало, но все-таки лучше, чем ничего. Детям на какое-то, пусть даже короткое время хватит. Попросите немецких товарищей выделить в каждую комендатуру своих представителей. Мобилизовать все кухни. Кормить только детей. Перловку не раздавать, варить кашу и кормить на месте, чтобы ни одна крупинка не пропала. Сейчас это самое важное. Ясно?

Берзарин выпшел из-за стола, пропелся по кабинету, распрямил сильные, почти квадратные плечи. Невысокого роста, коренастый, он производил впечатление очень сильного человека. Ремни полевого снаряжения поскрипывали в такт дыханию.

— Безотлагательно придется провести еще одну работу, товарищ полковник, — обратился он к своему заместителю. Необходимо определить потребность Берлина в продовольствии. Этот вопрос возникнет у высокого начальства если не сегодня, то завтра. Нужно, чтобы мы были во всеоружии и точно знали, что будем просить и почему просим именно столько, а не больше и не меньше. Посадите группу офицеров тыла, пусть подсчитают. Без перебора, но и без излишней скромности. В нее включите немецких товарищей из «Группы активистов первого часа», они вам помогут. Задание ясно? Идите.

3

На другое утро Берзарин вышел из своего дома в Карлсхорсте, когда над Берлином только-только вспыхнули солнечные лучи. Город еще лежал в дымной мгле, но в небе светились белые и легкие облака. Взглянул на часы: начало восьмого. Странно, солнце должно было давно взойти. Еще раз посмотрел на часы и усмехнулся: армия жила по московскому времени, и там, в Москве, солнце уже давно встало, разница во времени два часа, и все же он не станет переводить часы.

Трофейный мотоцикл стоял у крыльца. На руле, посредине, — эмблема фирмы, два сектора синие, два — белые, «БМВ». Хорошая машина, ничего не скажешь. Рукоятки руля, как рога,

круто вывернуты, поровистая машина, но воли Берзарин ей не дает, и она смиренная, послушная каждому его движению. Он всю войну проездил на мотоциклах, проскакивал на передовую в таких местах, где, казалось, и мышонку не проскользнуть. Командующий фронтом Толбухин под Кишиневом на совете командармов за это влил ему вполне заслуженный выговор, правда, не в приказе, а устный. Пришлось ему пережить несколько неприятных минут, но привычек своих Берзарин не изменил, только стал осторожнее.

Ординарец, сержант с автоматом в руках, стоял возле мотоцикла, готовый в любую минуту прыгнуть в коляску. Толчок ноги в педаль, мотоцикл завелся сразу, словно давно ждал этой минуты, будто самому было приятно почувствовать мощь своего двигателя.

Берзарин оглянулся на маленький дом. Там сонная тишина. Его семья уже с ним, жена и дочь. К завтраку он вернется. Свежий весенний ветер здесь, на улице, и сонное, уютное тепло квартиры, странно, почему-то этот контраст пробудил тревогу... Что ж, неожиданностей не занимать, они будут и, конечно, не всегда приятные.

Тронем с места потихоньку, чтобы никого не разбудить там, в доме, мало-помалу объедем квартал, а тогда уже можно дать полный газ.

Раньше всегда перед поездкой на мотоцикле Берзарин надевал синий танкистский комбинезон. Сейчас пришлось отказаться от этой привычки: на одни объяснения с патрулями и проверку документов уходила бы уйма времени. Поэтому он в кителе с золотыми погонами. План Берлина прикреплен к борту коляски. Он должен знать город, как свой дом, иначе какой же он хозяин...

Война еще не окончилась. Где-то на юге группа немецкого генерала Шернера еще сопротивляется. Советские танки спешат к Праге. Но это уже, как говорят шахматисты, вопрос техники. Главное сделано — война выиграна. Завтра около Бранденбургских ворот состоится парад войск, и принимать его будет генерал Берзарин: 5-я Ударная армия пройдет мимо ворот и рейхстага...

Мотоцикл мчится по улицам, маневрируя между завалами, то исчезая в темных закоулках, то вдруг появляясь на светлых перекрестках. Часовые стоят около домов, вернее, около того, что осталось от них, — тут расположились войсковые части.

Появление мотоцикла в такой ранний час вызывает у часовых тревогу. Автоматы наготове. Потом внимательный взгляд, улыбка, вызов офицера и рапорт:

— Товарищ генерал, тысяча пятидесятый полк триста первой дивизии...

И снова спует мотоцикл по разрушенным улицам Берлина. Еще догорают пожары, едкий дым стелется над кварталами,

трупный дух ощутимей, резче чувствуется в воздухе. Чтобы разобрать развалины, придется мобилизовать все население.

Невольно вспомнились слова его собственного приказа номер один, отданного тогда, когда еще живой Гитлер, как мышь в ловушке, метался в бетонном бункере рейхсканцелярии. Параграф первый: «...вся полнота власти в Берлине переходит в руки советской военной комендатуры...»

Сложная это штука — такая власть.

Мотоцикл проехал по забитой сожженными машинами улице Унтер-ден-Линден. Никаких лип на ней нет, торчат обгорелые пни. Говорят, будто незадолго до конца войны Гитлер велел выкорчевать старые липы и посадить молодые, хотел обновить город.

Может, приказать снова посадить их? Конечно, немцы делают это незамедлительно. Глупости... о каких липах может идти речь? Прежде всего нужно подумать, чем накормить город... Вот она, настоящая забота, а он — липы...

А это что такое? Красный крест на белом полотнище, прибитом над входом в подвал, и сразу видно, что крест не наш, не советский. Думается, вроде бы все красные кресты на свете одинаковые, а оказывается, нет, все разные. Здесь наверняка немцы.

Мотоцикл остановился. Берзарин ступил на потрескавшийся асфальт, крикнул ординарцу: «За мной!»

Толкнул разбитые, наспех сколоченные двери подвала, и сразу в ноздри ударил тяжелый запах карболки. Округлившись от испуга глаза пожилого немца в когда-то белом, а теперь забрызганном кровью и лекарствами халате. Прежде туго накрахмаленная шапочка съехала на затылок. В глазах застыл смертельный страх... Он, верно, очень близорукий, этот доктор, глаза за сильными линзами очков кажутся неестественно большими. Непонятно, почему он так испугался? Вдоль стен, кто на подстилке, кто прямо на полу, кто на гнилой соломе, — люди. Мужчины, женщины, дети... И все уже не спят, все со страхом смотрят на Берзарина, будто сама смерть явилась перед ними в генеральских погонах.

— Что за люди?

— Раненые, больные. Почти все обречены... У нас нет лекарств... Мы были отделением клиники «Шарите», наш корпус загорелся...

— Чем вы их лечите?

— Чем можем. Откровенно говоря, ничем.

— А кормите?

— Кое-кому приносят родные. Делим... Они голодают...

— Здесь много солдат или офицеров?

— Человек пятнадцать, не больше. Очень тяжелые, а операции делать нечем, да и некому... Не беспокойтесь, они скоро помрут...

Что он говорит, этот старый испуганный доктор? Чем он хочет успокоить генерала? Смертью раненых?

«Рана моя — Берлин», — подумалось Берзарину.

Страшная картина, но очень хорошо, что комендант ее увидел. Вот он, сегодняшний Берлин. В этом городе вся полнота власти в его руках...

Ну что ж, кое-какие медикаменты и продукты он пришлет им сегодня. А кто подумает о других больницах? Тоже он?

На соседней улице, заваленной битым кирпичом, глыбами бетонных стен, советский сержант с автоматом ходит взад и вперед около разбитых ворот, а за ними толпа, все сплошь в серо-зеленых мундирах. Странно слышать смех в этой толпе. И все-таки это смех, Берзарин не мог ошибиться.

— Что здесь такое?

— Сборный пункт военнопленных.

— Много?

— Вчера было восемьсот десять. А сейчас, может, больше, товарищ генерал, они ползут из щелей, как тараканы, не бегут, наоборот, стараются проникнуть незаметно. Станный народ эти немцы.

Нет, они вовсе не странные. И основание для смеха и хорошего настроения у них есть. Они вышли из ада, остались живы, а пленных наверняка кормят.

И снова мчится мотоцикл, похожий на доброго конька-горбунка, унося коменданта города и его ординарца.

— Товарищ генерал, стоп! Дальше нельзя.

Улица впереди свободная, легко проскочить.

— Почему нельзя?

— Сейчас подорвем эти два дома, они опасны: того и гляди, рухнет стена... Работает взвод саперов тысяча восьмого полка двести шестьдесят шестой дивизии. Докладывает лейтенант Поддубный.

— Улицу завалите?

— Никак нет, товарищ генерал. Все рассчитано по науке. Стены опрокинутся вовнутрь, на улицу — ни кирпичика.

Солдат-сапер подбежал к лейтенанту. Лицо в саже, в руках плоскогубцы и моток черного кабеля. Через минуту тяжкий, утробный взрыв, словно приглушенный вздох земли, сотряс воздух. Вздрыгнули и упали, опрокинувшись в глубину дворов, как падает ненужная театральная декорация, высокие обгорелые стены с черными, опаленными провалами окон. Действительно, ни один кирпич не упал на улицу.

— Можно ехать?

— Нет, товарищ генерал, еще нужно все проверить. Сделайте объезд по параллельной улице.

А там, на параллельной, четыре женщины с ведрами, полными мутной темной воды, осторожно оглядываясь, идут от Шпрее в глубину руин. У этих женщин, наверное, дети, и они

хотят пить. Что поделаешь, тащись за водой на Шпрее. Почему-то эта мысль принесла ему ощущение вины. Ясно почему. Он — комендант Берлина.

Счастье, что сейчас весна, а не зима, этот город вымерз бы весь до допышка... А Ленинград пережил три зимы. И каких...

Какого черта он должен беспокоиться за судьбу этого огромного серо-бетонного мешка, который называется Берлином, где живут чужие ему и уж конечно враждебные люди? Если обратишься к ним, каждый вежливо улыбается, отвечая, а в душе — ненависть. За все ненавидят: за собственные страдания, за порушенную удобную, налаженную жизнь, за разбитые мечты о власти над всем миром. А Берзарин еще должен нянчиться с нимп, заботиться, чтобы водопровод работал, канализация, чтобы, видите ли, вода в туалете исправно спускалась... К черту!

И сразу всплыл вопрос: а возможно ли быть хорошим комендантом, не полюбив этот город?

Полюбить?

Резко сдвинутые к переносице широкие брови, и губы словно окаменели — узкая побелевшая полоска. Полюбить?.. За что? Знает он Берлин? Его людей?

Чтобы любить или не любить, надо знать. Это уж точно.

Время летит, скоро восемь. Быстрее в Карлсхорст, позавтракать — и за работу. Что дала ему поездка? Вроде бы и ничего, а если вдуматься, то, пожалуй, немало. Этот город нужно если не любить, то, во всяком случае, понимать, и он его поймет.

Принимать посетителей комендант будет каждый день, без связи с населением работать невозможно. И о магистрате нужно подумать. Не такое это простое дело, как кажется на первый взгляд. О нем, о магистрате, и высшее начальство задумается. И не раз...

В Карлсхорсте, в своем кабинете, Берзарин приказал соединить его с командующим фронтом. Голос маршала Жукова прозвучал знакомо, спокойно, основательно.

— Слушаю, Николай Эрастович.

Маршал обычно обращался к Берзарину по имени и отчеству, а если говорил «генерал-полковник», знай, чем-то был недоволен.

— Я сегодня объехал город. Картина вырисовывается неутешительная, я бы сказал, мрачная.

— А на то вы и комендант города, чтобы перекрасить картину в розовые тона.

Берзарин понимал, что у маршала есть все основания для хорошего настроения, радостная волна победы подхватила и его; если Жуков позволяет себе хотя бы малейший намек на шутку, это значит, что дела идут просто отлично.

— Берлин может стать для нас источником величайших неприятностей, — не принял шутку маршала Берзарин.

— Не преувеличиваете?

Им хорошо там, в штабе фронта, в тихом немецком городке, где в садах отцветают вишни. Оттуда трудно вообразить, что представляет сейчас собой Берлин.

— Нет, не преувеличиваю. Берлин надо спасать. И немедленно. В городе — голод.

— М-м, да... — Жуков сделал паузу, видимо размышляя, потом спросил: — Гитлера все еще не удалось обнаружить?

— Нашли два трупа, сильно обгорелых. Есть основания предположить, что это трупы Гитлера и Евы Браун. Сейчас разведка ищет личного зубного врача фюрера. Челюсти остались целы. Это будет неопровержимым доказательством.

— Ладно, пусть ищут. К одиннадцати я буду у вас в штабе. Покажете мне рейхсканцелярию.

Берзарин положил трубку и с облегчением вздохнул. Сегодня несколько часов он проведет с маршалом, и за это время можно о многом поговорить. Выпросить хотя бы немного продовольствия для берлинцев. У фронта есть запасы провианта, но так ли они велики?.. Ладно, нечего загадывать, там будет видно. Во всяком случае, с маршалом нельзя говорить, не располагая точными данными.

Через минуту заместитель, полковник, стоял перед столом. Работал он, видимо, всю ночь, синие полукружья залегли под глазами.

— Приготовили материал?

— Да, но должен предупредить, подсчеты весьма приблизительны.

Берзарин взял лист, всего-навсего один лист бумаги, плод работы целой группы офицеров, пробежал глазами по строкам, пожал плечами.

— Вы, случаем, не переутомились, товарищ полковник, не утратили ощущение реальности?

— Разумеется, все устали, но ощущения реальности не утратили.

— Сомневаюсь, — сердито бросил Берзарин.

— Эти цифры могут измениться только в сторону увеличения, — сказал полковник. — Сократить их невозможно.

Берзарин вновь пробежал взглядом по цифрам. Если верить им, то, чтобы продержаться до нового урожая, Берлину нужно дать примерно сто тысяч тонн зерна, шестьдесят тысяч тонн картофеля, пятьдесят тысяч тонн мяса... Он что, с ума сошел, этот полковник?

— Вы думаете, я решусь показать эти цифры маршалу?

— Я тоже боялся показать их вам. Но к ним быстро привыкаешь, к цифрам. Другое дело — где взять такое количество продуктов.

Берзарин почувствовал, что и верно, к цифрам привыкнуть не так-то трудно. Сейчас они уже не представлялись ему столь

фантастическими, как минуту назад, но показать этот листок Жукову он все-таки вряд ли решится. Может, несколько позже. А то ведь маршал и на смех поднять может: посмотрите-ка, мол, не успели разбить немцев, как уже ходатай за них нашелся, просит на прокорм сто тысяч тонн хлеба.

Зазвонил телефон, и в трубке послышался привычный голос телефонистки:

— Товарищ генерал... Москва вызывает. По прямому!

— Давай, Валя, — весело сказал Берзарин. — Да, это я. Слушаю. Кто будет говорить?

Голос его неожиданно стал суровым, и полковник, заместитель, невольно отметил про себя, как может изменить человека обыкновенный телефонный звонок.

— Товарищ Микоян? Анастас Иванович? Слушаю.

Берзарин остался сидеть в своем кресле, полковник же невольно поднялся. Микоян был заместителем Председателя Совета Министров СССР, и важность этого разговора была исключительной. Между тем на Берзарина, если посмотреть со стороны, этот вызов особого впечатления не произвел, сидит в своем кресле спокойный, немного усталый, крепкий человек, и лишь в уголках крупных твердых губ притаилась улыбка, выдающая волнение.

— Здравствуйте, товарищ Берзарин, — мягко, с характерным акцентом проговорили в трубке; связь с Москвой успели наладить, слышимость отличная, — Микоян беспокоит вас.

Это была особая форма официальной вежливости. Микоян не мог не знать, что его прямой звонок говорил не только о важности предстоящей беседы, но и подчеркивал значительность личности самого Берзарина, и все же непеременимое в таких случаях «вас беспокоит...».

— Мы с вами лично не знакомы, — продолжал Микоян, — но надеюсь скоро познакомиться. Девятого как особый уполномоченный Советского Союза вылетаю в Берлин.

— Будем рады встретить вас, Анастас Иванович.

— Я чувствую, вы улыбаетесь, товарищ Берзарин. А чему? У вас хорошее настроение?

— Да, настроение у меня хорошее. Победа.

— Победа всегда выдвигает перед победителями целый ряд сложных проблем. Так все-таки чему вы улыбаетесь?

— Это исключительно личное, но я не скрою причины. Прощу извинить, но ваше имя у меня еще в юности всегда ассоциировалось с вкусной едой.

— Вам приходилось голодать в детстве?

— Бывало.

— Понятно. Ничего особенно вкусного я вам не привезу, но все-таки чем-нибудь да помогу.

— Очень на это надеюсь, товарищ Микоян.

— К моему приезду приготовьте приблизительные сведения о потребностях Берлина.

— Эти данные у меня уже есть. Откровенно говоря, они голодают, мои немцы.

— Они уже стали вашими?

— Конечно, я комендант Берлина. Думаю, что в какой-то мере они стали и вашими, если вам приходится вылетать в Берлин.

— Что верно, то верно, — сказал Микоян.

— Положение у нас сложное, — продолжал Берзарин, — крестьяне продержатся до урожая, а вот рабочим и интеллигенции приходится туговато. Здесь у нас могут быть потери. Им нужно помочь в первую очередь. У них нет запасов ни материальных, ни моральных. Помочь нужно по всем направлениям, но прежде всего их надо накормить.

— Это верно, о моральной поддержке тоже нужно подумать, — почему-то помедлив, проговорил Микоян и тут же обычным своим деловым тоном спросил: — Как выглядят ваши данные?

— Для обеспечения Берлина по минимальным нормам, чтобы продержаться до урожая, необходимо около ста тысяч тонн зерна, шестьдесят тысяч тонн картофеля, пятьдесят тысяч тонн мяса...

— Ну и аппетит у вас, товарищ Берзарин, — перебил Микоян.

— Это не у меня — у Берлина. Немного зерна я надеюсь выпросить у маршала Жукова, но его возможности ограничены...

— Хорошо, подумаем. Они не завышены, ваши данные?

— Нет, наоборот, думаю, что занижены, это же Берлин...

— Также верно, — снова медленно проговорил Микоян. — Хорошо, подумаем, как его накормить... Когда создадите магистрат?

— Переговоры между политическими партиями уже ведутся. Ведь их нужно почти заново создавать, эти демократические политические партии. Но работа идет полным ходом. Недели через две будет учредительное собрание магистрата с моим докладом.

— Важно, товарищ Берзарин, чтобы немцы сами создавали свое новое демократическое государство, с вашей помощью, но сами. Вы сделаете хороший доклад, я приеду не с пустыми руками. Берлин должен жить.

4

Они встретились точно в одиннадцать: Жуков никогда не заставлял себя ждать. Берзарин откровенно удивился, увидев маршала, — глаза озабоченные, строгие, словно и не было победы.

Видно, нелегко живется и после победы. Такой победы... А все-таки улыбается маршал теперь чаще.

— Поехали, покажете мне вашу рейхсканцелярию.

Он говорил про последнее убежище Гитлера так, словно оно было личным трофеем Берзарина.

На трех машинах они медленно двигались к центру Берлина. Улицы не такие просторные, как хотелось бы коменданту. И Жуков поглядывает без одобрения. Вчера бы ему поездить по Берлину... Вместе с маршалом член Военного совета фронта и какой-то корреспондент. Ну что ж, газета — вещь необходимая.

В машине рядом с Берзариным — член Военного совета армии генерал Боков. Вид у него встревоженный и озабоченный. Когда поблизости такое высокое начальство...

До рейхсканцелярии добрались минут за пятнадцать, и то хорошо. Машины остановились.

Ступив на разбитый асфальт, Жуков умолк. Слушает, что ему говорят, жадно впитывает каждое слово, а выражение такое, будто уже все знает, будто побывал здесь не раз.

В саду, за бункером, разрыта яма, и около нее два обгорелых трупа. Оpoznать их невозможно.

— Мы имеем основание утверждать, что один... вот — Гитлер, — выступил вперед комендант рейхсканцелярии.

— Доказательства?

— Зубные протезы. Удалось разыскать личного дантиста... он подтвердил, что это его работа, больше того, нашел модель зубов. Совпадает.

— Все материалы немедленно передайте в штаб фронта.

И снова молчит Жуков. О чем думает он в эти минуты? О годовом Ленинграде или о первом дне войны, когда напролом, трубя в победные фанфары, шли гитлеровцы по нашей земле? Ничего не прочитаешь на его застывшем лице.

— Вернемся в кабинет...

Что еще хочет увидеть там маршал, с какой новой точки зрения взглянуть на «логово зверя»?

Вошли в высокую, просторную комнату с камином и старинным оружием, развешанным по стенам. Широкие окна выходят в опаленный садик. Одни двери ведут в длинную комнату рейхсканцелярии, другие — вниз, в подземелье бункера, в случае опасности фюрер в одно мгновение мог очутиться под защитой железобетона. Кресло его еще стоит у торца длинного стола.

Жуков остановился посредине кабинета, оглядел стены, потолок, выбитые окна, потом сказал:

— Помещение хорошее, и, чтобы привести его в порядок, потребуется немного времени, но выглядит все это как-то театрально. — Понимая, что его слова требуют пояснения, добавил: — Через несколько дней гитлеровцам придется подписывать акт капитуляции. Они там, на Западе, затевают говорильню на эту тему, хотят будто бы сдаваться только англо-американцам. Но

ничего у них из этого не выйдет! Придется подписывать капитуляцию при участии всех союзников. И вот я подумал сначала, не устроить ли это здесь... А сейчас прикинул и вижу, не надо этого делать. Дешевые эффекты — не для нас. Капитуляцию они подпишут в штабе вашей армии, Николай Эрастович. Есть там подходящее помещение?

— Столовая штаба разместилась в довольно большом зале. Его можно быстро приспособить...

— Вот и прекрасно, — впервые за все время маршал скупно засмеялся, — свою полную и безоговорочную капитуляцию гитлеровцы подпишут в столовой штаба пятой Ударной армии Первого Белорусского фронта. Лучшего места не найти.

— А может, все-таки здесь, товарищ маршал? — засомневался Боков. — Поучительно это выглядело бы с точки зрения истории: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.

— Нет, — ответил Жуков, — свою капитуляцию они подпишут в столовой армейского штаба. Самое подходящее для этого место. — Еще раз оглядел все вокруг, словно проверяя себя, и добавил: — Поехали, товарищи, больше не вижу здесь ничего интересного. Мы, военные, свое дело сделали, теперь пусть ломают головы дипломаты.

— Нет, военным придется тут еще немало поработать, — заметил Берзарин, все время думавший об удобном моменте, когда можно будет сказать Жукову о нуждах Берлина.

— Заговорил комендант города, — улыбнулся Жуков. — Ну что ж, Николай Эрастович, вы правы. Поработать придется.

— В городе голод, товарищ маршал, — понимая намерения Берзарина и приходя ему на помощь, сказал Боков.

— А иначе и быть не могло, — ответил Жуков, — и вина в том не наша. Они заварили кашу, пускай сами и расхлебывают.

— Я хотел бы, чтобы им было что расхлебывать, — сказал Берзарин, доставая листок бумаги. — Вот здесь мы приблизительно подсчитали потребности Берлина.

Жуков взял лист плотной бумаги, отодвинул на вытянутую руку, потому что не хотел доставать очки, прочитал написанное, не удивившись, спокойно посмотрел на Берзарина.

— Я хочу, чтобы вы имели совершенно точное представление о своей работе, Николай Эрастович. Перед нами стоит задача денацифицировать, демилитаризировать и демократизировать Германию. Делать это мы будем все вместе, начиная от Особого отдела «Смерш» и до политуправления, включая все штабы комендатуры, в том числе и ваш. Но надо все время помнить, что ни одна из этих проблем не может быть решена без участия самих немцев. Более того, они должны быть главной движущей силой, а мы обязаны помочь им создать условия, при которых возможна демократизация. А какая тут демократизация, когда дома дети голодные плачут? Видели, как немка суп в развалины несла? Нисколько не откладывая решения этих важнейших исто-

рических проблем, вам придется сосредоточить все свои усилия на Берлине, на нормализации его жизни. Здесь не может быть очередности, разговаривать о демократизации с голодными людьми нельзя. Так или иначе эти три «де» все время будут возникать перед вами, но главная ваша задача — Берлин, если хотите — спасение Берлина. Я вас назначил его комендантом и с вас буду спрашивать. И не рассчитывайте, что я все время буду вам помогать...

— Это не мне, товарищ маршал, — тихо сказал Берзарин.

— Знаю, — рассердившись, проговорил Жуков, — я хорошо это знаю! И нечего здесь больше время понапрасну терять. Поехали.

На Фоссштрассе, за несколько метров до рейхсканцелярии, — знакомая картина: полевая кухня, повар со здоровенным черпаком в руках и около него не толпа, а аккуратная очередь немцев — женщины, дети, старики, все с котелками или кастрюлями в руках, терпеливо, потупив глаза, ждут своей очереди.

Увидели генералов, шевельнулись, словно вытянулись по команде «смирно», и вновь застыли неподвижно, готовые к любой неожиданности.

— Дисциплинированный народ, — сказал Жуков.

— А есть все равно хотят, — добавил Берзарин.

— Есть все хотят, — не меняя тона, жестко бросил Жуков. — Дам вам муки. Не знаю сколько, но дам. Мороки нам с этим Берлином будет — подумать страшно, но ничего не поделаешь. Берлин должен жить.

— Берлин будет жить! — твердо, с нажимом сказал Берзарин, и этим впервые прозвучавшим словам суждено было потом стать и лозунгом, и заклинанием, и мечтой.

А дни завертелись-закружились. Берзарину приходилось делать все: четвертого мая принимать парад 5-й Ударной армии у Бранденбургских ворот; встречать делегацию союзников на Темпельгофском аэродроме; следить за тем, чтобы от Темпельгофа до Карлсхорста можно было свободно проехать; оборудовать штабную столовую для подписания немцами акта капитуляции; отвечать на вопросы иностранных корреспондентов. Но что бы ни происходило в мире, какие бы события ни совершались в поверженном Берлине, Берзарин регулярно ровно в семь часов утра выезжал на своем мотоцикле из ворот инженерного училища в Карлсхорсте и полтора часа ездил по Берлину. Ординарец с автоматом — в коляске. Маршрут мотоцикла точен как часы. После обеда, в четыре, снова такой же объезд города. Некоторых берлинцев, в основном женщин, удалось вывести на расчистку развалин. Конечно, ничтожно мало, если подумать, сколько завалов понадобится разобрать. Но удивительное дело, немцы очень быстро привыкли к мотоциклу Берзарина. Проехал «гене-

раль-оберст» утром, начинают работу, проехал вечером — заканчивают. А Берзарин во время этих поездок все ощутимей замечал тяжелый запах тления: под руинами разлагались трупы. Солнце припекало, и Берлин напоминал зловонную яму, где вот-вот могла вспыхнуть эпидемия.

И вдруг наступила тишина. Разъехались делегации. Разошлись корреспонденты. Берзарин осознал, что сидит в двухсветном зале своей штабной столовой. За окнами чуть занимается рассвет, вокруг бедлам, который обычно бывает после банкета, когда хозяйка, сбившись с ног от усталости, прикорнула на диване, и только хозяин не спит, должен всех проводить, каждому на прощание сказать доброе слово. Это пришло Девятое мая.

Вчера в этом зале гитлеровцы подписали свою капитуляцию. Сегодня в Москве и во всем Советском Союзе прогремит праздничный салют, а здесь, в Берлине, салюта не будет, в Берлине будет работа, работа и еще раз работа. Оглядел опустевший зал. На столах посуда, рюмки, фужеры, банкет был пышным. Жуков хорошо пошутил, приглашая к столу: «Посмотрим, что нам тыл послал». Тыл, этот невидимый, но весьма отзывчивый бог, не поскупился...

Берзарин взглянул на часы, потом на высокое окно. Солнце уже возшло. Пора ехать.

Тишина в Карлсхорсте. Спят делегации союзников и видят радужные сны. Спит генерал-фельдмаршал Кейтель, зная, какая ждет его судьба... Сейчас уберут посуду, вычистят ножи, вилки, и опять станет этот зал обычной штабной столовой. Зал прибрать просто. Берлин так не приберешь.

И снова, как всегда в этот ранний час, ему захотелось стремительного движения. Война, сражение за Берлин, капитуляция гитлеровцев — это уже история, а ему нужно думать о сегодняшнем дне.

— Стакан чая мне и бутерброд!

Выпил горячий чай стоя, потом вышел на крыльцо, сильный и посвежевший, будто и не было этой напряженной ночи, когда он отвечал за все, даже за самую ничтожную малость этой важной церемонии. Ведь впереди добрая половина жизни, и сколько еще проблем он успеет решить... Каждому генералу поставлена задача; его задача — Берлин.

Берзарин оглянулся на дом, ставший со вчерашнего дня историческим; в четырех гнездах — четыре флага союзных держав, они едва заметно колыхнутся на легком утреннем ветру. Любоваться ими одно удовольствие...

А сразу за Карлсхорстом сплошной хаос: нагромождения кирпича, штукатурки, бетонных глыб... Какие-то люди сидят на обломках бетона, поглядывая на улицу, среди них большинство женщины. Чего они ждут? Его появления.

— Гутен морген, герр генераль-оберст!

— Доброе утро.

Их много, чтобы он смог запомнить каждое лицо в отдельности, они знают его хорошо.

Да, будто установилось личное знакомство.

Он проедет, и они начинают передавать камни из рук в руки, разбирая завалы. И каждый кирпич сопровождают вежливым «битте» — «данке» — «битте» — «данке». Ничего не скажешь, любезны и дисциплинированы. Особенно «вежливыми» они были под Москвой и Ленинградом, в Майданеке и Освенциме...

— Гутен морген, герр генераль-оберст!

— Доброе утро.

«Битте» — «данке», «битте» — «данке».

Сегодня в девять в комендатуре он впервые будет принимать просителей. Они придут, в этом можно не сомневаться, и каждый будет стараться спасти хоть что-нибудь из своего прошлого.

— Гутен морген, герр генераль-оберст!

— Доброе утро.

Минута за минутой, квартал за кварталом, километр за километром наматывают колеса мотоцикла. Девятый час, пора возвращаться. Вот и Альт-Фридрихсфельде, широкая улица, на которой разместилась комендатура. Помещение это временное. На Луизенштрассе, в центре, саперы уже ремонтируют большое здание. Дело, конечно, не в помещении, а в том, что удастся ему, Берзарину, сделать в Берлине. Ничего, за этот город отвечает не только он, но и вся Советская Армия, до Верховного командования включительно.

Подумав так, Берзарин улыбнулся. Мысль верная. О Берлине думают и в Москве и за океаном. Сегодня в Берлин прилетает Микоян. В этом городе скрестились все расчеты, устремления и планы, от которых зависит будущее.

Перед входом в комендатуру двое часовых. Над воротами красный флаг; вывеска написана черным по белому на большом деревянном щите: «Советская комендатура г. Берлина». На Луизенштрассе эти же слова будут написаны золотыми буквами на черном камне.

Быстро прошел к себе в кабинет. В приемной какие-то штатские, словно бы знакомые, а скорее всего незнакомые люди. Глаза полны то страха, то надежды, а иногда и злобной неприязни. Женщина с ребенком. Ничего приятного эти люди ему не сообщат. Хотя, откровенно говоря, ему совершенно безразлично, потому что в сердце все время звенит радостная струна: война окончилась.

Сел за стол, широкий, по-немецки солидный, основательный. Интересно, в каком банке или архиве его раздобыли? Бумаги уже завелись на столе, как мыши в доме, никуда от них не денешься.

Давала о себе знать бессонная ночь. Поднял руки, потянулся так, что в плечах хрустнуло, ничего, есть еще силенка. Генерал Боков спит себе, конечно, после подписания капитуляции, как и

все нормальные люди, только ему, Берзарину, коменданту, не спится.

Но скрипнула дверь, и, к удивлению Берзарина, которому казалось, что в этот ранний час все спят и только он один несет вахту, генерал Федор Ефимович Боков появился в кабинете: высокий, худощавый, с темной густой шевелюрой. Они почти одноклассники, а волосы Берзарина уже изрядно седые. И поздоровался Боков как-то непривычно, не по-военному. Неужели на всех наложила свой отпечаток победа и подписанная вчера немцами капитуляция? Боков, видно, тоже целую ночь не спал, но веселый, улыбочливый.

— Знаешь, — сказал, садясь на стул, — я только после вчерашнего вечера, после капитуляции, по-настоящему понял, что война окончена. Кейтель выглядел, мягко говоря, несолидно. Понимал ведь, что роль его мизерная, позорная, а все-таки размахивал фельдмаршальским жезлом, хотел напомнить хотя бы под занавес о себе, о своем высоком военном звании. Ну прямо как в оперетте.

— Им всем хотелось бы, — зло заметил Берзарин, — попригляднее предстать перед историей, да не выйдет. Историю не улуочишь и не ухудшишь.

— Зато можно взглянуть на нее с разных точек зрения, — возразил Боков, — и в зависимости от этих точек зрения будет оцениваться работа, скажем, коменданта Берлина.

— Вот это меня серьезно волнует, — улыбнулся, охотно подхватив шутку, Берзарин. — Здесь ты прав. — И сразу же прогнал улыбку с лица, оно вдруг постарело, проступили усталость и напряжение последних дней. — Ты также прав, подметив, что многое зависит от точки зрения. Так вот, в своих собственных глазах, а это, пожалуй, немаловажный критерий, хочу, понимаешь, быть хорошим комендантом Берлина. Хочу, а не выходит! Ничего у меня не получается. И главная причина в чем, ты думаешь? Сейчас многие тут говорят, что ненавидели Гитлера и даже боролись против нацистов. А мне не слова, мне дела нужны. Ты скажешь: был Тельман, есть Вильгельм Пик и его товарищи. Все верно, они борцы, коммунисты, им я верю, как самому себе. Но речь идет не о них. Мне необходимо увидеть рядового, обыкновенного немца, который боролся против Гитлера не на словах, а на деле, вот тогда, может, я и смогу полюбить этот город.

— Полюбить? — удивился Боков. — Этого от тебя никто не требует...

— Верно, никто не требует, кроме меня самого. Каждое дело, если ты за него берешься всерьез, нужно любить. Не полюбив Берлина, разве можно его понять? А без понимания — какой из меня комендант...

— Ты заостряешь, конечно, но, в общем-то, говоришь верные вещи, — медленно сказал Боков. — В твоих словах есть глубокая

мысль. Дело это непростое, и именно в этом я попробую тебе помочь.

— У тебя есть такая возможность?

— Пока не знаю. Но скоро буду знать. У тебя сейчас прием?

— Да.

— Мне тоже интересно послушать. Я пока пойду, а через полчаса вернусь. Не возражаешь?

— Пожалуйста. Поможешь мне. Откровенно говоря, не очень-то представляю, как буду с ними разговаривать...

Когда Боков вышел — высокий, подтянутый, гимнастерка «в рюмочку» подпоясана армейским ремнем (интересно, когда это он успел переодеться после церемонии в Карлсхорсте), — Берзарин хмуро оглядел большой кабинет, окна, отбрасывающие на пол косые лучи солнца, потом нажал кнопку. Один из адъютантов, капитан Староверов, появился мгновенно, словно стоял за дверью и ждал этого звонка, — благоухает одеколоном, черные волосы, гладко причесанные и смазанные бриллиантином, блестят. Таким Берзарин его никогда не видел.

— Ну, что там у вас, Староверов?

— Многие хотят попасть на прием к коменданту Берлина.

— Знаю. Они все теперь без меня жить не могут. Там, в приемной, была женщина с ребенком. Давайте с нее и начнем.

— Там еще этот писатель...

— Какой писатель?

— Ну, тот, который жаловался...

— А, черт. — Берзарин поморщился. — Ладно, пусть ждет.

Адъютант вышел и тут же вернулся, пропуская вперед молoduю немку с маленьким, спеленатым ребенком на руках.

— Фрау Герда Баум, прошу.

Берзарин взглянул на свою первую посетительницу, удивился: лицо показалось знакомым. Откуда он знает эту женщину? Адъютант закрыл дверь и остановился у порога: коменданту могла понадобиться помощь переводчика.

— Здравствуйте, — вдруг звонко и радостно проговорила Герда Баум. — Это вы?

— Я, — сухо ответил Берзарин, не понимая ее восторга. — Чем я вас так обрадовал?

— Я вас знаю! Это вы приказали отвезти меня на машине в санчасть...

Берзарин мигом вспомнил темный, пропыленный подвал, профессора с седыми подстриженными волосами, старую немку, которая привыкла ко всему на свете и уже ничего не боялась... Но все это показалось невероятно далеким, будто возвращенным из незапамятных времен, хотя и прошло с тех пор всего две недели. Отчего же это так воспринимается? Да оттого, что между той встречей и сегодняшним днем пролегла целая эпоха — окончилась война. И все же память не смягчила Берзарина, не

сделала немку в его глазах более приятной, хотя он и сказал, стараясь быть любезным:

— Значит, это мой крестник? Все тогда благополучно обошлось?

— Да, спасибо. Карлу уже две недели, вы не представляете, какой это смысленный ребенок, он уже улыбается.

— И теперь вы хотите, чтобы я ему, как и всей Германии, подарил серебряную ложечку на зубок?

— Нет, этого мало, — сказала Герда Баум и запнулась.

— Чего мало? — удивленный ее тоном, переспросил Берзарин.

Ему всегда удавалось понимать настроение людей, и сейчас он видел, что эта женщина находится на грани нервного срыва, так она была перепугана и взволнована, и что-то похожее на чувство уважения, вызванное этой отчаянной смелостью, шевельнулось в его сердце.

— Да, мало, — стараясь быть твердой и спокойно-уверенной, продолжала Герда Баум, — мало. Позавчера я вышла из вашего госпиталя и попыталась найти немецкую больницу. Ребенку нужны документы, которые можно было бы прочесть в Германии, а не в вашей стране. Я и нашла ее, эту нашу больницу. Война войной, она начинается и — приходит срок — заканчивается, а женщины рожают, ни на что не обращая внимания, рожают в грязных и темных подвалах. Там нет лекарств, нет врачей — они мобилизованы на фронт. Женщины-акушерки боятся идти в эти больницы. Без вашей помощи произойдет катастрофа. Там настоящий голод. Воду приходится носить из Шпрее, а роженицы прибывают. Они не могут ждать, потому что настал их час. Вчера я видела в Лихтенберге, как умирал ребенок. Вы когда-нибудь видели это, господин комендант?

Голос Герды Баум вдруг окреп, стал сильным, и никакого следа страха или волнения в нем уже не ощущалось. Она переступила какую-то высокую грань, и все мелкое, личное сразу исчезло.

— Товарищ генерал, — неожиданно отозвался от дверей капитан Староверов, — десяток-другой килограммов...

Герда Баум разобрала слово «килограммов», а остальное, видно, постигла душой — то, что хотел сказать капитан.

— Нужны не килограммы, — сказала она, — в Берлине должен быть человек, который отвечал бы за жизнь грудных малышей. Ведь они не были нацистами и, очевидно, ими не будут.

Она говорила твердо и уверенно, не зная, имеет ли право так говорить, и одновременно убежденная, что иначе говорить не может.

Берзарин посмотрел на нее внимательно, в глубине темных зрачков ожил интерес и смягчил взгляд холодных серых глаз.

— А вы, фрау Баум, вы были нацисткой?

— Нет, не была.

— И вы, конечно, сочувствовали коммунистам?

— Вы имеете основания говорить в таком тоне. Сейчас все твердят, будто сочувствовали коммунистам. Я этого не скажу. Я им не сочувствовала. Наоборот, я, швея на фабрике, шила комбинезоны для гитлеровских летчиков и танкистов.

— Ну, нахальная баба,— сказал капитан Староверов,— они сейчас все такие, товарищ генерал, очень смелыми стали. Терять им нечего, вот они и зарываются...

— Нет, Староверов,— ответил Берзарин,— это не нахальство, а черта характера. Ей есть что терять, у нее на руках сын.— И, снова переходя на немецкий язык, спросил: — Кто ваш муж, ффрау Баум?

— Был рабочий, слесарь.

— Почему был? Погиб?

— Не знаю. Его мобилизовали три месяца назад.

— Почему же этого не случилось раньше?

— У него на руке двух пальцев недостает. Сообщили: пропал без вести. Последние недели в Берлине было нетрудно и погибнуть. Но я надеюсь, что он у вас в плену. Жду его.

— А как поживает та бабуся? — заинтересовался Берзарин.

— Гертруда дерет с меня пятьдесят марок в месяц за угол в своем подвале; впрочем, она не хуже других, может, даже лучше. Но мы уклонились от темы нашего разговора. Кто в Берлине отвечает за жизнь малышей? Вы?

— Нет, мы ничуть не уклонились от темы разговора,— впервые за все время беседы улыбнулся Берзарин.— За жизнь малышей в Берлине в первую очередь отвечаю я, но есть еще один человек...

— Кто? Это должен быть офицер высокого ранга. Дело очень важное. Решается будущее немецкого народа. Гитлеры приходят и уходят...

— Вы уже знаете эти слова, ффрау Герда Баум?

— Да, знаю. Ваши громкоговорители на машинах повторяют их все время. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.

— Совершенно верно. Так вот, с сегодняшнего дня за жизнь грудных детей в Берлине отвечаете также и вы, ффрау Герда Баум.

— Я? — не веря своим ушам, стараясь уловить неточность в немецком языке Берзарина, переспросила пораженная Герда. Она могла ждать чего угодно, но только не такого поворота в разговоре.

Берзарин смотрел на нее пристально, словно спрашивал себя, правильно ли он понял характер Герды, принимая такое решение. Кажется, не ошибся. Во всяком случае, выбор у него небогатый. А тот ффакт, что Герда пришла сюда, в комендатуру, по государственному делу, дорого стоит.

— Да, именно вы, — ответил Берзарин. — Сейчас в канцелярии вам выпишут удостоверение, что с нынешнего дня вы отвечаете за жизнь грудных детей Берлина, и отдадут приказ всем нашим комендантам округов оказывать вам всяческое содействие. Вы подыщете себе помощник и разошлете их во все районы Берлина... Постарайтесь сделать так, чтобы эти ваши подружки не были членами нацистской партии или, во всяком случае, хотя бы не обожали Гитлера, чего до сих пор...

— Это же просто безумие! — воскликнула Герда.

Берзарин отлично понимал, что внешне все это выглядит, мягко выражаясь, опрометчиво. Дать хотя бы частицу власти, возможность командовать людям, которых ты совершенно не знаешь, более чем неосторожно, но он верил Герде Баум, верил в честность ее намерений. Вполне вероятно, что среди ее помощник найдутся и такие, которые прежде до хрипоты восхваляли Гитлера... Ничего, потом во всем будет время разобраться. Сейчас нужно спасать берлинских ребятишек. Эту работу лучше других выполнит Герда Баум. Она и такие, как она.

Ему хотелось верить, и все-таки большого доверия к этой молодой, энергичной женщине не было в его душе. Ничего не скажешь, крутые повороты приходится ему совершать в своих чувствах и убеждениях!

А собственно говоря, почему крутые?

Фашисты как были, так и остались фашистами. Честные немцы — честными людьми. И все же так все перепуталось, что ни бог, ни черт не разберется. Где они, эти честные немцы? Эта фрау Баум на митингах, куда они приходили с фабрики, построившись в колонны по четыре, небось громче всех кричала «хайль Гитлер».

А что ей оставалось делать? Не подними руку вперед и вверх — и сразу очутишься в тюрьме Шпандау... Слушай, Берзарин, почему ты ищешь оправдания немцам? Потому что не может быть, чтобы весь народ сгнил на корню, остались же в нем здоровые, свежие ростки! Он будет искать их. А если не найдет?

А если не найдет, то тогда эти свежие, здоровые ростки нужно будет взрастить. Может, именно грудные малыши, которые сейчас рождаются в грязных подвалах, станут в будущем создавать новую Германию... Вполне возможно, что в характере Герды Баум он не ошибся. Ну что ж, будем надеяться.

— Почему же безумие? — сказал он. — А вы думали, что за эти дела возьмутся наши солдаты? У них и без того хватит работы. Вы будете действовать от моего имени, от имени советского коменданта Берлина.

— Я буду действовать от вашего имени? — не поверила Герда Баум. — Но вы же меня не знаете... Я могу и подвести вас...

— Может и так случиться, но не думаю... Сейчас меня интересует только судьба берлинских детей.

— И у меня будет чем их накормить?

— В какой-то мере. Конечно, не так, как хотелось бы, но с голода они не умрут. Через неделю я сформирую магистрат...

Герда Баум ухватила за это слово, как утопающий за соломинку. Вот если бы был в Берлине магистрат...

— Через неделю? А нельзя ли сделать это пораньше?

— Нет, нельзя. Еще только организуются демократические партии. Мне и самому было бы куда легче, если бы существовал магистрат. Все это непросто. В Берлине должны быть честные хозяева, и подобрать их нужно осмотрительно.

— Я понимаю,— почему-то очень тихо сказала Герда Баум.

Сложные чувства сейчас переполняли ее душу, она и верила Берзарину и боялась какого-то подвоха, ловушки. А впрочем, кому нужно устраивать ей, простой работнице, ловушку? Глуposti все это. Если ее не выгнали сразу, то, возможно, удастся принести хоть какую-нибудь пользу детям. Ее вдруг охватила жажда деятельности, благородной, полезной. Генерал Берзарин действительно верит ей или только делает вид, что верит? И все-таки это сейчас не самое главное. Герда постарается доказать всем, что он не ошибся.

— А может...— нерешительно начала она.— Может, не только грудных? Маленьким детям тоже очень трудно.

Удивление, любопытство и озорная искорка мелькнули в глазах Берзарина и тут же исчезли. Была ли фашисткой Герда Баум — неизвестно, но вот в энергии ей не откажешь. Это уж точно.

— Пожалуйста,— сказал генерал,— заботьтесь не только о грудных детях. Староверов! Выпишите ффрау Герде Баум удостоверение в том, что она является уполномоченной комендатуры по делам обеспечения детей. И давайте следующего просителя. А то мы и так задержались.

— И можно будет действовать от вашего имени? — желая все уточнить, а главное, убедить себя, переспросила Герда.

Новая нотка прозвучала в ее голосе. Староверов встревожился, вопросительно взглянул на генерала.

— Можете действовать от моего имени,— подтвердил комендант.

— Товарищ генерал, да она с таким удостоверением весь Берлин вверх дном перевернет,— сказал капитан.

— Вот и отлично,— улыбнулся Берзарин.

— Не рискованно ли? Может, прежде посоветоваться?

— С кем? С Москвой?

— Нет, с немецкими товарищами.

— «Активисты первого часа» тоже организуют помощь детям. А ффрау Баум им не помешает. Чем больше будет народу думать о детях, тем лучше. О ее прошлом нужно будет узнать, но главное сейчас — активная и полезная деятельность.

— Рискованно. Очень рискованно,— покачал головой капитан и подумал, что с таким методом подбора кадров Берзарин

вряд ли долго удержится комендантом Берлина. К своему комендарму капитан относился с обожанием, для него генерал был образцом, и очень не хотелось бы, чтобы у того были неприятности.

Герда Баум вышла из кабинета, дверь сразу распахнулась, и на пороге появился член Военного совета армии Боков в сопровождении высокого изможденно-худого немца.

— Ну, Николай Эрастович, — весело заговорил Боков, — вот тебе подарок. Знакомьтесь: художник Отто Вангель.

Берзарин взглянул на художника. Не нужно быть ясновидцем, чтобы понять, что Вангель много лет провел в тюрьме. Фашистский концлагерь оставляет на человеке, лице его, характере, поведении неизгладимые жестокие следы. Стоит только раз повидать одного такого узника после освобождения, чтобы потом уже безошибочно узнавать других. Берзарин видел подобных людей не единицами, а тысячами...

И все-таки лицо Вангеля было особенным, оно даже теперь, после концлагеря, после стольких перенесенных лишений и унижений, не огрубело, было мягким, тонким, интеллигентным. Видно было, что Вангель после концлагеря побывал дома, переделся: на нем был приличный костюм, хотя и висел на его плечах, как на вешалке. Лицо прорезали глубокие продольные борозды, щеки запали, седые волосы, по-лагерному коротко стриженные, отступили, открывая высокий лоб, и глаза на этом худом, желтовато-бледном лице казались удивительно прозрачными, даже трудно было определить, какого они цвета. «Этот человек много и глубоко страдал», — подумал Берзарин, пожимая в приветствии руку Вангеля.

— Мне нужна ваша помощь, — заговорил Вангель.

— В Берлине всем пужна наша помощь, — улыбнулся Берзарин.

— Простите, — торопливо, словно опасаясь, что не хватит времени на рассказ, и даже немного заикаясь от волнения, заговорил Вангель. — Я неделю назад вышел из концлагеря Заксенхаузен. Был очень слаб, и какое-то время пришлось отлежаться. Товарищи из «Группы активистов первого часа» советовали еще полежать, но у меня не хватило терпения... хотя я не совсем здоров. Дело чрезвычайной важности... Понимаете, в тридцать втором году, еще перед приходом Гитлера к власти, я был в Москве с выставкой нашей художницы-антифашистки Кете Кольвиц. Вы, возможно, в свое время читали о ней в газетах.

— Конечно, — сказал Берзарин. — У меня даже альбом ее рисунков был. Удивительно точно передает она человеческие страдания.

— Совершенно верно, — обрадовался Вангель, — по речь сейчас не о ней. Там, в Москве, мой друг скульптор Меркуров подарил мне посмертную маску товарища Ленина. Он снял ее в ночь на двадцать второе января двадцать четвертого года. Я привез ее в Берлин и часто показывал товарищам.

Вангель замялся, видимо, воспоминания о той, ушедшей, счастливой жизни, когда он был молодым, полным сил и надежд художником, охватили его душу, но он не позволил себе отвлекаться.

— Потом пришли гитлеровцы. Они пришли в буквальном смысле этого слова, не только к власти, но и ко мне домой. Валли — это моя жена — сразу все поняла, она накинула на маску кусок мокрого полотна. Штурмовики все перерыли, но никому в голову не пришло отодвинуть полотно, и они не заметили главного. Меня арестовали, били, конечно, но я не проговорился. Оказывается, человек создан из весьма прочного материала; статуя, даже каменная, от таких ударов раскололась бы вдребезги. Меня бросили в тюрьму, потом выпустили, потом снова бросили в концлагерь, но маску они так и не нашли. Валли передала ее надежным людям. Они перепрятали ее, подвергаясь смертельной опасности, и, мне кажется, я сейчас знаю, где она спрятана.

— Нравится тебе такой факт? — спросил Боков.

— Кажется, что знаете, или знаете наверняка? — переспросил Берзарин.

— Знаю, — не вполне уверенно ответил Вангель.

— Понятно, — напряженно думая о чем-то своем, будто глубоко заглядывая себе в душу, сказал Берзарин. — Я охотно вам поверю после того, как увижу маску. Рассказнями об антигитлеровской деятельности я уже сыт по горло. Мне нужны факты.

— Это я понимаю, — сказал Вангель, — мне бы поехать в Рейнникендорф. Она там, маска...

Берзарин нажал кнопку. Староверов появился на пороге.

— Ляхова сюда!

Вангель минуту помолчал, словно не зная, стоит ли продолжать разговор, потом, решившись, сказал:

— У меня еще одна просьба... Я еще хотел сказать, в Берлине сложилась очень сложная ситуация, я бы назвал ее угрожающей... Я говорю о моих коллегах и друзьях, художниках, писателях, артистах. Конечно, они далеко не все были активными борцами-антифашистами, но... С Гитлером они не сотрудничали, это я знаю наверняка. Разумеется, их не назовешь смелыми людьми, но в гитлеровские времена не кричать на каждом шагу «хайль» тоже было не просто. Одним словом, это люди с какими-то жизненными принципами. Вы можете согласиться или не согласиться со мной, это уж другой вопрос. Так вот, сейчас они голодают, но они гордые. У Гитлера ничего не просили, у вас тоже ничего не попросят.

— И вы в том числе?

— Да, и я в том числе. Я у вас лично для себя ничего не прошу, потому что понимаю все трудности... Но мы с вами можем понести большие потери.

— Мы с вами? — переспросил Берзарин.

— Да, именно мы с вами. Я имею в виду моральные потери. Было бы желательно, чтобы дни освобождения от гитлеризма, дни прихода Советской Армии не ассоциировались в их сознании с голодом.

Берзарин и Боков переглянулись. Вангель знал о немцах, конечно, значительно больше, нежели офицеры комендатуры.

— Вы можете составить списки людей, которым труднее всего?

— Они у вас ничего не возьмут, а я стану в их глазах чем-то вроде вашего агента. Нужно искать другой путь.

— Почему не возьмут? — допытывался Боков.

— Потому что в их глазах это означало бы продать вас за чечевичную похлебку. Они не очень-то сильны в политике.

— Хорошо, найдем выход из этого положения, — сказал Берзарин, — сначала давайте закончим дело с маской.

— Совершенно верно, — тихо ответил Вангель.

Дверь открылась, вошел ординарец Ляхов, вытянулся у порога, рука, вскинутаая упругим и четким движением к пилотке, замерла, сапоги сверкают, на гимнастерке — ни морщинки.

— Возьмите с собой двух бойцов, — приказал Берзарин, — и немедленно ежайте с товарищем Вангелем... Он скажет, куда... Имейте в виду, это — государственное дело. Отнеситесь с ответственностью...

— Ну, Николай Эрастович, как тебе подарок? — спросил Боков, когда они снова остались одни в кабинете.

— Сложная штука Берлин, — неопределенно ответил Берзарин.

Ему самому сейчас нелегко было определить собственные чувства. Несомненным осталось только одно: он вживался в свою работу, становился как бы неотъемлемой частью города. Во всяком случае, появление Вангеля прибавляло к портрету Берлина какую-то новую, приятную черту, оспаривать это было бы бессмысленно.

— Ты уже успел полюбить город? — чуть-чуть иронически спросил Боков. — Я же тебя знаю, ты ничего не умеешь делать вполсилы. Не пройдет и недели, как ты станешь заядлым берлинцем.

— Полюбил? — медленно переспросил Берзарин. — Нет, до этого еще далеко. Хотя, откровенно говоря, очень хотелось бы, чтобы этот город был достоин такого чувства. А вот что комендант становится его частью, так это закономерно. Иначе и быть не может.

Боков только улыбнулся в ответ.

Берзарин нажал кнопку, в дверях появился Староверов.

— Я вызывал представителя метро.

— Он уже здесь, товарищ генерал. Кроме того, я докладывал, ждет писатель...

— А, черт, — вновь поморщился комендант. — Ну, Федор Ефимович, хлебнем мы здесь сладкого до слез... Подождите, капитан, — почти на пороге задержал адъютанта Берзарин и, что-то припоминая, спросил: — У нас в армейской газете был писатель Владимир Котов. Как он, жив-здоров?

— Так точно, писатель капитан Котов жив и здоров.

— Отлично. А писатель он хороший?

Адъютант не растерялся. Он привык на ясно поставленные вопросы давать ясные ответы и потому сказал:

— Так точно, хороший. Книжка с его портретом на обложке вышла недавно в Москве. Абы кого там печатать не будут.

— А вы читали эту книжку? — спросил Боков.

— Нет, только видел, товарищ генерал, для чтения художественной литературы в последнее время у меня было мало времени.

— Вот это уж точно, — усмехнулся Берзарин. — Вызовите его ко мне. И давайте сюда этого немца с его женой...

Боков поднялся с кресла, тоже направился к двери, на ходу обронив:

— Понимаешь, Николай Эрастович, у меня сейчас совет...

— Понимаю, — засмеялся Берзарин. — Не хочешь присутствовать?

— Легче повеситься!

— Мне тоже. И все-таки подожди. Нельзя в сложной обстановке бросать своего командарма на произвол судьбы.

— Хорошо, — хмуро ответил Боков, возвращаясь и снова сядя в кресло возле окна.

Дверь приоткрылась, и писатель Ганс Флазер с женой в сопровождении адъютанта появились на пороге кабинета. Берзарин отвел взгляд: таким неприятным казался предстоящий разговор, зато Боков внимательно посмотрел на лица посетителей.

Ганс Флазер выглядел именно так, как обычно в сатирических журналах рисуют известных старых писателей. Довольно высокий, плотный, с весьма заметным животом, в больших роговых очках, с обширной блестящей лысиной, окруженной пышной гривой седых волос. Ему было далеко за шестьдесят, но взгляд его по-стариковски выцветших глаз, увеличенных сильными стеклами очков, был пытливым и умным. Полные, плотно сжатые губы под крупным мясистым носом кривились сердито и иронически. Он был переполнен обидой и протестом, однако держался спокойно, с достоинством; когда начал говорить, голос звучал подчеркнуто размеренно.

Жена его Розамунда Флазер была полная противоположность своему мужу. На ее круглом бело-розовом лице сияли широко распахнутые голубые, детски наивные глаза. Подбородок с едва заметной ямочкой, маленький вздернутый носик и выражение полной беззащитности во всем облике. Она не была миниатюрной, наоборот, под плащом легко угадывалось крупное и сильное тело, но беспомощное детское движение руки, которой она вцепилась в локоть Флазера, ясно давало понять, что она боится и уважает своего мужа, восхищается им и его талантом, и остальные мужчины для нее просто не существуют. Советских генералов она, видимо, испугалась, потому что поспешила спрятаться за плечо супруга и теперь растерянно, но с любопытством выглядывала, будто из засады.

— Господин комендант, — уверенно начал Флазер, и адъютант Староверов, который был хорошим переводчиком, точно передал не только смысл, но и интонацию писателя, — я должен заявить решительный и категорический протест против нарушения правил обращения с военнопленными и цивильными особами на оккупированной территории, которые были утверждены Женевской конвенцией. Моя жена пострадала.

— Это очень неприятно, — сказал Берзарин, и было видно, как много бы он дал, если бы удалось побыстрее закончить это дело. — Садитесь, пожалуйста.

— Я возмущен и не могу принять вашего приглашения, — заявил Флазер, а жена его посмотрела на коменданта, на Бокова, отступила на шаг и осторожно присела на стул, набожно прижав руки к высокой груди.

И именно этот жест подчеркнутой невинности что-то открыл Бокову в этой скромной на вид молодой жешчине. Теперь член Военного совета смотрел только на Розамунду Флазер, стараясь не пропустить ни одного, даже мимолетного выражения ее лица.

— Как хотите, — сказал Берзарин, — можете стоять. Кто вы?

— Как, вы не знаете? — удивился Флазер и оглядел остальных присутствующих в кабинете, словно призывая их в свидетели. — Я Ганс Флазер, писатель, год рождения тысяча восемьсот восьмидесятый, Берлин. Вот мой последний аусвайс, а это мой паспорт, выданный еще в кайзеровские времена. Я думаю, документы убедительные?.. Ну вот, а это моя жена, Розамунда Флазер, тысяча девятьсот пятнадцатого года рождения, Ганновер. Пусть разница в возрасте не вызывает у вас улыбки, у нас, в Германии, принято, чтобы муж был значительно старше своей жены, это сохраняет свежесть чувств и укрепляет семью. Должен заметить, что один из моих романов еще до войны был переведен на русский язык. Вы не читали?

— Нет, не читал, но имя ваше мне известно.

Флазер выставил вперед правую ногу и развел руками. Берзарину казалось, будто писатель все время поглядывает на себя

со стороны, насмешливо, но одновременно и с интересом, словно спрашивает: «А ну, Флазер, какое еще выкинешь ты коленце? Где, в трагедии или водевиле, придется тебе играть роль?»

— Совесть у меня чиста, — торжественно заявил он. — С первого дня прихода Гитлера к власти я сидел в своей квартире, как мышь в глубокой норе. Если вы думаете, что это было легко, то глубоко ошибаетесь. Фюрер очень хотел, чтобы я написал хоть одно доброе слово о нем и его системе. Даже не о нем самом, а просто так написал что-нибудь. Это означало бы, что я сотрудничаю с фюрером, признаю нацизм. И он не ждал, а действовал, пригласил меня к себе в рейхсканцелярию и спросил, почему я молчу? Если меня из рейхсканцелярии не отвезли в гестапо, то только потому, что фюрер надеялся на мое согласие. Я личность не героическая, я боялся его, дрожал, как шелудивый пес, но все-таки молчал, рискуя жизнью...

— Какое впечатление производил он на вас как человек? — неожиданно спросил Боков, и Флазер удивленно взглянул в его сторону.

— Как человек? Может, я когда-нибудь и напишу об этом. Он был не немец. Настоящим немцем был кайзер. А этот — так... Лакей, который стал королем, все равно остается лакеем. Но мы с вами уклонились... Так вот, я изо всех сил сопротивляюсь фюреру, а потом приходите вы, освобождаете нас от фашизма, и мимоходом двое ваших людей... вот таким образом обходятся с нашими женами. Очень красиво!

Берзарину этот разговор был как нож в сердце.

— Вы можете быть уверены, что виновные будут сурово наказаны, — стараясь быстрее закончить беседу, сказал он. — Но что, собственно, произошло?

— Если вина будет доказана, — вставил Боков, не спуская глаз с женщины.

— Вы спрашиваете, что произошло? — воскликнул Флазер. — Не догадываетесь?

— Хорошо, мы постараемся найти виновных, — поморщился Берзарин. — Я глубоко сожалею и как комендант сделаю все, чтобы подобное не могло повториться. Какие на них были погоны?

— Серо-зеленые, — ответил Флазер. — У одного четыре маленьких звездочки, такие, как у вас, — повернулся он к капитану.

— Ясно. Вы еще что-нибудь о них знаете?

— Я знаю главное, — словно выкладывая на стол козырного туза, веско сказал писатель, — номер машины, на которой они приезжали. Синяя «ДКВ», номер тридцать девять — двенадцать. Этого достаточно.

— Ты ошибаешься, Гапс, — прозвучал в кабинете мелодичный голосок Розамунды Флазер, — у тебя дальтопизм, и ты можешь обрушить кару на невинных людей. Машина была не синяя, а зеленая.

— Неправда, — сказал Флазер, крайне удивленный, и посмотрел на жену так, будто вообще увидел ее впервые. — Я вовсе не ошибаюсь. Номер я запомнил абсолютно точно.

— И все-таки ты ошибаешься, — стояла на своем Розамунда. — Номер машины был девяносто три — двадцать один, те же цифры, только в другом порядке. И цвет машины — зеленый.

Боков, который внимательно прислушивался к этому спору, вдруг вмешался в разговор.

— Простите, фрау Флазер, — сказал он, — но мне хотелось бы знать подробнее эту историю. Услышать, так сказать, в деталях.

— Побойся бога, Федор Ефимович, — ничего не понимая, покачал головой Берзарин. — Ну зачем тебе детали? Разве и так не ясно?

— Нет, не все ясно, — настаивал генерал. — А детали я люблю. Только они вырисовывают полную и настоящую картину.

— Ну, — пожал плечами комендант, — как хочешь, конечно...

— Прошу вас, фрау Флазер, — проговорил Боков, — расскажите нам все в деталях. Староверов, переводите как можно точнее.

— Не понимаю причин твоего хорошего настроения, — сердито буркнул Берзарин.

— Люблю интересные истории, — улыбнулся Боков. — Прошу вас, фрау Флазер. Обстоятельно. С подробностями.

Розамунда Флазер посмотрела на него внимательно, но даже тени беспокойства не отразилось в ее ясных, словно фарфоровых глазах.

— Пожалуйста, я расскажу, — спокойно сказала она, — тут абсолютно нечего скрывать! Эти люди подъехали на машине под номером девяносто три — двадцать один к нашей усадьбе (мы живем на окраине Вайсензее), прошли по дорожке, мощенной красной плиткой, к дому, калитка не была заперта, постучали в дверь, и, когда я открыла, потому что поняла — это представители оккупационных войск, которым обязательно полагается открывать, они попросили разрешения пообедать, то есть, вернее, разогреть мясные консервы, которые они привезли с собой — в банках без этикеток, очевидно советского производства. Я, конечно, очень испугалась, неподалеку от нашего дома еще рвались снаряды, но охотно разрешила, тем более что у нас самих на обед ничего не было. Они принесли из машины алюминиевую фляжку со спиртом, разведенным процентов на пятьдесят, не больше, кроме того, у меня в буфете нашлось полбутылки ликера «Какао мит нус», весьма приличный ликер, какао с орехами, который когда-то выпускала фирма «Коль» в Дрездене. Запах какао полностью снимает запахи спирта, очень вкусно, а мы так отвыкли от вкусных вещей...

— Где же в это время был ваш муж? — хмуро спросил Берзарин.

— Как где? — удивилась Розамунда Флазер. — Конечно, в бомбоубежище под нашим домом. Ведь совсем неподалеку еще рвались снаряды, уже не говоря об авиационных бомбах. Жизнь моего мужа принадлежит не ему, не мне, она принадлежит немецкой литературе, и он не может позволить себе подвергаться опасности.

— Понятно, — сказал Берзарин. — Дальше.

— Ну вот, мы очень вкусно пообедали...

— Вам не пришло в голову позвать мужа? — спросил Боков.

— Нет, — без тени смущения ответила Розамунда Флазер, — ведь обед не мой, и это было бы невежливо. Ну так вот, мы прекрасно пообедали, а потом капитан начал читать стихи... Вы знаете, создалась какая-то удивительная атмосфера — смертельная опасность, поэзия, аромат ликера «Какао мит нус»... Я и сейчас вспоминаю эти мгновения с удовольствием.

И Флазер и Берзарин посмотрели на Розамунду. Теперь для коменданта кое-что прояснилось. Очевидно, его мысли передалась и Флазеру, потому что писатель посмотрел на свою жену недобрыми глазами, но ничего не сказал.

— Что же было дальше? — мягко спросил Боков.

— Дальше? Я поднялась на минуту к себе в спальню... Мне стало душно, решила переодеться... И там...

Она произнесла это «там» с таким удовольствием, что Флазера передернуло, будто ударило током, но он тут же овладел собой, уже ясно понимая, в какое сложное положение попал.

— Что именно случилось? — вежливо спросил Боков.

— Федор Ефимович! — попробовал остановить его Берзарин.

— Подожди. Мы же должны знать точно, что произошло, — и не подумал отступить Боков. — К вам кто-нибудь поднялся наверх без спросу?

— Я не понимаю, — искренне удивилась Розамунда Флазер. — Чего ради было меня спрашивать? Довольно того, что и я и он знали, что это делается против моей воли... Я ему так и сказала... Но, к счастью, в эту минуту из бомбоубежища вернулся мой муж, я закричала, и он... спас меня!

— О женщины! — простонал Флазер, уже ясно все понимая и не зная, как выпутаться из этой истории. — О женщины! Да! Я пришел весьма ко времени.

Он знал, что путей к отступлению у него нет, нужно до конца держаться своих обвинений, потому что иначе и он и его жена окажутся в положении не то что смешном, а просто безвыходном. Берзарин это тоже понимал и решил прийти на помощь писателю.

— Вы могли бы узнать их? — спросил он.

— Не знаю, — хмуро ответил Флазер. — У меня скверное зрение, а кроме того, когда на меня обрушивается злоба, я просто слепну... В конце концов, искать их не мое, а ваше дело.

— Не беспокойтесь, господин Флазер, непременно найдем и

накажем,— приветливо сказал Берзарин, которому вдруг передалось настроение Бокова.— Дело необходимо довести до конца. Всего доброго.

— Всего доброго,— с облегчением пропела Розамунда Флазер, а писатель, не найдя убедительных слов, подтверждающих его моральную победу, вышел молча.

В кабинете минуту молчали, потом Боков спросил:

— Ну, что скажешь, комендант Берлина?

Берзарин встал из-за стола, прошелся из угла в угол, взглянул на дверь, закрывшуюся за супругами Флазер.

— О Флазере ничего не скажу. Но мадам... Зальет эта дама ему еще сала за шкуру... Он меня сейчас мало интересуется, а вот к нашему с тобой положению стоит присмотреться повнимательней. Я как комендант Берлина и начальник гарнизона сейчас же отдам приказ. Завтра в десять ноль-ноль собираем всех командиров частей, дислоцированных в Берлине. Пусть наведут в своих частях железный порядок. Всех нас подняла радость, как на крыльях, а надо смотреть на землю, а не витать в облаках: провокации могут быть такими серьезными, что не расхлебашь и до конца дней своих. Мы с тобой в поверженном Берлине, столице нацистского государства. Нас окружают люди, которые жили здесь и в гитлеровские времена кричали фюреру «хайль» и расстилали перед ним бархатные дорожки. Те же самые люди. Они никуда не делись, а тем более не изменились за несколько дней, что прошли после победы. Так вот, завтра собираем командиров частей. Доклад сделаешь ты.

— Очень хорошо,— ответил Боков.— И в докладе как один из негативных примеров будет фигурировать генерал-полковник Берзарин.

Комендант посмотрел удивленно, не понимая, в шутку это или всерьез, а Боков продолжал, не улыбувшись:

— Да, да, именно ты. Что это за пример для подчиненных, когда комендант города, генерал-полковник ни свет ни заря, как мальчишка, на мотоцикле, с одним ординарцем в коляске носится по улицам. А немцы и рады стараться, ждут не дождутся, пока он приедет. Кто они, эти немцы? У кого из них в кармане граната? Понимаю, что сейчас это маловероятно, но один шанс из тысячи возможен. Сколько нацистов в Берлине?

— Много,— ответил Берзарин.

— Ну вот. А ты мотаешься без охраны на своем мотоцикле...

— В меня стрелять не станут.

— Ты уверен? Спихватишься, да поздно будет. Я тебе приказать не могу, но прошу, сделай выводы... Ну так что, этого ухаера фрау Флазер будем разыскивать?

Берзарин посмотрел на Бокова, не улыбуясь, нахмурился.

— Можно разыскивать, можно и забыть, не столь важно,— сказал он.— А тебе не кажется, что мы с тобой занимаемся не своим делом? Вот посмотри, лежит перед тобой Берлин, разо-

ренный город, голодный, холодный, без водопровода, без электричества, а мы драгоценное время убиваем на амурные дела фрау Флазер.

— В Берлине немало наберется разных фрау. И судьбой каждой из них заниматься придется, никуда от этого не денешься.

— И в этом ты видишь обязанности коменданта?

— Пока не будет организован магистрат, все решает комендант. Ты сейчас единственная законная власть в Берлине. Другой нет.

— Ты прав, конечно, — сказал Берзарин, нажимая кнопку. — Староверов, я вызывал представителя метро.

— Так точно, товарищ генерал, он ждет. Новый вице-директор управления берлинского метро Генрих Торнгайм.

— Смотри-ка, — усмехнулся Берзарин. — Кто же его назначил?

— По вашему приказанию его назначил комендант района «Митте», где находится управление метро.

— Кем он был раньше, этот вице-директор?

— Слесарь-путеец.

— Ну хорошо, давайте посмотрим наши новые кадры.

В дверях показался невысокий мужчина с аккуратно причесанными на пробор светлыми волосами, вошел осторожно, но степенно, с достоинством, будто внес себя в кабинет коменданта. Полосатый костюм его, видимо, знал лучшие времена. На лацкане пиджака — красная розетка. Жестко накрахмаленный воротник белой сорочки туго облегал худую шею. На бледном продолговатом лице с узким носом кое-где проступили розовые пятна. Под мышкой правой руки он держал свернутый в трубку рулон жесткой бумаги, левая же кисть то расслаблялась, то резко сжималась в кулак, выдавая волнение.

— Садитесь, — пригласил Берзарин. — Рад с вами познакомиться. Расскажите, как себя чувствует берлинское метро?

— Плохо, господин комендант, — ответил Торнгайм, и пятна на его бледных щеках проступили резче. — Из тысячи ста единиц вагонного парка более или менее исправны четыреста, но все требуют ремонта. Прошу взглянуть. — Он развернул рулон на столе, перед Берзариным. — Вот взгляните на план берлинского метро. Из семидесяти семи километров подземных туннелей почти треть, вот эти участки, видите, обведены красным, а точнее — двадцать три километра затоплены водой из Шпрее. Мы уже три дня как перекрыли шлюзы и сейчас откачиваем воду, но работы здесь еще на две недели, а может, и больше. На других, незатопленных участках все колеи требуют проверки и ремонта, работы там уже ведутся, и, вполне вероятно, на некоторых линиях движение поездов удастся восстановить в ближайшее время.

Берзарин, довольный, посмотрел на Бокова.

— Что означает «в ближайшее время»?

— Рабочие проявляют огромный энтузиазм в деле восстановления нормальной жизни в городе, и я могу обещать, что четырнадцатого мая мы с вами прокатимся по первой линии восстановленного метро.

— Отлично, товарищ Торнгайм,— сказал Берзарин.— Где пройдет эта линия?

— Вот здесь, от Германплац до Бергштрассе. Через две недели мы сможем пустить поезда на участке Розенталерплац — Гезундруннен, а еще через два дня — Франкфуртераллее — Фридрихсфельде, мне думается, что сейчас важна не протяженность линии, а сам факт, его политическое значение: берлинское метро, где Гитлер утопил такое множество невинных людей, работает...

— Совершенно верно. И очень хорошо, что вы это понимаете,— присматриваясь к Торнгайму, словно определяя возможности этого человека, сказал комендант.

От похвалы вице-директор улыбнулся, и лицо его мгновенно преобразилось: исчезли красные пятна, щеки покрылись румянцем. Однако тут же он снова побледнел и сказал:

— Да, у рабочих берлинского метро радостное и приподнятое настроение, но надолго ли его хватит? Ведь необходимо, чтобы и живот не возражал против этого настроения. Позволю себе заметить: это такая неблагодарная штука, живот,— все время требует чего-нибудь, ну, если не мяса, то хоть хлеба. А они голодные, берлинские рабочие. Я скажу вам больше, они уже давно голодают.

— Да,— хмуро сказал комендант.— Я знаю. Приложу все усилия, чтобы поскорее их накормить.

— Спасибо. Но вы не могли бы сказать конкретнее? Дело в том, что, когда я вернусь, рабочие захотят узнать...

— Это понятно,— замялся Берзарин, еще сам не зная, как он выполнит свое обещание, но ясно понимая, что, дав его, выполнит, и потому, связывая себя словом, решил: — Хлеб рабочим метро начнут выдавать послезавтра.

— Я могу объявить об этом? — обрадовался Торнгайм.

— Да.

Вице-директор посмотрел на коменданта Берлина недоверчиво: на такую удачу он просто не надеялся — и сразу перешел к теме, которая его волновала не меньше, чем хлеб для рабочих.

— Я еще хотел бы с вами поговорить о будущем Германии, господин комендант. Сегодня обнародован приказ маршала Жукова о разрешении организации антифашистских партий. Я старый социал-демократ, и совершенно ясно, что мы немедленно воспользуемся этим разрешением. Все это прекрасно! Но мне кажется, что именно теперь самое подходящее время осуществить давнюю мечту.

— Что вы имеете в виду? — заинтересовался Берзарин.

— Я думаю, господин комендант, что, опираясь на вашу помощь, мы сможем немедленно ввести в нашей стране социализм.

— Вот так, сразу?

Берзарин даже подумал, что он чего-то не понял в переводе Староверова, — настолько не вязалось представление о социалистической Германии с сегодняшней, еще вчера гитлеровской, разбомбленной и разоренной страной. Но Торнгайм, видимо, все загодя продумал, был хорошо подготовлен к этому разговору.

— Именно так, сразу, не теряя драгоценного времени, именно сейчас, когда вся власть сконцентрирована в ваших руках и приказы ваши имеют силу закона. Немцы привыкли выполнять приказы, и если вы прикажете отобрать у капиталистов заводы, а у помещиков землю и ввести над всем этим хозяйством контроль трудящегося народа, то ваш приказ будет выполнен беспрекословно, и мы зложим фундамент социализма.

— Даже не спрашивая мнения немецкого народа?

— О чем здесь спрашивать? Вы же хотите добра немецкому народу. Всего-навсего один приказ, и будет осуществлена мечта лучших его сынов. Какие могут быть сомнения?

— А может, мы с вами все-таки сначала пустим берлинское метро? — улыбаясь спросил Берзарин.

— Господин комендант, метро мы, конечно, пустим, но это, как говорится, детали. А нам с вами никак нельзя терять перспективу.

— Это справедливо, — подчеркнуто терпеливо, будто разговаривая с малым ребенком, проговорил комендант. — Главную перспективу терять никак нельзя. К слову, мы ее и не потеряем. Но не кажется ли вам, что социализм нельзя построить, опираясь на приказы военных комендантов?

— Но ведь это же советские коменданты, представители первого в мире социалистического государства! Их приказы не могут быть реакционными.

— И все-таки социализм нельзя построить по приказу комендантов, — ответил Берзарин, — хотя бы и советских. Это не будет даже издали походить на социализм, который прежде всего предполагает самую широкую демократию. А что такое демократия? Власть народа. Вы внимательно прочитали приказ маршала Жукова?

— Да, очень внимательно.

— Там разрешено создание демократических антифашистских партий — основы народной власти, положено начало для создания нового, демократического и миролюбивого немецкого государства. Создавайте такое государство, ликвидируйте наследие фашизма, а потом уже будете решать, как строить в своей стране социализм. А социализм, построенный по приказу, — это что-то очень странное...

— И непрочное, — добавил Боков.

Торнгайм выглядел крайне разочарованным. От волнения на его высоком с глубокими залысинами лбу выступили мелкие капельки пота. Он стер эти бисеринки прямо ладонью и проговорил уже совсем другим тоном:

— А мне казалось, что будет удобно сделать это именно сейчас, пока вы здесь. Ведь рано или поздно вы уйдете...

— Безусловно. Уйдем и передадим власть в руки демократического немецкого государства, которое вы сами, с нашей помощью конечно, должны будете создать. И давайте, товарищ Торнгайм, начнем с восстановления нормальной жизни в Берлине. Накормим рабочих, а тогда уже вместе с ними, обязательно вместе с ними, подумаем о будущем Германии.

— Но сейчас такая удобная ситуация, — все еще не решался расстаться со своими мечтами Торнгайм. — Хватило бы одного вашего приказа. Отобрать заводы у капиталистов, землю у помещиков...

— Пусть это сделает сам немецкий народ. Социализм не устанавливается приказом, а строится, и вы сами скоро убедитесь в справедливости моих слов. А для начала, как первый шаг на этом пути, мы с вами пустим метро. Договорились?

— Договорились, — разочарованно сказал Торнгайм.

Когда он вышел из кабинета, оба генерала озабоченно помолчали, искоса поглядывая друг на друга. Берзарин размышлял, как ему выполнить обещание, только что данное рабочим метро, — обещание о хлебе, а Боков думал, что сейчас главная задача — наладить выпуск газет: без точного представления о своем будущем народ жить просто не может.

— Ну и каша у него в голове, — сказал наконец Берзарин, возвращаясь к разговору с Торнгаймом.

— Вот была бы радость на Западе, отдай ты такой приказ, — усмехнулся Боков. — Только теперь по-настоящему представляешь, сколько здесь работы — непочатый край! Немцы понятия не имеют о своем будущем. Если кто-нибудь завтра провокационно объявит, что послезавтра их всех отправят в Сибирь, они поверят и начнут собираться в дорогу. Почва для самых невероятных провокаций благодатная. Немецкие товарищи, которые прибыли из Москвы, уже читают лекции, доклады, разъясняют политику Коммунистической партии, но это, сам понимаешь, капля в море. Пятнадцатого выйдет первая газета, «Теглихе рундшау», тогда станет легче. Без массовой газеты нам просто зарез...

— Раньше нельзя? — спросил Берзарин.

— Нет, это не такое простое дело — создать и привести в действие редакцию ежедневной газеты. Я вчера там был, людей уже подобрали. Газета выйдет через пять дней.

— Ничего, дольше ждали, подождем еще немного, а я, кажется, уже знаю, где можно будет достать хлеб для рабочих метро.

Осторожно вошел Староверов. От одного взгляда на его виновато-растерянное лицо Берзарипа охватила тревога.

— Разрешите,— начал Староверов, и Берзарин сразу понял, что адъютант совершенно растерян.— Разрешите... Там пришла знаменитая актриса Марта Ландер... Сама Марта Ландер... Та самая... Она какая-то немного странная... И требует немедленно принять... Может, ее переадресовать в районную комендатуру?

— Нет, почему же? Давайте сюда,— облегченно вздохнув, сказал Берзарин.— Раз пришла, что ж мы ее будем гонять?

— Она вроде бы не в себе и, как ни странно, говорит по-русски,— снова предупредил Староверов.

— Ничего, давайте,— решил Берзарин.— Хоть она и говорит по-русски, на всякий случай, для уточнения, побудьте здесь.

— Есть,— щелкнул каблуками Староверов, и вскоре Марта Ландер появилась в кабинете коменданта.

Берзарин взглянул на нее с интересом, ему хотелось поскорее разгадать, что так поразило адъютанта, которого после четырех лет войны удивить было трудно.

Актриса вошла, остановилась посередине кабинета.

Никогда бы в жизни Берзарин не узнал в этой жалкой женщине блистательную Марту Ландер. Лицо прорезали глубокие морщины. Глаза горели лихорадочно, болезненно, под ними залегли глубокие, синие, почти черные тени, словно грубый, наскоро положенный грим. Одета в легкое, когда-то, видно, дорогое и модное, но сейчас безжалостно помятое и пропыленное пальто, две пуговицы оторваны, она, по всей видимости, и спала в нем все последнее время, если вообще спала. На ногах тяжелые туфли на толстой подошве, тоже серые от пыли. На щеке пятна не то крови, не то кирпичной пыли. Все в ее облике запущенное, будто мертвое, только вот глаза живут отдельной жизнью — лихорадочно, ненормально, почти безумные, пьяные глаза. Что-то с ней стряслось, с этой Мартой Ландер. Она или больна, или умом тронулась.

— Это действительно Марта Ландер? — спросил Берзарин.

— Да, точно, Марта Ландер,— шепотом ответил адъютант.— Про нее говорят, будто она была любовницей Геббельса и Геринга...

— Отставить сплетни,— сказал Берзарин.— Ну что ж, имя известное. Откуда вы знаете русский?

— До первой мировой войны мы жили в Гельсингфорсе, был когда-то такой город, теперь его называют Хельсинки. Два года я училась в русской гимназии,— через силу, хрипловато сказала Марта Ландер.

— В русской гимназии? — удивился Берзарин.— Зачем?

— Тогда было модно знать русский язык. Совсем рядом был Петербург, царский дворец...

Она как-то вдруг словно забыла, где они ведут эту беседу.
«Больная, ненормальная? — спросил себя Берзарин. — Может, позвать врача?..»

— Вы немка?

— Не только немка, но и чистокровная арийка, идеально отвечаю всем арийским нормам: размер черепа, цвет глаз, волос...

И снова не совсем понятно — глумится она над собой или хочет досадить Берзарину?

— Между прочим, о Геринге и Геббельсе — ложь. Любовниками моими они не были, но знакома с ними я была.

— Товарищ генерал, может, позвать особистов? — шагнул вперед адъютант.

— Подождите. Садитесь, пожалуйста, — пригласил Берзарин.

Она осторожно села на краешек стула, покачнулась и с трудом удержала равновесие. Сказала:

— Я прошу дать мне разрешение на выезд. — И положила перед Берзариным лист бумаги со штампом английской газеты.

— Пресса уже интересуется вами?

— Да. Я встретила английских корреспондентов, они обещали помочь.

— Куда же вы намерены уехать?

— Наверное, в Швецию, а в общем, куда угодно. Лишь бы подальше от Берлина. Здесь невозможно жить так, как я хочу... приходится много думать...

— О чем?

— О жизни. О ее мерзости и лживости. О судьбах людей... И, если хотите, Германии.

— А раньше такие мысли вас не тревожили?

— Нет.

— Ну что ж, — медленно сказал комендант, не обращая внимания на резкий, вызывающе независимый тон актрисы, — у меня возражений нет. Счастливого пути.

Он говорил спокойно, и Марта вдруг обиделась: как это о ней, об ее отъезде можно говорить с таким равнодушием?

— Вы так это сказали, словно для вас, коменданта Берлина, не имеет никакого значения, останусь я здесь или нет.

— Вы угадали, — ответил Берзарин. — Мне безразлично. Таких, как вы, жителей Берлина у меня на руках четыре миллиона.

— Таких, как я? — как бы не веря собственным ушам, переспросила актриса. — Я Марта Ландер, вы понимаете?

— Я это знаю, — ответил Берзарин.

— Я Марта... — начала было актриса, и вдруг голова ее пошла, глаза затуманились, она медленно, как бы с трудом сползла со стула на коричнево-желтый ковер.

— Что с вами? — встревоженно бросился к Марте Берзарин, взглянул в прозрачное, словно налитое восковой бледностью лицо актрисы, схватил запястье — пульс едва прощупывался.

— Староверов, медицину сюда! Живо, одна нога здесь, другая там,— хладнокровно скомандовал до сих пор молчавший Боков.

— В приемной ждет профессор Зоненбах. Может, его?

— Давай, только побыстрей!

— Федор Ефимович, ее бы на диван положить,— сказал Берзарин.— Приподними-ка за плечи. Голову положить чуть выше...

В кабинет в сопровождении Староверова вошел Зоненбах, на мгновение остановился, потом, по давней привычке врача ничему не удивляться, окинул взглядом обоих генералов, лежащую на диване Марту и сказал:

— Здравствуйте. У вас несчастный случай?

— Здравствуйте,— ответил Берзарин.— Она... вот... вдруг потеряла сознание... Необходимо чем-то помочь. Вы сможете?

— Сейчас посмотрим,— отозвался профессор.— Так это же Марта Ландер? Да, она. Что же случилось?

— Именно это мы и хотели бы знать,— ответил Берзарин.

Профессор склонился над актрисой, профессионально ловко приподнял веко, дотронулся до лба, подержал запястье, потом ухом приложился к груди, прислушался к ритму сердца. Когда генералы укладывали актрису на диван, юбка немного приподнялась, открыв полосу тела над чулком, профессор задержал взгляд на этой бледно-голубоватой нежной коже, одернул юбку пониже, до колен, и недовольно покачал головой.

— Дайте воды,— приказал он, легко похлопывая ладонью Марту по щекам, от чего лицо актрисы постепенно утрачивало мертвенную неподвижность.— Ничего особенного, господин комендант, обыкновенный голодный обморок. Явление в наши дни среди интеллигенции довольно распространенное. Простые немцы выживают легче, а вот интеллигенция приспосабливается труднее.

— Отправить ее в больницу?

— Не думаю,— спокойно ответил профессор, ритмично похлопывая Марту то по левой, то по правой щеке,— она сейчас очнется. Ничего страшного, перед вами, господин комендант, стоят проблемы куда более сложные. Ну вот, она уже и пришла в себя.

Марта открыла глаза, села, растерянно, будто не понимая, как она оказалась в этом кабинете, взглянула на генералов, на Зоненбаха, провела рукой по глазам, одернула юбку и сказала:

— Простите, я не совсем здорова...

Берзарин взглянул на адъютанта.

— Староверов,— строго приказал он,— проводите ффрау Ландер в столовую и прикажите выдать тарелку супа и два сухаря. Вы хорошо поняли меня? Тарелку супа и два сухаря, ничего больше.

— Слушаюсь, тарелку супа и два сухаря. Прошу, ффрау Ландер!

— Вы имеете медицинское образование? — усмехнулся в свои короткие, щеточкой подстриженные усы Зоненбах.

— Я что-то не так сказал?

— Наоборот, все правильно, я потому и спросил про образование.

— Да, я медик-практик. Жизнь выучила, и здорово выучила. Мой отец до революции был рабочим на Путиловском заводе. Во время войны голодать довелось. Пожалуйста, фрау Ландер.

Марта взглянула на него, неожиданно энергично поднялась с дивана, прошла по кабинету и сказала резко, почти враждебно:

— Вы надеетесь, я сейчас побегу в столовую хлебать вашу похлебку и грызть сухари? Ошибаетесь! Я не собираюсь подбирать ваши обеды. Для этого дела в Берлине найдется немало охотников. И можете не беспокоиться, господин комендант, от голода я не подохну. Я привыкла. Оказывается, еда в жизни человека не самое главное. Есть вещи, без которых я действительно не могу жить...

— Морфий? — неожиданно спросил Зоненбах.

Марта вздрогнула, словно ее поймали с поличным, багрово покраснела, потом кровь мгновенно отхлынула, и лицо будто припорошила голубоватая бледность. Спросила, глубоко вздохнув:

— Откуда вы знаете?

— Инъекции оставляют следы, особенно на такой коже, как ваша.

Марта вновь одернула юбку, мгновение колебалась, потом проговорила с вызовом, глядя не на Зоненбаха, а на коменданта Берлина:

— Да, мне морфий необходим.

— Давно употребляете? — спросил профессор.

— Почти двадцать лет. Вы, доктор, должны понять. Помогите мне.

— Увы, помочь вам я не могу, — развел руками Зоненбах, — у меня сейчас не то что морфия, таблетки аспирина не найдется.

Марта видела, что старик не лжет, и сразу, пока еще не пропал заряд смелости, переключилась на Берзарина.

— Господин комендант, я вас очень прошу. Пусть мне продадут за какую угодно цену несколько ампул морфия. Деньги я достану...

Берзарин возмутился, но чувств своих не выдал, сдержался, голос прозвучал по-прежнему спокойно, почти приветливо:

— Фрау Ландер, вы, наверное, забыли, что я комендант Берлина, а не спекулинт наркотиками.

— Прикажете выдать мне одну, только одну ампулу из вашего госпиталя. Понимаете, она мне нужна, как воздух, как сама жизнь. Хотите, на колени встану перед вами...

— Простите, но разговор на эту тему закончен, — сказал Берзарин и сам удивился, почему так трудно придать собственному голосу настоящую решительность.

Почему? Он не убежден в своей правоте? Убежден. Он здесь не для того, чтобы доставать морфий наркоманам, а для решения по-настоящему серьезных проблем немецкого народа и Берлина. Разговор с Гердой Баум и Торнгаймом был частью этой важной программы, а тут — на тебе, повторилась история с ффрау Флазер, приходится размениваться на мелочи... Хотя нет, разве болезнь Марты Ландер, ее страдания не в счет? Наркомания — болезнь, и Марту нужно лечить. Вот об этом он и подумает. А все-таки как-то не по себе... Словно в чем-то ошибся.

— Жаль, — совсем другим тоном сказала Марта. — А мне почему-то показалось, что именно вы меня поймете и поможете...

— Нет, не пойму, — твердо ответил комендант.

— Жаль... Я прошу простить меня за всю эту сцену, за обморок и вообще за все. Я пришла к вам не за ампулой морфия. У меня было какое-то дело. Зачем я приходила? — Марта потерла пальцами лоб, болезненно пытаясь что-то припомнить.

— Вы приходили просить разрешения на выезд, — напомнил Берзарин и взял со стола лист бумаги со штампом английской газеты. — Староверов, оформите разрешение. Можете ехать.

— Спасибо, — тихо сказала Марта и медленно пошла к дверям, потупив глаза.

— Староверов, задержитесь, — приказал Берзарин, — будете переводить разговор с профессором. — Он минуту помедлил, недовольно посмотрел на дверь, за которой исчезла Марта Ландер, потом спросил: — Профессор, вылечить ее можно?

— Можно, но очень трудно, — покачал седой головой Зоненбах. — Двадцать лет — немалый срок. Выработалась привычка, это опасно... Конечно, на свете бывают чудеса... Иногда сильное душевное потрясение заставляет и не таких наркоманов забыть про морфий. Но это как чудо: один случай на миллион...

— Черт! — с ожесточением выругался Берзарин. — Неужели мне пужно было... Нет! — так же резко оборвал он себя. — Все правильно. И хватит копать в сточных канавах. Перед нами возникают проблемы, перед которыми Марта Ландер со своей бедой ничто, если сравнить...

— Великие проблемы складываются из миллионов малых, таких, как Марта, — раздумчиво проговорил Боков.

— Что? Ты думаешь...

— Нет, этого не думаю. На твоем месте я поступил бы так же.

— А я вот не знаю, — тяжело вздохнул Берзарин. — Слушаю вас, профессор.

— Вы совершенно справедливо вспомнили о сточных канавах, — сказал Зоненбах. — Но я вас должен разочаровать: сточ-

ные канавы — пустыки. Мы с вами по самое горло сидим в гнойной помойке, где каждую минуту могут вспыхнуть эпидемии брюшного тифа и чумы с холерой в придачу. Эта помойка называется Берлином. Под развалинами домов гниют трупы...

— Тысячи, — сказал Берзарин.

— Да, тысячи, много тысяч. Точная цифра неизвестна, и мы, вероятно, ее никогда не узнаем. Мы с вами, пользуясь старым сравнением, расположились на пороховой бочке, которая при первом удобном случае может взорваться. Хотя должен сказать, что взрыв пороховой бочки, пусть даже самых больших размеров, ерунда по сравнению с тем, что может произойти в Берлине.

— Вы имеете какой-нибудь план, чтобы помешать этому взрыву?

— Да, имею. Для того чтобы посоветоваться с вами, я сюда и пришел. Позавчера Вальтер Ульбрихт поднял меня с постели, и мы с ним проговорили почти всю ночь. К счастью, квартира моя сохранилась, и нам было где разговаривать. Организуется магистрат Берлина, и это очень хорошо. Я долго колебался, но все-таки согласился стать членом магистрата. Совершенно очевидно, что теперь мне придется заботиться о здоровье Берлина, о том, чтобы в чреве его не вспыхнули эпидемии.

— Совершенно очевидно, — согласился Берзарин.

Он знал присущее немцам качество — преклоняться перед любимыми званиями. Зоненбах теперь считал себя членом будущего магистрата и работал как одержимый. Совесть его не мучила, потому что коллегам он просто скажет: «Я не сотрудничаю с оккупационной властью, я спасаю наш родной Берлин и здоровье немецкого народа, советую и вам делать то же».

— Да, я согласился стать членом магистрата, но что может сделать один врач, даже если он всемирно известный специалист, против эпидемии холеры или чумы?

Берзарин внутренне улыбнулся, отметив про себя эту скромную похвалу, но одобрительно кивнул и сказал:

— Кое-что можно сделать. Например, организовать вокруг себя врачей.

— Вот об этом и пойдет разговор, — заявил профессор и умолк, с достоинством взглянув на коменданта, словно проверяя, готов ли тот выслушать его важное сообщение. — В Берлине нет докторов. За годы войны их всех, даже детских, одели в военную форму, и сейчас они большей частью в ваших лагерях военнопленных. Отпустите их хотя бы из тех лагерей, что расположены неподалеку от Берлина, и я гарантирую, что ни в городе, ни в вашей оккупационной зоне эпидемий не будет...

Телефонистка Валя появилась в кабинете так, как привыкла входить в блиндаж командующего армией, — без стука. Если она разрешила себе так войти, значит, имелась на то серьезная

причина. Край белого крахмального подворотничка ослепительно сиял, узкая талия схвачена широким ремнем, волосы пышные, русые — по плечам.

— Товарищ генерал, разрешите? Вызывает маршал. Капитан занят, и я позволила себе...

Она стрельнула ликующими глазами в сторону Староверова, легкая улыбка тронула губы и тут же пропала. Староверов не перевел на немецкий язык Валины слова, но Зоненбах уловил звание «маршал» и сразу забеспокоился:

— Господин комендант, я не помешаю? У вас важные дела...

— Более важного дела, нежели спасение Берлина, у меня сейчас нет. Оставайтесь. — Он протянул руку к одному из стоящих на столе телефонов, поднял трубку и сказал: — Генерал-полковник Берзарин.

— Здравствуйте, Николай Эрастович, — хорошо знакомым голосом проговорили в трубке, и, про себя усмехнувшись, комендант отметил, что далеко не всегда этот голос был таким спокойным и доброжелательным — на все влияла победа, даже на голоса командующих фронтами. — Завтра в восемнадцать ноль-ноль заседание Военного совета фронта. Будем утверждать постановление «О снабжении продовольствием населения Берлина». Вам приказываю явиться со всеми расчетами и выкладками. Надеюсь, что продукты начнут поступать через пять дней.

— Есть, товарищ маршал, все понял, материалы готовы. Имею две просьбы.

— Встречный вопрос: когда уж вы отучитесь просить?..

— Недели через две, не раньше, товарищ маршал.

— Хорошо, записываю. Через две недели, значит, начиная с двадцать пятого мая, комендант Берлина больше у меня ничего не просит. Записал. Давайте ваши просьбы.

— Первое. Рабочие метро обещают пустить первую линию четырнадцатого мая, но им нужно помочь продуктами. Хотя бы немного. Политический резонанс пуска метро огромный...

— Ясно. Сколько?

— Тысяча тонн зерна, думаю...

— Двести тонн...

— Восемьсот, — ответил Берзарин.

Неожиданно, и это, пожалуй, впервые за долгое время их сотрудничества, Жуков от души рассмеялся, и комендант с удивлением отметил, что вопреки суровой жесткости характера маршала смех его был веселым и беззаботным.

— Послушайте, Николай Эрастович, — сквозь смех сказал Жуков, — мы с вами торгуемся, как два цыгана на базаре. Мне же ясно, что вы, кроме рабочих метро, хотите накормить кое-кого еще...

— В Берлине много голодных детей, товарищ маршал.

— Хорошо, берите пятьсот тонн. Я отдам приказ заместителю по тылу. Ведь зерно везем с Украины, из Подмосковья и Казаштана, товарищ Берзарин, это понимать надо.

— Я понимаю. Мне можно не объяснять.

— Так, с первой просьбой покончили. Вторая?

— Вторая одновременно и легче и сложнее. В Берлине возникла опасность эпидемии. Член будущего магистрата профессор Зоненбах насчитал массу возможных заболеваний — от холеры до тифа.

— Веселая компания...

— Да, очень. Нужна серьезная работа санитарных специалистов. Профессор Зоненбах предлагает освободить врачей из наших лагерей военнопленных, размещенных вблизи Берлина. Практически к концу войны в вермахт был мобилизован весь медицинский персонал города.

Жуков задумался, взвешивая мысль Берзарина, потом сказал:

— Хорошо. Согласен. Только выпускать не всех подряд. Там такие гитлеровские доктора были, что по ним давно виселица плачет. Возьмите несколько особистов, пусть помогут в этой работе, а все списки просмотрит и завизирует Зоненбах. У меня все.

Берзарин положил трубку, задумался, припоминая, не забыли ли он и в самом деле высказать какую-нибудь третью просьбу. Дай ему волю, он бы наговорил этих просьб... Ну ничего, еще есть время... И немалое — целых две недели. После этого на помощь Жукова, товарищ Берзарин, уже не рассчитывай — слово маршала железное.

— Ну вот, господин Зоненбах, — сказал он, — врачей освободим.

— Лучшей новости вы не могли мне сообщить.

— Но не всех. Гестаповцев выпускать не будем. Вы завизируете все списки, лучше вас немецких врачей никто не знает...

Зоненбах поморщился.

— Но ведь я знаю далеко не всех.

— Посоветуйтесь со своими коллегами.

— Мне бы не хотелось брать на себя такую ответственность.

— Будущий магистрат сможет поручить это кому-нибудь другому.

— Когда его создадут?

— Девятнадцатого мая — учредительное собрание.

— Придется согласиться, это долго. Ждать нельзя.

Снова появилась Валя, и ее лучезарно-торжествующий взгляд, брошенный на Староверова, давал понять, что тот не такой уж незаменимый адъютант, каким ему хотелось бы казаться.

— Разрешите, товарищ генерал? Там фрау Герда Баум дожидается удостоверения, которое вы лично сами хотели подписать.

— Давай ее сюда.

Герда Баум вошла в кабинет, и Берзарин с интересом отметил, что не только ее походка, а и осанка и весь облик изменились. До этой минуты она была одной из двух миллионов берлинских немок. Теперь она точно знала, что делает, за что отвечает, и сразу будто выросла, похорошела.

— Проходите, фрау Баум.— Протянув руку, Берзарин взял листок, прочитал, твердо, размашисто подписал и вернул женщине.— Вот ваше удостоверение. В нем указано, что все районные коменданты должны оказывать вам помощь. Действуйте от моего имени и никого не бойтесь. Теперь я могу вам точно сказать, что через пять дней берлинцы получают питание по карточкам.

— Дети должны получить его завтра,— сказала Герда.

— Вот и постарайтесь этого добиться. Моя поддержка вам обеспечена.

Герда Баум улыбнулась и вышла из кабинета.

— Она врач? — ревниво спросил Зоненбах.

— Нет,— отозвался Берзарин, ясно понимая ход мыслей профессора,— она мать.

— У вас удивительная способность мгновенно находить себе друзей.

— Ошибаетесь, Марта Ландер моим другом не стала.

— Не знаю, не знаю...— задумчиво сказал профессор, и Берзарин удивленно посмотрел на капитана — точно ли Староверов передал интонацию Зоненбаха.

— Хорошо, будущее покажет. Что вам еще нужно, профессор?

— Мне многое нужно, но прежде всего врачей. И потом, где-то здесь, в Берлине, или в ближайших городах есть армейские склады медикаментов...

— Это наши трофеи.

— С Берлином вы поделитесь,— улыбнулся Зоненбах.

— Староверов,— приказал комендант,— свяжите господина профессора с полковником Сазоновым, который ведает военнопленными. Желаю успеха, профессор.

Берзарин поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, недовольно поморщился. Казалось, и причин особых нет для недовольства собой, а на сердце осел какой-то неприятный осадок, и откуда он взялся, трудно понять. Хотя нет, если по-честному...

Генерал Боков понимал, что волнует Берзарина, у него самого было беспокойно на душе. Ясно, что никакой ошибки они не допустили, и все-таки... Нарушив затянувшееся молчание, член Военного совета спросил:

— А может, нужно было дать ей морфий? Ну, Марте Ландер...

Берзарин остановился: оказывается, они оба думали об одном.

— Что ты меня агитируешь? Нашелся благодетель! — взорвался он. — Морфинистка, кумир вермахтовских генералов, и ты хочешь, чтобы я поставлял ей морфий...

— Нет, я этого не хочу, и морфий мы ей не дали, — спокойно возразил Боков, — а думать о каждом немце, простом или знаменитом, о его болях и нуждах, нам все равно придется.

— О хлебе, о мире, о человеческих правах, но не о морфии!

— Справедливо, все справедливо. Вот мы с тобой ей и отказали. А Зоненбах тоже прав: она найдет морфий, морфинисты его всегда находят, правда, неизвестно какой ценой.

— Ну и пускай ищет и вообще пусть катится из Берлина на все четыре стороны. Не буду я о ней думать.

— Будешь, Николай Эрастович, непременно будешь. И ты будешь, и я буду. Ничего не поделаешь, такова уж наша доля, мы победители. Она талантливая актриса, но, как ни странно, ни в одном нацистском фильме не снималась. Скажи она только слово, и у нее было бы все: слава, хотя славы ей не занимать, деньги, даже ордена.

— Деньги у нее и так были.

— Правильно, но заработанные без участия в фашистских фильмах. Это обстоятельство, на мой взгляд, решающее. Одним словом, Николай Эрастович, можешь не переживать, мы поступили правильно, хотя здесь все очень сложно, а главное, для всех нас непривычно. И я могу тебе с уверенностью пообещать, дальше будет еще сложнее.

— Спасибо за приятное сообщение.

— И тут ничего не поделаешь, пока мы с тобой Германию только с края пощупали, эти люди сами на нас наткнулись, а вот когда в глубину заглянем, начнем по-настоящему страну изучать, такие сюжеты появятся, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

— Черт возьми, все верно, а душа за нее болит, — сказал Берзарин. — Плохой я комендант Берлина, чересчур чувствительный.

— А мне кажется, наоборот, хороший. Жестокостью немца не удивишь, он к ней привык, а вот разумом...

— Вот именно, разумом, — повторил Берзарин. — А не сердцем...

6

В кабинете появился Староверов, причем двери при его появлении вроде бы и не открывались; как это удавалось адъютанту, Берзарин никогда не мог понять.

— Товарищ генерал, капитан Котов явился по вашему приказанию.

— Какой Котов? — не сразу вспомнил Берзарин.

— Писатель из армейской газеты...

— Везет нам сегодня на писателей, — усмехнулся Боков. — Зачем ты его вызвал?

— Ну, на этот раз, может, повезет больше, нежели с Флазетром, — сказал комендант. — Есть у меня одна идея...

Котов вошел и доложил, как положено, в ответ на приглашение уселся в кресло. Боков и Берзарин разглядывали его с интересом, хотя знакомы они были давно. Перед ними сидел относительно молодой офицер, на груди два ордена — Красного Знамени и Красной Звезды и несколько медалей; в общем, капитан, судя по всему, не отсиживался в редакции. А вот глаза такие, как у Котова, комендант Берлина встречал не часто. И даже не глаза, еще по-юношески ясные, светло-серые, а их взгляд — изучающий, внимательный, откровенно заинтересованный. Берзарин сам любил разглядывать людей, а здесь оказалось, что с пристальным интересом разглядывают его самого. Он отметил это про себя, подумав, что писатель, может, так и должен поступать, но не придал этой мысли большого значения, и совершенно напрасно.

Напрасно потому, что писатель Котов только второй раз за всю войну имел случай поговорить со своим командующим. Ему хотелось, больше того — было жизненно необходимо знать, из какой глины слеплены генералы, комкоры и командармы, люди, в руках которых судьбы, жизнь и смерть многих тысяч людей. Он знал, что ему, писателю, когда-нибудь непременно придется о них писать. На передовой, где приходилось Котову бывать еженедельно, если не чаще, он видел солдат, спал с ними в землянках, знал каждую их думку, и так же много он хотел знать и о генералах, потому что иначе картина победы в его представлении вырисовывалась неполной. У писателя армейской газеты с командующим армией, собственно говоря, никаких прямых контактов не было. Если была какая-то необходимость, то приказы отдавались через редактора, непосредственного начальника писателя.

Однажды Котов отважился, попросился к командующему армией на прием. Это было в Польше, армия переформировывалась для наступления с Вислы на Одер. Берзарин нашел время принять писателя, но отнесся к этому визиту как к делу малозначительному. Котов рассказал ему, что собирается писать роман о войне, Берзарин искренне пожелал ему успеха. И не то чтобы генерал не понимал важности такого романа, совсем наоборот, он это хорошо понимал, но все, что должно было случиться после войны, после победы, представлялось тогда отдаленной, почти фантастической перспективой. Вокруг было столько боевой работы, что казалось смешным беспокоиться

о будущих книгах. Пожалуй, тогда генералу подумалось, что у Котова на самом деле были какие-то иные просьбы, которые тот не решился высказать. Может, неудовлетворенное тщеславие? И он спросил: «В какой моей помощи вы нуждаетесь?» Писатель покраснел от смущения, потом все-таки сказал: «Мне бы хотелось быть к вам поближе, на командном пункте, в штабе, одним словом, знать, как вы работаете, чем живете...» — «Пожалуй, это можно будет сделать, — сказал Берзарин, все-таки по-своему понимая желание Котова: быть поближе к начальству, а следовательно, поближе к почестям и отличиям по службе. — Вот начнем активные действия, обязательно позову вас на командный пункт». А когда начались активные действия, у Берзарина просто не было свободной минуты, чтобы вспомнить о Котове. И жаль! Сколько генералов, подлинных героев войны, сожалеют о том, что в минуту наивысших своих успехов, когда ослепительно ярко вспыхивал их военный талант, они не вспомнили о скромных писателях армейских газет, которые были совсем близко, рядом. Винить генералов в том никак нельзя, просто они делали свою трудную работу, не думая о будущей славе. К ним иногда приезжали корреспонденты центральных газет, которых принимали с почестями и уважением. После этого появлялись статьи, а чаще — заметки в «Красной звезде» или в «Правде», но это был легкий след, который без труда стирало время, потому что, во-первых, корреспондентов было мало, а во-вторых, далеко не каждый из них был писателем. Погибшему герою, совершившему подвиг, все равно, знают или не знают о нем люди. А вот живым далеко не безразлично, знают они или не знают о подвигах, которые совершили герои. И героям, которые остались в живых, тоже не все равно, знает или не знает народ их имена... Но все это генералы поняли через многие годы после войны, а в те дни мая сорок пятого года даже тени таких мыслей не появилось ни у генерал-полковника Берзарина, ни у встревоженного неожиданным вызовом капитана Котова.

— Мы с вами когда-то разговаривали, — сказал Берзарин, — это, кажется, было где-то у Вислы. Я так и не позвал вас на командный пункт. Ничего не поделаешь, очень было некогда. Зато сейчас можете очутиться в самом центре событий. Как вас зовут?

— Владимир Иванович, — чуть покраснев, сказал Котов. — А вообще говоря, все меня зовут Володей.

— Если позволите, и я вас так же буду величать: просто и удобно. Так вот, Володя, вы на меня не сердитесь, но у меня есть к вам несколько вопросов. Вы член Союза советских писателей?

— Конечно, — ответил Котов, расстегнул карман гимнастерки и вынул коричневый кожаный прямоугольничек.

Берзарин раскрыл удостоверение. На него взглянуло совсем

молодое продолговатое лицо Котова, с густой шапкой волос и еще по-мальчишески пухлыми губами. Книжечка была выдана в тридцать четвертом году. Одиннадцать лет — немалый срок. Котов не постарел, скорее, повзрослел — точнее обозначился подбородок, более строгими стали губы.

— Там еще Горького подпись, правда, факсимиле, но все-таки Горького, — гордо сказал писатель.

— Да, все верно, — возвратил документ Берзарин. — Что же вы пишете: стихи, прозу?

— Только прозу. Когда-то, до войны, писал стихи, даже несколько книжек вышло, но поэзия... Это, знаете, как игра на скрипке: или — или... Бросил я стихи, и, думаю, вовремя.

— А в прозе вы уже чего-то достигли? — спросил генерал.

— Работаю над романом. Когда-то я докладывал вам об этом.

В словах Котова прозвучал будто бы укор, но Берзарин, озабоченный делами, не обратил на это внимания. Как отразится личность Берзарина, командарма 5-й Ударной армии и первого коменданта Берлина, в будущей литературе, его не волновало.

— Книга с вашим портретом у вас есть? — спросил он, и Котов немного удивился, не понимая направления мыслей Берзарина.

— Есть, правда, небольшая, — сказал он, вынимая из планшета тоненькую брошюру. — В прошлом году вышла в библиотечке «Огонька», здесь пять глав моего будущего романа.

Берзарин взял книжку, посмотрел на фронтовой портрет Котова, передал книжку Бокову.

— Очень хорошо, Володя, именно то, что нужно. Книжку будете держать на видном месте, чтобы все знали, что вы писатель.

— Простите, товарищ генерал, — удивился Котов, — кого может интересовать — писатель я или нет? Ничего не понимаю.

— На нашем месте я бы тоже ничего не понял, — засмеялся Берзарин. — Видите ли, Володя, создалась довольно тонкая, деликатная ситуация, и вы нам, как мне кажется, сумеете помочь. У вас нет знакомых среди немецких писателей, художников, артистов?

— Когда-то в Москве меня познакомили с Бехером и Вайпертом.

— Сейчас речь идет не о них. Я имею в виду местных писателей и артистов, которые пережили фашизм здесь, в Берлине.

— Таких знакомых у меня нет.

— Значит, будут. Больше того, вам придется приложить все усилия, чтобы они были. Эти люди сейчас голодают. А голодный человек способен на поступки, в которых он потом, возможно, горько раскается. Особенно, конечно, если у него есть дети. Так вот, мне хочется, чтобы эти люди решали свою судьбу

в нормальном состоянии. Я хочу, Володя, чтобы какую-то часть из них вы некоторое время поддерживали... продуктами. Да, да, подкормили.

Удивление Владимира Котова стало переходить в недоумение. Чем больше говорил Берзарин, тем меньше он понимал суть дела.

— Простите, товарищ генерал, но мне нечем их кормить. У меня всего лишь офицерский паек. Ну, на двоих еще хватит, а больше... Вы, может быть, имеете в виду символическую пищу — духовную?

— Нет, — снова рассмеялся Берзарин, которому Котов с его искренним удивлением нравился еще больше, — вы будете их угощать не символическим борщом, а реальными консервами, супом, жареной картошкой; кстати, сын Вильгельма Пика, Артур Пик, говорил мне, что немцы очень любят жареный картофель.

— Интересно знать, откуда ему у меня взяться? — спросил Котов.

— Об этом мы позаботимся, — ответил Берзарин. — Вы где живете?

— В Карлсхорсте.

— Сегодня же перебирайтесь из Карлсхорста на окраину Лихтенберга. Вам подыщут особнячок, там много свободных, хозяева удрали на Запад. В продотделе выделяют необходимые продукты. Вы приглашаете к себе гостей, угощаете их, на прощание даете с собой коробку консервов или несколько бутербродов, — у них же дома дети. Желательно, чтобы вашими гостями были писатели, художники, артисты, врачи. Не бойтесь ошибиться. Если появится кто-то случайный, просто в другой раз не приглашайте.

— А о чем говорить?

— Обо всем, что интересно. Не старайтесь их ни в чем переубеждать, сейчас это просто невозможно, пужно дать им возможность успокоиться, почувствовать себя вновь людьми.

— Отличный политработник в тебе пропадает, Николай Эрастович, — сказал Боков.

— Не знаю, возможно. Но сейчас я просто комендант Берлина, — ответил Берзарин. — Так вот, вы ведете с ними разговоры на литературные темы, читаете стихи... Вы любите читать стихи?

— Я уже говорил, что когда-то считал себя поэтом.

— А насколько вы владеете немецким?

— Ну, — замялся Котов, — это, конечно, не язык Гёте или Гейне, но говорю я более или менее свободно. Немцы понимают...

— Вот и прекрасно. Вы оказались кандидатурой лучшей, чем я рассчитывал, — подытожил Берзарин. — Вы уяснили задание?

Котов взглянул на Берзарина, потом на Бокова, и можно было понять, как ему не хочется разочаровывать генералов.

— Простите, товарищ генерал, — и замешательстве проговорил он, — но я вряд ли подойду для выполнения вашего задания: честное слово, я ничего не понял. С какой стати я их должен кормить?

— Здесь скорее моя вина, — сказал Берзарин, — нужно было объяснить... Дело в том, Володя, что немецкая интеллигенция, даже абсолютно демократическая, даже та, что нашла в себе силы и смелость не сотрудничать с Гитлером, у меня, у коменданта Берлина, а следовательно, у советской власти, у победителей, вряд ли будет что-то брать. Соображение здесь такое: не брали у Гитлера, не будем брать и у советской власти. За этим стоит старое, уже много раз проверенное: боязнь обвинения в продажности. Кто их может обвинить, не очень ясно, но они все-таки боятся. А им угрожает голод, и мы не знаем, кто этим голодом может воспользоваться. Через неделю начнет работать магистрат, чуть позже — «Культурбунд», другие немецкие демократические организации. Через пять-шесть дней берлинцы начнут получать продукты питания по карточкам. Вряд ли удастся накормить их досыта, но голодать они, во всяком случае, не будут. Значит, сейчас их нужно немного поддерживать. Ясно?

— Вот уж никогда не думал... — удивился Котов.

— И я никогда не думал стать комендантом Берлина, — подхватил его мысль Берзарин, — а партия, выходит, думала. И давно, потихоньку, не торопясь, готовила и вас, и меня, и каждого советского офицера и солдата для этой работы. Вот именно поэтому-то вы прекрасно справитесь с моим поручением.

— Оно в конце концов не такое уж и сложное, — неуверенно сказал Котов, — но мне видится не очень-то эффективным. Ну скольких человек я смогу накормить? Двадцать, тридцать, сорок — не больше. Это же капля в море.

— Я поручу такую работу не только вам. Много капель — это хотя не море, но все же ручеек. Здесь уже и от вас будет зависеть немало.

Котов на мгновение задумался, была у него такая манера — на минуту выключаться из общего разговора, внутренне сосредоточиваться на своих мыслях. Он будто бы проверял себя, не забыл ли что еще спросить, а потом сказал:

— И у меня будет достаточно продуктов?

— Конечно. Иначе я не поставил бы перед вами этой задачи.

Котов снова забеспокоился.

— Простите, товарищ генерал, — промолвил он, — но ведь будет неудобно просить их расписываться за съеденную кар-

тошку или взятые с собой консервы? Насколько я понимаю, это должны быть гости...

— Разумеется.

— А как же быть? Ведь мы пока еще живем не при коммунизме... Кто-то должен меня контролировать. Вы не допускаете, что я могу эти продукты продать... или сам съесть...

— Нет,— сказал Берзарин,— почему-то мы этого не делаем.

— И все-таки контроль нужен. Найдутся люди... такое наговоят...

— Контроль не нужен, а вот помощь необходима, потому что один вы со всей этой кухней не управитесь.

Берзарин нажал кнопку, и Староверов бесшумно возник в кабинете.

— Кого-нибудь из официанток столовой сюда! Таню, пожалуйста...

— И подумайте еще о такой возможности, капитан,— говорил Боков (он не был бы членом Военного совета, если бы не сказал этих слов),— вы там будете говорить о литературе, читать стихи, но ежели иногда расскажете им правду о том, что происходит на свете, тоже большой беды не будет. Поймите меня правильно, здесь не должно быть и намека на какую бы то ни было пропаганду или агитацию в нашу пользу. Они к этому не подготовлены и, если почувствуют хоть что-то похожее на это, просто от вас отшатнутся. Правда, международные события говорят в нашу пользу красноречивее любой агитации... Понимаете, эти люди абсолютно дезинформированы. Пользуются слухами и сплетнями, зачастую вражескими. Генерал Берзарин идеализирует Берлин и берлинцев, потому что он комендант города, а я все время стараюсь не забывать, что мы с вами живем в бывшей столице гитлеровского рейха, а вокруг нас ходят те же люди, которые три недели назад оголтело кричали «Зиг! Хайль!», пели песню про Хорста Весселя. И вот, если ваши гости изредка будут узнавать от вас правду о том, что творится в мире, только правду, без всяких комментариев, одно это уже будет превосходно. Газета «Теглихе рундшау» выйдет пятнадцатого мая, «Берлинер цайтунг» — двадцатого, а они хотят знать о событиях, которые происходят в мире сегодня.

— Здравствуйте,— совсем не по-военному прозвучало в кабинете.— Вы меня вызывали, товарищ командарм?

— А, Таня, здравствуй, проходи, проходи,— живо отозвался Берзарин.

Таня, невысокая, еще совсем молоденькая, лет двадцати двух, не больше, крепенькая, как лесной орешек, круглолицая и кареглазая девушка, без всякой тени смущения села в кресло. Волосы ее были причесаны тщательно, волосок к волоску; едва

заметный темный пушок оттенял капризно очерченную верхнюю губу и придавал лицу энергичное выражение.

Берзарин взглянул на нее и неожиданно спросил у Котова:

— Вы жепаты, товарищ капитан?

— Так точно. Жена с дочкой уже вернулись из эвакуации.

— Прекрасно. Так вот, Таня, на некоторое время тебе придется расстаться со столовой.

— Есть расстаться со столовой, — ответила Таня, не проявляя никакого любопытства к своей дальнейшей судьбе. Она была вольнонаемной, погон не носила, но тем более ей хотелось точными, дисциплинированными ответами подчеркнуть свою неотъемлемую принадлежность к армии. Из прошлого опыта она знала, что Берзарин может взвалить ей на плечи неожиданную работу, но в обиду не даст, и с интересом ждала дальнейшего развития событий.

— С сегодняшнего дня поступаешь в распоряжение капитана Котова.

— В каком качестве, товарищ генерал? — нпчуть не встревожилась Таня, она просто хотела знать все о своей будущей работе.

— В каком качестве? — переспросил Берзарин. — Это, право, довольно-таки тонкая штука. Как ты думаешь, Федор Ефимович?

— А какое это имеет значение? — отозвался Боков. — Они же не станут проверять.

— Проверять, допустим, не станут, но могут поинтересоваться. Жена? Нет. Сестра? Нет. Дальняя родственница? Смешно. Медсестра? Тоже нет. Просто, я думаю, назовем тебя телефонисткой. Протянем туда связь, капитану она пригодится, и будешь ты на службе.

— А на самом деле в чем будет выражаться моя служба? — все так же спокойно спросила Таня.

— В том, что ты делаешь и сейчас: будешь кормить людей. Преимущественно немцев. Если сама не управишься — их там может собраться немало, — возьмешь на помощь немку.

— Простите, я вас не понимаю. Как это я не управлюсь?

В глубине души Таня падеялась на какое-то почетное, романтическое задание и была разочарована, однако виду не подала, подумала, что, скорей всего, эта работа не такая уж простая, как может показаться на первый взгляд, раз о ней заботится сам командующий армией.

— Ясно, — сказала Таня, хотя в действительности ей ничего не было ясно, кроме того, что задание было важным и относиться к нему следовало серьезно.

— У тебя возникнет еще немало вопросов, выяснишь их у капитана, он все знает.

Таня вышла из кабинета, твердо ступая сильными ногами в хорошо начищенных сапожках на высоких каблуках.

— Вот теперь я за вас полностью спокоен, капитан,— сказал Бокков.

— Вы знаете, мне тоже стало спокойнее,— в тон ему ответил Котов.

7

— Товарищ генерал, Ляхов с художником вернулись,— доложил Староверов.

— Давай их сюда, живо.

На Вангеля, когда тот вошел в кабинет, было больно смотреть, так горько кривились его губы от разочарования. Еще не услышав ни одного слова, Берзарин уже знал, что поездка закончилась неудачно, но все-таки спросил:

— Нашли?

— Нет. Дом разрушен. Вчистую. Тяжелая бомба разорвалась в подвале. Там теперь яма метров пять глубиной,— ответил Ляхов.

— Мне очень горько, товарищ Берзарин,— сказал Вангель,— но я еще не теряю надежды. Маску часто переносили с места на место, и, может быть, к счастью... Буду продолжать поиски, расспрошу, куда перебрались люди из этого дома, вполне вероятно, что они живы, что-то знают... Для меня это больше чем личное горе, товарищ Берзарин...

Комендант Берлина расстроился. Ему самому очень хотелось, чтобы маска Ленина нашлась, чтобы он поверил, что в Берлине жили не только нацисты, но и честные немцы. Нужно было убедить в первую очередь самого себя, потому что, не поверив немцам, выполнять обязанности коменданта Берлина было бы очень тяжело.

— А она действительно была, эта маска? — спросил Берзарин.

Вангель багрово покраснел, широко раскрыв рот, трудно вдохнул и сказал тихо:

— Вы мне не верите?!

— Понимаете, товарищ Вангель,— ответил Берзарин, уже казня себя за несдержанность,— это настолько невероятный случай, что поверить в него можно, только увидев маску. Не сердитесь, а поймите меня. На моем месте вы бы думали так же.

— Может быть, вы и правы,— согласился Вангель и отвернулся.— Я буду искать и найду, если не маску, то людей, которые ее перепрыгивали,— проговорил он.

Берзарину стало жаль старого человека.

— Если вам понадобится помощь — пожалуйста.

— Спасибо. Вы не можете представить, как мне горько. До свидания.

Вангель уже дошел до двери, когда в кабинете вновь прозвучал голос Берзарина:

— Одну минуту, товарищ Вангель, я совсем забыл познакомиться вас с нашим писателем капитаном Котовым. Вы люди искусства, и у вас наверняка найдется о чем поговорить...

Капитан мгновенно сориентировался и даже обрадовался, что уже начинается его новая служба.

— Очень приятно познакомиться,— сказал он Вангелю.— Хотел бы пригласить вас к себе на ужин. Поговорим о литературе, искусстве. У вас, наверное, есть друзья среди писателей, художников, актеров, загляните вместе ко мне на огонек. Буду рад. Сегодня вечером или завтра, как вам будет удобнее.

— В гости? На ужин? — удивленно переспросил Вангель.

— Да. Вас что-то удивляет?

— Нет, ничего. Просто мы отвыкли за последние годы от этих прежде привычных слов.

— Настала пора о них вспомнить,— вставил свое слово Берзарин.

— Ну что ж, спасибо. Не откажусь. И вполне возможно, что приеду не один. Где вас найти?

— Я сегодня перебираюсь в другой дом,— вышел из затруднительного положения Котов,— но если вы назовете свой номер телефона, я сообщу адрес часа через два-три, не позже.

— Хорошо,— сказал Вангель, думая о своем.— Неужели, товарищ Берзарин, вы могли мне не поверить?

— Найдете маску — поверю,— сухо обронил комендант.

И снова, уже в который раз за этот длинный день, они с Бокковым остались одни в кабинете. Их тягостное молчание прервал приход Староверова.

— Простите, товарищ генерал, но майор Прохоров настаивает... у него чепэ,— сказал адъютант.

Майор Прохоров был комендантом района Трептов. Берзарин видел, как он воевал на Зееловских высотах, командовал артдивизионом. По пустякам беспокоить коменданта он бы не стал. Значит, случилась какая-то серьезная неприятность. Одно к одному, и Берзарин с неохотой взял телефонную трубку.

— Товарищ генерал,— докладывал майор,— явились три немки, одна из них с удостоверением, подписанным лично вами. Так вот эти дамы берут меня за глотку и требуют сгущенное молоко, вроде бы для детей в больницах, хотя все это нуждается в уточнении. Я решил вас побеспокоить, честное слово, не знаю, что делать. У нее ваше удостоверение, и она им злоупотребляет.

— А молоко у тебя есть? — спросил Берзарин, усмехнувшись.

На мгновение майор Прохоров запнулся, но честно признался:

— Есть, пятьсот двадцать банок из трофеев рейхсканцелярии. Все оприходовано по актам. Можете не сомневаться, товарищ генерал.

— Я и не сомневаюсь. Но послушаться женщин придется.

— Как же так? Ведь это наши трофеи,— голос Прохорова стал расстроенным.— Все законно, все заприходовано. Расходуем по нормам.

— Значит, составь соответствующий акт и спиши.

— Но удостоверение у этой... все-таки отобрать надо,— не сдавался Прохоров.— Она им злоупотребляет.

— Там стоит моя подпись? — медленно спросил Берзарин.

— Стоит.— Майор не сразу уловил перемену настроения коменданта.

— Значит, это я злоупотребляю. Понял, Прохоров?.. И имей в виду,— улыбка исчезла с крупных твердых губ Берзарина,— имей в виду, если у тебя в районе помрет с голоду хоть один ребенок...

Прохоров уже ясно различил изменившийся тон разговора и ругал себя на все корки за этот звонок.

— Не допустим таких нежелательных случаев, товарищ генерал. Вопросов нет. Молоко ей выдам сию минуту. Всю серьезность этого дела понимаю. Счастливо оставаться!

Берзарин положил трубку и, довольный, взглянул на Боква.

— Деловая женщина,— сказал член Военного совета.

— А матери всегда деловые, когда решается судьба их детей. Ты знаешь, я, пожалуй, попомногу начинаю привыкать к этому городу... И Герда, Герда! Она настоящий человек. А человека нужно уметь понять и приветить.

У Берзарина неожиданно для него самого вдруг возникло ощущение собственной силы. До этой минуты он знал, что опирается не только на своих районных комендантов, но и на все дивизии, размещенные в Берлине. Это была громадная мощь, и, владея ею, можно не бояться случайностей. Но теперь к силе коменданта Прохорова прибавилась еще и активность Герды Баум, они оказались рядом в борьбе за жизнь этого жутковатого, мертвого города, который совсем недавно был столицей гитлеровского рейха. Город нужно было вернуть к жизни, и сделать это могли только сами немцы. В деятельности Герды Баум Берзарин увидел не только желание матери накормить свое голодное дитя, а что-то более значительное, и именно это обрадовало его.

Но, как частенько бывает в жизни, хорошее настроение исчезло, как только в кабинет вошел Староверов и доложил, что в районе Темпельгоф поймали мародеров.

— Двое немцев и двое наших репатриантов. Эти, репатрианты, себе даже военную форму раздобыли. Немцы в штат-

ском. Действовали от имени комендатуры. Золото искали. Обыски проводили. Все арестованы.

— Та-ак,— медленно протянул комендант, лицо его потемнело.— Соедините меня с прокурором. Быстро.

И через минуту уже в трубку:

— Да, я вызывал, здравствуйте, полковник. О мародерах знаете? Хорошо. Следствие ведите, не теряя ни минуты, со всей тщательностью и доскональностью. Ежели вина будет доказана, расстрелять, а еще лучше — повесить. Объявить об их преступлении и исполнении приговора по радио. Все. Желаю успеха.

— Расстрелять, а еще лучше — повесить,— медленно повторил Боков.— Вот никогда не думал...

— Что я такой жестокий? — спросил Берзарин.

— Нет, жестокости в этом я не вижу, это нормальная реакция коменданта, без твердой руки дисциплину не наведешь, охотники до чужого добра найдутся. Здесь все правильно.

— Что же тебя удивило?

— Сопоставление «человека необходимо понять и приветить» и «расстрелять, а еще лучше повесить».

— А здесь нет противоречия: человека действительно нужно и понять и обласкать, мародера — повесить.

— А они не люди?

— Нет, они не люди,— убежденно ответил Берзарин.— И направление твоих мыслей я сейчас не понимаю.

— Дело в том, что эти мародеры тоже люди,— ответил Боков,— или, во всяком случае, когда-то были людьми, и думаю я о том, какую махину работы нам еще предстоит сдвинуть, чтобы те, которые очутились где-то между высоким званием человека и позорным положением мародера, опомнились и снова стали людьми. Война частенько предоставляет возможность легкой наживы, а охотников до этой легкой наживы немало...

— Что же ты хочешь?

— Я хочу не только строгого наказания, но и широчайшей разъяснительной работы о нашей политике. Газеты, хорошей газеты нам сейчас, как воздуха, не хватает.

— Ничего,— ответил Берзарин,— если мы добыли победу собственными руками, то и газету выпустим и с мародерами справимся... Я теперь, знаешь, все чаще думаю о нашем советском солдате. Отступал от границы, учился воевать на ходу, такую школу прошел, что и черту не снилось, убивали его не раз, уничтожали, а он оставался жив и воевал, свято веря, что победа будет за ним, знал, что не кто иной, а именно он должен ее завоевать. Прошел через родное село, снял с виселицы тело отца, и мать последним своим дыханием приказала ему мстить, убивать. И он убивал, потому что не было другого пути к победе, только переступая через трупы гитлеровцев и самого Гитлера, можно было прийти к ней. И вот он дошел до Берлина,

водрузил наше Знамя над рейхстагом, а я ему теперь говорю: «Раньше ты воевал против немцев, а теперь нужно их спасать. В городе нет воды, водопровод не работает, немецким детям пить нечего». Он идет в шахту водопроводной сети, находит повреждение и сам тонет, уже после войны, после Победы. А товарищам его приходится расчищать танками Берлин, и работают они весело, с наслаждением, стараются определить, где простой немец, а где фашист; им, нашим солдатам, должен быть обязан Берлин своей жизнью. История не знала подобного примера.

— Такого события, как Октябрьская революция, история тоже прежде не знала, — заметил Боков.

— Правильно, все это там, около Зимнего дворца, и зародилось, там корни. Ну да ладно, что-то меня потянуло на высокие материи...

— Это ты свою речь на открытие магистрата готовишь, — усмехнулся Боков.

— Возможно. Ее не просто будет сказать, эту речь. Староверов, я вызывал офицеров, которые обследовали пекарни. Где они?

— Все явились. В зале. Картина неутешительная.

— Ничего, будет утешительной, — сказал комендант.

Он вышел к офицерам, потом снова вернулся в кабинет, и рабочий день вырос перед ним как гора все новых и новых задач и проблем, которые нагромождались, напознали одна на другую, угрожая похоронить под собой, утопить в потоке больших и малых неотложных дел. И может, именно потому в четвертом часу Берзарин с очевидным удовольствием сказал адъютанту Староверову, что едет осматривать город, вернется около шести, отодвинул в сторону бумаги и вышел на крыльцо комендатуры, где около мотоцикла уже ждал ординарец.

8

Он опустился в седло и с удовольствием почувствовал его крепкую, надежную упругость. Только в такие минуты появлялось ощущение, что он еще молод и силен. Перчатки на руки, толчок ноги в педаль — и вот уже слышен приглушенный пульс хорошо отлаженного мотора. Это словно команда для ординарца Ляхова, и повторять ее не приходится, он в коляске, сидит, упершись ногами в днище, а рыльце автомата рядом, на борту коляски. Руки генерала на руле, мотор работает громче, и машина сразу срывается с места.

Посмотрим, что за сегодняшний день сделали уважаемые жители Берлина, сколько руин разобрали. Для них проезд генерал-полковника уже вроде как традиция, чуть ли не ритуал, сигнал для окончания работы.

И хотя Берзарин, конечно, не мог проехать по всем улицам, где разбирали руины, слух о его появлении распространялся мгновенно. Замирают руки, которые только что передавали кирпич за кирпичом — «битте-данке», «битте-данке». Генераль-оберст проехал — можно заканчивать работу. Немцы — вежливые люди, они встречают коменданта города любезными улыбками, хотя, видит бог, некоторые не прочь запустить кирпич, который был в руках, в голову генерала. Но они этого не делают и не сделают, потому что Берзарин — человек слова, пообещал не много, но все обещания выполнил, а что касается его утренних и вечерних поездок по улицам всегда в одно и то же время, так это создает ощущение надежности и порядка, а для немца ощущение порядка важнее всего на свете. Значит, Берзарин достойный человек, и приветливо ему улыбаться можно с чистой совестью.

А для самого Берзарина эти короткие поездки были важнейшими минутами его комендантской службы. Он видел Берлин, вживался в него, с каждым разом открывая для себя все новые и новые детали, которых прежде почему-то не удавалось заметить.

Что делают на развалинах сгоревшего дома солдаты-артиллеристы? Каким образом на бетонной площадке третьего этажа оказалась полковая, короткоствольная пушка? Втащить туда ее невозможно, потому что лестница разбита. Но не с неба же она свалилась? И почему раньше, проезжая по Франкфуртер-аллее, он этой пушки не замечал? Может, потому, что рядом с ней не было солдат?

Сержант, стоявший на тротуаре, увидев генерала, вытянулся, рука застыла у блестящего черного козырька.

— Товарищ генерал, расчет второго орудия первой батареи спускает орудие с огневой позиции. Докладывает сержант Семенов.

— Как же вы ее туда втащили?

— По частям, товарищ генерал. Разобрали, доставили на огневую, а там собрали. Вся улица аж до Алекса простреливалась. Только бетон разбит, свалиться страх как боялись.

Для него Александерплац уже стала называться по-берлински «Алекс»... Быстро становятся берлинцами молодые артиллеристы! И в находчивости им не откажешь.

И снова дрожат в ладонях живые, нервные рога мотоцикла. Машина идет резво. Берзарин любит быструю езду. Около дворцов — памятник императору, в каске, верхом на коне. Тяжелая мина оторвала коню ногу, но не совсем, та повисла на проволоке стальной арматуры и тихо раскачивается от весеннего ветра. Коню, должно быть, больно...

Через Унтер-ден-Линден путь лежит к Бранденбургским воротам; тут приходится маневрировать между сожженными машинами, остатками баррикадных укреплений, разбитыми

пушками. Зенитка стоит посреди улицы. Снаряд ее разорвался на вылете, ствол расщепило, и напоминает он сейчас неестественно огромный цветок с тремя стальными лепестками.

Направо рейхстаг, налево рейхсканцелярия, прямо перед глазами — широкая, тоже вся в завалах, Бисмаркштрассе, которая пронизывает Тиргартен. С нее, с этой широкой улицы, взлетали последние легкие самолеты, эсэсовцы хотели вывезти фюрера в Баварию. Гитлер отказался — безопасного места на земле для него уже не было...

Всюду удивительная тишина, и после боя, который грохотал здесь последние две недели, она кажется обманчивой. Не спешат, но упорно разбирают развалины немцы. Найдут под разбитыми стенами труп, останутся, но ненадолго. Трупов под руинами много, они никого не удивляют, куда их складывать, хорошо известно. Но в майском легком воздухе чувствуется трупный дух, запах войны. Еще не скоро от него избавится Берлин. И снова: «битте-данке», «добрый вечер, господин генераль-оберст».

Зигесзойле — колонна, воздвигнутая немцами в честь победы над французами в 1871 году, возникает перед глазами. Она окружена скульптурными изображениями полководцев: Мольтке, Бисмарк, Шарнгорст... У полководцев какой-то растерянный вид. Колонну украшают пушки, когда-то захваченные в Париже. Там была Коммуна...

Теперь влево, на Курфюрстендам. Это довольно широкий бульвар, когда-то одна из самых роскошных улиц Берлина. В конце ее, как огромный бивень, в небо вонзился шпиль полусторевшей Гедехтнискирхе... И здесь те же слова: «битте-данке», «битте-данке». Мало-помалу, а разобрано уже порядочно, вот вам и «битте-данке», немцы умеют работать.

Солнце клонится к закату, вытягиваются тени полусторевших домов, пора возвращаться в комендатуру.

Теперь мотоцикл идет полным ходом, приятно чувствовать в руках его надежную силу. Снова через центр, на Лихтенберг. Больше пятидесяти километров отмахали они за эту вечернюю поездку.

А вот и знакомый навстречу. Куда идет Отто Вангель? Тоже осматривает город? Нет, скорее, разыскивает следы исчезнувшей маски. Пожелаем ему удачи, хотя поверить в существование этой маски трудно.

А здесь поселился капитан Котов. Маленький двухэтажный дом стоит в глубине сада. Две яблони перед парадным крыльцом уже отцветают. Странно, в Берлине цветут яблони, как в России... Тая большая тряпкой сосредоточенно моет окно.

Поворот направо — и в Карлсхорст. Что нового узнал он, комендант Берлина, за этот вечер? Не так уж много, по главное удалось увидеть, почувствовать: Берлин живет, с болью, трудно, переосмысляя многое; что еще вчера казалось бесцен-

ным, сегодня оказывается мишурой, живет, привыкая к новым понятиям — демократия, демилитаризация, денацификация; не только смысл, но сами эти слова недели две назад были далеко не безопасны, а сейчас машины с громкоговорителями разъезжают по городу, повторяют их с утра до вечера. Наверное, все это не так просто для берлинцев. А для него, для Берзарина, просто?

И хочется, очень хочется, чтобы была видна работа честных немцев, которые, ненавидя Гитлера, боролись, а не сидели сложа руки, как писатель Флазер, делали хоть что-то, хоть самую малость. Если рядом с Берзариним не будет таких людей, как жить и работать в этом городе? Как понять его? Ведь Берлин — это не только улицы, площади. Город — прежде всего люди, которые в нем живут.

9

Комендант не ошибся, когда, увидев на Франкфуртераллее Вангеля, подумал, что художник ищет драгоценную маску. Теперь это было для Вангеля делом чести. Недоверие Берзарина больно поразило его, хотя художник сознавал, что комендант для этого недоверия имел все основания. Слова, не подкрепленные делом, остаются словами и мало кого убеждают. Сейчас многие из берлинцев, даже нацисты в прошлом, носят красные розетки на лацканах пиджаков. Если их послушать, то можно подумать, что они никогда не кричали «Зиг! Хайль!», спали и во сне видели, как бы им поскорее уничтожить нацизм. А Вангель, который действительно когда-то в Москве получил в подарок маску Ленина и, рискуя жизнью, перепрятывал ее, теперь бессилён это доказать.

Но ведь не может же маска так вот бесследно исчезнуть. Должны же остаться люди, которые что-то знали о ней. И Вангель решил начать поиски с самого начала. Он пришел в Рейникендорф, на северо-западную окраину Берлина, нашел место, где прежде стоял дом, долго смотрел в глубокую воронку от тяжелой авиационной бомбы, потом оглядел соседние дома. В этих домах живут люди. Неужели они ничего не знают? Скорее всего, не знают. Если гестапо не догадывалось, то простые люди и подавно. А может, наоборот? Может, люди знали больше гестапо? Ну, если не про маску, то хотя бы про людей, которые ее сохраняли...

Он постучал в калитку невысокого заборчика, сделанного из металлической сетки. По ромбическому рисунку сетки уже протянулись длинные усики плюща, скоро они зацветут, как десять и сто лет назад.

Форточка в окне, дрогнув, приоткрылась и замерла, оставив щелку в палец толщиной. Острый глаз художника скорей уга-

дал, чем разглядел, за щелочкой человека: хозяйева открывать не спешили.

Потом приоткрылась дверь, на крыльцо, выложенное из обтесанного камня, вышла женщина.

— Мы не подаем. У нас у самих...

— Вы ошибаетесь, — сказал Вангель, подумав, что у него и в самом деле нищенский вид, — вы ошибаетесь, мне только хотелось узнать, много ли людей погибло в этом доме и не остался ли кто-нибудь в живых?

Женщина недоверчиво посмотрела на Вангеля, но все-таки подошла поближе к забору. И хотя Вангель походил на обычного узника концлагеря, которых сейчас множество повыходило на волю, хозяйка дома почувствовала, что речь идет о вещах более важных, чем хлеб.

— Там что, ваши родственники жили? — спросила она.

— Нет, не родственники, просто добрые знакомые.

— А как их фамилия?

На этот вопрос Вангель ответить не мог. За время его пребывания в концлагере маска сменила несколько адресов. Валли, жена художника, запомнила лишь номер этого дома, но он ведь мог быть далеко не последним. Почему-то казалось совершенно естественным, что в тот момент, когда рухнут остатки гитлеровского зверинца, о маске и о людях, которые ее прятали, заговорят на всех перекрестках. Но зверинец рухнул, а о маске молчали. Разве это не лучшее доказательство ее пропажи?

— Фамилии их я не знаю, — сказал Вангель, — это друзья моих друзей, у них я надеялся узнать...

— Друзья ваших друзей? — ехидно спросила немка. — Придумайте что-нибудь поубедительней и ищите в другом месте. В доме под номером семнадцать никто не погиб. Друзья ваших друзей из него выехали еще загодя. Вернее, выехала только жена друга вашего друга, его самого забрали на фронт.

— Она захватила с собой много вещей?

— Нет, мешок и чемодан. Откуда у них могло быть много вещей?

— Простите, — наливаясь радостной надеждой и очень хорошо понимая, какой хрупкой она может оказаться, продолжал Вангель. — Вы не знаете ее имени?

— Нет, не знаю, — ответила немка. — Может, кто-нибудь из соседей знает. Желаю успехов в поисках друзей ваших друзей, — иронически добавила она, откровенно не доверяя Вангелю.

И он принялся обходить соседние дома. Его всюду встречали недоверчивые глаза, сдержанные ответы. Если бы он знал хоть имя!

Но когда Вангель совсем было отчаялся, ему неожиданно повезло: молодая женщина с ребенком на руках, миловидная и

приветливая, даже странно было видеть в Берлине такое веселое, беззаботное лицо, не раздумывая сказала:

— Ее звали Герда Баум, а переехала она... Сейчас и вам дам адрес. Она оставила его на случай, если вернется муж с фронта. Может, он уже и вернулся, а может, и погиб; сюда, во всяком случае, он не приходил.

И она улыбнулась Вангелю, улыбнулась от счастья: война окончилась, а ее муж был дома, правда, у него плохо сгибалось простреленное колено, но в сравнении с общим горем и разрухой это просто пустяки, домик их цел, дочка растет, словно ее каждый день поливает теплый дождик, а что живут они голодно-новато, так это все образуется, были бы живы, а счастливы будут.

Еще не веря в свою удачу, Вангель хотел пожелать этой милой женщине всего хорошего, но вдруг почувствовал, как у него закружилась голова, все поплыло перед глазами и ноги подломились... Опомнился он уже в комнате.

— Это от голода? — встревоженно спросила женщина.

— Нет, не беспокойтесь, — ответил Вангель. — Это от счастья.

— Она вам кто, эта Герда Баум? Дочь? Подруга?

— Больше.

— Любимая? — с веселым сомнением спросила хозяйка.

— Больше.

— Ну, больше не бывает, — с полным знанием дела заявила женщина. — Немного картофельного супа я вам могу предложить.

— Спасибо. Вы очень любезны, — ответил Вангель. — Странно, оказывается, и в наше время люди еще помнят про любовь.

— А я никогда и не забывала.

— Кто ваш муж?

— Рабочий. Слесарь-водопроводчик. Теперь без работы и часа не будет сидеть. У них в дирекции побывал комендант Берзарин, и директор докладывал ему о планах восстановления водопроводной сети. Работы на десять лет хватит.

«И туда уже успел заглянуть», — подумал Вангель, хлебая суп.

Хозяйка посматривала на него, желая удостовериться, вкусно ли, и была она такая молодая, полная здоровья, счастья, двигалась так легко, излучая радость, что Вангель залюбовался ею, впервые за долгое время вспомнив про свое призвание художника и пожалев, что нет с ним палитры и холста, чтобы нарисовать отблеск солнца и счастья на молочно-розовом, округлом лице женщины, которую, вне всякого сомнения, звали Гретхен.

— Когда-нибудь я вас нарисую, — сказал он.

— Вы художник?

— Да, когда-то был художником, — ответил Вангель, доел суп, попрощался и вышел из гостеприимной комнаты.

Теперь у него был адрес Герды Баум. Это, конечно, немало. Но до полной удачи он как еще далеко...

На другой день Вангель разыскал нужный ему дом, верхний этаж его обгорел, но подвал сохранился. В нем-то и жила Гертруда Зингер. Вангель подумал, что вряд ли Герда Баум может обитать на верхних, сгоревших этажах, и потому сразу направился в подвал, постучал раз, другой, услышал разрешение войти и оказался в подвале, правда, с чисто вымытым окном, с тщательно заложенной кирпичами пробойной в стене. В невысокой кроватке лежал маленький ребенок, и вся комната нежно пахла чистотой и материнским молоком. Хозяйка внимательно разглядывала гостя, стараясь понять, что он за человек.

— Простите,— сказал Вангель,— могу ли я видеть ффрау Герду Баум, она здесь живет?

— Не пытайтесь мне вправлять мозги и не корчите из себя чиновника секретной службы. Там все-таки прилично кормят, а у вас на лице написано, из какой вы вышли харчевни.

— Чей это ребенок? — смущенно спросил Вангель, ошеломленный грубой бесцеремонностью Гертруды.

— Мой,— ехидно поглядывая на Вангеля, ответила старуха.

— Стыдитесь, ффрау...

— Меня зовут Гертруда Зингер.

— А я Отто Вангель, художник.

— Знаем мы таких «художников». Вас здесь немало слоняется. И нечего напускать на себя важность, пусть полиции нет, зато есть комендатура, а с комендантом я знакома лично. Так что вы со мной не очень-то... В концлагере долго сидели?

— Семь лет, Заксенхаузен.

— Вот это похоже на правду. Годочки-то эти, как печатью, вас припечатали... Все вижу и понимаю, но помочь не могу — нечем. Да и попрошайек сейчас в Берлине развелось...

Щеки Вангеля порозовели от обиды.

— Я не попрошайка,— заявил он гордо.— И мне ничего от вас не нужно. Но женщина, которая у вас квартирует, может знать, где находится одна вещь, которую я разыскиваю. Ффрау Баум когда-то жила в Рейникендорфе... В их дом угодила бомба. Эта вещь была закопана в подвале... Соседи сказали мне, что Герда Баум переехала сюда.

— Откуда они знают?

— Она оставила им адрес на случай, если муж вернется с фронта. Мне необходимо ее увидеть и расспросить...

— Ну, это другой коленкор,— по-прежнему насмешливо улыбаясь, сказала Гертруда.— Герда Баум действительно живет здесь, но она ничего не знает.

— А вы почему за нее отвечаете?

— Потому что нас горе породнило, мы с ней в этом подвале пережили самые страшные минуты войны, понимаете, смерть пережили. И стали как сестры, все знаем друг о друге. Да к тому

же она у нас теперь не просто Герда Баум, закройщица со швейной фабрики, а государственный деятель. У нее нет времени заниматься вашими личными делами, разыскивать чужое барахлишко.

— И все-таки я бы хотел ее повидать,— упрямо повторил Вангель.— Увидеть-то ее можно?

— Отчего же нельзя? Она скоро зайвится кормить своего ребенка.

— Я подожду ее?

— Только не здесь, на улице,— важно сказала Гертруда.

В это время в дверь снова постучали, и Гертруда, не зная, на ком сорвать свое раздражение, громко крикнула:

— Входите! Кого еще черти песут?

— Вы очень вежливы, фрау Зингер,— сказал профессор Зоненбах, входя в подвал.

— Уж какая есть,— ответила старая Гертруда.— Мне учиться поздно.

— Нет, учиться никогда не поздно. У меня к вам большая просьба. Моя жена утром ушла разбирать развалины и, как всегда, забыла ключи от квартиры. Передайте ей, пожалуйста, когда она вернется.

— А когда она вернется? — сердито спросила Гертруда.— Может, я уже буду спать.

— О нет, это будет значительно раньше. Она вернется сразу после того, как проедет по улицам на своем мотоцикле генерал Берзарин. Около пяти часов. Весьма трогательный факт: он проедет утром — немцы начинают работу, проедет вечером — заканчивают.

— В этом нет ничего трогательного, как вы изволили выразиться,— сказала Гертруда,— генерал Берзарин порядочный человек, и если кто-то и достоин того, чтобы жить в Берлине, так это именно он, чего не скажешь о некоторых немцах, больше думающих о личных делах, нежели о судьбе Берлина,— и она весьма выразительно посмотрела на Вангеля.— Хорошо, можете идти оба. Ключи отдам.

— Простите,— неожиданно сказал Зоненбах, обращаясь к Вангелю,— я не мог раньше встречаться с вами?

— Не могли,— снова распаляясь и не понимая причины своей досады, сказала Гертруда.— Пока вы, господин профессор, Гитлеру аппендицит вырезали, этот горемыка в Заксенхаузене сидел. Проваливайте-ка отсюда, кому я сказала!

— Это вы мне? — в изумлении развел руками Зоненбах.

— Да, вам обоим.

— Должен заметить, что вы стали весьма любезны, фрау Зингер.

— Повторяетесь, профессор, вы мне уже сделали комплимент,— не могла сдержаться старуха, потому что не прошло еще первое напряжение последних недель.— Да, кстати, про-

фессор! — крикнула она. — Вы случайно не знаете, где пребывает наш выдающийся государственный деятель Герда Баум? Этот доходяга ее разыскивает.

— Зачем она вам? — спросил профессор. — У вас больные дети?

— Нет, дети мои здоровы. Я ищу одну вещь, которая раньше принадлежала мне. Фрау Баум может знать, где она находится.

— Золото? — спросил Зоненбах.

— Нет, дороже.

— А дороже не бывает! — категорически отрезала старуха.

— Ну, это как сказать, — заметил Зоненбах. — Желаю вам найти вашу драгоценную потерю, господин Вангель.

Художник вскинул голову от неожиданности и, в свою очередь, пристально посмотрел на профессора:

— Вы меня узнали? Может, даже когда-то видели мои картины?

— О господи, — простонала Гертруда, — и этот лезет в знаменитости!

— Нет, картин ваших я, к сожалению, не видел, — ответил Зоненбах, — но мы с вами несколько дней назад сидели в приемной Берзарина.

— Совершенно верно, — обрадовался Вангель.

Гертруда посмотрела на одного, потом на другого, отметила взаимное расположение, возникшее между этими совсем чужими людьми, стоило им только вспомнить о Берзарине, и тут же снова взорвалась:

— Только и слышишь: Берзарин, Берзарин! Куда ни повернешься — всюду Берзарин. Скоро и шагу без него не ступишь.

— На этот раз вы совершенно правы, дорогая фрау Зингер, — сказал Зоненбах.

— Вот и идите к нему, выслуживайтесь! А какой он комендант, я знаю лучше вас. И некогда мне с вами язык чесать: у маленького пеленки мокрые.

— Я подожду во дворе, фрау Зингер, — уже привыкая к ворчанию старой женщины, напомнил Вангель.

— Ждите, ждите, дожидетесь, — сердито пообещала Гертруда и открыла дверь за непрошеными гостями. — Так, значит, — приговаривала она, пеленая маленького Карла, — прячешь золото, а может, что-то и подороже? Посмотри-ка, из молодых, да ранняя. Прикидывается, будто за душой ни пфеннига, а сама... Ну, моя милая, теперь ты мне сполна заплатишь...

Все еще продолжая ворчать, она заботливо перепеленала Карла, ласково полюбовалась им, поцеловала в смешной, кнопочкой, носик, прибрала мокрые пеленки.

Без стука открылась дверь, Герда Баум в сопровождении Вангеля вошла в подвал. Она сильно изменилась за эти несколько дней. Конечно, не удостоверение за подписью коменданта,

а уверенность, что Берзарин всегда поддержит ее, если она будет честно работать, придала ее облику какую-то особую законченность, а словам, неторопливым жестам — достоинство и определенность. Тот случай в комендатуре Трептов, когда майор Прохоров сначала возмутился, а потом, и слова не сказав, отдал пятьсот двадцать банок молока для больных детей, многому научил Герду. Она глубоко уверовала в то, что слово Берзарина надежно. У нее появилось ощущение солдата, который долго скитался, отстав от своей части, а потом вдруг нашел ее, почувствовал прочную власть командира; он может послать его, солдата, в самое пекло боя, на верную смерть, но обязательно поддержит огнем и защитит, не бросит, а поможет всей своей силой, когда дело обернется круто.

Оттого что Герда Баум стала «государственным деятелем», как шутливо называла ее Гертруда, она не перестала быть матерью, и потому, переступив порог, первым делом бросилась к Карлу.

— Малыш не плакал? Вы с ним выходили на свежий воздух?

— Там смрад и пыль, а не свежий воздух. Здесь, в комнате, он чище, но покоя и тут нет. Вот этот доходяга полдня отнял своими разговорами, прямо в печенки въелся.

Только теперь Герда обратила внимание на Вангеля, но не встревожилась, как ожидала Гертруда, а, наоборот, приветливо улыбнулась, когда он представился.

— Вы жили в Рейникендорфе? — быстро спросил Вангель.

— Да, но я переехала, как только мужа взяли на фронт.

— Скажите, пожалуйста, фрау Баум, отправляясь на фронт, ваш муж не передавал вам такой небольшой сверток на сохранение?

— Нет, — ответила Герда, но прозвучало это короткое слово «нет» неуверенно, и Вангель насторожился.

— Припомните, очень вас прошу.

— Нет, — теперь решительно бросила Герда.

— Но могло быть и так, что пакет передали вашему мужу, он потом передал кому-то, а вы об этом не знали.

— Простите, — с гордостью ответила Герда, — мы с мужем жили душа в душу, и никаких тайн между нами не было.

— Может, вы слышали хоть какой-то разговор, припомните...

— Нет, не слышала.

— Понимаете, вы единственный человек, который может хоть что-то знать про сверток. Это чрезвычайно важно.

— Я ничего не знаю, — с нажимом, твердо сказала Герда. — Когда вернется мой муж, тогда и спрашивайте.

— Где он?

— Надеюсь, что в плену. Последнее письмо было в апреле.

— Но ведь он мог и погибнуть?

— Мог и погибнуть,— медленно, бледнея, сказала Герда.— Простите, но этот разговор мне неприятен.

— Извините... И все-таки мне почему-то кажется, что вы что-то знаете про этот сверток.

— А вы кто такой и почему она должна отвечать на ваши вопросы? — вмешалась Гертруда.— Не знает она ничего ни про вас, ни про ваши вещички. Видали, художник нашелся! Что в том свертке, музейные ценности? А ну, проваливайте отсюда! У нас поважнее дела есть...

Она потеснила Вангеля своей грудью, будто танк, и отодвинула его к дверям.

— Мы еще встретимся, ффрау Баум,— сказал художник.

— Она прямо мечтает с вами встречаться,— закрывая дверь, отрезала старуха, но избавиться от Вангеля так сразу не удалось. Он вновь приоткрыл дверь и сказал, протягивая визитную карточку:

— Ффрау Баум, если вы что-нибудь вспомните, прошу вас, позвоните.

— Ничего она не вспомнит,— торжествуя свою победу, хлопнула дверь Гертруда.— Просто беда, какими пакостными стали люди, вот так влез бы к своему ближнему в душу. Что с вами, ффрау Баум?

Герда сидела на стуле и с тревогой смотрела на дверь, за которой исчез художник. В низенькое окошко подвала робко проник солнечный луч, и сразу полусумрак комнаты наполнился светом. Губы Герды были скорбно сжаты, напряженный взгляд выражал смятение, и старой Гертруде очень хотелось знать, о чем она думает в эту минуту...

— Вы что-нибудь знаете про вещь, которую он ищет?

— Нет, я ничего не знаю,— очнувшись от своих раздумий Герда.— Спасибо, ффрау Гертруда, сама бы я никогда от него не отделалась. Вы будете дома?

— А куда мне деться?

— Из лагеря военнопленных выпустили врачей, и среди них есть детский. Я организовала прием больных детей и хочу показать Карла.

— Разве мальчик болен?

— Нет, но со дня рождения на него не взглянул ни один врач... Так я сбегаю? Вот спасибо...

Герда подхватила сына на руки, улыбнулась хозяйке, перешла светлую, синеватую полосу солнечного луча и исчезла, словно растворилась в сумерках.

— Спасибо, спасибо,— бормотала старуха, подходя к дверям и запирая их на засов.— Слова словами и останутся, а вот кто будет расплачиваться за квартиру? И чем? Выходит, есть чем, ффрау Герда Баум, вот в этом я убедилась. Сейчас посмотрим, что вы там прячете в чулане. До сих пор мне и в голову не приходило, а оказывается...

Она осторожно оглянулась, прислушалась, но вокруг залегла тишина. Взглянула на окно и для полного спокойствия опустила темную штору светомаскировки, оставив только узенькую щелочку. В подвале от этого сразу стало темно, и вещи будто расплылись, лишившись своих привычных очертаний.

— Так, так,— стараясь приободрить себя, приговаривала старуха, и сердце ее обжег тревожный холодок.

Вот здесь, совсем рядом с ней, лежала тайна, а может, и богатство. Страшно стало так, что задрожали ноги, но теперь никакая сила на свете не смогла бы ее остановить. Должна же она все разузнать...

В чулане из-под тряпья она достала небольшую алюминиевую коробку, металл сверкнул холодно; посмотрела, взвесила на ладони.

Не колеблясь, открыла металлическую крышку, вынула небольшой, тщательно перевязанный бечевкой пакет из серой жесткой бумаги. Помня о том, что все придется положить так, как было, не разорвала, а терпеливо развязала шпигат, развернула бумагу и испуганно отшатнулась. На столе лежало белое гипсовое лицо. Луч солнца отыскал себе щелочку в светомаскировочной шторе, пробрался в комнату, и лицо человека с высоким лбом словно засветилось в полумраке.

Почему прятала это Герда Баум? Почему охотился за этой вещью Отто Вангель? Может, она из золота? Нет, вроде обычный гипс...

Старая Гертруда взяла маску в руки, заметила надпись. «Lenin» было написано внизу, а на обороте еще какие-то слова, но уже другими, непонятными буквами и дата: «12 мая 1932».

Значение имени, написанного латинскими, знакомыми буквами, не сразу дошло до сознания Гертруды, но когда это случилось, она смертельно испугалась. Письмоносца не интересовалась политикой, но кто такой был Ленин, знала хорошо, хотя к революции в далекой и непонятной России в октябре семнадцатого года относилась без особого внимания. В восемнадцатом году у них самих, в Германии, была революция, кайзер Вильгельм тогда сбежал в Нидерланды, своих дел хватало по горло, где уж там было думать о России!

Но одну истину Гертруда знала безошибочно: в гитлеровской Германии человека, который хранил маску Ленина или вообще что-нибудь связанное с Лениным, ждала виселица. Гертруда еще не привыкла к тому, что Гитлера нет, а вместе с ним исчезло и гестапо, и поэтому таким пронзительным был страх, который появился где-то под сердцем, как острая жгуче-холодная льдинка.

Что же делать? Завернуть маску и положить на прежнее место в чулан? Или сообщить кому-то? Но кому? Берзарину? Он, конечно, понял бы все правильно и, возможно, похвалил бы ее, Гертруду Зингер, потому что для него маска Ленина так же

важна, как и для Вангеля и Герды. Подожди, а как они отважились хранить эту маску? Выходит, и раньше в Берлине были люди, которые не боялись гестапо? Нет, неправда, гестапо боялись все. Только одни все-таки нашли в себе силы спрятать маску, а другие держали кукиш в кармане, а теперь говорят, будто они только и делали, что активно боролись против Гитлера.

Гертруда Зингер даже подумать о чем-то подобном не решилась. Она просто работала на почте. И вот теперь политика, вопреки ее воле, сама пришла к ней. Что же делать?.. А как поступит с этой маской Герда Баум? Почему не отдала ее Вангелю, почему не сказала о маске Берзарину? Комендант наверняка был бы доволен, а Герда имела бы еще одну заслугу перед новой властью. Хотя зачем ей выслуживаться? Герде и так верят, посмотри только, какой грозный мандат выдали.

Зазвонил телефон, и Гертруда вздрогнула от неожиданности. Опасность подстерегает там, где ее меньше всего ждешь. Кто это мог звонить? Кто знает ее номер? Справочное бюро не работает. Неужели пронюхали о маске?

Телефон звонил ритмично, настойчиво, и, поняв, что неизвестность в таком случае горше всего, Гертруда подняла трубку.

— Алло, — поперхнувшись, сказала она.

— Фрау Зингер? — прозвучал знакомый голос.

— Да, это я, — справившись с волнением, ответила Гертруда. — Кто меня спрашивает?

— Вы не узнали своего шефа? — удивился голос, и только тогда у Гертруды отлегло от сердца — звонил Либенталь, начальник почтового отделения, где раньше она служила, это именно он поставил у нее телефон, чтобы можно было вызвать на работу в любое время дня и ночи.

— Узнала, герр Либенталь, узнала! — радостно закричала она. — Очень рада услышать, что вы живы и здоровы!

— Не совсем здоров, но жив, — засмеялся инвалид Либенталь, рука его осталась где-то под Прохоровской, неподалеку от Курска, но это, как видно, не портит ему настроения. Еще раньше, когда началась бомбардировка Берлина, его лозунгом было: «В этой войне любой ценой нужно выжить». И выжил. Хоть и однорукий, зато живой. И сейчас вроде бы доволен, бодрым голосом заявил, что завтра в семь ей, фрау Зингер, надо явиться на работу. Раньше он просто приказывал, теперь просил... Что ж, это уже интересно.

— Разве почта собирается работать? — спросила Гертруда, ей показалось, что Либенталь неудачно пошутил (нашел время для шуток!), потому что говорить всерьез об этом просто нелепо: как может работать почта, когда вокруг одни развалины...

— Не только собирается, но уже работает, — ответил гордо Либенталь, — комендант Берлина собирал почтовиков и призвал всех нас восстановить былую славу и точность берлинской поч-

ты. Берлин без почты и телефона — все равно что человек без нервной системы, сказал он. И это сущая правда.

И снова Берзарин! Всюду-то он побывал, все-то знает, а вот о маске и не догадывается... Так-то! И вдруг, почувствовав себя от этой мысли уверенней и будто бы веселее, Гертруда, как и положено дисциплинированному сотруднику министерства почты и телеграфа, ответила:

— Я готова приступить к работе.

— Другого я от вас и не ждал, фрау Зингер. Берлин будет жить.

«Сейчас он на прощание выкрикнет «Зиг! Хайль!», — подумала Гертруда, — как всегда делал после возвращения с фронта», — но Либенталь сдержался, прикусил язык и сказал буднично: «До свидания».

Гертруда, положив трубку, вдруг ощутила прилив бодрости и жажды немедленного действия. Теперь она уже не одинокая старая немка, которая представления не имеет, как будет жить дальше. Отныне у нее есть работа, которая всем необходима, это чувство было главным. После недель, месяцев сплошного хаоса появился хотя бы намек на порядок. Теперь она будет разговаривать с «государственным деятелем» Гердой Баум на равных. Почта и телеграф — не шуточки, это нервная система Берлина, как метко заметил Берзарин... Все-таки странно случилось, что ее судьба, простой почтальонши, тесно переплелась с судьбой генерала. Подожди-ка, Гертруда, что-то ты высоко залетела в своих мыслях, скажешь такое!.. Комендант города уже давно забыл о твоём подвале и о тебе самой. Мало ли у него забот... Может, и забыл, а судьбы их, на поверку выходит, все-таки переплелись.

Так что же, однако, делать? Ждать, пока придет Герда? Да, так будет спокойнее. Но жажда деятельности искала выхода, и Гертруда принялась мыть и чистить свой подвал, будто готовилась к празднику.

Когда через час Герда вошла в комнату, все вокруг сияло чистотой, правда, чистотой военного времени, убогой и жалкой. Герда переступила порог в прекрасном настроении: доктор осмотрел маленького Карла и сказал, что давно не видел таких здоровеньких детей. Но это хорошее настроение сразу испортилось, как только Герда увидела на столе маску.

— Как вы посмели рыться в моих вещах?! — гневно крикнула она.

— Во-первых, — с достоинством сказала Гертруда, — это случилось нечаянно. Просто я делала уборку и, естественно, заглянула в чулан. А там черт ногу сломит! Если во время войны можно было жить в таком свинарнике, то сейчас, слава богу, мирное время. А во-вторых, эта вещь не ваша, а художника Вангеля, и, по всей видимости, ее следовало бы вернуть хозяину. В-третьих, я сейчас не просто Гертруда Зингер, а так же, как

и вы, состою на государственной службе, завтра приступаю к своим обязанностям почтальона. И наконец, в-четвертых, мы с вами сию минуту, немедленно должны решить, что будем делать с этой маской, потому что здесь она оставаться больше не может.

— Она останется здесь, пока из плена не вернется мой муж,— сдавленным от волнения голосом ответила Герда.

— Так вот почему вы сразу не похвастались маской перед Берзариным!

— Да,— все еще волнуясь и с трудом переводя дыхание, сказала Герда.— Мой муж приказал мне беречь эту вещь как зеницу ока, он за нее отвечает.

— Значит, хотел выслужиться перед нынешними победителями? Выходит, он и тогда, несколько лет назад, не верил в нашу победу?

— А вы верили?

— Верила,— призналась Гертруда.— Ваш муж немец?

— Такой же, как мы с вами.

— Поразительно,— сказала Гертруда.— Значит, были немцы, которые осмеливались не подчиняться приказам фюрера? И все-таки что же будем делать?

— Спрячем маску и подождем, пока вернется мой муж. И я прошу вас, очень прошу пока молчать. Понимаете — ни слова!

— Ну уж нет, я молчать не стану! Кто передал маску вашему мужу? Вангель?

— Маска сменила несколько адресов.

— Вот видите. Выходит, ваш муж был не один, так почему же вы хотите, чтобы слава досталась только ему одному?

— Потому что он мой муж.

— Так не выйдет! Это я вам говорю, Гертруда Зингер,— жестко поджав губы, ответила старуха и подошла к телефону.— Я теперь снова состою на государственной службе, правда, пока не очень-то понимаю, что представляет собой новая власть, но ничего, привыкну. Так вот, раз я уже состою на службе, значит, несу полную ответственность.

— Что же вы хотите делать?

— Советую вам прежде всего позвонить художнику Вангелю, сделайте это сами, я не хочу присваивать ваши заслуги: вы были смелыми людьми, если прятали маску. И сохранили ее. У меня бы духу не хватило. Звоните, вот его визитная карточка. Звоните, звоните, иначе это сделаю я.

— Хорошо, я позвоню,— покорно согласилась Герда, поднимая трубку,— может, вы и правы.

Через час жена художника Валли Вангель была уже в подвале.

— Что написано там, на обороте маски? — спросила ее Гертруда.

— «Отто Вангелю и Валли дружески преданный Меркуров.

12 мая 1932 года», — прочитала и перевела Валли. — Вы даже представить себе не можете, как это было страшно. Сразу после ночи, когда горел рейхстаг, гитлеровцы пришли к нам... Отчего же вы плачете, фрау Баум? Я ведь не знала, что Вангель знаком с вами...

Веселая энергия жила в глазах, во всем милом подвижном лице, в резких и одновременно плавных движениях Валли Вангель.

— Я никогда не была с ним знакома, — сквозь слезы проговорила Герда.

— Так почему же вы плачете?

— Она хотела, чтобы ее муж передал маску Берзарину, — ответила Гертруда.

— Какая разница, — удивилась Валли Вангель. — У нас всех еще будет время поделиться славой, главное сделано — маска цела.

— Какая уж там слава! — все еще всхлипывая, сказала Герда.

— За последние годы немцы «прославились» только как фашисты, — твердо чеканя слова, ответила Валли, — о доброй славе немцев придется подумать нам с вами.

— Дай бог, дай бог, — неопределенно заметила Гертруда.

10

На совещании, которое комендатура проводила в Лихтенберге, одном из районов Берлина, адъютант Староверов, осторожно ступая, подошел к Берзарину и передал ему вчетверо сложенный листок бумаги. И, как часто бывает на собрании, внимание всех — и тех, кто сидел в зале, и тех, кто был в президиуме, — приковалось к этой записке. Все понимали, что дело было важным, адъютант не стал бы беспокоить коменданта по пустякам.

А Берзарин прочитал, едва заметно улыбнулся, передал записку Жукову, тот — Микояну, и люди поняли, что новость хорошая, потому что на всем пути записку сопровождали сдержанные улыбки.

Современный город — это организм со сложными системами, множеством потребностей и нужд, в нем должно быть все, начиная от водопровода и кончая лавочкой, где можно купить детскую игрушку, и Берзарин часто спрашивал себя: обо всем ли, что необходимо Берлину, он подумал, обо всем ли сумел позаботиться, не упустил ли чего?.. Все разрушено и парализовано в городе, а прочитаешь такую записку, и на сердце становится легче, и начинаешь верить, что немцы, которые сидят в зале, твои верные союзники в деле восстановления Берлина, и среди них нет нацистов, и все они честные демократы. И хотя он знал, что это далеко не так, что многие из них убежденно, не

за страх, а за совесть помогали Гитлеру, одной такой записки оказалось достаточно, чтобы посмотреть на немцев другими глазами — мягко и приветливо.

Они поднимаются на трибуну, и каждый просит помощи, использует благоприятный, удобный момент — в президиуме представители верховной власти оккупационных войск; рассказывают, как много пужно сделать для восстановления транспорта, расчистки улиц, налаживания снабжения, и каждый называет такие страшные цифры разрушения, рисует такую выразительную картину израненного, разоренного города, что невольно саднит сердце и становится непонятным, возможно ли возвратить его к жизни. Но, несмотря на это, Берзарин сидел и счастливо улыбался.

И ничего особенного на первый взгляд не было написано на листке бумаги. Легкая нервная рука Староверова вывела слова:

«Художник Вангель нашел маску В. И. Ленина».

Факт, казалось бы, не такой уж значительный, а на Берзарина он произвел сильное впечатление. Нашлась все-таки точка опоры, которую он искал! Для него, собственно, решилась не только судьба маски, а определилось его отношение к немцам.

Политика советской власти в поверженной Германии абсолютно ясна: немцам необходимо помочь создать свое новое, миролюбивое государство, и на плечи Берзарина легла львиная доля этой нелегкой работы. Но ее можно выполнить по-разному. Одно дело — жгучее до боли воспоминание о гитлеровских парадах, и совсем другое дело, когда ты точно знаешь — в этой толпе были и такие, которые шли на смертельный риск, спасая маску Ленина, а значит, и его идеи и мечту о свободе. Многие из них сейчас сидят здесь, в зале, на совете, но многие остаются неизвестными. Значит, необходимо найти их всех. Они его помощники. А чем больше их будет, тем лучше.

Он вспомнил, как позавчера позвонил сдержанно гордый Торнгайм, но он, Берзарин, ясно распознал в его голосе ликование; приглашая, сказал, на открытие первой линии метро от станции Германплац до станции Бергштрассе. Берзарин поехал с удовольствием, больше того, с радостью. Вместе с Торнгаймом он спустился под землю — не глубоко, всего каких-то тридцать или сорок каменных ступеней, очутился на платформе и понял, почему берлинское метро называют «подземкой». На платформе было слышно, как над головой по улице проезжают машины. Берзарин в своей жизни видел только одно метро — московское, привык к его основательности и надежной прочности, может, даже к излишней роскоши станций, построенных до войны, и потому его поразила убогость и сумрачность послевоенного метро в Берлине — обычная шахта. Стены, когда-то выложенные плиткой, сейчас были настолько закопчены, что определить их цвет не представлялось возможным. Огромный черный че-

ловек в широкополой шляпе, нарисованный на стене, стоял, приложив палец к губам, предупреждал: «Враг подслушивает». Такими плакатами после Сталинграда покрылась вся Германия. Берзарин посмотрел вправо, потом влево, увидел черные жерла туннелей, пунктирно освещенные слабыми лампочками, и улыбнулся: вспомнилось первое посещение метро — тогда в нем размещался КП Антонова, теперь уже не полковника, а генерала. Первый, хорошо освещенный поезд стоит перед платформой. Двери вагонов открыты. Отполированные временем лавки блестят. В вагоне на стене когда-то красовался портрет Гитлера, сейчас его содрали, правда, не очень-то аккуратно, остались усы и часть подбородка.

Начинает работать первая очередь метро — событие для Берлина важное, а на платформе людей немного.

«Удастся собрать рабочих метро к тому времени, когда мы вернемся?» — спросил Берзарин. «Конечно, — не понял Торнгайм. — А для чего?» — «Я хочу их поблагодарить». — «Цу бэфель!» — неожиданно даже для самого себя по-солдатски четко ответил Торнгайм и покраснел от смущения; старое вылезало из всех щелей, и к новому образу мыслей, чувств и даже к словам предстояло еще привыкнуть.

Они вошли в вагон. Торнгайм махнул рукой. Двери с металлическим лязгом закрылись. Поезд двинулся, поплыли светлячки вагонов. Скорость возрастала, потом постепенно замедлилась. Станция.

Берлинское метро работает!

Когда они вернулись, на платформе было полно народа. Работой своих рук, особенно когда это хорошая работа, всегда хочется полюбоваться.

«Спасибо, товарищи», — сказал Берзарин и удивился: так зычно раскатился по станции его голос, потом, оглянувшись, улыбнулся: Торнгайм и микрофоны приказал установить, обо всем подумал. Необычность обращения, точно переведенного Староверовым, поразила людей. Волна сдержанного удивления всколыхнула толпу: так к рабочим метро еще никто не обращался.

«Спасибо, товарищи, — повторил Берзарин, — сделана огромная работа, но это только начало, правда, хорошее начало. Для меня сегодняшний день — двойная радость. Первая — пуск метро, вторая — встреча с вами. Я горжусь вашей работой. Берлин будет жить».

Он смотрел на лица — некоторые из них были строги и непроницаемо замкнуты, некоторые улыбались — и думал, что именно здесь у него, пожалуй, больше всего искренних союзников. Не будем переоценивать этих немцев, у них у всех есть что вспомнить в прошлом, но к тем, прошлым воспоминаниям сейчас прибавится еще и этот день, когда после войны в Берлине начало работать метро, а такое воспоминание многого стоит в жизни человека. Мы не любим вспоминать свои неудачи

и ошибки, но никогда не забываем хорошо сделанную работу. И если что-то и может по-настоящему перевоспитать людей, одурманенных Гитлером, так это именно работа по восстановлению метро, домов — одним словом, строительству собственной страны и жизни.

Но Берзарину было мало одной восстановленной линии, и потому вопрос выплеснулся сам собой: когда пустим другие линии?

«Двадцать второго мая введем в действие линию метрополитена Розенталерплац — Гезундбрунен,— сказал Торнгайм, с удовольствием выговаривая слово «метрополитен», потому что прежде подземку всегда называли «У-бан»,— двадцать четвертого мая — линию Франкфуртераллее — Фридрихсфельде». — «А остальные?» — «Пока сказать трудно. Мне бы не хотелось давать приблизительный ответ. Шпрее нас очень держит. Хотите посмотреть? Но должен предупредить, картина не из приятных».

Они вышли на поверхность, под ослепительное весеннее солнце, к станции, находящейся в самом центре Берлина, возле Шпрее. В последние дни войны Гитлер приказал взорвать шлюзы и затопить станцию, потому что по неосвещенным угольно-черным туннелям метро, в тыл гитлеровцам, шли советские солдаты, тащили с собой противотанковые пушки. Но там же, на станциях метро, спасаясь от смертного огня, искали приюта тысячи берлинцев. И когда поток холодной грязной воды прорвался в туннели метро, солдаты организованно отступили, а куда могли отступить немощные старики, женщины и дети? Они оказались между молотом и наковальней — водой и огнем. Это была одна из многих трагедий войны, о ней писали в газетах, но как-то вскользь: на поверхности гибло куда больше людей, и все внимание было приковано к рейхстагу, а не к туннелям метро.

Теперь же Берзарину довелось увидеть эту трагедию собственными глазами. И ощутилась она особенно остро сейчас, когда на Александерплац молчали пулеметы, а в чистой, безоблачной синеве сияло мирное майское солнце. Война словно напоминала о себе: «Не забывайте обо мне, люди, я вам еще такое покажу...»

Два саперных батальона отремонтировали шлюзы, отрезали метро от Шпрее и передали работу немцам. Огромные помпы, kloкоча и астматически задыхаясь, начали откачивать тысячи и тысячи кубометров воды. Вода медленно отступала, открывая жуткую картину. На войне не так-то уж поражает вид убитого солдата, тем более что этим солдатом мог оказаться ты сам. Труп беспомощного ребенка ранит сердце всегда. Особенно когда он не один, а их, маленьких и чуть побольше, целые ряды уложены вдоль асфальтированной платформы станции метро. Вглядываться в лица не хочется — страшно. Эти дети не узнали

радости в жизни, на их долю выпал только ужас от разрывов тяжелых снарядов да истерические крики матерей, которые спешат спрятаться в метро. Спрятались...

«Сколько их?» — спросил Берзарин. «Точные цифры еще неизвестны, воду пока не всю откачали, но много. Сотни. Когда закончим работу, я сообщу вам сведения. Взрослых мы кладем отдельно». — «Перед тем как будете убирать, сфотографируйте всё. Когда будут судить военных преступников, красноречивее обвинения не найти». — «А их будут судить?» — «Обязательно».

И теперь, сидя на совещании в Лихтенберге и наблюдая, как из рук в руки переходит записка, Берзарин невольно вспомнил этот перрон берлинского метро и длинный ряд посиневших детских трупов. Но даже это страшное воспоминание не смогло затмить или погасить хорошего настроения. В жизни его, в работе коменданта вдруг обнаружилась надежная точка, на которую можно смело, без риска, опереться, зная, что она не покачается, не подведет. И пусть это всего лишь психологическая точка опоры, от этого она, пожалуй, еще важнее. Во всяком случае, работать ему теперь будет значительно легче. Да, среди немцев есть честные люди, и это не пустые слова, а проверенный факт. Больше того, не просто честные, даже героические, и их совсем не так мало...

Совещание уже подходит к концу. Сын Вильгельма Пика на трибуне. Разговор идет об организации снабжения. Завтра-послезавтра в Берлине откроются магазины.

Выступает Вальтер Ульбрихт. Говорит о немецкой интеллигенции. И сразу комендант вспоминает о Котове. Что там у него? Таня докладывала, будто работа идет полным ходом. Обязательно нужно заехать, посмотреть, при первой возможности вырвать свободную минуту. Капитан Котов не один в Берлине, такое же задание выполняют еще несколько офицеров. Как они работают? В чем нуждаются, какая им нужна помощь?

11

А самому Котову казалось, что помогать ему ни в чем не нужно, все организовалось легко и быстро. Он, конечно, понимал, что пригласить человека на ужин куда проще, чем на работу по расчистке развалин, и не очень-то гордился своим успехом, но знал, что поручение Берзарина — по-настоящему государственное дело, с далеким и серьезным прицелом. Словом «государственное» Котов называл самые важные вещи в своей жизни — поступки, действия, которые влияли на судьбы многих людей. Поручение Берзарина было именно таким.

Он побаивался, что гостей у него будет не так-то уж много, но сразу после первого визита Вангеля люди начали заглядывать «на огонек» даже без особых приглашений. Понял ли Вангель игру Берзарина или просто слух о возможности поест

притягивал в маленький домик на окраине Лихтенберга многих немцев, и не каких-нибудь малоизвестных журналистов, а настоящих литераторов, артистов, художников? Однажды вечером Котов ахнул от удивления: вместе с Вангелем пришла Марта Ландер, села в кресло, стоявшее в дальнем углу, и просидела так весь вечер, молча посматривая на Котова и его гостей своими бездонными глазами. Она ничего не ела, даже чашку чая не допила, ушла поздно, а на другой день появилась вновь. Котов готов был поклясться, что приходит она единственно ради того, чтобы избежать одиночества, еда не интересовала ее. Зато Ганс Флазер с женой с первого визита оценили кулинарное искусство Тани и потом приводили с собой немало друзей, да и профессор Зоненбах частенько заглядывал с кем-нибудь из своих коллег, обедал или ужинал быстро, деловито и сразу же уходил — у него теперь была уйма дел.

Таня смотрела на всех этих людей, а заодно и на капитана Котова недоверчивыми, настороженными глазами. В тот вечер она внесла в столовую большой чайник, оглядела комнату, обставленную мебелью, собранной из соседних пустых домов, и осталась довольна своей работой. Столовая, правда, немного смахивала на комиссионный магазин, но «посадочных мест», как любила выражаться Таня, было достаточно — это была просторная комната с эркером, уставленным вазонами с высокими араукариями, дверь-окно выходила в сад, а у другого широкого окна, у противоположной стены, стояли два кресла.

Капитан Котов сидел у стола — тоже в глубоком кресле; он привык к своей роли, и напряжение первых дней, когда далеко не просто было найти нужный приветливый тон и тему разговора, исчезло. Теперь он был гостеприимным хозяином для своих гостей, которые в эту минуту собрались в столовой: по одну сторону стола сидел Отто Вангель, медленно помешивая ложечкой крепко заваренный чай; Ганс Флазер с супругой расположились на диване, а в затененном углу, в кресле, — худая, почти бесплотная фигура Марты Ландер; бледное лицо ее выражало недовольство, почти брезгливость.

Как она очутилась здесь? Почему ежедневно приходит, если ей нужен не чай, не еда, а морфий, и только морфий? Она хорошо знает, что морфия здесь не найдет, и все-таки приходит, чтобы не чувствовать себя одинокой в этом огромном и страшном городе, и еще потому, что среди всеобщего хаоса, неразберихи, в которые сейчас превратилась и ее жизнь, только в этой гостинной капитана Котова был порядок. Для немки это было прежде всего, а Марта Ландер была немкой, даже самого настоящего арийского происхождения, как сама хвасталась Берзарину.

Когда Таня вышла в столовую, Вангель, улыбнувшись, взглянул на нее, и официантка невольно отметила, как улыбка может преобразить лицо человека и даже сгладить глубокие борозды

морщин. Она понимала по-немецки, Таня, хотя не говорила, и знала, что речь шла о маске Ленина.

— Это удивительно,— говорил Вангель, подчеркивая слова энергичными взмахами сильных костлявых рук с длинными нервными пальцами, суставы которых немного припухли от лагерного ревматизма,— сколько мужества, смелости и самопожертвования живет в этих людях. Ведь, пряча маску, они подвергались смертельной опасности. Вы представляете, какая это была бы радость для гестапо — найти что-то подобное?

— Страшно подумать,— мелодично проговорила, словно пропела, Розамунда Флазер, возводя к потолку голубые глаза.— От одной мысли мороз дерет по коже. Я бы умерла от страха, оказавшись на месте этой Герды Баум. Это же верная смерть.

— Может, потому вы и не оказались на ее месте,— засмеялся Вангель.

— Да,— авторитетно заявил Флазер,— моя жена не делала ничего подобного, потому что хорошо усвоила мой принцип: никакого сотрудничества с какой бы ни было властью, пока не кончится война и все не станет на свои места. Вот, например, Герда Баум связала себя по рукам и ногам, всенародно заявив своими действиями о полном сочувствии коммунистам. У нее теперь нет свободы выбора, она связана.

— У меня, значит, тоже нет свободы выбора,— сказал Котов,— я уже давно заявил о своей полной приверженности к коммунизму.

— Вы другое дело,— ответил Флазер,— вы офицер Советской Армии, давали присягу, вам иначе нельзя. А Герда Баум никому присяги не давала, но определила свою позицию раз и навсегда. Часто дела говорят о человеке больше, нежели слова любой присяги.

— Не «часто», а всегда,— сказал Котов.

— Но в действиях Герды Баум мне тоже не все ясно,— продолжал Флазер.— Я писатель и не люблю провалов в сюжете. Почему же ваша милая и любимая Герда сразу не принесла эту маску коменданту Берзарину? У нее был прекрасный случай отличиться. Разве это не странно? Не было ли здесь какой-нибудь задней мысли?

— Просто она все время ждала и сейчас ждет возвращения мужа. А для него действительно было бы важно самому отдать маску Берзарину, ведь это он, муж Герды, все организовал, и маска сохранилась.

— Ага, выходит, все-таки задняя мысль была,— торжествовал Флазер.— Кто ее муж? Эсэсовец? Классическая была бы ситуация для романа или пьесы.

— Нет,— ответил Вангель,— ее муж простой рабочий, слесарь, ограниченно годный для военной службы. Его призвали в армию только в последние месяцы войны, в саперную часть, строить оборонительную линию Берлина. Выжил ли он или по-

пал в плен, а может, уже давно похоронен, никто не знает. Она, конечно, ждет — она мать его сына. И потом, сохранение маски — это прежде всего его подвиг, и чувства ее понять можно...

— Ну разумеется, — иронически отозвался Флазер, — пройдет немного времени, и сохранение маски будет выдаваться как подвиг всего немецкого народа.

Котов улыбнулся, но ничего не сказал, а Вангель, вскользь взглянув на Флазера, проговорил:

— Если хотите знать, именно так оно и есть: того немецкого народа, который ненавидел Гитлера и весь его зверинец. И если уж на то пошло, то таких людей было не так уж мало, как вам кажется. Маска сменила семь адресов, как минимум семь немцев перепрыгивали ее, зная, какая им угрожает опасность. Я уже не говорю о женах этих немцев, которые наверняка так же, как и Герда Баум, всё знали. Я не говорю об их добрых друзьях, которые тоже знали. И все-таки переносили маску из одного безопасного места в другое, прятали и перепрыгивали, лишь только появлялись где-то поблизости гестаповцы, делали это, отлично зная, что только один неосторожный шаг, меньше того, одно неосторожное слово или взгляд — и верная смерть. Вам никогда не захочется написать книгу о таких людях, Флазер?

Флазер взглянул на художника с беспокойством, явно чувствуя за этими словами скрытый намек.

— Я ни одного слова не написал в восхваление Гитлера, помолчу и теперь, если к власти придут коммунисты.

Он проговорил эти слова намеренно резко, как бы подчеркивая свою решительность и убежденность. В гостиной возникло неловкое молчание, и в этой тишине совсем неожиданно прозвучал низкий, грудной, хорошо поставленный голос Марты Ландер.

— И совершенно напрасно, — сказала она. — Могла бы получиться неплохая книга.

Ганс Флазер даже приподнял очки, чтобы лучше рассмотреть лицо актрисы и убедиться, она ли это сказала. Нет, ошибки не было.

— Вот уж от вас, фрау Ландер, таких слов я не ожидал! — растерянно воскликнул он.

— Сама-то я знаю сейчас, чего от меня можно ожидать, а чего нельзя?! — не то спросила, не то утвердительно заметила Марта.

Не слова ее, а тон, которым они были сказаны, удивили Розамунду Флазер, которая сделала вроде бы неожиданный, а на самом деле весьма логичный вывод.

— Странное настроение, — нежно пропела она, — мне кажется, Ганс, что пришла минута, когда тебе следует подумать о новой книге.

Флазер тоже почувствовал неясные потки в голосе актрисы, насторожился, раздумывая, уж не собирается ли Марта Ландер объявить о своей готовности выступать в театре или вообще, чем черт не шутит, включиться в работу «Группы активистов первого часа», — от нее в такое сложное время и в самом деле можно ожидать чего угодно, но сам он решил сохранять полную независимость и потому ответил:

— Прости, дорогая, но я как-нибудь решу этот вопрос без чужой помощи.

— А мне кажется, фрау Ландер его уже решила.

— Что решила? — не поняла актриса.

— Проблему своего будущего.

— Да, решила. Я уеду в Швецию, но не так скоро, как мне хотелось бы. Ведь у них даже неизвестно, кто должен выдавать паспорт на выезд.

Было такое ощущение, словно в глубине души актриса довольна этим обстоятельством, и Розамунда Флазер сразу отметила это.

— Ну, я думаю, что на границе вам только стоит назвать свое имя, — язвительно сказала она.

— Вы всегда хорошо относились ко мне, фрау Флазер, — сказала Марта, — но боюсь, что для пограничников одного имени мало.

— Боже, дожили! — всплеснул руками Флазер. — Дожили: советские пограничники охраняют немецкие границы!

— Тогда почему вас не удивляет, что в Берлине советский комендант? — спросила Марта. — Не отстаете ли вы от событий, герр Флазер?

— Мне торопиться некуда, — ответил старик. — Я писатель. Успею все понять и оценить.

— Смотри, чтобы не было поздно, — уколола Розамунда.

— Не будет, — заверил Флазер, и снова в комнате после его слов воцарилась тишина: каждый думал о своем будущем, не имея ни малейшего представления, как оно сложится хотя бы завтра.

Во всяком случае, самое страшное время, пожалуй, миновало. Говорят, будто в Берлине открываются магазины, продовольственные карточки уже выдают. Вот только очень хотелось бы знать, не окажется ли мирное время, когда самим придется принимать решения, посложнее военного, когда поступки определялись приказами и на все заранее были готовы ответы.

Таня снова появилась в столовой, неся перед собой огромное бело-голубое, майсенского фарфора блюдо, наполненное аппетитными, умело приготовленными бутербродами. Посуду для своей «точки», как Таня называла гостиную Котова, она собрала в соседних, брошенных хозяевами домах, говорить о каком-нибудь выборе не приходилось, на столе можно было увидеть что угодно, от глиняной кружки до старинного английского

фарфора, но девушку это не тревожило. Ее единственной заботой была чистота, а раз посуда чистая, то какая разница — копеечная она или драгоценная? Но это бело-голубое овальное блюдо Таня любила и твердо решила: когда закроется «точка» капитана Котова, с блюдом не расставаться; капитан, конечно, не обратит на это внимания, хотя для порядка Таня обязательно спросит его разрешения.

— Господа, — сказала она по-русски, — я хочу предложить вам бутерброды с американскими консервами — вяленным языком.

И хотя, кроме Марты, никто из немцев не владел русским, Таню все отлично поняли. Флазер даже слегка зааплодировал, и только Марта посмотрела на девушку пристальным, долгим взглядом, потом тень горькой и одновременно доброй улыбки скользнула по ее губам, но актриса отвернулась, вглядываясь в окно, в непроглядную темень майской ночи.

— Спасибо, — сказал Вангель, беря бутерброд.

— Я и тебе возьму, — сказала Розамунда мужу.

— Бери, бери, очень вкусно, — сказал писатель, — ничто на свете, даже война, не может испортить мне аппетит.

Он вскоре встал, подошел к круглому столу, на котором лежала тоненькая книжечка Котова, — выполняя приказ Берзарина, хозяин держал ее всегда на видном месте, книжка стала будто бы его гражданским паспортом. Флазер листал странички, не понимая ни одного слова, но цифры в выходных данных книги привлекли его внимание.

— Послушайте, коллега, — сказал он, — вот здесь в вашей книге стоит число сто тысяч, что это: тираж или номер?

— Тираж, конечно, — ответил Котов. — Чему вы удивляетесь?

— У нас, в Германии, никогда тиражей не печатают на книгах. Насколько мне известно, в других странах тоже. Вы, видимо, очень богатый человек, капитан, — сказал Флазер.

Ему хотелось спросить, сколько денег получил Котов за свою книгу, но попросить назвать эту цифру было неудобно.

Вангель, почувствовав неловкость, вызванную откровенным любопытством Флазера, поспешил сменить тему разговора.

— У вас бывает много гостей, Володя? — сказал он.

Капитан был вдвое моложе и Вангеля, и Флазера, и Зоненбаха, и потому обращение «Володя» было настолько естественным в застольной беседе, что гости лишь в исключительных случаях вспоминали, что его можно называть еще и по званию — капитаном.

— Ну, не так много, как мне хотелось бы, — ответил Котов. — Чем больше людей повстречает писатель, тем больше впечатлений у него остается. Сам-то я очень люблю гостей. Это наша национальная черта — гостеприимство.

— Да, да, могу это понять,— авторитетно подтвердил Флазер,— в наше время биографии людей настолько головокружительны, что о каждом из нас можно написать роман. Странно, почему-то проблема написания романа встает передо мной все чаще...

— Может, потому, что жизнь для этого дает обильный материал,— ответил Котов, но Розамунда Флазер уже не слушала его, ее мысль катилась по рельсам, проложенным вопросом Вангеля.

— И вы всех угощаете? — спросила она осторожно.

— Разумеется. А как же? Это наш обычай, у нас в народе даже поверье существует: если отпустить в дорогу гостя голодным, непременно случится несчастье.

— Надеюсь, не с гостем? — пошутил Флазер.

— Конечно,— засмеялся капитан Котов, роль хлебосольного хозяина теперь не казалась ему обременительной.

— Откуда же вы берете столько продуктов? — спросила Розамунда.

— Вообще говоря, это мой секрет,— вновь улыбнулся Котов,— но вам я его выдам. В последние дни войны на окраине Берлина я захватил небольшой подвальныйчик с провиантом, это мой единственный трофей, но ничего лучше и полезнее придумать невозможно.

— Что правда — то правда.

Марта Ландер вдруг оторвалась от темного окна, взглянула на Котова, подошла к столу, взяла с блюда бутерброд — кусок серого армейского хлеба с толстым куском нежного, розовато-коричневого языка, понюхала его, даже поднесла ко рту, словно хотела откусить, потом неожиданно положила бутерброд на стол и снова отошла к окну.

Котов спокойно проследил за ней взглядом.

— Вы думаете, что эти бутерброды отравлены, фрау Ландер?

— Нет, я этого не думаю,— ответила Марта, причем впервые за долгое время в ее голосе послышалась веселая нотка.— Для того чтобы уничтожить каждого из нас, не нужно тратить на бутерброды, можно обойтись обыкновенной пулей.

— Совершенно справедливо,— заметил Флазер, и Котов с облегчением подумал, что опасная тема, кажется, исчерпана, однако Розамунда, которая не так-то легко меняла направление своих мыслей, спросила:

— А у вас не будет в связи с этим неприятностей? В нашей армии все трофеи сдавались командованию.

— Вы в этом уверены, фрау Розамунда? — В глазах Котова мелькнули лукавые искорки.

— Во всяком случае, таков был приказ, а приказы, как известно, необходимо выполнять. Если у вас будут неприятности, они могут коснуться и нас...

— У капитана не будет неприятностей. — Марта сказала это твердо, в упор глядя на капитана.

— Надеюсь, вы меня не выдадите? — улыбаясь спросил он.

— Не выдадим, — ответил Флазер, — можете быть спокойны. Если это кто-то и делает, то не мы. В наше время главное — выжить, а когда ты к тому же еще и сыт, то, как говорится, о чем еще мечтать — полное исполнение желаний.

Он взял еще один бутерброд, откусил, почувствовав солоноватый нежный вкус вяленого мяса, и посмотрел на Котова с другой точки зрения: странная, немного даже ревнивая мысль промелькнула в голове: пока они тут смакуют «трофейные» закуски, капитан работает.

Мысль эта больно уколола, потому что не очень-то приятно сознавать, что в то время, когда другие работают, ты сам ничего не делаешь. После писателей остаются их книги. Людям безразлично, какими были их авторы — красивыми или уродливыми, взбалмошными или уравновешенными; читателям важно только одно: какие книги они написали, хорошие или плохие, достойны они доброй памяти и преклонения или вызовут равнодушие и забвение. Книги, и только книги, определяют судьбу писателя и утверждают память о нем. Это относится, вообще-то говоря, и ко всем людям, ибо все смертны и оставляют после себя только свои дела, и только по этим делам память судит человека, определяя его место в истории или списывая в небытие.

Именно об этом думал Флазер, слушая Котова, и ему захотелось продемонстрировать, что и он не теряет времени даром, как это могло показаться на первый взгляд, а, наоборот, напряженно мысленно работает. Удивительнее всего, что это было правдой. Флазер, еще сам того не сознавая, работал над новой своей книгой, хотя какой она будет, не знал.

— Не забывайте: не хлебом единым жив человек, — сказал он. — Иногда мне хочется написать роман о маленьком человеке, простом рабочем, который нашел в себе силы... сопротивляться Гитлеру... Сам он тихий, незаметный, а, не колеблясь ни минуты, выходит на поединок с фашизмом...

— И скоро вы приметесь за эту работу? — живо, сама еще не зная, почему проявляет такой интерес к словам писателя, спросила Марта. Она не имела ничего общего с Флазером, но почему-то ей казалось, что, размышляя о своей новой книге, писатель как-то решает и ее судьбу, во всяком случае влияет на нее.

— Когда, не знаю, да и вообще неизвестно, возьмусь ли за перо... — не так уверенно, как обычно, ответил Флазер, хотя в глубине души чувствовал, что ему хочется приняться за эту работу.

— Этот Берзарин какой-то странный человек, — неожиданно сказала Розамунда. — Сует свой нос в дела, вовсе далекие от

него, считает нужным бывать там, где даже люди искусства не всегда себя свободно чувствуют.

— О чем ты говоришь? — перестав жевать, взглянул на жену Флазер.

— Ну как же, ему до всего есть дело. Говорят, будто он пригласил к себе Густава Грюндгена, Эрнста Легала и Пауля Вегенера...

Имена прозвучали веско. Розамунда Флазер выговаривала их с благоговением. Капитан Котов о первых двух не имел никакого представления, имя Пауля Вегенера сказало многое, грубой лепки лицо актера, с выпуклыми скулами и немного раскосыми, будто азиатскими глазами, отчетливо встало в памяти. Фильмы с его участием не раз показывали в Советском Союзе.

— Вегенера я хорошо знаю, а о первых двух ничего не слышал. Кто они? — спросил капитан.

— Сразу видно, что вы не берлинец! — засмеялся Флазер. — Это директора самых солидных наших театров.

— Нет, я уже берлинец, — ответил Котов, — правда, не со дня своего рождения, но две недели — тоже срок. А что Берзарин подумал и о театрах, естественно. Радиостанции уже работают, теперь дошла очередь и до Вегенера.

— Он их не просто вызвал, а предложил начать работу, открыть театры, — продолжала Розамунда, — и вы можете себе представить, Вегенер согласился, сам Вегенер! Ему стоило только палец поднять и сказать «я здесь», как его схватил бы какой угодно театр Европы или Америки, а он решил остаться.

— Потому что он берлинец, — сказал Флазер.

— Вы считаете, что берлинцы должны всегда оставаться в Берлине? — спросила Марта.

— Конечно. И я тому пример.

— Не знаю, не знаю, мне здесь живется тревожно. Столовая или, вернее, приветливая гостиная нашего милого капитана — это единственное место в Берлине, где я чувствую себя спокойно.

— Вы другое дело, — ответил Флазер, — а Вегенер может играть такие роли...

— Вы хотите сказать, что я уже не могу?

— О, что вы, что вы! У меня и в мыслях ничего подобного не было.

— Неправда, Флазер, вы это подумали, — сказала актриса с едва заметным оттенком горькой грусти.

— За вами, как за кометой, тянется ваш прекрасный шлейф славы, — высокопарно заявил Флазер.

— Скажите проще — не шлейф, а хвост, — ответила актриса. — А такие хвосты недолговечны. Ну хорошо, оставим это. Речь не обо мне. Чего он хотел от директоров, Берзарин?

— Чтобы они приступили к работе, конечно! — воскликнула Розамунда. — И что самое удивительное, они с радостью согласились.

— Ну, я не уверен в том, что они особенно рады, — сказал Флазер, — но работа — это именно то, ради чего живет человек. Человек без работы — так, бездушный и никому не нужный организм. Я бы позволил себе выразиться точнее: предмет.

— Это верно, — сказала актриса. В груди она почувствовала томительный, безжалостный голод и подумала: «А без морфия я не человек».

— Ну вот, — продолжала Розамунда, вдохновленная возможностью оказаться в центре внимания, — директора сразу согласились приступить к работе. В конце этого месяца в театре «Ренессанс» состоится первое представление — «Похищение сабины» Шентана. Декорации и костюмы, к счастью, сохранились.

— Восемнадцатого мая оркестр городской оперы даст свой первый концерт, — сказал Вангель.

— И там побывал Берзарин... — вдруг сказала Марта.

— Но что интереснее всего, — с восторгом спешила Розамунда выложить весь запас новостей, — Берзарину помогает офицер, майор Дымшиц. Так вот, тот майор почему-то очень похож на нашего капитана.

— Чем именно? — спросил Вангель.

— Своим гостеприимством. У него тоже каждый день бывает тьма-тьмущая гостей.

Марта Ландер внимательно посмотрела на капитана Котова. Тот сидел в своем кресле, отпивал из стакана крепкий чай, и казалось, для него нет большего в жизни наслаждения, нежели вот такая милая беседа.

— Та-ак, — медленно протянул Флазер. — Пауль Вегенер — имя. — И вдруг, резко сменив плавное течение разговора, спросил Вангеля: — Вот вы, будете писать новую картину?

— Обязательно. Я ее точно вижу. В центре полотна будет стоять мальчик лет пяти-шести, он стоит и ест перловый суп из походного немецкого котелка. Я отчетливо вижу его лицо и алюминиевую ложку у рта. Фигуру повара на втором плане можно даже не прописывать, а лишь очертить легкими контурами пилотку и звезду. И все это на фоне прокопченного, разбитого рейхстага...

— Не слишком ли это будет откровенно? — спросил Флазер. — Ведь такая картина определит вашу позицию на всю жизнь...

— А мне скрывать свои позиции нечего, я их определил давно, — ответил Вангель.

— Искусство и политика несовместимы, они не уживаются.

— Еще как уживаются. Я скажу вам больше, искусство никогда не существовало вне политики. Все дело будет в том, как

мне удастся нарисовать лицо этого мальчишки. Если удастся сделать по-настоящему, вы первый согласитесь со мной.

— Нет, я, пожалуй, долго ничего не напишу.

— Посмотрим, — неопределенно заметил Вангель.

— Когда-нибудь и я попробую написать книгу, — сказал Котов.

— И ее снова издадут стотысячным тиражом? — спросил Флазер.

— Все будет зависеть от того, какая это будет книга.

— И еще немного — от того, какой будет Германия, — добавила Марта.

— И это верно, — думая о чем-то своем, согласился Котов.

Затем в беседе возникла длинная пауза. Всем было о чем подумать, и Котов понимал это хорошо: каждый из его гостей стоял сейчас на переломе своей жизни, и, хочет он того или нет, решать придется, какой она будет у него дальше. И только Розамунда Флазер не очень-то почувствовала важность и ответственность этих минут, потому что, не раздумывая, сказала мужу:

— Вот видишь, капитан уже собирается писать книгу о послевоенной Германии. У тебя всегда из-под носа уведут лучшие темы!

— Нет, эту тему пикто ни у кого не уведет, — отмахнулся от жены, как от надоедливой мухи, Ганс Флазер. — Об этом напишут тысячи книг. И все они будут разные.

Он вдруг ощутил, что ему в этой уютной, гостеприимной комнате постоянно чего-то не хватает, и с искренним сожалением проговорил:

— Жаль, что в вашем подвальчике, капитан, не оказалось никакой выпивки, очень жаль!

— Я сам об этом сожалею, — улыбнувшись, ответил Котов. — Вот, прошу вас, если пожелаете, чай.

— Чай, чай, тоже мне удовольствие! — проворчал недовольно Флазер. — «Вода не утоляет жажды, я помню, пил ее однажды», — помните Омара Хайяма?

Таня появилась в дверях и объявила:

— Товарищ капитан, к вам еще гости.

— Проси, Таня, — проговорил Котов, и в ту же минуту профессор Зоненбах в сопровождении очень худого незнакомого человека появился в столовой. Биография последних месяцев жизни этого незнакомца была будто написана на его лице. Наголо стриженная голова, высокий интеллигентный лоб, густые светлые брови, голубые неулыбчивые глаза и круто обрубленный, волевой подбородок. От пехотной формы остались только брюки и сапоги, а еще — с чужого плеча пиджак из грубой материи.

Профессор Зоненбах не оставил времени на раздумье и, любезно улыбаясь, поспешил представить гостя.

— Добрый вечер, господа! — весело сказал он. — Позвольте представить вам моего ученика доктора Альберта Кемпке, которого только что освободили из лагеря военнопленных. Запомните это мгновение: вы знакомитесь с будущим светилом немецкой медицины.

— Мой дорогой учитель, — сочным, приятным баритоном проговорил Кемпке, — вы, как всегда, великодушны. — Он улыбнулся, и улыбка была тоже приятной и немного смущенной. — Мне пока почти ничего не удалось сделать в науке, я всего-навсего начинающий.

— О нет, я знаю, что говорю, — возразил профессор, и Котов подумал, что появление Кемпке принесло старому профессору настоящую радость — очевидно, тот был одним из его любимых учеников.

— Очень рад с вами познакомиться, доктор Кемпке. Вы давно прибыли из лагеря военнопленных? — спросил Котов.

— Профессор Зоненбах вызволил меня из чистилища еще позавчера, но встретились мы только сегодня.

— И вы уже приступили к работе?

— Нет еще. Профессор завтра определит, где мне работать. Я мечтаю отдать все свои силы на восстановление нормальной жизни в Берлине, — отпраповал Кемпке, и Котов подумал, что эту фразу доктор приготовил заранее, чтобы с языка не сорвалось привычное «хайль!».

— Вы, верно, проголодались? — спросил Котов.

— Волчий аппетит в сравнении с моим — ничто, — снисходительно подшучивая над положением, в котором он оказался, мягко сказал Кемпке.

— Таня! — позвал Котов, но Таня уже появилась на пороге столовой, неся очередной чайник и блюдо с бутербродами.

Какое-то время внимание гостей было полностью приковано к еде, и в столовой слышалось лишь позвякивание ножей и вилок да перезвон ложек в стаканах. Профессор Зоненбах ел основательно, не торопясь, хорошо прожевывая каждый кусок и запивая чаем, а Кемпке, наоборот, спешил, словно боялся, что ему не хватит или, того хуже, кто-то отнимет лежавшую перед ним еду.

Когда же он отставил от себя опустевшую тарелку, Марта Ландер медленно сказала:

— Вот уж не ожидала встретить здесь вас, доктор Кемпке.

Котов отметил, как доктор сразу насторожился, весь напрягся, будто почувствовал опасность. Такую реакцию у человека, прошедшего через войну и лагерь военнопленных, можно понять.

— Я тоже, — ответил Кемпке, — не допускал возможности встретиться с вами именно здесь. — До его сознания только сейчас дошло, что обратилась к нему Марта Ландер, сама Марта Ландер, и теперь мозг его лихорадочно работал, пытаясь опре-

делить, кто она — противник его или, наоборот, союзник. Чтобы избежать неловкости, он добавил: — Господа, как это приятно, что на свете еще существует место, где могут встретиться интеллигентные люди!

— Вы где служили, господин Кемпке? — не придавая своему вопросу особого значения, спросил Вангель.

— В научной лаборатории, — сухо ответил доктор. — Я стоял на пороге великих открытий, но теперь вы сами понимаете...

— В какой области медицины? — допытывался Вангель.

— Я, вообще говоря, нейрохирург, а интересовали меня проблемы управления человеческой психикой. Гениальный русский ученый Павлов проделал будто бы специально для меня огромную подготовительную работу. Многие из его положений я проверил на практике.

— Копались в черепах военнопленных? — неожиданно спросил Флазер, но доктор сдержанно улыбнулся.

— Ну что вы, для этого вполне достаточно обыкновенных собак. Я надеюсь в недалеком будущем возобновить свою работу. Если все уляжется, утрясется, буду просить профессора Зоненбаха помочь мне. — Профессор молча кивнул. — А последние два года я служил простым врачом в пехотном полку. Простите, но это не самая интересная тема для разговора, я сыт войной по горло. А вот планы будущих работ меня очень интересуют...

Результат этих слов был самый неожиданный. Розамунда Флазер, ясно почувствовав, что всех интересует только будущее, встревоженно спросила:

— Ганс, ты уже думаешь о своей новой книге?

— Думаю, думаю, — успокоительно ответил Флазер, понимая ход мыслей своей супруги. — Не беспокойся, думаю. — Он ловил себя на том, что ему и в самом деле хотелось бы подумать о новом романе, особенно теперь, когда нет ни Гитлера, ни гестапо и можно рассказать о них всю правду так, как видел и понимал ее он, писатель Флазер.

Таня снова появилась в столовой, на этот раз торжественно неся перед собой большую сковороду. Жареная картошка, весело потрескивая, распространяла аппетитный аромат. Флазер глубоко вдохнул и замер, как охотничья собака, почуявшая дичь.

— Прошу к столу, господа! — сказала Таня. — Жареный картофель, говорят, ваше национальное блюдо.

— Национальным блюдом любого уважающего себя народа должно быть мясо, — заявил Флазер, — но многое во время войны изменилось, даже представления о вкусной пище. Сейчас в Германии все, что съедобно, — национальное блюдо. Но приготовленный вами картофель действительно достоин этого высокого звания.

В гостиной нарушился чинный порядок: прежде все удобно располагались в креслах, вели беседу, а сейчас произошла не-

которая суматоха; но вскоре все перешли в небольшую столовую, разместились вокруг стола, и только Марта Ландер осталась в гостиной, возле окна, да Кемпке опустился в кресло рядом с ней.

Марта интересовала Кемпке не случайно. Впервые они встретились ни больше ни меньше как в министерстве иностранных дел Германии на торжественном приеме по поводу захвата Парижа и победы над Францией. Гитлер любил давать такие приемы, произносить крикливо-истерические речи, входя в роль то ли пророка, то ли ясновидца. К тому же в то время победы следовали одна за другой, сливаясь в сплошной торжественный марш по столицам Европы. То, что Марту пригласили на прием, было совершенно естественным, а вот Кемпке потребовались серьезные усилия, чтобы туда попасть. Когда он говорил, что работает над проблемами управления человеческой психикой, это было правдой, а вот разговор о собаках — ложью. Поначалу Кемпке под руководством Зоненбаха действительно ставил опыты на животных, потом его мобилизовали в армию, и он исчез из поля зрения профессора, который имел все основания сожалеть, что лишился такого способного ассистента.

Но Кемпке не бросил свою работу. Просто она оказалась настолько важной, а экспериментального материала так много, что его и целую группу врачей строго засекретили.

А задача, поставленная перед ними, в представлении Гитлера и в самом деле была чрезвычайно соблазнительной и перспективной. Когда Гитлер слушал доклад руководителей лаборатории, глаза его мечтательно затуманивались.

Идея состояла в разработке методов хирургического вмешательства в человеческую психику. Выдающиеся ученые мира, в том числе Сеченов и Павлов, неопровержимо доказали, что каждая клеточка мозга имеет свое точно определенное предназначение. Так, к примеру, существует центр зрения; еще — слуха, эмоций — горя или радости, возмущения или покорности. «Выключив», скажем, какой-то центр, можно лишить человека слуха или зрения, — это простейший случай, но открылись и более сложные возможности — лишить его воли к сопротивлению, словом, превратить в покорного раба.

Во время войны Кемпке получил возможность экспериментировать на людях — военнопленных. Их жизнь в глазах гитлеровцев ничего не стоила, они недочеловеки, люди низшей расы; будет просто великолепно, если они превратятся в покорных, послушных, безответных, работающих идиотов. О такой армии рабочих Гитлер мог только мечтать. В нескольких лагерях, в том числе и в Заксенхаузене, были созданы лаборатории, где подопытным материалом были люди.

«Исследования» еще не принесли результатов, как ударил Сталинград, потом Курская дуга, разгром гитлеровских войск в Белоруссии, и вскоре после этого Советская Армия подошла

к границе Германии. Пришлось срочно уничтожать лаборатории, но все равно следы остались, и позднее о них узнал весь мир.

От профессора Зоненбаха Кемпке скрыл, куда перешел работать, — лаборатории были строго засекречены, а Зоненбах с его старомодными представлениями о гуманизме мог оказаться далеко не безопасным. Кемпке зашел к нему попрощаться летом сорок второго года, когда победа гитлеровцев еще казалась бесспорной. Они выпили бутылку доброго рейнвейна, посожали о том, что война прервала работу Кемпке в клинике профессора, и разошлись.

Уничтожив лабораторию в Заксенхаузене, Кемпке, который уже имел звание штурмбаннфюрера войск СС, хотел было бежать на Запад, но не успел — пути были отрезаны. Тогда он сменил эсэсовскую форму на армейскую и сдался в плен как рядовой военный врач.

Зоненбах, просматривая списки пленных, обрадовался, увидев имя одного из своих любимых учеников, немедленно поручился за него. Кемпке вышел из лагеря военнопленных, имея вполне законные документы, и, помотившись дня два по городу, явился к Зоненбаху, а потом и в гости к Котову, где неожиданно встретил Марту Ландер.

У актрисы с Кемпке после того приема в министерстве сложились непростые отношения. Он спустя несколько дней после приема прислал ей в подарок маленькую коробку с двумя десятками ампул морфия. Марта и испугалась и обрадовалась одновременно. Конечно, у нее были огромные возможности, но все же доставать морфий становилось все труднее и труднее. И она оставила подарок, не вернула, тем более что доктор не просил за него никакой платы, наоборот, записка уведомляла, что это скромная дань за то великое эстетическое наслаждение, которое доставляет ему талант Марты. Он присылал такие подарки еще несколько раз, никогда ничего не требуя, потом неожиданно исчез.

И вот теперь, когда Кемпке появился в столовой Котова, душу актрисы охватили противоречивые чувства. Она знала о характере работы доктора и остро осуждала его, но одновременно боялась, что того немедленно арестуют, потому что об этой работе наверняка была осведомлена не только она одна. Если же арестуют, то Кемпке не сможет больше помогать ей доставать морфий. Однако в первое мгновение она не поддавалась искушению. Когда доктор присел рядом, она холодно заметила:

— На вашем месте, Кемпке, я бы немедленно уехала на Запад.

— Я сделаю это, но немного позже, — тихо ответил доктор. — Уходить туда нужно не с пустыми руками, а у меня ничего нет.

— Вам оставаться здесь опасно.

— Нет, не очень. В нынешнем берлинском хаосе человеку, у которого исправные документы, подписанные советским майором и скрепленные печатью, не так уж трудно затеряться.

— И нет опасности, что вас разоблачат? Лабораторию...

— О нет, меня надежно защищает благородная тень профессора Зоненбаха, а лаборатории, что ж, они существовали, хотя слухи о них весьма преувеличены, но там все давно уничтожено, бесследно исчезло. С этой стороны опасности нет.

Он говорил спокойно, уверенный в надежности и своих документов и своего будущего.

— Мы остались живы — это главное. Но, как всегда в жизни, возникают осложнения...

— О чем вы говорите?

— О Берзарине...

Услышав имя коменданта, Марта насторожилась, но вида не показала, спокойно взглянула на доктора, спросила любезно:

— При чем здесь Берзарин?

— Перед тем как встретиться с профессором, я дня два помотался по Берлину и сориентировался. Берзарин — это серьезная опасность.

— Почему? Он же делает людям только добро.

— Именно поэтому он опасен, Марта. Если бы на его месте оказался хам, который каждый день ставил бы к стенке сотни немцев, не утруждая себя разобраться, кто они — нацисты или коммунисты, все было бы хорошо. Но Берзарин добрался до самого сердца Берлина. Вы не слышали, как женщины приветствуют его, когда он проезжает на своем мотоцикле? «Гутен морген, герр генераль-оберст».

— Не слышала.

— А я слышал. Это страшно. Военное поражение есть военное поражение, здесь уж ничего не поделаешь... Но вот когда влезают в душу Берлина, вы понимаете, в самое сердце его...

Марта почти не слушала Кемпке. Каждое его слово, сказанное против Берзарина, вызывало в ней активный протест. Она не могла понять, в чем тут дело, не имела ни сил, ни возможности разобраться спокойно и глубоко в собственных мыслях и чувствах, потому что все они затуманились одним непреодолимым желанием снова ощутить ошеломляющее действие сладостного дурмана, в котором растворятся все ее сомнения и страхи, и потому тихо сказала:

— Помогите мне, Кемпке.

Кемпке внимательно посмотрел на нее и все понял. Но и Марта поняла, что перед ней уже не тот бескорыстно заботливый доктор, который безвозмездно присылал подарки обожаемой актрисе, теперь Кемпке наверняка потребует плату. Только какую?

— Помогите мне, Кемпке, — умоляюще повторила она.

«Жалкие люди», — презрительно подумал доктор. Но он никак не обнаружил внешне ни своих мыслей, ни своего презрения.

— Сейчас это дорого стоит.

— Чего вы хотите за три ампулы? — почти беззвучно, осевшим от волнения голосом спросила Марта.

— У вас есть деньги?

— В Швеции есть. Я отдам вам, лишь только выберусь отсюда.

— Нет, этого долго ждать... Ценности?

— Нет.

— Плохи ваши дела, — нахмурился Кемпке, но Марта чувствовала, что его сейчас интересуют не деньги и не ценности...

А может... Может, пригрозить ему разоблачением? Вот так и сказать: «Или морфий, или я расскажу Зоненбаху о вашей «работе» в концлагере». Нет, этот путь не для Марты, нечестно, подло... Кто теперь думает о честности?.. Неправда, есть еще на свете такие люди, и в их числе Марта Ландер. Доктор Кемпке долго молчать не будет, сейчас мы узнаем, что он надумал.

— Хорошо, Марта. Я помогу вам, но взамен...

— Что вы хотите взамен?

— Жизнь Берзарина.

Марта мгновенно побледнела — лицо залила неживая желтизна. Кемпке испугался внезапного обморока, возможного скандала, но актриса справилась с собой, пересохшие губы с трудом разомкнулись.

— Я не могу этого сделать.

— Вы иногда встречаетесь с ним?

— Один раз я была в комендатуре. Ходила за визой.

— Берзарин — генерал, армия которого добила фюрера.

— И все-таки я не согласна.

— Странно.

Он сунул руку во внутренний карман пиджака, затем медленно вынул и разжал ладонь.

Электростанция Клингенберг, которую удалось захватить с наименьшими повреждениями и пустить в ход еще до первого мая, работала не на полную мощность, лампочки в гостиной Котова горели вполнакала, но Марта ясно увидела на широкой ладони доктора ампулу, стеклянный заостренный цилиндр. За эту ампулу она теперь была готова отдать все, что угодно, даже руку протянула, чтобы схватить ее, но Кемпке отвел ладонь.

— И все-таки я этого не сделаю, — твердо сказала Марта.

— Значит, вы не думаете о Германии, о своей родине. — Кемпке осторожно кинул взгляд из-за плеча — за столом все были поглощены жареным картофелем.

— Нет, я думаю о Германии, и, может, куда больше вас думаю, потому что ваши громкие слова о родине всего-навсего пу-

стой звук. Искренне звучит лишь одно — ваше абсолютное безразличие к моей судьбе и жизни, в частности.

Кемпке подумал, что Марта, в сущности, права: ему действительно все равно, как сложится ее дальнейшая судьба, что случится с нею, скажем, завтра или через какой-нибудь час. Но с актрисы можно было содрать немалый куш, пусть не здесь, не в Германии, так на Западе; с пустым карманом бежать за границу мало приятного.

— Хорошо, — сказал он, — возможно, вы и правы. Славно, что в принципе вы согласны со мной.

— Неправда. Я не согласна. И именно в принципе.

— Одну минуту, — перебил ее Кемпке. — Я придумал другое. Вот на этом блокноте и этой ручкой, — он положил на низкий столик и то и другое, — вы напишете, обращаясь в редакции всех лондонских и вообще западных газет, о том, что Берзарин с целым взводом солдат вас изнасиловал. Я без средств, а за такой автограф мне отвалят кругленькую сумму.

— Но ведь это же неправда!

— Ну и что из того? Где вы видели, чтобы сенсация бывала правдой? Сенсацию делают! Страдания знаменитой Марты Ландер — это, знаете, звучит. Да еще поместить на первых полосах газет вместе с вашим портретом и фотографиями, где вы сняты в лучших ваших ролях... Представляете, как здорово все это будет выглядеть?

— А ведь вы подлец, доктор, — сказала Марта.

Лицо Кемпке осталось спокойным.

— Не исключено, что вы правы, — сказал он. — Но я самолюбив и потому накажу вас за эти слова: вы ничего не получите. Идите есть свою жареную картошку.

Марте показалось, что в ее жизни произошла непоправимая катастрофа. Забыть, пусть на миг, на мгновение, было так близко, достижимо, протяни только руку, — и вдруг все исчезло.

— Извините меня, господин Кемпке, — делая над собой почти физическое усилие, покорно проговорила Марта. — Простите и пожалейте. Я сделаю все, что вы захотите.

Кемпке брезгливо взглянул на актрису. Неужели эта униженная, жалкая женщина — гордая и красивая Марта Ландер? Где же ваша гордость, фрау Ландер? А впрочем, она не первая и не последняя жертва своих страстей. У нее хотя бы хватило сил отказаться от его рискованного предложения. Другие и на это пошли бы.

— Вот так-то лучше, — с укором сказал Кемпке, пододвигая лежавший на столике блокнот. — Пишите. Все, что придет в голову, но постарайтесь, чтобы ваша рука не дрожала. Сжато, на одной страничке. Четыре, пять фраз. Они дадут фотоклише. Подпишитесь разборчиво, чтобы ни у кого не возникло сомнения.

Марта послушно написала на листочке блокнота несколько

строк. Да, случилось так, как хотел Кемпке. Она знала, что позже возненавидит себя за подлость, но сейчас ничего поделать с собой не могла.

Кемпке прочел и согласно кивнул. Возможно, эту страничку удастся продать за немалые деньги, а возможно, и нет — все будет зависеть от взаимоотношений между союзниками. Но в том, что эта записка ставит Марту в полную зависимость от него, Кемпке, сомнений не было.

— Давайте ампулы. Три, — настороженно поглядывая на доктора, сказала Марта.

— Видит бог, отрываю от сердца. Но чего не сделаешь ради хорошего человека, ради нашей национальной гордости, милой и очаровательной женщины — ради вас, Марта. Будьте довольны, практически они достались вам даром. — Кемпке протянул актрисе маленькую картонную коробочку. — Прошу! И пойдемте к столу, а то наши друзья подчистят всю сковороду, а это так вкусно, жареный картофель.

— Я не хочу есть, — сказала Марта и, легко поднявшись с кресла, вышла из гостиной.

— Какой божественный запах! — воскликнул Кемпке, входя в столовую. — Как давно я не видывал ничего подобного!

12

Артур Вернер, сухощавый, пожилой инженер-архитектор, медленно поднес к губам чашку кофе: по-пасторски высокий крахмальный воротник, похоже, мешал ему наклонить голову. Берзарин сидел напротив архитектора у маленького столика, несколько поодаль — переводчик, все тот же капитан Староверов.

— Немцы обожают кофе, — сказал Вернер, с сожалением отставляя опустевшую чашку. — Теперь это неслыханная роскошь.

— Ну, я думаю, все вскоре поправится, два вагона кофе уже отправлены из Москвы. Его распределят по карточкам.

— Вы не представляете, какая это будет радость, — сказал Вернер. — Если бы немцу, который умирает с голоду, дать право выбора между куском хлеба и глотком кофе, он предпочел бы кофе. Его следует распределять особенно строго.

— Я думаю, что об этом придется позаботиться именно вам, господин Вернер, — сказал Берзарин, и архитектор сразу настроился. Он понимал, что комендант Берлина пригласил его к себе не для того, чтобы в его обществе выпить чашку кофе, и приготовился ко всяким неожиданностям, хотя в отличие от многих немцев встречи с генералом не боялся и держался свободно и непринужденно. Да и чего бояться ему, старому архитектору, который уже прожил свою жизнь, и прожил ее честно, в таком плане, как он сам понимал честность.

Он никогда не был членом какой-нибудь партии, презрительно поглядывая на портреты Гитлера, не чувствуя никакого вос-

хищения фюрером, добросовестно занимался своим делом — строил дома, хотя работы в силу того, что огненный смерч бомбежек пронесся над Берлином, становилось меньше, и хотел дожить до того времени, когда город начнут восстанавливать. Иногда он, сидя в бомбоубежище, разрешал себе пометчать, представлял новую площадь Александерплац, центр Берлина, легкие и красивые здания из стекла и бетона на месте развалин. Совсем рядом рвались бомбы, и архитектор горько усмехался: только бессильные и обреченные на бездеятельность люди могут позволить себе вот так, без всякого на то основания, фантазировать.

Теперь, когда над Берлином стояла тишина, воплощение его мечтаний и приблизилось и одновременно словно бы отдалилось. Никто не знает, когда оккупационные власти подумают о строительстве Берлина и вообще захотят ли восстанавливать город, возможно решат оставить сплошные руины в назидание потомкам. Правда, Берлин хоть и не очень заметно, но начинает оживать. По пути в комендатуру Вернер увидел освещенные двери старой булочной на Луизенштрассе. Когда-то, еще до войны, до первой, конечно, когда архитектор был мальчишкой, мать покупала ему в этой булочной легкие, хрустящие рогалики, посыпанные сахаром и душистой корицей. Вся булочная, ярко освещенная и праздничная, представлялась ему волшебным царством сдобных булок, бубликов, сухариков, пирожков, вкус которых он помнил и сейчас, в свои шестьдесят восемь лет, — детская память цепкая, она сохраняет все, даже запахи. Вернер не выдержал, открыл дверь и вошел.

Булочная, уцелевшая каким-то чудом среди развалин Луизенштрассе, казалась совсем не такой праздничной, какой была в детстве. И булочник незнакомый — может, внук, а может, и правнук того, старого, добродушно-круглого, в белом крахмальном колпаке, с румяными пухлыми щеками.

Рядом с булочником еще какой-то немец, пожалуй контролер, стоит, смотрит и молчит. На полках много хлеба, простого, серого, по все-таки хлеба. Перед прилавком человек тридцать покупателей, преимущественно женщины, стоят дисциплинированно, в руках у каждой карточки: с пятнадцатого мая Берлин перешел на организованное снабжение. И это на первый взгляд может показаться чудом. Вернер знает, почему случилось это чудо — комендатуре помогли сами немцы, многие вернулись из концлагерей, или приехали из-за границы, или просто решились напомнить о своем существовании. Без них коменданту Берлина никогда бы не удалось организовать торговлю в магазинах. Карточки выдают по трудовым категориям, хлеба от трехсот до шестисот граммов, картофеля — четыреста, крупы — от тридцати до восьмидесяти, мяса — от двадцати до ста, жиров — от семи до тридцати, сахару — от пятнадцати до двадцати пяти. Мало? Конечно, мало, что такое порция маргарина

весом в семь граммов — кусочек на кончике пожа. Но дело все в том, что выдают его каждый день, а это не так-то просто в Берлине мая сорок пятого года. И это значит, что можно жить.

Вернер постоял, посмотрел и вышел из булочной, где вкусно пахло свежим хлебом. Этот магазин словно бы символ страданий и радостей берлинцев. Абсолютно ясно, что заботиться о немцах, кормить их комендатура долго не станет, передаст это дело магистрату. Ну и будет мороки обер-бургомистру! Непременно назначат кого-нибудь из коммунистов, которые после прихода к власти Гитлера уехали за границу, потом оказались в Москве, под Сталинградом, через громкоговорители, установленные в окопах, призывали окруженных немецких солдат сдаться в плен, а теперь, конечно, будут играть первую скрипку в оркестре берлинского магистрата. Что ж, все правильно и все справедливо, это люди безусловно честные, но очень трудно быть обер-бургомистром в таком Берлине...

Он пришел к Берзарину, не зная, зачем его вызвали, они обменялись привычными в таких случаях фразами, а потом прозвучали слова о том, что кофе необходимо распределять особенно строго, а подумать об этом придется именно Артуру Вернеру, и старый архитектор насторожился.

— Что вы хотите этим сказать, господин комендант?

— Именно то, что сказал. Я пригласил вас сюда, чтобы спросить, не согласитесь ли вы занять пост обер-бургомистра Берлина?

Вернер ничем не обнаружил своего удивления. Он привык владеть собой, а главное, был уже стар и не разрешал себе никаких волнений или тревог. Мгновение он смотрел на Берзарина, не переспрашивая, потому что знал: слух не обманул его. И все-таки предложение это было настолько невероятным, что старый архитектор засомневался.

— Мне кажется, это не вполне подходящая кандидатура, — медленно, стараясь выиграть время для обдумывания, сказал он. — Вы, конечно, знаете, что я никогда не принадлежал ни к какой партии?

— Разумеется, — согласился Берзарин.

— Вы не считаете, что было бы лучше, если бы на этом месте оказался кто-нибудь из старых коммунистов?

— Я думаю, для Берлина будет лучше, если на посту обер-бургомистра станет архитектор.

— Вы надеетесь, что вскоре этот город начнут строить?

— Строить Берлин, а точнее сказать, перестраивать, потому что таким, каким город был до войны, он едва ли будет, — сказал Берзарин, — начнут не через месяц и не через два, но думать об этом, мечтать, проектировать будущий Берлин нужно уже сейчас, потому что, если упустить время, наверстывать будет трудно.

— Вы представляете себе, каким должен быть Берлин? — подчеркнуто заинтересованно спросил Вернер.

— Нет, — ответил генерал, — я помню, каким он был, а вот представить его, каким будет, — дело архитектора, у меня фантазии не хватает. А вы, господин Вернер, представляете этот город в будущем?

— Представляю, — тихо ответил Вернер, и перед его глазами на месте руин встали широкие улицы с высокими домами из бетона и стекла, просторные, светлые.

— Прежде Берлин был хмурым городом, — сказал Берзарин, — ничего не поделаешь, прусская столица. Сейчас — это сплошные развалины, и здесь, конечно, нужен человек, который мог бы за этими развалинами увидеть лицо нового города.

— Вы полагаете, что этот человек — я?

— Надеюсь.

— Скажу вам откровенно, господин комендант, ваше предложение ошеломило меня...

«Вот уж никогда не сказал бы, глядя на вас, господин архитектор, выдержка у вас отменная», — подумал Берзарин, но промолчал, считая, что настало время говорить Вернеру.

— Да, я поражен, — продолжал архитектор, — но, не скрою от вас, вместе с тем и польщен. У нас, у немцев, в характере немало хороших черт, но, пожалуй, не меньше изъянов и слабостей. Так вот, одна из таких слабостей — пристрастие к любой униформе и громким титулам. У нас человека, который пробыл министром хотя бы один день, потом всю жизнь будут называть «герр министр». Я не исключение из общего правила и скажу вам честно, мне хочется использовать счастливую возможность построить или хотя бы спроектировать этот большой и, если хотите знать, красивый город. Такой случай в жизни архитектора выпадает один раз, и то далеко не у каждого. Но как только я подумаю, сколько работы и, главное, какой работы свалится на голову обер-бургомистра, мне делается не по себе.

— Да, работы будет много, — согласился Берзарин, — тем более что комендатура со временем отстранится от административных проблем, это не ее дело. Немцы сами должны решать, каким быть Берлину. Это столица их государства. Комендатура лишь поможет в том, чтобы Берлин был демилитаризованным...

— Денацифицированным и демократическим, — закончил Вернер. — Сегодня вышла газета «Теглихе рундшау», эти слова там повторяются, может, раз тридцать. Они сейчас как припев в песне.

— Вот именно, — согласился комендант. — Эти слова сегодня выражают для Германии самое главное.

— Я понимаю, — оживился Вернер. — Мне хотелось бы знать, кто вам порекомендовал меня? Вы же не сами меня нашли?

— Немецкие товарищи.

— Более чем страшно.

— Почему? Они трезвые и дальновидные политики.

— Хорошо, — сказал Вернер, — все это странно и неприлично, но, согласитесь, ничто в сравнении с тем, что фюрера нет на свете, а в Берлине — Советская Армия. Так вот, если можно привыкнуть к событиям такого масштаба, то предложение стать обер-бургомистром перестает казаться удивительным. Можно мне день-другой подумать?

— Конечно, хотя, откровенно говоря, мне не хотелось бы терять драгоценное время.

— Это означает, что я должен ответить немедленно?

— Нет, но я буду вам признателен, если вы не станете тянуть с ответом, положительным или отрицательным, но ответом. Мне кажется, вы были бы хорошим обер-бургомистром.

Вернер промолчал, поглядывая на Берзарина сквозь сильные стекла очков на большом, уже по-стариковски заостренном носу. Видит бог, как ему хочется принять предложение коменданта, но так же видит бог, как он и боится, что не справится с такой огромной работой. В конце концов у каждого человека настает единственная минута в жизни, ради которой он, быть может, жил и родился. По-настоящему ее использовать способны только люди, которые оказываются сильными и достойными этой минуты. А он? Он сильный?

— Если вы подумали о кандидатуре обер-бургомистра, то, возможно, подумали и о составе магистрата. Я могу взглянуть, как выглядит в вашем представлении новый берлинский магистрат?

Берзарин протянул гостю лист бумаги с длинной колонкой имен.

— Обер-бургомистр Артур Вернер, — прочел архитектор. — Значит, вы уже все решили?

— Нет, это пока проект, все еще можно изменить.

Архитектор почувствовал, что ему не хочется, чтобы эта первая строка была изменена, и принялся читать список дальше.

— Заместители обер-бургомистра. Карл Марон?

— Это старый коммунист, в прошлом председатель «Фихте», рабочего спортивного союза.

— Так, Андреас Хермас. Это тот самый, что был когда-то министром Веймарской республики? Христианский демократ? Так... Паул Швенк, он, кажется, был депутатом ландтага... Рабочий Карл Шульце. Ну, разумеется, вы не могли обойтись без рабочего.

— Разумеется, — улыбнулся Берзарин.

— Зауербрух, Шерун, Пик... Это сын того Пика или сам?

— Сын.

— П. Бухгольд и Е. Нортвик, — а эти как сюда попали? Они же попы!

— Среди берлинцев много верующих.

— Ландвер, Винцер, Келер, Орлони, Гешке, инженеры Жирок и Крафт. Ну, господин Берзарин, в новом магистрате Берлина, как в Новом ковчеге, — ни о ком не забыли! Есть представители всех направлений...

— Кроме фашистского.

— Да. И что же вы хотите? Поставить во главе всех этих политиков, инженеров, ученых и священников человека, который никогда не принадлежал ни к какой партии?

— Мне кажется, что именно такому человеку будет легче, чем кому-либо другому, договориться с представителями всех партий.

Берзарин ясно видел, что возможность включиться в настоящую работу после долгих лет томительного безделья, когда пикто ничего не строил в Берлине, все больше захватывала Вернера. Очень трудно отказаться, когда тебе представляется возможность не то чтобы увидеть, а воплотить в бетон, кирпич, стекло и сталь свою заветную мечту. И не на день, не на год — на века.

— Боюсь, что вы уже знаете мой ответ, — тихо сказал Вернер. — Но если разрешите, я все-таки еще подумаю. Нет, нет, недолго, завтра уже все будет ясно. Мне просто нужно привыкнуть к этой неожиданной мысли и правильно оценить свои силы, самому понять, смогу ли я быть обер-бургомистром. Берлин сейчас напоминает тяжелораненого человека, всему миру интересно знать, померет он или выживет.

— Он выживет, — сказал Берзарин.

— Только еще неизвестно, каким он станет после такой раны. Вот об этом мне и хотелось бы поразмыслить.

— Хорошо, — решил Берзарин. — Значит, отложим до завтра.

— Вы еще с кем-нибудь вели переговоры? — ревниво спросил Вернер.

— Нет. Гулять одновременно на двух свадьбах не стоит. А в политике — тем более.

На улице Вернер взглянул на руины, и, может, впервые за долгое время они предстали перед ним не как воплощение беды, горя, страданий, а как строительный материал. Он дошел до знакомой булочной и поймал себя на том, что смотрит на нее совсем другими глазами. Теперь лавочка не производила на него прежнего трогательного впечатления, лишь запах свежего хлеба остался таким же вкусным. На полу грязь, пробитая стена затянута каким-то брезентом, сам булочник небритый... Придется наводить порядок...

А не обманывает ли он сам себя, когда мечтает о будущем новом, светлом и радостном Берлине? Только на то, чтобы разобрать эти развалины, уйдут годы и годы, а ему ведь шестьдесят восемь...

А метро уже работает. Не все, только некоторые участки, но работает, и в этом заслуга саперов Берзарина и рабочих метро, а не его, Артура Вернера. Что же он ответит завтра? Разве не ясно? Он-то согласится, не ясно другое, значительно более важное, — какой будет Германия, вот что он хотел бы знать. Будущее Германии, вот о чем нужно думать.

13

В те дни вопрос «какой станет Германия» волновал не только будущего бургомистра. Он возникал и в Москве, и в Вашингтоне, и в берлинских подвалах, и уж конечно в столовой капитана Котова. Поначалу этот вопрос как бы прятался, тушевался, словно боясь своей остроты, но, как в мешке шило ни прячь, все равно уколешься, так и он возник после того, как Флазер доел свой картофель, закурил трубку, набитую едкой кремепчугской махоркой, и почувствовал себя ответственным за судьбы мира.

— Господин капитан, — спросил Флазер, — вы, конечно, коммунист, а значит, должны быть широко информированным человеком, я понимаю, что разговор мой преждевременный, все еще пребывают в запале войны, все еще охвачены острыми страстями, о далеком будущем думают не так-то уж многие, но мне весьма интересно было бы знать, как вы, писатель (к слову, я не очень-то понимаю, как это писатель может быть членом какой-нибудь партии, однако это ваше личное дело: в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходят), так вот, как вы представляете будущее Германии?

— Мне до тошноты надоели разговоры о политике, — заявила Розамунда.

— Я тоже сыт ими по горло, — поддержал Кемпке.

— Сейчас нужно работать, — сказал Зоненбах, — если в Берлине вспыхнут эпидемии, то у Германии вообще не будет будущего.

Котов окинул взглядом гостей. Теперь он имел некоторое представление о каждом. Они очень разные, но желание апать судьбу родины объединяло их, и ответить на этот вопрос нужно было, пожалуй, не прямо, не в лоб, и потому Котов сказал:

— Я вспомнил один интересный случай. Это, возможно, не будет точным ответом на ваш вопрос, но, мне думается, все-таки внесет определенную ясность. Послушайте. Шла весна сорок четвертого года. Ранняя весна. Наше весеннее наступление на Украине. Грязь такая, что сапоги засасывает, как в трясине, с ног сдирает. Два наших обозника, простые солдаты, везут на телеге патроны. Пара коней, сильных, сытых, а все равно тащат еле-еле, потому что дороги раскисли, колеса по ступицу увязают в густом месиве. Вдруг что-то зашевелилось в кустах. Солдаты хотели было подойти, посмотреть, а им на-

встречу автоматная очередь, пули засвистели. Один солдат бросил гранату, не докинул, но немец сам вышел из кустов, поднял руки. Оказывается, отстал от своих и уж ни на что не надеялся. Один из солдат говорит: «Иван, давай пристрелим его к чертовой матери. Может, это он моего батьку убил?» — «Нет, — отвечает другой, — пленных стрелять не положено, обезоружим его, и хай иде за повозкою». — «Ну хай иде», — согласился первый. Отобрали они у пленного автомат, бросили на воз, сами сели и едут дальше: пара коней тянет телегу с патронами и солдатами, следом немец бредет, насили ноги из грязи выдирает, потом обливается, сам бледный, дышит, как загнанная лошадь, — трудная это штука весной по чернозему ходить. Ездовой смотрел, смотрел на него, а потом и говорит: «Ну, Иван, коли не стрелять его, то хай на воз сидае, чего человек понапрасну мучиться будет?»

Котов умолк, молчали и гости, словно пережевывали вместе с картошкой и рассказ капитана, стараясь понять его смысл и вкус. Они чувствовали, что здесь действительно есть над чем задуматься, только как все это выразить, в какие слова облечь, не знали.

— Значит, вы думаете, — осторожно спросил Флазер, — что Германию еще пригласят сесть на телегу? Так я вас понял?

Ответить Котов не успел, Марта Ландер снова появилась в столовой. Актриса отсутствовала всего несколько минут, но как изменилась она за это короткое время... Напряженная, как струна, с лихорадочно блестящими глазами, жесты уверенные, властные. Она словно бы стала выше ростом, статнее, разгладилась глубокие складки возле рта, и все лицо помолодело, наполнившись внутренним мягким светом.

— Прелестная история, — глубоким, сильным голосом заговорила Марта, которая, очевидно, слышала рассказ капитана. — Полюбуйтесь мною. Я — Германия. Пьяная девка, которая вообразила себя властительницей мира. Ну, как я выгляжу, правльсь?

И она прошлась по комнате, плавно пританцовывая, изящно поводя руками, будто в такт неслышной музыке, веселый ритм которой наполнял все ее существо.

Профессор Зоненбах сразу все понял и сказал резко, как скомандовал:

— Марта, немедленно прекратите этот балаган!

Но актрису остановить было не так-то просто. Она снова медленно прошлась по комнате, засмеялась, остановившись перед Зоненбахом.

— Что вас возмущает, господин профессор? Сожалеете, что не слышите больше рассказней про амурные делишки этой девки? Что не шушукуются по углам о ее любовных победах над министрами и рейхсфюрерами? Не беспокойтесь, Марта Ландер скоро напомнит о себе.

Актриса казалась себе в эту минуту молодой, очаровательной, талантливой — все ей было по силам, все по плечу. Марта знала: чем сильнее возбуждение, тем глубже и безысходнее будет спад, но об этом сейчас просто не думалось — ей было море по колено. Профессор решительно встал, подошел к ней, крепко взял за руки:

— Где вы достали морфий?

— Как где? Неужели вы думаете, что у Марты Ландер не было запасов? — Она снова прошла по комнате, и только теперь по-настоящему стало очевидным, какая она ладная, высокая, красивая; остановилась неподалеку от стола, оглядела всех присутствующих и убежденно сказала: — О будущем Германии можете не беспокоиться, господа, оно в надежных руках. Комендант Берлина разъезжает по городу на своем мотоцикле, а белотелые и толстомясые берлинки молятся на него: «Ах, герр генераль-оберст». Судьба Германии зависит от того, сколько таких Берзариных есть у советской власти.

Слова Марты прозвучали трезво. Зопенбах даже удивился точности ее мыслей и сказал в ответ:

— Думаю, что таких, как Берзарин, у советской власти немало.

— О нет, господин профессор. Такой — единственный. Берзарин есть Берзарин — и этим все сказано, но похожих на него, конечно, найдется много. И потому современной Германии, хочет она того или не хочет, придется хорошенько задуматься над тем, как жить дальше. И возок ей не подадут, самой придется топтать...

— Марта, мне не нравится, как вы говорите, — сказал Кемпке.

— И вы заговорили о политике, — насмешливо пропела Марта. — А вы думаете, мне приятно видеть Германию девкой с похмелья? Мы долго и много ввали себе! Высшая раса! Сверхчеловеки! Власть над всем миром. А где очутились? В дерьме. Спешите из него выбраться и сесть на телегу, ежели вас туда еще пустят!..

Капитан Котов внимательно смотрел на Марту. Пожалуй, впервые ему довелось здесь услышать слова по-настоящему откровенные, не сдержанные условностями, железной немецкой дисциплиной. Котов никогда раньше не пытался представить себе, какой Марта была на сцене. Нет, то, что видел он сейчас, было не балаганом, как сказал Зоненбах, не игрой, а доподлинной жизнью, голодной, грязной, пропахшей трупным запахом, но все-таки жизнью.

В столовую вошла Таня, неодобрительно оглядела всю компанию, задержала взгляд на возбужденном лице Марты, потом сухо сказала:

— Товарищ Вангель, вас просят к телефону.

— Откуда известно, что вы здесь? — забеспокоилась Розамунда. — За нами следят?

— Очень мы нужны, — усмехнувшись, ответила Марта Ландер.

— Просто я предупредил, где буду вечером, — сказал Вангель, выходя в переднюю, и тщательно прикрыл за собой дверь.

— Государственные секреты, тайны мадридского двора, — пожала плечами Розамунда Флазер.

— А что, вполне вероятно, что у него есть и государственные секреты, — не выпускала из своих рук нить разговора Марта. — На первый взгляд кажется, что мы, немцы, все одинаковы, из одного теста испечены, в Шпрее крещены, а вот на поверку выходит, что Вангель на нас не похож, он из другого теста. Он сидел в концлагере, досыта хлебнул лагерной похлебки, а все-таки маску Ленина сберег!

— Я тоже не выслуживался перед Гитлером, — в который уже раз напомнил Флазер. — Я молчал.

— Ну, положим, невелика заслуга молчать, — беспощадно резала Марта, думая не о писателе, а о себе. — Вы молчали, а Вангель действовал. Ему есть чем жить, он может смело смотреть в глаза всем немцам, а вот я не могу. Потеряла к себе уважение и не знаю, как его вновь обрести.

— Подвигом, только подвигом, — многозначительно заметил Кемпке.

Марта взглянула на него, хотела что-то сказать, но сдержалась и промолчала. Что она может сделать?

Вангель вошел в столовую радостно-взволнованный, энергичный.

— Это звонили из секретариата Вильгельма Пика, — объявил он.

— Разве Вильгельм Пик уже приехал? — спросил Зоненбах.

— Еще нет, но секретариат его в Берлине.

— И вам уже предлагают сесть на телегу? — насмешливо и одновременно с напряженным интересом спросила Марта.

— На какую телегу? — переспросил Вангель. — Ах да, я совсем забыл. Нет, мне предлагают впрячься в повозку; организовать союз антифашистской, демократической интеллигенции «Культурбунд». Он объединит художников, писателей, актеров. Марта, вы не хотели бы поехать со мной? Очень помогли бы мне.

— Кажется, вы немного не в своем рассудке, господин Вангель. Антифашистский, демократический! И вы предлагаете мне? Хотите скомпрометировать свою организацию в самом зародыше? Ну какая из меня антифашистка?

Марта весело, искренне, так, как смеются опытные актеры на сцене, расхохоталась, и капитан Котов ясно почувствовал, как болит ее душа.

— Жаль,— тихо сказал Вангель.— Мне почему-то казалось...

— Нет, вы заблуждаетесь,— перебила его Марта,— никуда я с вами не поеду. Берзарин уже отпустил меня в Швецию. Дело за документами. Из Стокгольма обещали прислать самолет; вероятно, в наше время это не так-то просто, но он все-таки когда-нибудь прилетит, этот самолет, и я окажусь в тихом, мирном Стокгольме, где так много друзей и где никогда не было затемненных улиц...

Марта говорила, а Котову подумалось, что актриса хочет словно бы в первую очередь убедить себя в том, что решение ее навсегда распрощаться с Берлином и Германией единственно верное. А может, ему показалось и никаких сомнений нет в ее сердце? Вангелю, выходит, тоже казалось, если он пригласил Марту. Значит, Котов не одинок в своих выводах...

— Жаль, очень жаль, что вы не хотите нам помочь.

— Кому это вам? Вы уже говорите о себе во множественном числе? — неизвестно над кем, над Вангелем или над собой, издевалась Марта.

— По всей видимости, я там буду не один,— сдержанно ответил Вангель.— Очень жаль. Всего лучшего, господа. Очень жаль.

С этими словами он поклонился, еще раз взглянул на Марту и вышел.

Все долго молчали, потом Марта, глядя через окно на зазеленевшие листья платанов, задумчиво проговорила:

— Мне тоже жаль. Как все странно... Сидим в гостях у милого советского офицера, пьем чай, разговариваем, едим американский консервированный язык, и мне кажется, будто я очутилась на каком-то необитаемом острове. Настоящая жизнь идет где-то далеко от меня...

— Интересно, почему не тебе предложили основать «Культурбунд»? — ревниво спросила Розамунда Флазер своего мужа.

— И очень хорошо, что не предложили,— равнодушно ответил романист.— Это не для меня, мое дело — книги.

Зоненбах соскреб остатки картофеля со сковороды, с аппетитом прожевал, вытер платком губы и только потом сказал:

— У меня, Марта, нет ощущения, словно жизнь проходит мимо. Меня, например, она треплет, как собака кусок падали.

— Образное и точное, а главное, аппетитное сравнение,— заметила Марта.— Но вы другое дело, вы боретесь с эпидемией, уважаемый будущий член магистрата, обеспечиваете санитарное состояние Берлина. У вас по горло работы, а Флазер уже думает о своей новой книге.

— Я ничего не думаю,— решительно возразил Флазер.

— Думаете, я по вашему носу вижу, что думаете, хотя сами себе в этом боитесь сознаться. А я? Что я?

— Вашу судьбу можете определить только вы сами. Каждый немец сам определяет свою судьбу,— сказал Зоненбах.

— И еще немного ему помогает комендант Берзарин. Меня такой путь не устраивает. Что я могу? Немолодая уже (не хочется произносить слово «старая»), издерганная неврастеничка, актриса, от которой не осталось ничего, кроме громкого имени. Дети, которые рождаются и вырастут после войны, как-нибудь к слову вспомнят про Марту Ландер, была, мол, когда-то такая актриса, но сейчас она уже не смотрится, неинтересно. Что я могу сделать?

— Вы могли бы пойти вместе с товарищем Вангелем,— осторожно сказал Котов, не придавая своим словам особого значения.

Марта посмотрела на него и вдруг взорвалась, вспыхнула злобой, вымещая все свое возбуждение, недовольство на гостях капитана. Она даже отступила на несколько шагов, будто разглядывая их, и выпалила:

— А ну, все выметайтесь отсюда! Хватит обжираться нашим национальным блюдом! Работать пора, развалины разбирать! Берлин восстанавливать! Германия ждет!

— Фрау Марта, я попросил бы вас не продолжать в таком тоне,— забеспокоился Котов.— Это мои гости. Простите, господа.

— Ну конечно, ваши гости! — Марта злобно расхохоталась.— Пусть катятся ко всем чертям! Так-то лучше будет.

Вдруг что-то в ней словно сломалось, погас огонь в глазах, она покачнулась, обессиленно опустилась в кресло.

— Простите,— сказала она и затихла, уснула или впала в забытие.

Зоненбах посмотрел на часы, подумал, как много у него еще сегодня работы в медучилище, где он разместил временную «группу санитарного состояния», которая в недалеком будущем должна была превратиться в отдел охраны здоровья магистрата, и сказал:

— А нам действительно пора, Кемпке. Сейчас я назову участки, где вам придется работать.

Тут и Флазер посмотрел на свою жену, перевел взгляд на часы, и хотя он не прочь был выпить еще чаю, нашел в себе силы сказать:

— Розамунда, как ты думаешь? Не пора ли и нам?

Розамунде тоже не хотелось покидать эту уютную гостиную, где чувствовалось так свободно, сытно, а главное, спокойно, но она понимала каждую интонацию своего мужа и сразу согласилась, спросив, однако:

— Вы не будете возражать, если я возьму с собой два-три бутерброда? Гансу на ужин. Наверняка он захочет есть.

С точки зрения довоенного времени этот вопрос прозвучал бы как вопиющая невоспитанность, но сейчас все представле-

ния изменились, и капитан Котов несколько не удивился — все его гости, уходя, что-нибудь прихватывали с собой из съестного.

— Конечно, фрау Розамунда, — сказал он. — Таня, принеси, пожалуйста, бумагу. Берите, берите, гостя негоже отпускать без подарка.

Проводив гостей, Котов вернулся в столовую. Окинул взглядом комнату — со стола убрано, свежая скатерть, Таня уже постаралась, ей не нужно ни о чем напоминать, сама все знает. Еле заметна неподвижная фигура Марты, она утонула в глубоком кресле, подогнув под себя ноги, голову склонила к плечу. Может, заснула. Самое лучшее сейчас для нее — сон. Хорошо бы ее укрыть чем-нибудь — согрелась бы, успокоилась, вечер прохладный. Капитан взял легкое трофейное одеяло, накрыл Марту. Как хорошо, когда в доме тишина.

Подошел к окну, за которым сгущались сумерки, посмотрел на кусты сирени под окнами. В свое время хозяева, наверное, любовались цветами... Когда люди вернутся, дом будет свободен. Работа капитана не может продолжаться долго... Чем дышит этот Кемпке, восходящая звезда немецкой нейрохирургии, — пока понять трудно, но его привел сам Зоненбах, рекомендация надежная, беспокоиться нечего...

Котов стоял, всматриваясь в окно, за которым все плотнее сгущались сумерки, и думал о том, что страницы его будущей книги будто сами собой раскрываются перед ним. Даже выдмывать ничего не нужно, только успевай записывать...

— А вы знаете, капитан, это подло, — прозвучал за его спиной вовсе не сонный голос Марты Ландер.

Котов обернулся. Темная фигура в кресле, едва различимая в черных сумерках столовой, оставалась неподвижной. Шагнул к двери, поднял руку, нащупывая выключатель.

— Не нужно света, — тихо сказала Марта, — поговорим так, посумерничаем. Люблю сумерки... Я хочу вам сказать — это нечестно.

— Что именно? — насторожился Котов.

— Вы думаете, вам кого-нибудь удалось обмануть?

— О чем вы говорите?

— Обо всем этом, конечно. Особнячок, столовая, накрытый стол, три-четыре десятка гостей на протяжении дня. Недавно я была в гостях у майора Дымшица. Там примерно такая же картина, только вместо Тани хозяйничает его жена Галина, красавица, великолепно владеет немецким. Ему легче, чем вам. В Берлине еще много таких гостеприимных офицеров?

— Конечно, много.

— Кто это все придумал? Берзарин?

— Нет, я сам.

— Неправда, Володя, эту подлость не вы придумали. Она требует серьезных материальных затрат, которые вам не по

карману. За всем этим я вижу умную голову и могучую лапу Берзарина.

Котов рассердился.

— Простите, фрау Ландер,— сдержанно сказал он, и эта сдержанность выражала крайнюю степень его гнева,— я не понимаю, в чем вы усмотрели подлость. Подло, если я даю голодной женщине кусок хлеба и требую, чтобы она за это спала со мной. Подло, если я даю килограмм масла человеку и требую от него, чтобы он совершил убийство. Это и преступно и подло. А в чем моя подлость? Ведь я от своих гостей ничего не требую. Я писатель, мне необходимо видеть как можно больше людей, понять их мысли, чувства. И должен вам признаться, впечатления у меня богатые... Я собираю материал для книги...

— Неправда, Володя. Хотя, возможно, и правда, но далеко не вся. О своей книге вы сейчас думаете меньше всего.

— И это вы называете подлостью? Я своих гостей даже ни о чем не расспрашиваю...

— Вот именно. В этом и скрывается нечестная игра. Вы ничего не требуете, ничего не спрашиваете, только к слову расскажете какую-нибудь любопытную историю и все время заставляете думать, думать.

— Ну, мне не кажется, чтобы фрау Розамунда хотя бы на минуту задумалась за весь вечер,— улыбнулся Котов; его высокую, худощавую фигуру актриса видела черным силуэтом на фоне синеватого окна.

— Она вообще неспособна думать, а вот Флазера вы заставили задуматься. Ваши примеры примитивны: кусок хлеба — ложись в постель, килограмм масла — стреляй. Не нужно ни думать, ни оправдывать свои поступки, все ясно — мол, обстоятельства и люди принудили меня поступить именно так, а не иначе, другого выхода-де не было.

— Но разве кто-нибудь насилует вашу волю, заставляет делать то, чего вы не хотите?

— Не заставляет. Но вот вы укрыли меня одеялом, нашим, немецким, солдатским одеялом, которое еще немного пахнет человеческим потом и порохом... Считаете, что про это одеяло и про вас можно не думать? И комендант Берлина, генерал Берзарин, все это прекрасно знает. Именно он и поручил вам, и Дымшицу, и другим офицерам принимать гостей без всякого ограничения.

— Уверю вас, фрау Ландер...

— Володя, не нужно. Врать вы не умеете, и вообще этот дом, и кухня, и кушанья на столе — все шито белыми нитками. И не обманывайте себя. Ваши гости, и я в том числе, только сделали вид, что поверили. Вы не думаете, что в душе они смеются над вами?

— Нет, этого не думаю,— уверенно ответил Котов,— а если и смеются — пусть, меня это нисколько не задевает. Все рав-

но они понимают, что мы помогаем им продержаться в это сложное и голодное время, не требуя взамен никаких обязательств. Это главное. Необходимо, чтобы они решили свою судьбу и будущее, не думая о голоде. Они — люди, фрау Ландер, а человека нужно понять и приветить.

— Это, разумеется, формула Берзарина.

— Да, его. Я скажу вам больше: возможно, что среди моих гостей бывают вчерашние нацисты, которые еще и сейчас обожают Гитлера...

— О ком вы говорите? — встревожилась Марта.

— Конкретно ни о ком. Я их не знаю, и не мое дело копаться в их прошлом. Так вот, пусть и они задумаются. Будущую Германию будут строить не только коммунисты и антифашисты...

— Почему вы все время хотите словно бы приспособиться ко мне, влезть в мою шкуру и заставить катиться по вашим рельсам?

— Никто вас ни к чему не принуждает. Рельсы, стрелки, станции и пункты назначения вы выбираете сами.

— Я уже выбрала. Через несколько дней, ну, может, неделя я буду в Швеции. Пропадет даром вся ваша работа.

— На вашем месте я бы не уезжал.

— Вот видите, Володя, вы все-таки хотите заставить меня катиться по вашим рельсам.

В это время за окном сверкнул свет мощной фары, зайчики запрыгали по стенам, и отчетливо послышалось мерное тарахтенье сильного мотора мотоцикла. Котов расслышал радостный возглас Тани:

— Ой, генерал приехал!

— Берзарин? — недоверчиво спросила Марта.

— Возможно, и Берзарин. — Капитан нажал на выключатель.

Свет резанул по глазам, хотя и смягченный абажуром, но все равно неожиданно яркий, и сразу исчезло очарование доверительно-откровенной беседы в сумеречной полутьме гостиной.

— Только встречи с ним мне сегодня не хватало, — сказала Марта, наблюдая, как оживился Котов, шагнув навстречу генералу, и почему-то впервые за долгое время подумала, что, пожалуй, было бы неплохо разыскать парикмахерскую (должна же где-нибудь в Берлине сохраниться хоть одна парикмахерская) и сделать прическу. Подумала и сама удивилась: значит, ее уже интересуют прически? Глупости! Кому она хочет понравиться? Берзарину?.. Не будет она искать парикмахерскую!

В это время Берзарин в сопровождении Котова, Ляхова и Тани появился в столовой, усталый, но, как всегда, энергично-веселый, и сразу комната наполнилась голосами, смехом.

— Добрый вечер,— сказал генерал, еще не разобрав, кто находится в комнате.— Таня, дай-ка мне, пожалуйста, стакан чая. Устал смертельно, весь день мотаюсь по городу. О, вы здесь, фрау Ландер! — удивленно воскликнул он, увидев актрису, которая уже успела выбраться из-под одеяла и, спустив ноги на пол, прямо сидела в кресле.

— Как видите,— сама не понимая своего смущения и хорошо зная, что через минуту это ее смятение перейдет в дерзость и развязность, и страшась этого, ответила Марта.

— Рад вас видеть. Я думал, вы уже в Стокгольме.

— Нет, вы этого не думали, потому что вы хорошо знаете, что происходит в Берлине. А мой отъезд...

— Не мог бы пройти незамеченным? — закончил ее мысль Берзарин.— Это правильно. Так почему же вы все-таки не уехали?

— Не уехала, и все.

— Сами решили или к этому вас принудили какие-то обстоятельства?

— Просто шведы еще не прислали самолет. Но он все-таки прилетит, хотя, может, не так быстро, как мне бы хотелось.

— А вам хочется скорее покинуть Берлин?

— Откровенно говоря, да. Мне сложно и нелегко здесь жить.

— А вот я привыкаю к Берлину, и с каждым днем все больше,— ответил Берзарин.— Спасибо, Танюша, нет, нет, к чаю ничего не нужно, я не голоден. Володя, там в коляске мотоцикла коробки...

Марта осторожно, будто опасаясь, что пол провалится под ней, поднялась с кресла, провела обеими руками по волосам, движения были по-детски робкими, беспомощными. Сказала:

— Подкрепление привезли? Провиант?

— Вы не ошиблись, фрау Ландер,— спокойно, без тени неловкости или смущения ответил Берзарин.— Именно подкрепление.

Марта прошлась по комнате; генерал, неторопливо прихлебывая горячий чай, молча следил за ней. Марта словно забыла, что в комнате она не одна: сосредоточенный обнаженно несчастный взгляд, горько опущенные уголки губ, надломленные в странном смятии брови и резкие, стремительные шаги.

Нервничает, волнуется... Почему? У нее же, кажется, все в порядке, разрешение на выезд дано, документы готовы. Да, все хорошо, кроме одного: гитлеровская Германия разбита, а генерал Берзарин комендант города. Он подумал так и улыбнулся. Но в этом ли причина волнения актрисы? Что он, собственно, знает о ней и ей подобных берлинцах? Мало. Непростительно мало.

Вдруг актриса остановилась, намереваясь что-то сказать, и, видно, не смогла. Она знала, что Берзарин и это заметил, все

понял и оценил. Теперь молчать было невозможно и, собрав все душевные силы, словно вздохнув перед прыжком в пропасть, призналась:

— Генерал, имейте в виду, я редкостная дрянь. Не верьте ни одному моему слову. У меня нет моральных принципов.

Она признавала, что весь этот разговор — величайшая глупость, но остановиться не могла.

— У нас есть такое слово: «самокритика», — после паузы, прихлебнув чай, сказал Берзарин. — Чем она вызвана у вас?

— Вы ошибаетесь, это не самокритика, это трагедия.

— Возможно, и ошибаюсь, — охотно согласился Берзарин. — У вас, видимо, что-то случилось. Может быть, я смогу вам помочь?

— Нет, не сможете и не захотите, потому что я вас... продала.

Марта думала, что слова ее, подобно удару грома, поразят Берзарина, но с разочарованием увидела, что генерал отнесся к ним совершенно спокойно. Пьет себе чай, и, кажется, важнее дела для него нет. Поставив стакан на блюдце, взглянул на Марту, спросил:

— Нашлись покупатели?

— Да в этом городе за покупателями дело не станет, — с отчаянием, теперь уже не зная, чем все это кончится, ответила Марта.

— Верно, от Берлина всего можно ожидать. И дорого продали?

Глаза его сверкнули весело и насмешливо. Генерал несерьезно отнесся к ее словам. Как же сделать, чтобы он поверил в близкую опасность?

— Нет, дешево, — машинально ответила она.

— Сколько ампул? — спросил Берзарин, и Марта увидела его чуть прищуренные спокойные глаза.

— Три, — покаянно ответила актриса.

— Стыдитесь, фрау Ландер, — усмехнулся Берзарин, — ведь вы должны бы знать, как вести коммерческие дела. Честно говоря, я разочарован. За меня можно было бы взять куда больше.

Марта не могла отвести взгляда от его глаз, спокойных и властных, и страх медленно, холодной змеей вползал в сердце. Он смеется над ней, Берзарин, презирает и издевается? Да, он имеет на это все основания. Лучшего отношения она не заслужила. Хотела что-то сказать, найти веские, убедительные слова, но волнение сдавило горло. «Что со мной?» — подумала она, но ответить не успела, Берзарин заговорил снова:

— Что же вы должны сделать со мной за три ампулы?

У Марты не хватило сил стоять на одном месте, и она снова принялась ходить из угла в угол.

— Я уже все сделала, — волнуясь, сказала она, — я написала бумагу о том, что вы командовали взводом солдат, которые меня изнасиловали.

— Всего-то навсего? — спросил Берзарин. — Должен признаться, вы не оригинальны, а ваш покупатель не находчив. На Западе в некоторых газетах обо мне пишут куда более выразительные вещи. Очевидно, ваш покупатель читает не все мюнхенские и лондонские газеты, да это и понятно: где ему взять? Вот и пришлось изобретать велосипед...

— При чем тут велосипед?

— У нас есть побасенка про одного горе-изобретателя, который взял да и заявил, что ему удалось сделать эпохальное открытие. А на поверку оказалось, что изобрел он всем известный велосипед. Тема, о которой вы изволили заметить, тоже давно исчерпала себя, особенно в той части западной прессы, которая специализируется на большевистских жестокостях. Вот так, фрау Ландер. Может быть, выпьете чаю?

— Спасибо, нет. Не понимаю вашего спокойствия и хочу предупредить вас: будьте осторожны.

— С какого времени стала вас интересовать моя судьба?

— Прямо ответить трудно... Как-то так случилось, что все берлинцы оказались связанными с вами одной ниточкой. Разве вы не понимаете, что стали частью этого города? Да, да, хотите вы того или нет.

— Почему же я этого не хочу?

— Мало ли... Так вот, если комендант отвечает за свой город, то город в какой-то мере отвечает за своего коменданта.

Берзарин посмотрел на актрису, и шутливое выражение глаз исчезло. Совсем неожиданные мысли высказала ему Марта Ландер, и трудно понять, откуда у нее они, эти мысли, кто ей подсказал их или натолкнул на такие раздумья? Если они появились, это уже хорошо. Но не будем торопиться с выводами: ведь это — Берлин...

— В одном вы абсолютно правы, — сказал генерал, — хочу я или не хочу, раньше или позже, но частью Берлина мне придется стать, иначе я буду плохим комендантом этого города.

— В этом городе еще много людей, которым вы мешаете; не вы персонально, а ваша политика, ваша деятельность, ваша популярность...

— Не нужно преувеличивать. Я не киноактер.

— Нет, об этом тоже нужно думать. Конечно, вы можете сказать, что любой генерал, назначенный на эту должность, повел бы себя так же, как ведете себя вы, но раз вы уже оказались в роли первого коменданта Берлина, именно первого, то должны быть очень осторожны.

— Вы говорите так, словно мне угрожает смертельная опасность.

— Да, угрожает.

— Не думаю. Если немцам приказали не убивать своего коменданта, они его не убьют.

— Ошибаетесь. Это вас дома учили, что немцы дисциплинированный народ и с удовольствием подчиняются приказам. Вот вы и уверовали в эту теорию как в бесспорную истину, а в Берлине есть люди...

— Конечно, есть, но их не так много.

— Для этого хватит одного, только одного! — выкрикнула Марта.

— Фрау Ландер, вам не кажется странным, что вас занимает моя личность? Как это понять?

— Откровенно говоря, мне самой не ясно, в чем тут дело. Через несколько дней я покину Берлин. Но пока я здесь, неважно, как это случилось, я чувствую ответственность за своего коменданта. И я повторяю, достаточно одного человека...

— Насколько я понимаю, вы этого человека знаете, фрау Ландер. Вы мне его, разумеется, не назовете?

— Конечно, я порядочная женщина!

— Я так и думал. Хорошо, не волнуйтесь, фрау Ландер. И не нужно так метаться по комнате, у меня в глазах рябит. Не бойтесь, со мной ничего не случится. Без вашей помощи мы найдем этого человека и, может, не только его.

— И все немцы станут говорить, что это я его выдала, — резко остановилась Марта. — Ведь я, только я знаю о его намерениях.

— Ну, я этого не думаю. Наверняка знает еще кто-нибудь.

— Это ничего не меняет. Послушайте, господин генерал, я не понимаю, почему вы не прикажете меня немедленно арестовать, допросить, я могла бы и проговориться. Наконец, есть еще способ: предложить мне морфий. Если я в лихую минуту, не колеблясь, продала вас, то этого человека продам и подавно. Он подлец!

— Вот видите, какая у вас деловая, а главное, хорошо работающая программа, — усмехнулся Берзарин. — Вас она, возможно, устраивает, но мне не подходит. Я вас не арестую, хотя вы сказали правду, все основания для этого у меня есть.

— Вот видите! И поступите так. И на сердце полегчало бы. Все стало бы ясным, и мне оставалось бы одно — страдать и ненавидеть.

— Нет, вас я не арестую. Больше того, помогу добраться до Стокгольма. Меня интересует другое, почему вы, сказав «да», через пять минут говорите «нет»? Почему не выберете себе один путь?

— Да потому, что я его не знаю. У меня в душе все перепуталось... И еще сознание собственной никчемности... Вы, может, единственный человек, который за последние полгода говорит со мной по-людски, думает не о себе, а обо мне, о моей жизни. Зачем я вам нужна?

— Вы мне не нужны. Я отпустил вас в Швецию.

— Вот видите, еще одно доказательство моей никчемности. А говоря о выборе пути, вы в душе надеетесь, не соглашусь ли я работать с вами, организовывать «Культурбунд», заботиться о голодных немецких актерах или, того больше, стать членом магистрата...

— Вы правы, фрау Ландер, было бы совсем неплохо, хотя должен заметить, что до уровня члена магистрата вы еще не доросли.

— Почему же? Вы думаете, я не смогла бы сыграть эту роль? — обиделась Марта. — Сыграла бы. И лучше, чем это делает Зоненбах.

— Он не играет роль; а работает. В этом вся разница. Для себя Зоненбах ответил на главный вопрос: за новую Германию он или против. Я хотел бы, чтобы вы тоже себе ответили на этот вопрос. Точно, недвусмысленно.

— Политика меня никогда не интересовала, — заученно ответила Марта и тут же пожалела, так фальшиво прозвучали ее слова.

— Неправда, — сказал Берзарин. — Весь наш разговор — политика.

— Нет. Это всего лишь решение моей личной судьбы, при чем же здесь политика? Почему вас не встревожило мое предупреждение?

— Встревожило, почему же, — ответил Берзарин, и вновь в глазах его мелькнула веселая искра. — Только в том плане, что за меня, вне всякого сомнения, нужно было взять больше. Три ампулы — это до смешного мало.

Марта оторопело посмотрела на него: неужели это все, чего она заслужила? Неужели Берзарин ничего не понял? Неправда, он все понял, а сейчас просто смеется над ней, над ее терзаниями, болью, горем.

— Неужели вы так несерьезно восприняли мои слова? Господин Берзарин, уверяю вас, вы ходите по лезвию ножа.

— Нет, фрау Ландер, вы ошибаетесь. Я комендант Берлина. А по лезвию ножа ходит тот человек, имени которого вы, ссылаясь на мещанское представление о порядочности, не хотите назвать. Прелестная порядочность! Меня собираются убить, а вы, заботясь о своей так называемой порядочности, не хотите сказать, кому это пришло в голову. Очень удобная позиция, не правда ли?

— Вы просто не уважаете меня, — горько сказала Марта, в голосе ее послышались слезы, и она сама, услышав свой дрожащий, странно чужой голос, удивилась: давно ей не приходилось переживать такое. Кемпке был прав: Берзарин вошел в Берлин, в душу каждого человека, не обошел и ее, Марту. — Вы не уважаете меня.

— Неправда, фрау Марта, — просто ответил Берзарин, —

хочу я того или не хочу, но думаю о вас часто. Но еще чаще думаю о нескольких миллионах простых, ничем не примечательных берлинцев, ответственность за жизнь которых легла на мои плечи. Вы привыкли быть в центре внимания и удивляетесь, почему я не испугался ваших слов. «Ах, знаменитая Ландер продала коменданта Берлина!» Еще одна сенсация для третьеразрядных газет.

— Вы ошибаетесь,— обиделась Марта,— об этом даже «Таймс» напечатает.

— Возможно. Но что это меняет? Разве вы хотя бы на минуту перестали думать о себе, о своей драгоценной персоне, разве подумали о немецких детях, которые стали прозрачными от голода? Не буду настаивать, вполне вероятно, что и о них вы подумали, но только ваша собственная репутация для вас превыше всего. Но если вы честный и сильный человек, то рано или поздно придете ко мне, ну, допустим, не ко мне, а к Вангелю или еще к кому-нибудь из немецких товарищей и скажете: «Я хочу работать, я хочу спасти немецких детей».

— К вам? К Вангелю? А что обо мне подумают! — воскликнула искренне испуганная актриса.

— Вот видите, снова старая бюргерская песня: «Что обо мне подумают». Кто подумает? Ваши прежние друзья, которые сбежали на Запад, или ваш народ?

— Почему вам постоянно хочется услышать определенный ответ? Жизнь сложна и не всегда подсказывает однозначное решение.

— Бывает и так, но сейчас настало время определенных, недвусмысленных решений и ответов.

— Не знаю,— расстроено проговорила актриса.— Может, вы и правы, только все равно это не для меня.

— Жаль,— ответил Берзарин, и Марта почувствовала, что ему действительно больно и что далеко не безразлична ее судьба.

Она стояла у окна и видела, как Котов вместе с Ляховым пронесли тяжелую коробку, и подумала, что именно теперь сможет отыгаться:

— Ваша система работает безотказно, но не самообольщайтесь,— это секрет полишинеля, они уже обо всем догадались.

— О ком вы говорите?

— О гостях капитана Котова, майора Дымшица и других таких же хлебосольных офицеров.

Она ждала возмущения или даже гнева Берзарина, но генерал только посмотрел на нее, и чего-чего, а раздражения или горечи в его взгляде не было. Может, наоборот, лицо его стало довольным.

— Мне совершенно это безразлично, фрау Марта. Думаю, что они сразу все поняли. Они же умные люди. Важно, чтобы

никто за кусок хлеба не смог бы насиловать их волю, использовать их голод.

— Как, скажем, использовали мой? — чувствуя нарастающее в груди раздражение, почти ярость, спросила Марта.

— Если хотите, да.

Актриса ощутила, как тупой, горячий комок подступил к горлу. Она знала — это слезы, а злоба и презрение — не к Берзарину, к себе. Ведь у коменданта есть все основания думать, что ее можно просто купить. И чувства эти вдруг взорвались, ей захотелось унижить себя, растоптать и доказать Берзарину... Боже, что доказать?..

Марта подошла к двери, ведущей на кухню, так быстро и решительно, что Берзарин поначалу не понял ее намерений, распахнула дверь, увидела Таню и с вызовом сказала:

— Таня, заверните мне, пожалуйста, несколько бутербродиков.

Она намеренно, выставляя напоказ свое унижение, сказала «бутербродиков», но Таня не заметила напряжения, которое скрывалось за обычными словами, и восприняла их совершенно естественно.

— Пожалуйста, ффрау Ландер. — Таня подала актрисе загодя приготовленный сверточек, и эта деталь оказалась для Марты каплей, переполнившей чашу ее отвращения к себе. У нее еще хватило сил повернуться к генералу и спокойно спросить:

— Вы довольны, господин Берзарин? Именно этого вы хотели? — И вдруг взорвалась, со всего маху швырнула сверток об пол. — Не пужны мне ваши подачки! Будьте вы все прокляты!

Взглянула на Берзарина, готовая услышать от него: «Марта Ландер не продается за бутерброды, но продается за морфий». Но генерал молчал, все понимая, и злоба в сердце Марты растопилась, уступая место мерзкому чувству стыда и недовольства собой.

— Простите, — сказала она, — не думайте, я не такая психопатка, как кажусь сейчас. Просто у меня сдали нервы, и я не ведаю, что говорю. Господи, как стыдно!

— Вы еще прекрасно держитесь, ффрау Ландер, — сказал Берзарин.

Вот как! Он еще хвалит ее! Терзания Марты, может, доставляют ему удовольствие. На вопрос «С кем вы?» прежде она знала точный ответ — не с Вангелем. А теперь, теперь она уверена в этом? Берзарин имеет все основания быть довольным. Но радоваться генералу еще рановато. К Вангелю Марта не пойдет, в этом можно не сомневаться. И к капитану Котову постарается приходить пореже — и раньше-то ее привлекала здесь не еда, а беседы, общество... Если она хочет остаться Мартой Ландер, такой, какой ее знал весь мир, то нужно улетать в Стокгольм как можно скорее. А может, она и в самом деле

хочет стать другой? Поздно. Почему же поздно? Поумнеть никогда не поздно. Откуда взялись у нее эти мысли? Кто их посеял в ее душе? Комендант? Нет, виной всему Берлин и то, что в нем сейчас происходит... Значит, все-таки Берзарин.

Эти мысли промелькнули в ее голове, странные, непривычные мысли. Повернувшись к генералу, она сказала:

— Прощу прощения. Мне уже пора идти. Всего наилучшего.

Подняла пакетик с бутербродами и вновь посмотрела на Берзарина, надеясь заметить усмешку, найти еще одну причину для нервного срыва, но ничего не увидела в глазах генерала, кроме усталости. Она вышла из столовой, тихо прикрыв за собой дверь. И сразу Таня появилась перед генералом, а следом за ней и Котов с Ляховым.

— Товарищ генерал, может, еще чайку выпьете? — поглядывая на пустой стакан, спросила Таня.

— Нет, спасибо, Танюша. Ну, как тебе здесь работается, трудно?

— Сложнее, нежели вы думаете, товарищ генерал, — ответила Таня, — правда, я не могу припомнить, чтобы какая-нибудь работа была легкой, но эта особенно...

— Товарищ генерал-полковник, а скоро их работа закончится? — с надеждой поглядывая на Таню, спросил Ляхов; перевод официантки из столовой армейского штаба означал для него огромную личную потерю.

Таня почувствовала эту нотку в вопросе сержанта и сразу все поставила на свое место, сказав:

— Что касается меня, товарищ генерал, то работа мне нравится, и я согласна быть здесь, сколько найдет нужным командование.

— Так и будет, Танечка, — ответил Берзарин, отметив нюансы этой короткой беседы, — поработать еще немного придется. Завтра первое учредительное собрание берлинского магистрата. Рабочие Берлина уже получают хлеб, с сегодняшнего дня все берлинцы имеют продовольственные карточки. И, честно говоря, заслуга в этом не только наша, но и «Группы активистов первого часа». Удивительно организованный народ немцы. Такую махину работы провернули, что представить трудно...

— Вы словно завидуете им, товарищ генерал, — ревниво заметила Таня.

— Завидую? — быстро взглянул на нее Берзарин. — Неточно сказано, Танюша. Просто очень хочу их понять: разгадать, как удалось Гитлеру так легко их околпачить. Поначалу кажется — проще пареной репы, а начнешь вникать и видишь, как трудно дается это понимание... Но ничего, все постигается не сразу. А вашей работой я доволен. Карточки карточками, а ваша временная столовая пусть пока остается хлебосольной. —

Подумал о Марте Ландер, буре, бушевавшей в ее душе, вспомнил ее вопль-страдание «Будьте вы прокляты» и добавил: — Сейчас уже речь идет не о том, чтобы люди не умерли с голоду, не о хлебе насущном, а о вещах куда более важных. Значит, до особого распоряжения все остается по-прежнему...

14

Берзарин сел в седло мотоцикла, Ляхов — в коляску. Из головы генерала не шла Марта Ландер, их недавний разговор разматывался перед ним, как лента дороги в рытвинах и завалах, освещенная мощной фарой мотоцикла.

Почему взволновал его этот разговор и чего хочет он, комендант Берзарин, от актрисы? Он действительно хочет, чтобы она осталась в Берлине, стала членом «Культурбунда», играла бы в фильмах, которые со временем будут сниматься на кинофабрике УФА около Потсдама! Да, это было бы славно. Впрочем, не останется здесь Марта Ландер, хотя чудеса и случаются. Она, конечно, уедет в Стокгольм. Уедет, унося в душе смутение, и многое порасскажет своим друзьям и о Берлине и о капитане Котове. Ее будут расспрашивать с пристрастием, жадно слушать. Что поведает им Марта? То, что рассказала бы, уехав в Стокгольм в первый день их встречи, или что-то другое? Вот в чем суть. Изменилось ли что-нибудь в ее сердце за эти короткие, наполненные событиями три недели, которые стоят куда больше долгих лет жизни, замершей, как вода в стоячем болоте?

А мотоцикл ехал и ехал, и вот уже засияли впереди освещенные окна Карлсхорста. Коменданту захотелось поскорее оказаться дома, подумать спокойно, сосредоточиться, ведь завтра первое учредительное собрание магистрата. Он немного повернул руль, прибавил газа, машина рванулась вперед, на перекресток, и вдруг из темноты переулка надвинулась высокая тень, резанули два луча света, послышался рокот мотора. Берзарин автоматически нажал на тормоза. Мотоцикл остановился как вкопанный. Тяжелый «студебеккер», груженный железными бочками из-под бензина, промчался рядом, так что генерал — протяни руку — мог бы коснуться его железного кузова. Дохнуло теплым ветром от мощного мотора, едким бензиновым дымом, и сразу все стихло. Машина исчезла, только мелкая пыль, свиваясь спиралью, устремилась вслед за нею, моргнув задний красный фонарик и растворился в темноте.

Ляхов тяжело вздохнул, расслабил упершиеся в лобовой борт коляски руки: смерть прогреготала рядом. Холодный клейкий пот проступил на лбу, и сержант вытер его ладонью, но сказать ничего не решился.

Генерал мгновение сидел неподвижно, потом отпустил тор-

моза, и мотоцикл медленно двинулся вперед, постепенно набирая скорость.

— Испугался, Ляхов?— спросил Берзарин.— Не беспокойся, у меня тормоза надежные, и жить не надоело.

— Я не беспокоюсь,— неуверенно ответил Ляхов.

— Так смотри веселей,— засмеялся Берзарин, и сержанту уже стыдно стало за свой страх.

Через минуту они были в Карлсхорсте. У Ляхова, когда он вылез из коляски, дрожали в коленях ноги, а Берзарин хоть бы что: словно не он только что пережил смертельную опасность.

«Ну человек,— подумал с уважением Ляхов.— Вот с кого пример надо брать». И мысль о том, что нужно будет доложить об этом случае по команде, как-то отодвинулась на второй план, а потом и вовсе забылась.

А сам Берзарин воспринял происшествие спокойно, больше того — с удовлетворением: лишний раз удостоверился в безупречной послушности машины и молниеносной быстроте своей реакции. Нет, никаких оснований для беспокойства не было.

Иные, более важные мысли занимали его в тот вечер. Берлинский магистрат уже сформирован. Список его членов Берзарин передал маршалу Жукову для утверждения. Завтра первое учредительное собрание, и комендант города будет на нем выступать. Вот об этом стоит подумать.

Советский генерал впервые после победы выступает перед немцами, не врагами, а, наоборот, союзниками в великом деле строительства Берлина. Еще совсем недавно только мысль о вероятности такого выступления вызвала бы усмешку, сейчас это нормальная работа. Быстро меняются мерки жизни и представления о ней.

И все-таки первое собрание магистрата Берлина — важное событие, ведь будут присутствовать не только члены магистрата, но и деятели различных немецких партий, которые после приказа маршала Жукова о разрешении их организации растут как грибы. Коменданту немного странно слышать, что уже организуются либерально-демократический и христианско-демократический союзы, не говоря уже об активной деятельности социал-демократов и уверенной работе коммунистов. Что ж, и к такому разнообразию нужно привыкать, если хочешь по-настоящему поднять весь народ, а не только его какую-то группу. Единственно важно, чтобы были эти партии по-настоящему демократическими, чтобы под теплым крылом либералов или христиан не притаились, спасаясь от разоблачения и суда, фашисты.

«Ничего, не боги горшки обжигают», — пословица вновь пришла на ум, повторять ее за последние недели приходилось часто. Ну что ж, попробуем написать завтрашнюю речь или хотя бы тезисы. Офицеры из политотдела набросали некоторые

положения, но он прочитал и отложил в сторону. Все верно, и цифры можно будет использовать, но в целом — не то. Прежде всего не его стиль. Нет, с немцами надо говорить иначе. А как? Он знает?

Ну что ж, если и не знает, то попытается узнать. Ведь все-таки верно, что «не боги горшки обжигают», вновь усмехнулся, взял перо и принялся писать. Завтра покажет написанное офицерам из комендатуры и политуправления — что-то добавят, что-то окажется лишним, но вместе они наверняка найдут и верный тон и точные слова.

Утром, в семь, оп, как всегда, ехал на мотоцикле по улицам Берлина. Ляхов сидел в коляске серьезный, не улыбочивый, — видно, сказался вчерашний испуг. И напрасно: опасности не было абсолютно никакой. Берзарин в этом убежден, владеет он мотоциклом в совершенстве. А Ляхову пора бы привыкнуть к этому, хотя понять его можно: кому охота нарываться на беду, когда война у тебя уже за плечами?

И все же Берзарин медленно ездить не будет, ему вон какой огромный участок города необходимо объехать, посмотреть, как продвигается работа, да и с немцами, которые разбирают развалины, поздороваться надо. Они привыкли, да и он привык.

На Ландсбергераллее, совсем неподалеку от Александерплац, — большая группа женщин. Стоят среди руин хмурые, скорбные. Смотрят вниз, в глубокую яму, которая прежде была подвалом. Там, на самом его дне, бьется в истерике молодая женщина...

Берзарин постоял молча и отошел. Каждый день находят под развалинами домов останки десятков, сотен людей. Страшный город Берлин, еще много таит он в себе трагедий и нераскрытых тайн. Чем еще удивит завтра, или послезавтра, или через час?..

А сегодня в большом зале страхового общества на Парохиальштрассе собрание берлинского магистрата. При чем тут страховое общество? Да просто дом сохранился, а в доме — зал. Другие требуют ремонта, а этот война пощадила. Зал предназначался не для собраний, а для аукционов, в нем нет сцены — всего лишь небольшое возвышение, на которое поставили длинный стол, покрытый красной бархатной скатертью. На стене огромное кумачовое полотнище, и на нем белыми буквами выведено: «Berlin wird leben» — «Берлин будет жить», слова, которые недели три назад Берзарин сказал маршалу Жукову, а ныне они стали лозунгом, украсившим все берлинские газеты, улицы, дома.

Когда Берзарин приехал на Парохиальштрассе и вошел в кабинет директора страхового общества, Артур Вернер был уже там. Он стоял в кругу своих товарищей и встретил появление коменданта внимательным взглядом. Было известно, что Берза-

рин повез маршалу Жукову на утверждение список будущих членов магистрата, но никто еще не знал о принятом решении.

Комендант в свою очередь взглянул на Артура Вернера, увидел, как волнуется старый архитектор, понял и оценил его чувства. Они вобрали в себя все: и удовлетворение от того, что именно ему доверили этот высокий пост, и боязнь ответственности, и радость сознания, какой красивой, благородной и гуманной работе он посвятит свою жизнь. Потому-то во взгляде будущего бургомистра, когда он встретил Берзарина, можно было заметить не только вопрос, но и оттенок тревоги.

— Приветствую вас, господин Вернер,— без промедления начал комендант.— Маршал Жуков утвердил рекомендованный нами список будущего магистрата. Поздравляю вас с назначением обер-бургомистром, попрошу открыть наше первое собрание и предоставить мне слово для доклада о политике советской власти в Берлине, а потом представить членов магистрата учредительному собранию.

— Спасибо,— волнуясь и оттого краснея, ответил Вернер.— Сейчас, когда все уже утверждено, мне почему-то стало немного боязно. Очень уж сложный город — наш Берлин.

— Но у него прекрасный, активный обер-бургомистр, для которого этот город родной,— улыбнулся Берзарин.— И я уверен, что с нашей помощью вы превосходно справитесь с этой работой.

— Будем надеяться,— взволнованно проговорил Вернер.

«Можно понять его чувства,— думал Берзарин, слушая, как члены будущего магистрата поздравляют своего нового бургомистра.— Кажется, что с этой минуты Артур Вернер утратил свое имя, так часто звучит сейчас в приветствиях его новое звание. Прислушайся только, с каким смаком выговаривают это слово — «обер-бургомистр». Правда, сегодня же найдутся люди — и в Берлине их будет не так уж мало,— которые добавят с оттенком презрения: «красный»,— архитектору придется бороться с этими людьми, потому что они не станут сидеть сложа руки, а сделают все, чтобы в Берлине как можно дольше царил голод, беспорядок, вспыхивали эпидемии... Но не эти люди определяют лицо города, будущее не за ними, а за архитектором Вернером».

По мере того как комната наполнялась и говор становился более слышным, Берзарин чувствовал, что волнение его нарастает. Казалось, чего волноваться, военный комендант города выступает перед людьми, которые подчиняются его власти. Но в том-то и секрет, чтобы сделать этих людей не равнодушными исполнителями приказов, а инициативными единомышленниками в деле восстановления Берлина. Не нужно удивляться своему волнению: есть все основания беспокоиться...

— Прошу, господа,— сказал Артур Вернер, потом смутился, подумав, что, пожалуй, следовало бы обратиться «товари-

щи», и, тут же решив, что поступил правильно, уже уверенно повторил: — Прошу, господа, будем начинать наше собрание.

— Обер-бургомистр приглашает, обер-бургомистр приглашает, — пронесся шепот по комнате, и Берзарин еще раз отметил удовольствие, с которым немцы произносят новое звание Артура Вернера.

Когда комендант вслед за архитектором подошел к столу президиума, у него в глазах зарябило от множества лиц, аккуратных причесок на косой и прямой проборы и просто остриженных в концлагерях голов.

Артур Вернер, серьезный, торжественный, поднялся с кресла, открыл собрание, сообщил о своем назначении обер-бургомистром. За долгое, очень долгое время впервые в этом просторном зале страхового общества прозвучали такие дружные аплодисменты. «Возможно, больше других стараются бывшие нацисты, — подумал Берзарин, — но будем надеяться, что их здесь немного».

Новый обер-бургомистр предоставил слово Берзарину, генерал встал, оперся обеими руками о стол, сделанный из тяжелого дуба, с резными гроздьями винограда и раскрытыми пастями львов. Положил перед собой листки доклада, окинул взглядом зал. Такое в истории человечества случается впервые: победители помогают побежденным восстанавливать разрушенные города, спасают от голода, болезней. Разве этот магистрат не является прообразом новой, демократической Германии, которую еще нужно будет создавать? Демократическая, миролюбивая Германия. Никогда до сих пор не приходилось слышать таких словосочетаний. Всегда символами Германии были армия, агрессия, война. Нелегкие задачи ставит перед собой история...

Он начал читать доклад и на мгновение задумался: а надо ли читать, не лучше ли просто говорить? Нет, не лучше. Немцы привыкли к этому, даже на именинах, за семейным столом, читают написанные тосты. Закljučая доклад, Берзарин скажет им несколько слов от себя, он долго раздумывал над этими словами, и, чтобы сказать их, ему не понадобятся записи. Сначала расскажет о политике советской власти — она исчерпывающе ясна и понятна. Честное отношение к работе. Все силы отдать делу налаживания нормальной жизни. Абсолютное восстановление демократических прав каждого человека, устранение всех, кто мешает этому процессу, кто, произнося громкие слова в защиту новой Германии, на деле остается приверженцем фашизма. Денацификация — разоблачение виновных в преступлениях против человечности и предание их суду. Рассказ о помощи Советского правительства, конкретные цифры о продовольствии, выделенном Берлину. Берзарин чувствовал, как люди, сидевшие и раньше молча в зале, сейчас, слушая цифры, словно окаменели, затаили дыхание. Магистрату придется провести огромную работу. Не исключена опасность вспышки эпи-

дегий. Коммунальное хозяйство, которое пока восстанавливается на живую нитку, должно работать безотказно. Думать нужно не только о работе, но и об отдыхе: кино, театры, клубы — все это тоже забота магистрата. Берлину трудно, он сейчас напоминает человека, медленно выздоравливающего, и, хотя болезнь была очень тяжелой, он преодолел свой недуг, Берлин будет жить.

Берзарин отложил листки доклада и увидел отчетливо то главное, свое, личное, о чем думал ночами. На мгновение мелькнула мысль: а нужно ли об этом говорить? Да, нужно. И он сказал:

— Уважаемые члены магистрата, мне выпала высокая честь выступить на вашем первом учредительном собрании. За долгие сорок семь месяцев войны в сознании нашего народа, в сознании наших солдат понятия «немец» и «гитлеровец» переплелись, и сейчас на наши с вами плечи легла, без преувеличения сказать, историческая миссия доказать, что это разные вещи. Мы все знаем слова, которые ясно и определенно выражают нашу политику: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство немецкое остается». И вот сейчас весь мир хочет знать, каким будет послевоенный немецкий народ, каким будет его государство. Я хочу верить в то, что все люди, собравшиеся здесь, — убежденные антифашисты. И мы с вами, опираясь на свои глубокие убеждения, должны помочь немецкому народу освободиться от остатков гитлеризма. Взгляните на Берлин...

Здесь Берзарин, волнуясь, перешел на немецкий язык. Вчера они со Староверовым битый час сидели, шлифуя произношение Берзарина. Но сейчас не все слова звучали точно, произношение его явно хромало, но без перевода концовка доклада прозвучала эмоциональнее.

— ...Взгляните на Берлин, — говорил Берзарин, — вот лежит он перед вами в руинах, и ветер его дышит трупным смрадом, пороховым дымом и пеплом пожарищ. Сейчас он страшен и изуродован, и нам с вами выпала доля вдохнуть в него душу, отстроить, оживить детским смехом, украсить песнями молодежи и мудрыми улыбками пожилых людей.

Берзарин на мгновение умолк. Не смешно ли звучит его произношение, не искажает ли он слова? Нет, вроде бы все хорошо. Люди в зале застыли, скованные напряженным вниманием. Он поступил правильно. Речь с переводчиком утрачивает непосредственность общения. Комендант Берлина должен говорить с берлинцами по-немецки.

— За этот смех детей, за песни молодежи заплатили своей жизнью и кровью миллионы советских солдат, и мы не имеем права об этом забывать. Ваш великий поэт Гёте когда-то сказал: «Спешите творить добро». У нас с вами открылось широкое поле для такой деятельности, наступило самое подходящее для этого

время. Берлин уже не голодает. На улицах кое-где можно услышать детский смех, но это лишь начало. Дома восстановить или вновь построить, в конце концов, нетрудно — воссоздать человеческие души стократ тяжелее. Признаюсь вам, поначалу я настороженно относился к Берлину, но прошло совсем немного времени, я лучше узнал берлинцев и полюбил этот город и его жителей, его суровость и его улыбку, его сумерки и рассветы. Мы с вами стоим на самом острие истории, и я призываю вас работать так, чтобы будущие поколения сказали о нашей работе: они сделали все для того, чтобы Берлин жил.

Он умолк, еще раз окинул взглядом сидящих в этом зале и сел. Сердце в его груди билось, будто он одним духом одолел высоченную гору. Странно, почему же молчит зал? Может, волнение помешало справиться с немецким произношением и его просто не поняли?

А зал и вправду молчал, и молчание это напоминало секунду тишины, когда огонек бежит по бикфордову шнуру и никто не знает, взорвется заряд или нет.

И он взорвался. Никогда за все свое существование зал страхового общества на Парохиальштрассе не слышал таких аплодисментов. И дело здесь было не в немецком языке Берзарина, а в его простых, совершенно неожиданных словах: «Я полюбил этот город...» Казалось, военный комендант Берлина вообще не имел права так говорить, эти слова просто не вязались с понятием подчеркнуто суровым, может, даже жестким: «военная комендатура». Но Берзарин, решившись так сказать, стал рядом с берлинцами в одном строю строителей города и сделал это столь убежденно, что Артур Вернер посмотрел на него с удивлением, словно не веря только что услышанному и спрашивая себя, а были ли действительно сказаны эти слова? Были сказаны.

15

Речь Берзарина далеко не у всех вызвала радость, однако Альберт Кемпке, сидевший в последнем ряду кресел, яростно аплодировал. Он пришел сюда вместе с Зоненбахом, но профессора пригласили в президиум, а доктор остался в зале. И хотя в этом не было ничего унижительного, настроение его испортилось.

Аплодируя, Кемпке стискивал зубы от злобы. Посмотрите только на этих деятелей, фюреру небось так не аплодировали. Выродки чертовы! И вдруг поймал себя на том, что он тоже хлопает в ладоши, и, может, громче других. Вполне возможно, что и другие присутствующие в зале аплодируют Берзарину, с болью в сердце вспоминая время, когда на трибуне стоял фюрер с иссиня-бледным, нездоровым лицом и иступленно кричал о величии Германии. Кемпке внимательно присмотрелся к

своим соседям, медленно переводя взгляд с одного профиля на другой. Из десяти девять наверняка аплодировали искренне. Везде пришлось побывать этим людям — и в концлагерях, и в гестаповских застенках. Гитлер будто бы нарочно выковывал ненависть к себе. Ну что ж, это прежде казалось, что фюрер безгрешен, а на поверку выходит, ошибок он понаделал много. Потом Кемпке всмотрелся в человека, сидящего неподалеку, и вздохнул облегченно. Лицо было знакомым, доктор помнил его отлично, это Норберт Ляйнер, внештатный консультант гестапо по вопросам чистоты арийской расы, а в обычной жизни — доктор-микробиолог. Про тайную деятельность Кемпке, надо полагать, не знает и наверняка не узнает: ведь центральный архив гестапо уничтожен, вне всякого сомнения.

Оглядел еще ряды — редко, но все-таки встречаются знакомые лица. Их прошлое не столь выразительно, как у Норберта Ляйнера, но поклонниками Берзарина их, конечно, не назовешь, хотя хлопают они так же старательно, как и сам Кемпке.

Значит, еще не все потеряно.

Надежда возникла в сердце и тут же исчезла. Неправда, все потеряно, и нечего тешить себя иллюзиями. Артур Вернер представляет собранию членов будущего магистрата. Смотри как гордо выходят они к трибуне! У Зоненбаха такая рожа, будто его министром назначили. Того гляди, лопнет от важности... Это все сделал Берзарин, даже странно, что генерал, военный человек, привыкший отдавать и выполнять приказы, сумел так мягко подойти к этим немцам. А ведь это не юнцы какие-нибудь, у каждого из них жизнь, да и какая жизнь, за плечами...

Значит, Берзарина, именно Берзарина, нужно убирать. Что это даст? На его место сядет другой и поведет такую же политику. Может, тот, другой, будет не столь ловок и умен?

«Все зависит от того, сколько Берзариных есть у советской власти». Кто это сказал? Зоненбах или Марта Ландер? Кажется, Марта. Ну, чертова баба, подожди, я еще заставлю тебя всадить пулю в Берзарина. Потерпим немного, пока ты начнешь сходить с ума без морфия. Однако этот путь не очень надежный. От Марты можно ожидать всего, не знаешь, что она выкинет в следующую минуту. Значит, нужно искать другие пути. Берзарин носится со своим ординарцем по Берлину, часто проезжает одним и тем же маршрутом. На него может случайно обрушиться стена или встретит пуля из глубины развалин... И вдруг у Кемпке появилось ощущение близкой опасности. Оно было таким острым, что захотелось сделаться маленьким, исчезнуть в щель между стульями. В этом зале, где все внимание было приковано к президиуму, его кто-то разглядывал, может, даже следил за ним. Или это всего-навсего нервы?

Кемпке умышленно сел в кресло возле прохода и большого шума, выходя, не поднимет. Но все равно человек, который

вдруг, ни с того ни с сего в самый разгар собрания выходит, непременно обратит на себя внимание. Следовательно, до окончания собрания придется потерпеть, но нужно постараться сделаться неприметным.

Доктор так и сделал, втянув голову в плечи, наклонился вперед, теперь его и сам сатана не разглядит. Но долго сидеть в такой позе тоже неудобно, вроде бы похож на больного, еще что-нибудь пособолезнует, проявит товарищескую чуткость. А это-то и может быть началом конца. Чтобы бороться с опасностью, прежде всего нужно знать, откуда она надвигается, с какой стороны ее следует ждать. «Без разведки ни шагу» — важнейшее правило всех армий, назубок заученное во всех военных школах, прозвучало в его ушах как знакомый приказ.

Он медленно выпрямился, свободно откинулся в кресле, расслабился — сидит себе человек и слушает с удовольствием оратора и от нечего делать разглядывает присутствующих. Он видел профили людей, которые сидели неподалеку от него, передние ряды показывали ему только затылки, но и этого было достаточно: он теперь знал, откуда угрожает опасность. С левой стороны, словно бритвой, резанул чей-то взгляд: внимательно, цепко полоснул и отпустил. Кто он? Взглянуть — выдать себя. Но ко всему, даже к такой очевидной угрозе, со временем привыкаешь, сердце успокаивается, мысль работает четче, движения приобретают естественную непринужденность. Кемпке, словно поправляя тугой воротник, на какое-то мгновение повернул голову, взглянул и тут же опустил глаза. Норберт Ляйнер, именно он, интересовался особой оберштурмбаннфюрера. Пойди пойми: опасность это или, наоборот, подмога? Ляйнер в таком же положении, как и сам Кемпке, и бояться его нечего. И возможно, Норберт тоже раздумывает, что неплохо бы заставить Кемпке сотрудничать с ним или по крайней мере содрать крупенькую сумму, угрожая разоблачением. Ничего не поделаешь — пришла пора волчьих законов: кто первый нанесет удар, тот и победит. Кемпке сидел возле выхода, Ляйнер значительно ближе к сцене. Когда начнут выходить, у Кемпке больше преимуществ, он выйдет первым и исчезнет — значит, бояться нечего.

Слова ораторов доходили до его сознания с запозданием. Никто ничего не знает — вот в чем беда, все сдвинулось с места в Германии. Нет больше на свете надежных людей. Если в словах новоиспеченных членов магистрата хотя бы половина или того меньше — хотя бы четверть правда, то жизнь в Берлине они наладят. Вне всякого сомнения. Может, не так быстро, как им хотелось бы, но наладят. Михели чертовы, Гретхены проклятые, им что ни прикажи — все выполнят!

Кемпке не без удовольствия ощутил, как его грудь наполняется холодной ненавистью, жгучей злобой. Полюбуйтесь, работу между собой распределяют! Зоненбах на трибуну вылез, распро-

страняется про борьбу против возможных эпидемий. Бывшие военнопленные врачи работают полным ходом. Не будет эпидемий в Берлине, можно не сомневаться. А за всем этим стоит Берзарин, он, и только он, источник горя и отчаяния таких, как Кемпке.

Следовательно, отсюда, из Берлина, нужно не мешкая бежать на Запад, но на прощание он, Альберт Кемпке, хорошенько хлопнет дверью. Знай наших! Не может быть, чтобы в огромном Берлине, вчерашнем нацистском Берлине, не нашлись его единомышленники!

Вот и заключительное слово Артура Вернера: желает всем удачной работы, благодарит за помощь советское командование. Нет больше честных немцев на свете! А может, и обер-бургомистр говорит одно, а думает другое? Нет, Вернер «хайль, Гитлер» не кричал. И если в мыслях его есть какие-то сомнения или колебания, работать с Берзариным он будет.

Когда в очередной раз прозвучали аплодисменты, Кемпке понял, что выдержать больше не сможет. Еще несколько минут — и ненависть выплеснется. Значит, пока не поздно, пока не сдали нервы, надо уходить осторожно, не привлекая внимания.

Так он и сделал. Под гром аплодисментов встал, сделал три шага и остановился в дверях. Никто на него даже и взгляда не бросил. Вышел из страхового общества, на улице еще светло, майские дни длинные. Завтра он пойдет в больницу, куда направил его Зоненбах. Более тихого местечка не придумаешь, чтобы отсидеться, выждать, оглядеться: больница последнее место, где будут искать бывших гитлеровцев. Потом он улучит удобный момент и хлопнет дверью.

— Здравствуйте, Кемпке, — раздался рядом знакомый голос Ляйнера.

Кемпке оглянулся, рука автоматически опустилась в карман пиджака, хотя оружия там не было; далеко не безопасно носить с собой револьвер: случайная проверка документов, обыск — и все. Но Кемпке знает, как управиться с этим худосочным, остроносым, смахивающим чем-то на лисицу Ляйнером и без оружия.

— Простите, я вас не знаю, — сказал Кемпке.

— Бросьте, Кемпке, — усмехнулся микробиолог. — Чтобы выдать вас, мне достаточно было сказать одно слово. Я друг, можете мне верить.

— Сейчас никому нельзя верить.

— Вам, например, верить можно.

— Почему? — насторожился Кемпке.

— Ваша лаборатория — лучшая рекомендация.

Выходит, шла в мешке не утайшь. Тайное когда-то да становится явным. Сначала Марта, потом этот... Марта Лапдер просто дуреха. Она могла бы сорвать с Кемпке морфия хоть за-

лейся, стоило только припугнуть, и он у нее в руках. А вышло наоборот: сама будет платить как миленькая. Никуда от Кемпке не денется, потому что дура. Одно слово — интеллигенция, она способна мучиться, переживать за судьбу великой Германии, но действовать не способна, палец о палец не ударит.

— Мне можно верить, — продолжал Ляйнер. — Я же не выдал вас там, в зале, хотя имел на редкость удобный случай отличиться перед новой властью. Представляете, какой был бы театральный эффект — разоблачение штурмбаннфюрера войск СС прямо на заседании магистрата? Нарочно не придумаешь.

— Тише, — Кемпке схватил его за руку. — Представляю...

— Итак, мы можем довериться друг другу. Хотя не скрою, я все-таки в лучшем положении, у меня нет на счету распиленных черепов.

— Если поискать, кое-что найдется, — презрительно бросил Кемпке.

— Нет, не найдется, — ядовито улыбнувшись, ответил Ляйнер. — Консультант — человек рядовой, ответственность ложится на тех, кто принимает решения, а принимали эти решения другие. Я же всего-навсего консультировал, совет — это еще не преступление. Но я как был, так и остаюсь вашим единомышленником. Вы где живете?

— Одну ночь ночевал у профессора Зоненбаха. Потом ночевал в больнице, куда меня направил Зоненбах. Документы об освобождении из лагеря военнопленных у меня настоящие.

— Хорошо. Приглашаю вас в гости, правда, не к себе, а к одному моему, не скажу другу, скорее приятелю. Его зовут Август Бидермайер. Это имя вам ничего не говорит? Один из функционеров нашей партии, не очень заметный, но весьма дальновидный. Он был блокляйтером где-то в Шпандау...

«Блокляйтерами» прежде называли нацистов, ответственных за порядок и за лояльность населения Берлина. Каждый квартал города имел своего блокляйтера. Никого не беспокоило, что в концлагерях начальников барачков тоже звали блокляйтерами. Ассоциация была скорее приятной. И там и тут достаточно было одного слова блокляйтера, и неуютный человек исчезал. Навсегда. Особенно возросла сила блокляйтеров после Сталинграда и Курской дуги, когда рухнул пресловутый немецкий порядок и в стране начался кавардак. Где уж там было разбираться, правду говорит или нагло врет надзиратель. Его слово последнее, оно и суд. Как правило, блокляйтеры проживали в этом же квартале и хорошо знали своих подопечных.

— В чем же проявилась его дальновидность? — спросил Кемпке. — Он загодя предал фюрера?

— О нет, — мягко улыбнулся Ляйнер. — Фюреру он не изменял и не изменит никогда. Он поступил разумнее. Почти год назад из Шпандау он перебрался в Кепеник, где его никто не знает. Конечно, квартира в Шпандау у него осталась и обязан-

ности блокляйтера он продолжал выполнять, но с приближением советских войск перешел жить в Кепеник, а сейчас даже и карточки там получил, поступил работать в пекарню.

— Опасно. Все равно это Берлин.

— Нет, не опасно. Вы представляете, где Шпандау и где Кепеник — запад и восток. Километров тридцать, а то и сорок. Кто там кого узнает. Да и люди меняются: худеют, стареют, а он к тому же и бороду отпустил. Так вот, у него бывают некоторые верные люди...

— Ну что ж, — вспомнив, что «один в поле не воин», ответил Кемпке. — Давайте глянem на вашего блокляйтера. Надеюсь, вы не станете сообщать ему мое имя?

— Конечно. Как вы хотите, чтобы я вас называл?

— Ну, положим, Вольф.

— Не «вервольф»? — чуть насмешливо спросил Ляйнер.

«Вервольф» — «оборотень», это слово пустил в газетный обиход Геббельс, призывая группы «вервольф» совершать диверсии в тылах советских армий. Ничего из этого не вышло...

Кемпке неприязненно взглянул на собеседника.

— Скверно шутите, Ляйнер, — сухо заметил он, останавливаясь.

— Вы уже не решаетесь идти со мной? — снова мягко улыбнулся Ляйнер. — Не беспокойтесь, это надежное местечко. А юмор нельзя терять даже в самых дрянных обстоятельствах.

Какое-то время они сосредоточенно шагали молча. Здесь улицы были почти целыми. Двухэтажные дома стояли в окружении тщательно обработанных садилов. Совсем иной мир, если сравнить с центром Берлина.

— Пришли, — сказал Ляйнер, сворачивая в глухой переулок. За буйной зеленью была видна черепичная крыша дома.

Он нажал кнопку, тихо заверещал электрический звонок. «Электричество дают не только на предприятия, но и в жилые кварталы», — с раздражением подумал Кемпке.

Они вошли в двухэтажный, скромный, по-немецки чистенький дом и сразу увидели покрасневшие от слез глаза пожилой женщины, которая сидела на стуле и, взволнованно жестикулируя и горько причитая, что-то рассказывала четверем сидящим за столом мужчинам.

— Добрый день, — входя, сказал Ляйнер.

— Добрый? — всхлипнула женщина, заламывая руки. — У меня в жизни не было дня страшнее этого! Как я теперь буду жить? Ведь его повесят, повесят, повесят! Нет справедливости на свете! Нет! Нет!

— Что случилось, фрау Бидермайер? — побледнел Ляйнер.

— Августа арестовали! Понимаете, Августа арестовали! Опознала его девчонка, которая когда-то жила в Шпандау и приехала к тетке в Кепеник. Если уж немцы стали выдавать немцев, то до конца света осталось всего два часа. Девчонка го-

ворит, будто мой Август посадил в концлагерь всю ее семью, а она была на работах в Гамбурге, тем и спаслась. Если уж немцы до того дошли... Я стояла в очереди за хлебом, когда его вывели из пекарни...

И Кемпке и Ляйнер вдруг почувствовали себя неудобно в этой тихой комнате. Почему-то захотелось очутиться подальше от несчастья, оно казалось прилипчивым, как заразная болезнь.

— Кто это? — спросил человек с едва заметным шрамом на щеке, который сидел крайним у стола, глазами указав на Кемпке.

— Вольф, Отто Вольф, — ответил Ляйнер, — мой коллега, врач.

— Я вас знаю, — медленно, будто отдыхая после каждого слова, сказал другой, грузный, седой. — Вы когда-то, лет десять назад, делали операцию моему отцу. Вырезали опухоль мозга. После этого отец жил восемь лет.

— Это еще в Шарите? В клинике?

— В Шарите, — ответил толстяк. — Я припоминаю ваше имя, все правильно — Вольф.

Серьезно или с издевкой были сказаны эти слова?

— Не припомните поточнее, где была опухоль?

— Конечно, — живо, с удовольствием цепляясь за возможность поговорить о той, прошлой, милой его сердцу жизни, сказал толстяк. — Опухоль в левой лобной пазухе. У отца на лбу остался шрам в виде креста. Он потом начесывал на лоб волосы...

Кемпке все вспомнил. Его никогда не интересовали имена пациентов ни в клинике, ни тем более в лаборатории — там были вообще не люди, а подопытный материал, обозначенный номерами, однако он хорошо помнил свои операции, как помнит опытный шахматист сыгранные им партии. И теперь в памяти всплыла вся операция, и не только операция, но и еще кое-что. Сын того больного выпрашивал у него кокаин... Вот он каким стал... Оплыл, рожа как у бульдога, глаза — оловянные плоски. Такому убить — раз плюнуть...

— Где вы сейчас работаете? — спросил толстяк.

— В больнице... А в какой — не имеет значения. Чем меньше мы будем знать друг о друге, тем лучше. Меньше шансов провала, меньше риска; мы с вами встретимся в воскресенье в Лихтенберге, на мосту через железную дорогу, в десять утра.

— Запрещаю всякие встречи! — резко бросил первый. — Нам нужно рассредоточиться, затаиться. У меня есть все основания надеяться, что Берлин будет поделен между союзниками, и тогда жизнь начнется снова. Держитесь поближе к западным районам, там будет легче затеряться. Встречу вашу я запрещаю.

— Цу бэфель. — Проявляя полную дисциплинированность, толстяк чуть было не вскочил со стула, но Кемпке видел, каким лихорадочным, голодным блеском вдруг загорелись его глаза, и

был уверен, что в воскресенье утром увидит его на мосту ровно в десять.

— Вы правы, чем реже мы будем видеться, тем лучше. На-
стали дни страшного суда: немцы стали выдавать немцев,—
вздыхнул Ляйнер.

— Подождите, мы еще и не такое увидим,— пообещал пер-
вый.— Ко всему нужно быть готовыми, потому что поражение,
как всякое несчастье, ведет за собой горе, а горе тянет беду.
Спасение одно: набраться терпения. Ждать. Я больше никого
не задерживаю.— Он мгновение подумал, потом вскинул пра-
вую руку вперед и вверх и не выкрикнул, а прошептал: —
Хайль Гитлер!

И сразу все присутствующие, как автоматы, в том числе и
хозяйка, тоже подняли руки.

— Кто они, эти люди? — спросил Кемпке, когда они с Ляй-
нером очутились на улице.

— Вы же сами сказали, чем меньше мы будем знать друг о
друге, тем лучше. Впрочем, толстяка вы встречали в Шарите?

— Да. Смешно, полиция арестовала его прямо в клинике, он
оказался воришкой-карманником, но проведать отца все-таки
пришел. Надеюсь, после отсидки он изменил профессию?

— Наверное. Капитуляция застала его в звании штурмфю-
рера.

Они какое-то время молча шли рядом, дорога неблизкая,
Кепеник — дальняя окраина Берлина. Военный патруль появил-
ся из-за угла. Сержант, у которого на груди весело сверкали
ордена, и рядовой, совсем молоденький паренек, наверняка даже
не побывавший в сражениях.

Удостоверения, справки были доподлинные, исправные. Вол-
новаться нечего.

— А я все же испугался,— признался Ляйнер, когда шаги
патруля стихли.— Берзарин поставил комендантскую службу с
полным знанием дела.

— Берзарин, Берзарин,— задумчиво повторил Кемпке.—
Очень жаль, что нам не удалось организовать эту службу в
Москве.

— Да, жаль. Очень! — так же тихо согласился Ляйнер и
вдруг вспыхнул: — Что проку в бесплодных мечтаниях, они уни-
жают человека!

— Точно так же, как шепот приветствия «хайль Гитлер», —
сказал Кемпке.— Однако сегодня я увидел тень надежды. Когда
тот высокий...

— Он штандартенфюрер.

— Я так и подумал. Так вот, когда он сказал о разделе Бер-
лина между союзниками. Может, не придется бежать из род-
ного города?

— Никто ничего не знает,— философически заметил микро-
биолог.— Вы так любите Берлин?

— Люблю. Очень. Он мой родной город. Смотрите...

Послышалось ровное гудение мощного мотора, из переулка вырвался мотоцикл, даже качнулся от резкого поворота, но сразу же, укрощенный сильными руками, выровнялся и помчался по прямой к Лихтенбергу. Генерал Берзарин сидел в седле, положив руки на крутые ручки руля, сержант Ляхов — с автоматом в коляске.

Кемпке и Ляйнер остановились и проводили мотоцикл взглядами. Красный огонек сверкнул в темноте и исчез за поворотом.

— Сегодня он сказал, что любит Берлин, — неожиданно вымолвил Ляйнер.

— Это может быть правдой, и в этом самая серьезная опасность для нас с вами, — в тон ему ответил Кемпке, — но должен признаться, для коменданта города он ездит весьма неосторожно... Мне сюда.

— Желая вам счастья и удачи, пусть будут благословенны все ваши начинания, — мягко улыбаясь, проговорил Ляйнер.

16

Берзарин в тот вечер приехал в комендатуру в отличном настроении, и причиной тому были не аплодисменты в конце его речи, а ощущение важности сделанного шага. Берлин, бывшая гитлеровская столица, получил магистрат, состоящий из антифашистов. Еще совсем недавно даже мысль об этом казалась невероятной. Вспомнил заключительные слова своего доклада, сказанные по-немецки, улыбнулся, — пожалуй, ударения он поставил всюду правильно. Ну что ж, настроение настроением, а работа работой. Посмотрим, что там у нас осталось?

Дел, которые требовали немедленного решения, оказался целый ворох, и домой он вернулся поздно вечером. Какой странно непривычной стала твоя жизнь, Берзарин: можно прийти домой, именно домой, а не в расположение штаба армии, сесть за стол, поговорить с женой о дочери, которая в соседней комнате тихо трогает клавиши, — звучит любимый им Шопен, дочь знает эту слабость отца и словно хочет задобрить его, попросить у него помощи. И Берзарин знает, в чем нужна ей помощь. Дочка влюбилась, а событие это извечно вызывает у родителей тревогу. Им всегда кажется, будто жених, готовый вырвать и унести, как коршун, неопытного птенца из родительского гнезда, недостойн их дочери и не сумеет сделать ее счастливой. Больше сомнений всегда у матерей, поэтому Шопен, который звучит в соседней комнате, красноречивая просьба: «Помоги мне, полюбий на маму».

Генерала не надо убеждать, он хорошо знает своего будущего зятя. Подполковник, военный врач, и, с точки зрения Берзарина, у него всего лишь один недостаток — писанный красавец. К тому же бесспорный талант врача, врожденный такт и настоя-

шая интеллигентность. Дочери не нужно так долго играть Шопена, отец ей поможет, и мать не будет сопротивляться, сама видит, что подполковник тоже без ума от их дочери и молодые будут счастливы.

Странно, о чем он думает. О любви, о счастье? Значит, война окончилась совсем, навсегда?

Понимание этого, пожалуй, по-настоящему к нему пришло только сейчас, под эти шопеновские полонезы и вальсы, которые доносились из соседней комнаты. Он любил Шопена, музыка пробуждала в его душе скрытые, может, и ему самому неизвестные струны, но, как ни странно, не успокаивала, а, наоборот, вызывала желание активной деятельности, тревожила, напоминала, сколько еще не сделано дел на этой грешной земле, сколько песен не услышано, сколько ласковых слов не сказано... И когда в соседней комнате умолк рояль, он, будто отгоняя от себя сладостный сон, потянулся к бумагам, лежавшим на столе, и снова перед ним словно бы раскрылась рана Берлина с его страданиями, болью, но и радостями. Да, радостями, как ни странно звучит это слово. В Берлине случаются радости, настоящие, неожиданные, хотя, точнее сказать, ожидаемые.

Вчера Староверов, принеся на подпись бумаги, остановился на мгновение, сам еще не зная, как отнестись к новости, сказал:

— Товарищ генерал, еще одно маленькое сообщение. Вчера утром приходила Герда Баум, та самая немка... Одним словом, к ней вернулся муж. Эрнст Баум. Был у нас в плену. Его отпустили домой, потому что физически он ограниченно годный. Что-то у него там с рукой или ногой, точно не знаю.

Берзарин встал из-за стола, прошелся по комнате, не сводя взгляда с лица Староверова.

— Ограниченно годный к военной службе... А для того, чтобы проявить героизм, чтобы сохранить маску Лепина, пригоден полностью. Интересно! Вот что, Староверов, разыщите Герду Баум, и пусть послезавтра в одиннадцать ее муж зайдет ко мне.

Когда в назначенный час Эрнст Баум появился в кабинете, Берзарин встретил его волнуясь. Эта встреча для него была важной. Все, что в гитлеровские времена делал старый коммунист Отто Вангель, было естественным и понятным. Настоящий коммунист так и должен поступать. Но Эрнст Баум не был коммунистом, большая часть его сознательной жизни прошла во времена победоносного воя гитлеровских фанфар, и на тебе, не повлияло. Почему? Баум молодой, лет тридцати, не больше, — значит, в руки его поколения скоро перейдет судьба Германии. Через двадцать лет такие, как Баум, будут руководить новым немецким государством.

Какие же опи?

Это был главный вопрос, ответ на который Берзарин искал повсюду и постоянно. В Берлине, как в фокусе, собрались оттепки всех политических красок, которые в те годы цвели в

Германии, а Берзарин хотел знать, во имя чего он жил, воевал, посылал в наступление полки, дивизии и побеждал. Ему было мало освобождения своей Отчизны от врага, он хотел исключить из жизни своих внуков (а в том, что они скоро появятся, теперь можно было не сомневаться) возможность новой войны. Он должен знать, какой будет послевоенная Германия, и потому с таким неподдельным интересом встретил Эрнста Баума.

В кабинет вошел еще совсем молодой человек. Короткий нос в веснушках придавал его круглому лицу задорное и чуть лукавое выражение. Густая шапка льняных волос делала его и без того высокую фигуру еще выше. Взгляд ярко-синих, словно фаянсовых глаз под светлыми бровями был внимательным и уверенным. Правую кисть он старался, сам того не замечая, держать глубже в рукаве, — так всегда делают люди, у которых на руке не хватает пальцев. Костюм на нем был поношенный, но тщательно вычищенный и отглаженный, и Берзарин невольно подумал, что Герде Баум пришлось немало потрудиться.

Гость осторожно сел, но не в кресло, на которое жестом указал ему генерал, а на краешек стула, к столу, и комендант только тогда понял, как он волнуется: еле заметные росинки пота заблестели на его лбу.

Берзарин вышел из-за стола и сел на стул, стоявший напротив Баума, будто этим хотел подчеркнуть значение их разговора. Гость напряженно следил за каждым движением коменданта.

— Как поживает мой крестник? — спросил Берзарин.

— Вы имеете в виду Карла? Отлично. Он, пожалуй, единственный по-настоящему счастливый человек в Берлине...

— Ну, возможно, не единственный, — мягко возразил комендант. — В Берлине сейчас немало счастливых людей.

— Пожалуй, вы правы, в Берлине значительно больше счастливых, чем я думал. Герда прямо в восторге от своей работы.

— Да, — с удовольствием подтвердил Берзарин. — И работа она превосходно.

— Видите, господин комендант, в наше время понятие счастья и работы, которая тебе по душе, соединилось, одно неотъемлемо от другого.

— Какую вы хотели бы найти себе работу?

— Вы спрашиваете, потому что вас это интересует?

— Да, если хотите. Не скрою, ваша деятельность и в прошлом и в будущем так же, как и ваша судьба, меня интересует. Очень.

— И причина этому, конечно, маска Лепина?

— В первую очередь, но не только она. А вообще говоря, мне интересно и важно понять человека, который в трудное гитлеровское время не просто отсиживался и отмалчивался — позиция, к сожалению, распространенная и выгодная, а действовал. Мне бы хотелось познакомиться со всеми людьми, которые прятали и сохранили маску.

— Боюсь, что я немногим смогу вам помочь,— ответил Баум.— Товарищ Вангель говорит, будто маска сменила семь адресов. И скорей всего, так оно и было. Но я оказался в конце этой цепочки и знал только Альфреда Шлоссенбауэра, который передал мне маску, а как она у него оказалась, не знаю, мне, по крайней мере, неизвестно. Сами понимаете, гестапо было организацией профессионалов, и противостоять ей могла не хуже организованная конспирация.

— Да, конечно. И все-таки мне бы хотелось познакомиться со всеми людьми, кто прятал маску. Вы думаете, это возможно?

— Трудно сказать. Шлоссенбауэр жив, о других не знаю. Во всяком случае, потянув за ниточку, можно размотать весь клубок.

— Вы правы. И давайте начнем, не откладывая в долгий ящик. Мне это представляется делом государственной важности. Надо, чтобы народ знал героев, которые осмелились противопоставить себя Гитлеру. Вы коммунист, товарищ Баум?

— Нет, я никогда не принадлежал ни к какой партии.

— Сочувствовали коммунистам?

— Нет, даже и этого не могу о себе сказать. Когда началась моя сознательная жизнь, коммунистическая партия была уже запрещена.

— Почему же вы тогда согласились спрятать маску?

Эрнст Баум на мгновение задумался, словно подыскивая нужные слова, потом медленно сказал:

— На ваш вопрос не так легко ответить. Я сам, пожалуй, не очень-то хорошо все это понимаю. Вы справедливо спросили меня, сочувствовал ли я коммунистам, потому что мое поведение можно расценить именно так, но я не хочу казаться лучше, нежели я есть на самом деле.

— Шлоссенбауэр, ваш друг, коммунист?

— Нет, членом партии и он не был, но всегда восхищался Кларой Цеткин, на память знал ее речь, произнесенную на открытии фашистского рейхстага. Я лично всегда считал его коммунистом.

— Но вы же, пряча маску, подвергались смертельной опасности. Что же вас заставило идти на такой риск?

— Шлоссенбауэр — мой друг. Разве этого недостаточно?

— Может быть, и достаточно,— задумчиво сказал Берзарин.

— Вы считаете, что просьбы друга в таком случае мало?

— Нет, я вам верю, у вас нет оснований говорить неправду.

— А может, для меня это была своего рода игра с гестапо, состязание в хитрости и хладнокровии?

— Увы, при всем желании в это поверить трудно,— ответил Берзарин.— Очень неравными были силы, и очень высокой была ставка в этой «игре» — жизнь. Причем ставка односторонняя — рисковали только вы своей головой. Гестапо не рисковало абсолютно ничем. Какая уж тут игра!

— Возможно, вы правы. Странно, но раньше как-то мне в голову не приходили подобные вопросы, просто жил не задумываясь, поступал так, как считал нужным.

— А вы бы могли в ближайшие дни зайти ко мне со своим другом Альфредом Шлоссенбауэром? — спросил комендант.

— Нет ничего проще. Назначьте время...

Они встретились снова через несколько дней в том же кабинете. И вот уж действительно в который раз подтвердилось старое правило, что о немцах нельзя судить по их виду. В представлении Берзарина самые отъявленные фашисты должны были бы выглядеть именно так, как выглядел Альфред Шлоссенбауэр. Невысокий, плечистый, плотный, толстые короткие ноги, круглая, по моде тех времен «под бокс» стриженная голова, весь затылок острижен, почти выбрит, и только надо лбом торчал маленький белесый чубчик, глаза нахальные и веселые...

Берзарин даже улыбнулся, подумав об этом, много бывлых представлений пришлось изменить ему за последний месяц, никогда в жизни не решился бы он сказать, что человек, похожий на Шлоссенбауэра, способен рисковать жизнью, спасая маску Ленина...

— Кофе? — спросил комендант.

— С удовольствием, — весело сверкнул своими глубоко спрятанными в синева глаз зрачками Шлоссенбауэр.

— Где вы сейчас работаете?

— На авторемонтном заводе, ремонтируем машины для советской военной администрации.

Берзарин знал этот завод, вернее, большую мастерскую неподалеку от Силезского вокзала. Разбитых машин там стояло целое кладбище, работы хватит на годы.

— Вы член какой-нибудь партии?

— Нет, ближе других мне, пожалуй, социал-демократы, но и коммунисты не очень далеки. Я, наверное, где-то посередине.

— А он? — улыбаясь, показал глазами на Баума Берзарин.

— Он убежденный коммунист, хотя и не член партии, — ответил Шлоссенбауэр. — Человек действия, хотя подумать о том, что именно он делает, у него всегда не хватает времени. Однако это не мешает ему быть прочным и надежным, как гвоздь.

— И поэтому вы попросили его спрятать маску?

— Да, поэтому. Лучше его никто бы это не сделал.

— Почему вы сказали, что он коммунист?

— Потому что имею полное представление о его взглядах. Правда, коммунист он еще не очень образованный и не очень последовательный. Все зависит от того, кто на него оказывает влияние. Если бы не Герда, еще неизвестно, где бы он оказался.

— Что ты плетешь? — обиженно вскинулся Баум.

В ответ Альфред рассмеялся:

— Не беспокойся, это всего лишь комплимент тебе и Герде.

— А Герда, она тоже сначала делает, а потом подумает? — настойчиво расспрашивал Берзарин.

— О нет, — сразу раскусил его игру Шлоссенбауэр. — Если хотите знать, то во всей нашей компании самой рассудительной была Герда. Кто-то из ваших совершенно точно разгадал ее характер и доверил большую работу. Полное доверие — вот то, чего всю жизнь ей по-настоящему не хватало. У фашистов доверия между людьми вообще не существовало, и потому Герда не могла быть с ними. Но если у нас действительно дойдет до создания новой, демократической Германии, то Герда непременно станет министром. Помяните мое слово.

— А вы кем хотите быть в новой Германии, товарищ Шлоссенбауэр?

— Я? — удивленно переспросил Альфред. — А кем я могу быть? Рабочим-слесарем. Я не собираюсь делать политическую карьеру.

— А политическая карьера не всегда спрашивает человека, хочет он быть политиком или нет.

— Ну, заставить меня никто не может.

— Никто, кроме жизни, — сказал Берзарин.

— Что ж, это верно, — погрузнев, уже без улыбки сказал Шлоссенбауэр. — А жизнь трудная штука. Такая трудная, что иногда невольно о политике начинаешь подумывать...

— У вас есть дети?

— Пятеро. У младшенького после завала в подвале все еще парализованы ноги, но это пройдет. У Барбары — это средняя дочка — сотрясение мозга после взрыва бомбы и бывают припадки, вроде как эпилепсия. Она еще маленькая, девять лет всего. Доктора — Герда их уже присылала — говорят, со временем выздоровеет. Но как подумаешь о детях, так и политику вспомнишь. В своих руках надо держать политику, прозеваешь — и снова какой-нибудь Гитлер объявится, понимаете?

И Шлоссенбауэр серьезно и даже как-то сердито посмотрел на притихшего друга, будто в том, что в Германии некогда пришел к власти Гитлер, виноват был он, Эрнст Баум.

— Вы абсолютно правы, — сказал Берзарин. — Политика должна быть в ваших руках, и делать ее должны вы сами. Это верно, хотя, честно говоря, сейчас я не вижу опасности появления нового Гитлера...

— В Германии все может быть, — одними глазами улыбнулся Баум; крупные губы его оставались плотно сжатыми, и странно было видеть резко обозначившиеся складки возле рта, сразу состарившие молодое лицо.

— Нет, мы с вами этого не допустим. А вот людей, которые сохранили маску Ленина, мне бы хотелось повидать всех. Товарищ Шлоссенбауэр, кто вам передал маску?

— Старая фрау Гюннер, и должен сказать, что сделала это в самое время, потому что через неделю гестапо пришло за ней,

а пока они делали обыск и переворачивали все вверх дном, на дом упала английская бомба. Прихлопнуло и старую Гюннершу и троих эсэсовцев. Ни один не спасся.

— Она была коммунисткой?

— Да, когда-то была. Я, как узнал про этот случай, прямо перекрестился, — такое счастье редко выпадает. И трех эсэсовцев как корова языком слизала, и старая Гюннерша теперь не проболтается, можно спать спокойно. Болтливая она была, страсть какая...

Берзарин подумал о том, как война изменила и исказила все нормальные человеческие чувства, но не стал развивать этой темы.

— А от кого маска попала к покойной ффрау Гюннер?

— Вот уж чего не знаю, того не знаю.

— Значит, что же мы имеем: супруги Вангель, потом цепочка обрывается, рабочий из Трептова, которому они передали маску, погиб, потом старая ффрау Гюннер, потом вы и супруги Баум?..

— Выходит, так. Недостает трех или четырех звеньев. Но я думаю, они найдутся, люди сейчас охотно рассказывают о таких делах.

— Если они живы, — тихо добавил Эрнст Баум.

— Что вы собираетесь теперь делать? — спросил его комендант.

— Пойдет учиться, — решил за своего друга Шлоссенбауэр. — Руководить новой Германией должны образованные люди.

— Наверное, и в самом деле пойду учиться, — согласился Баум. — Если, конечно, будет возможность.

— Такая возможность будет, — вновь уверенно заявил Шлоссенбауэр.

Когда гости вышли из кабинета, Берзарин несколько минут, задумавшись, сидел за столом, не вызывая адъютанта. Думалось ему об этих ребятах, которые, бесспорно, были героями и почему-то вроде стеснялись признаться в своем героизме. Почему? Почему эти люди, которые отважились, по существу, восстать против страшной гитлеровской машины — гестапо, теперь, когда эта машина уничтожена, так нерешительно принимаются за дело, будто боятся гласно заявить о своей позиции, которую они давно и убежденно определили? Чего они боятся? Может, еще неясно представляют себе, какой будет новая Германия? А сам Берзарин ясно видит эту новую Германию? Конечно. Она будет демилитаризованной, денацифицированной и демократической. Общие слова, которые твердят во всех газетах и на всех перекрестках. А как новая Германия будет конкретно выглядеть? Для того чтобы сами немцы за нее боролись, им это нужно знать, реально видеть, более того, ощутить в руках, взвесить на ладонях завтрашний день своего государства...

А с другой стороны, Герда Баум. Она не задумывается над

теоретическими проблемами, а делает дело, работает с утра до вечера, организует детские больницы и ясли, добывает молоко и хлеб, ей просто некогда рассуждать о новой Германии, она ее создает...

Значит, всем этим людям нужно дать целенаправленную, конкретную работу, и тогда они тоже вспыхнут таким же ярким светом, какой излучает Герда Баум.

Кто даст им такую работу? Комендатура? Нет, пожалуй. Магистрат? Это уже ближе к истине, но и там до настоящего порядка еще далеко, организационный период. Сколько он протянется, неизвестно. Во всей освобожденной от нацистов Германии недостает хорошо организованной силы, которая направила бы всю жизнь в новое, верное русло.

Достаточно ли он понимает немцев, чтобы иметь возможность судить об этом?

Да, в какой-то мере понимает, но следует посоветоваться с людьми, с немцами, которые наверняка знают проблему лучше его, Берзарина. Только тогда он сможет до конца понять Берлин.

Генерал неприязненно посмотрел на кнопку, стоило нажать — и появится адъютант. Хотелось еще подумать, а времени не было. Пришлось позвонить.

— Староверов, — сказал он, — вчера сообщали, что в Берлин приехал товарищ Вильгельм Пик. Свяжитесь с его секретариатом и узнайте, когда он сможет меня принять? — Увидев удивление на лице капитана, спросил: — Что вам непонятно?

— Понятно все, но мне казалось...

— Что вам казалось?

— Может, было проще вызвать товарища Пика сюда? Ведь вы комендант Берлина.

— Запомните: если вы хотите, чтобы Германия уважала нас, силу, которая освободила ее от фашизма, нам нужно прежде всего уважать Германию. Без этого у нас ничего не получится. Мы оккупационная власть, но оккупационная власть советская. Понимаете разницу? Товарищ Пик был членом Исполкома Коминтерна, не раз встречался и работал с Лениным, и он тоже знает разницу между оккупационной властью капиталистической и советской. Ясно вам?

Берзарин снова остался один в кабинете, взял трубку, нужно сообщить маршалу, что он хочет встретиться с Пиком.

— Товарищ Пик может принять вас завтра в пять часов, — доложил Староверов.

Комендант представил себе трехэтажный дом в Панкове, где временно разместились руководство Коммунистической партии Германии, несколько членов ее Центрального Комитета, те, кто успел эмигрировать и остался в живых. Всех, кто находился в Германии, Гитлер уничтожил. В Бухенвальде погиб Эрнст Тельман...

...— Прошу, товарищ Берзарин.

Кабинет явно необжитой, временный. Простой письменный стол с телефоном. Книжного шкафа пока нет, кинь брошюр и книг ровными штабелями сложены в углу. За раскрытым настежь окном предзакатное июньское солнце.

Вильгельм Пик вышел из-за стола. Он невысокий, коренастый, совсем седой, а глаза молодые, внимательные, пронзительно-веселые. Они остановились, встретясь, посредине кабинета, крепко пожали руки, чувствуя силу ладоней, мгновение постояли, приглядываясь друг к другу. Берзарин почему-то подумал, что, оставаясь один в этом кабинете, Пик чувствует себя неуютно, он был будто бы создан для того, чтобы находиться в толпе, сидеть с товарищами за столом и раскачиваться в такт песни, взяв друзей под руки, выступать на митинге, звать в атаку — одним словом, быть всегда среди людей.

Вероятно, в кругу рабочих он сразу становился своим, и это была редкостная особенность его характера — лучше и удобнее чувствовать себя в толпе, с людьми, чем в одиночестве.

— Вот вы какой, комендант Берлина,— улыбаясь говорил Пик.— Очень приятно с вами познакомиться. Нам еще долго работать вместе.

Староверов переводил старательно, он знал, Пик понимает по-русски и может оценить искусство перевода.

— Да, нам еще долго работать вместе,— ответил Берзарин,— и, откровенно говоря, я очень рассчитываю на вашу помощь, товарищ Пик.

— На мою помощь? Это я собирался просить вас о помощи, ведь вы комендант Берлина. Садитесь, пожалуйста.

— Именно поэтому я и пришел к вам,— продолжал Берзарин.— Дело в том, что мне хочется быть таким комендантом Берлина, который бы отлично разбирался во всем, что происходит в городе, и тут ни моих знаний, ни моего опыта недостаточно. Чтобы по-настоящему понимать сегодняшний Берлин, нужно быть немцем.

— Допустим,— согласился Пик, все еще разглядывая Берзарина.

— Вот у меня несколько дней назад состоялась беседа с немецкими товарищами, которые, передавая друг другу, сохранили посмертную маску Ленина. Эти люди, бесспорно, антифашисты, больше того, они герои, но я не уверен, что они представляют себе будущую Германию.

— А вы сами, товарищ Берзарин, хорошо ее представляете? — спросил Пик, и глаза его сузились в улыбке.

— Нет,— честно признался Берзарин.— Против чего я должен бороться, мне ясно. Наша программа — денацификация, демилитаризация, демократизация. Первые два слова для меня — это, как говорится, руководство к действию, потому что ликвидация военных объектов и поимка нацистов — наша прямая ра-

бота, а третье слово пока звучит абстрактно. За ним еще не стоит конкретная деятельность.

— Разве организация антифашистских партий не конкретная работа?

— Современная коммунистическая и современная социал-демократическая партии — это далеко не те партии, которые были до войны и до гитлеризма. Все изменилось за это время, а главное, изменился немецкий народ. К сожалению, немцев, которые боролись активно против гитлеризма, не так много...

— Вы правы, если иметь в виду активную борьбу с режимом, — сказал Пик. — Но беда в том, что мы знаем далеко не всех. Правда, в этом деле у нас с вами есть один весьма авторитетный свидетель...

— Кого вы имеете в виду?

— Гестапо. В лагерях за время пребывания гитлеровцев у власти перебывало несколько миллионов немцев. Далеко не все они были антифашистами, потому что гестапо хватало кого ни попадя — и виновного и правого, однако можете быть абсолютно уверены, что они, выходя из концлагерей, становились убежденными антифашистами. Гитлеровский режим последовательно копал себе могилу, растил и воспитывал своих могильщиков, иначе быть не могло, потому что это был человеконенавистнический, фашистский режим.

— Для меня разговор с вами чрезвычайно важен, — медленно сказал, раздумывая над словами Пика, Берзарин. — Ибо он определяет в известной степени мою комендантскую деятельность. Я пришел к вам, чтобы поговорить о будущем Германии и представить его в первую очередь для себя самого. Не имея такого понимания, можно совершить немало ошибок, потерять людей, которые еще не совсем определили свое будущее, стоят на перепутье, могут и склониться к нам и отшатнуться от нас.

— Совершенно справедливо, — согласился Пик. — Помните, с чего начал Ленин, когда пришел к мысли о возможности революции в России?

— Конечно. С организации партии.

— Верно. Именно с этого начнем и мы.

— Немецкая компартия создана уже давно.

— И это правда. Но обратите внимание, рабочий класс Германии был всегда разделен между двумя партиями — коммунистической и социал-демократической. Левые социал-демократы могли считать себя коммунистами. Правые социал-демократы смыкались с буржуазией. В результате рабочий класс Германии был расколот, не обладал единством действий, и в конце концов именно поэтому стал возможен приход Гитлера к власти. Для того чтобы построить в Германии социализм — а я могу представить себе свою родину в будущем только социалистическим государством, — нужно иметь единую партию рабочего класса, я подчеркиваю, единую. Это моя старая песня, мое убеждение, и

я твержу об этом всю свою жизнь, товарищи недаром называют меня кузнецом единства.

— Вы думаете, что социал-демократы — я имею в виду руководство партии — согласятся объединиться с коммунистами?

— Непременно согласятся, но не сами, а в силу сложившихся обстоятельств, под напором рабочих масс. Среди социал-демократов большинство убежденных антифашистов. Они не захотят переходить в коммунистическую партию, но в объединенную партию рабочего класса совместно с коммунистами войдут охотно, и в этом залог нашего успеха и спасения Германии. Какой бы властью, авторитетом и добрыми желаниями ни владела военная комендатура, даже советская, она неспособна сделать и части того, что сделает социалистическая единая рабочая партия.

Берзарин невольно вспомнил Торнгайма и улыбнулся:

— Ко мне уже приходили люди с предложением ввести социализм приказом комендатуры.

— Ко мне тоже. У нас немало таких горячих голов. Вы скажете мне, что организация такой партии потребует немало времени и работы, да, это так, но другого выхода у нас нет. Я рад, что в лице Отто Гротевоя нашел человека, который заботится о единстве рабочего движения. Германия будет социалистической.

Пик снова улыбнулся, лучи морщинок собрались у глаз. Улыбаясь, он будто сбрасывал с плеч возраст, выглядел задорным, влюбленным в жизнь, и этого впечатления не могли изменить даже седые волосы.

— Я рад, что вы пришли ко мне, товарищ Берзарин, — сказал он, снова становясь серьезным, — есть много конкретных вопросов, которые не решить без помощи комендатуры.

— Может, не сегодня, товарищ Пик?

— Почему же не сегодня? Хотите вы того или не хотите, а черную работу придется делать. Итак, начнем...

17

Когда Берзарин в тот поздний вечер вернулся домой, на душе его было легко и спокойно, как никогда прежде. Превосходно, что состоялась эта встреча. Теперь дни июня, второго послевоенного месяца, летели, как легкие листки календаря, и каждый был отмечен новым событием. Ожила очередная линия метро или трамвая, открылся театр, вышла газета, увеличились нормы питания.

Работа в комендатуре не уменьшалась, но каждое утро после объезда улиц (он никогда не нарушал этой традиции) Берзарин неизменно возвращался в штаб 5-й Ударной армии в Карлсхорст. Видимо, сюда ездить осталось недолго. Штаб фронта и советская военная администрация переезжают сюда, в

Карлсхорст, а 5-я Ударная армия — в Олимпишесдорф, в комплексе домов, специально построенных для спортсменов Олимпиады 1936 года на западной окраине Берлина.

И снова пружинистое седло мотоцикла подскакивает на выбоинах асфальта, и снова звучит слева и справа «гутен морген, герр генераль-оберст», «гутен морген, герр генераль-оберст». До комендатуры он отработал кратчайший маршрут — доедет с завязанными глазами.

В Карлсхорсте, в штабе армии, он назначил два визита. Придут Герда Баум и архитектор Вернер. Потом нужно ехать вручать ордена. Потом...

— Здравствуйте, Староверов. Герда Баум еще не пришла?

— У нее в запасе восемнадцать минут.

— Ночь как прошла?

— Никаких чепэ. Настроение в Берлине хорошее.

Удивительно: они научились определять настроение города, и складывалось оно из тысячи мелочей — уменьшились очереди в магазины, появились яркие афиши во вновь открытых кинотеатрах, вспыхнули светофоры в центре...

— Газеты принесли? Сколько их теперь выходит в Берлине?

— Сегодня вышло пять, товарищ генерал.

— Неплохо, совсем неплохо. — Берзарин достал из кармана коробку «Казбека», закурил, довольный, откинулся в кресле. — Совсем неплохо.

Скрипнули двери, генерал-лейтенант Боков появился на пороге. Взглянули на Берзарина, на Староверова — взгляд озабоченный.

Секунда молчания, а потом тревожный вопрос:

— У тебя дурные новости, Федор Ефимович?

— Скорее хлопотные.

Берзарин посмотрел внимательно, остро. Важнейшее событие его жизни уже случилось — 5-я Ударная участвовала в завершении войны, а командовал этой армией он сам. Теперь уже ничто на свете не может испортить ему настроение. И все-таки видеть встревоженные глаза Бокова неприятно.

— О чем или о ком речь?

— О тебе.

— Что же я такого натворил?

— Теперь уже не боишься, что куда-нибудь переведут?

— Неужели на Дальний Восток? Вот была бы радость!

Он, конечно, знал, что некоторые дивизии и даже армии сразу после окончания Берлинской операции двинулись на Дальний Восток. Он любил Берлин, но не колебался бы ни минуты, если бы ему предложили отправиться к берегам Тихого океана. Он знал: об этом думали в Москве, ведь у него был дальневосточный опыт.

— Нет, — улыбнувшись, будто отблеск радости в глазах Берзарина передался и ему, сказал Боков, — придется тебе еще повозиться с твоим милым Берлином. А там увидим, может, и поедешь.

— А сегодня по какому поводу тревога?

— Понимаешь, многим в штабе фронта, в том числе и мне лично, не нравится, как ты ведешь себя в Берлине. Мотаешься с одним Ляховым по всяким трущобам.

— Мне этот город нужно знать как свои пять пальцев.

— Все верно, и прежде для такого разговора оснований не было. Но, понимаешь, со дня Победы прошло какое-то время, немцы немного пришли в себя, твоими стараниями подкормились, поуспокоились и стали думать. Честные так или иначе помогают «Группе активистов первого часа» налаживать жизнь, а у недобитых нацистов тоже было время опомниться, и если не организовать, то хотя бы определить для себя наиболее опасных людей, с кем в первую очередь им необходимо бороться...

— Прятаться от недобитых нацистов я не буду. Какой же я тогда комендант города?

— Правильно, этого от тебя никто и не требует. Но есть хорошая пословица: «Береженого бог бережет». В городе то здесь, то там, как пузыри на воде, объявляются бывшие гитлеровцы. А как же иначе? Не все же они драпанули на Запад. Вот наши товарищи и берут какую-нибудь мелкую рыбешку вроде шарфюрера или блокляйтера, а иногда и покрупнее рыба попадается в сети, позавчера одного штандартенфюрера СС арестовали, немцы сами его выдали, это вполне закономерно: живое стремится освободиться от мертвого. А вчера и вовсе интересный случай произошел: в продовольственном магазине поймали обыкновенного карманного вора. Оказалось, что совсем недавно он был штурмфюрером. Правда, вором он был еще до своей фашистской карьеры, одно с другим превосходно уживалось. Так вот, этот тип с перепугу, стараясь доказать, что хочет нам помогать, рассказал прелюбопытные вещи. В городе появился Альберт Кемпке. Штурмбаннфюрер войск СС.

— Не он первый и наверняка не он последний, — сказал Берзарин, потом, что-то вспомнив, спросил: — Тот самый?

— Да, тот. Так вот, этот Кемпке проявляет интерес к твоей особе.

— А я тут при чем?

— Пути господни неисповедимы, а на войне, да и сейчас, после войны, так все перепуталось, что сам черт не разберет. Тот карманный ворюга оказался обыкновенным кокаинистом. Ну, Кемпке встретился с ним на мосту в Лихтенберге и потребовал в обмен на кокаин твою жизнь. Понимаешь теперь мою тревогу?

— Любопытно, история повторяется,— улыбнулся Берзарин, медленно провел ладонью по лицу, будто стер улыбку, на Бокова смотрели серые, с легким прищуром холодные глаза.— Конечно, ты прав, это серьезно, но мне хочется верить, что опасность минимальна.

— Дело осложняется тем, что Альберта Кемпке из лагеря военнопленных вызволил Зоненбах...

— Профессор знал об опытах на людях?

— Нет, не знал и сейчас не знает и потому спокойно привел любимого ученика в гости к капитану Котову.

Только теперь Берзарин по-настоящему встревожился.

— Капитана предупредили?

— Разумеется. Пока опасности нет, не волнуйся. Но дело запуталось еще больше, в гостях у Котова Кемпке встретил Марту Ландер. Она, конечно, знает все о деятельности этого, с позволения сказать, «ученого», и вот сама она со своим пристрастием к пагубным привычкам может стать опасной.

— А-а,— догадываясь, довольно улыбнулся Берзарин,— вот кому она меня продала!

— О чем ты говоришь?

— Пустяки, была одна задушевная беседа. Ты прав, на Марту Ландер пытался повлиять этот эсэсовец, но она не поддалась.

— Ну что ж, тем лучше,— продолжал Боков.— Так вот, я полностью с тобой согласен. Кемпке надо немедленно арестовать, а Зоненбаха предупредить и попросить внимательнее отнестись к вопросу освобождения военнопленных. Договорились? — Боков вскинул глаза на коменданта, ожидая его одобрения, но в ответ прозвучали иные слова.

— Когда уезжает Марта Ландер? — спросил Берзарин.

Боков нахмурился. Они давно работали вместе, были настоящими друзьями: «притерлись» друг к другу, понять ход мыслей коменданта генералу было нетрудно.

— Сегодня улетает... во второй половине дня. Шведы присылают за ней самолет. Он приземлится на аэродроме Шенефельд.

— Так,— мгновение помолчав, сказал Берзарин,— до отлета Марты Ландер с арестом Кемпке надо повременить.

Боков поднялся с кресла, прошелся по кабинету; Берзарин, не меняя позы, провожал взглядом высокую, туго перетянутую ремнем фигуру генерала. В кабинете было так тихо, что слышалось легкое поскрипывание сапог. Очевидно, член Военного совета тоже что-то решал для себя,— молчание тянулось долго.

— Ты неисправимый идеалист, Николай Эрастович,— наконец заговорил Боков.— Ведь я тебя вижу насквозь и все твои мысли и желания прекрасно понимаю. В глубине души ты надеешься, что Марта Ландер все-таки окажется честным челове-

ком, плюнет на свою бюргерскую «порядочность» и выдаст этого пегодия Кемпке.

— Честно говоря, надеюсь, — сказал Берзарин.

В его сердце жила глубокая симпатия к Марте Ландер и потому жила надежда... Он не мог, по-человечески не имел права одним махом разрубить этот узел, не дав Марте времени самой разобраться в своих сомнениях и определить свою судьбу: нам всегда хочется, чтобы люди, которым мы симпатизируем, оказались лучше, чем они есть на самом деле, и Берзарин сказал:

— Послушай, Федор Ефимович, ведь она же выдающаяся актриса, человек, наделенный острой наблюдательностью. Неужели она ничего не увидела вокруг себя, ничего не почувствовала?

— Она все увидела и все почувствовала, но бюргерское представление о порядочности не дает ей сделать смелого шага. Разорвать это привычное понятие может только гений, Марта всего лишь актриса.

— Нет, в ней должны найтись силы! Давайте поступим так, и это уже не просто разговор, а приказ: до отбытия Марты Ландер из Берлина Кемпке не трогать. Ждать долго не придется, вечер не за горами. Этого типа мы знаем, никуда он от нас не денется.

— И на что тебе эта Марта Ландер? — Боков с досадой всплеснул руками. — Она не была и не будет с нами. Никогда! И с Вильгельмом Пиком не будет. И новая Германия ей ни к чему! Сам подумай и трезво все оцени.

— Это тот случай, когда разобраться и трезво оценить, как ты говоришь, трудно. Возможны варианты. Ты прав, мне Марта не нужна. Но актриса она талантливая, человек, вне всякого сомнения, честный, и мне хочется верить в могущество нашей морали, в воспитательную силу наших дел и начинаний. Не может она просто так улететь, не сделав выводов из всего, что видела! Поверь, она далеко не глупый, думающий человек.

— Ну, Николай Эрастович, я тебе говорил и еще раз скажу: идеалист ты неисправимый. Все надежды твои и соображения я понимаю, а приказ есть приказ. С Кемпке подождем. Ты прав, никуда он от нас не денется. Арестуем после отлета самолета... Но ты сам будь осторожен, очень осторожен. Кемпке уже не опасен. За ним наблюдают... Но могут найтись другие... Ты куда сейчас едешь?

— Поговорю с Гердой Баум и Вернером, а потом поеду в госпиталь, будем вручать нашим раненым солдатам ордена.

— Как она поживает, твоя любимица?

— Вот здесь ты не ошибся. Превосходно работает!

— Ну хорошо, счастливо тебе. Маршал приказал усилить твою охрану в поездках по городу. Завтра будешь иметь эскорт.

— Ничего, выберем минутку и одни покатаемся! — совсем как мальчишка, озорно подмигнув, засмеялся Берзарин. — А вообще буду ездить с охраной. Пожалуйста. Приказ есть приказ.

— Желаю успеха, — сказал Боков, взял фуражку, подошел к двери, задумчиво оглянулся на улыбающегося Берзарина и вышел.

В дверях сразу же появился Староверов.

— Герду Баум прошу, — сказал ему комендант. — Через пять минут придет обер-бургомистр Вернер, попросите его подождать.

— Слушаюсь, — ответил адъютант, и через минуту Герда Баум уже стояла перед комендантом, внимательно всматриваясь в его подчеркнуто суровое лицо: что-то случилось, какая-то неприятность, потому что раньше генерал не смотрел на нее так строго.

— Садитесь, фрау Баум, — предложил комендант и, когда она опустилась в кресло, официально и требовательно сказал: — Так вот, фрау Баум, я вами недоволен.

Большие серые глаза Герды медленно наполнились удивлением, потом тревогой, и Берзарину стало жаль молодую женщину, которая работает, как сам он любил повторять, «за целый магистрат». Но он остался верен своему суровому тону.

— Да, недоволен. Вами. Мы провели обследование детей в Лихтенберге, и оказалось, что у многих, как показали анализы, гемоглобина в крови всего лишь семьдесят единиц. Фрау Баум, это недопустимо. У маленьких берлинцев гемоглобина должно быть как минимум семьдесят пять единиц. Я понимаю, продукты нормированы, питание строго ограничено для взрослых, но детей, особенно в детских заведениях, вы можете кормить значительно лучше. Это просчеты организации...

— Господин комендант, — глубоко вздохнула Герда Баум, — я прекрасно знаю об этом осмотре. Мы помогали его проводить и, конечно, консультировались с врачами. Они говорят, что семьдесят единиц — прекрасная норма. При Гитлере было шестьдесят пять и даже меньше.

Берзарин недовольно произнес:

— Стыдитесь, фрау Баум. При Гитлере! Как вам в голову пришло такое...

Герда покраснела, как может краснеть только человек с ослепительно белой кожей: щеки, лоб, шея, чуть слезы на глазах не выступили.

— Простите, пожалуйста, — стараясь сдержать волнение, сказала она, — но должна заметить, что независимо от времени — гитлеровского или оккупационного — семьдесят единиц — хорошая норма.

Она сознавала, что у этого разговора должен быть какой-то, пока неизвестный ей подтекст, потому что иначе Берзарин не вел бы его в таком тоне: серьезном и шутливом одновременно,— но понять до конца не могла и потому беспомощно проговорила:

— А что мне делать, если продуктов мало?

— Берите за горло магистрат, заставьте их увеличить нормы.

— У магистрата тоже нет продуктов.

— Вы уверены в этом? — спросил Берзарин, и Герда вдруг поняла: вот ради чего был затеян весь разговор, вот ради чего ее и пригласил к себе комендант.

— Вы... вы прикажете им увеличить нормы?

Теперь она наверняка знала: есть какие-то неизвестные ей запасы, но по каким-то соображениям Берзарину неудобно об этом говорить, и в душе ее поднялась волна энергии. «Ну, сейчас я им выдам!» — подумала она, еще не зная, кому и что придется «выдавать», но уже уверенная в победе, потому что Берзарин был на ее стороне.

— Нет, я больше ничего не приказываю магистрату, — сказал Берзарин. — Время приказов прошло. Магистрат сам твердо стоит на ногах, поддерживать его нет надобности.

— Но почему такими серьезными вопросами должна заниматься я, господин комендант? — перешла в наступление Герда.

— А кто же, по-вашему, должен это делать? У вас в кармане удостоверение, и срок действия его не истек. Привыкайте к большому масштабу, фрау Баум. Кто будет министром в будущем немецком государстве? Вы или я?

— Ну, женщины не бывают министрами.

— Еще как бывают! Вы превосходно начали свою работу, но после создания магистрата поостыли. А вашей работы за вас никто не сделает. Повторяю, у вас в кармане удостоверение за моей подписью. Почему же вы им мало пользуетесь?

«Он все время учит, словно воспитывает меня», — подумала Герда, и вдруг ей захотелось совершить что-то такое отчаянно смелое, но, конечно, хорошее и полезное, чтобы сам Берзарин поразился, а может, и пожалел бы, что выдал ей свое знаменитое удостоверение.

— Сейчас воспользуюсь, — внутренне холодея и сама не решаясь поверить в собственную дерзость, сказала Герда, — я давно хотела с вами об этом поговорить. — Она на миг умолкла, будто проверяя, какое впечатление производят на коменданта ее слова, но не заметила в нем перемен, ни малейшего намека на усмешку: серьезное лицо, крупные спокойные губы. — Сейчас воспользуюсь, — набирая разгон, чтобы лишить себя возможности остановиться, и сама пугаясь этого, сказала Герда. — В Мариенфельде работает завод консервированного сгущенного мо-

лока. Всю продукцию завода берет себе оккупационная власть. Прошу передать завод, вернее, всю его продукцию в ведение магистрата.

Сказала и испуганно взглянула на Берзарина: не слишком ли?

Берзарин посмотрел на нее без улыбки, но и без тени раздражения, мгновение подумал, потом, сокрушенно разведя руками, промолвил:

— Фрау Баум, энергии вам не занимать...

— Вот видите, мало энергии — плохо, много энергии — тоже ничего хорошего. Уж извините, господин комендант, сами меня научили.

Берзарин молчал, раздумывая о чем-то, вновь посмотрел на Герду, и той вдруг стало страшно — отчетливо представилось, что комендант готовит ей новую работу, с которой она наверняка не справится.

— Мы сделаем иначе. Иначе и лучше, — медленно, как бы проверяя свои мысли, сказал генерал. — Этот ваш заводик, его настоящим-то заводом не назовешь, сейчас выпускает в месяц тридцать тысяч банок молока, и мы все берем себе. Нашим детям, фрау Баум, гемоглобин тоже ох как нужен! И об этом не надо забывать. Так вот, мы сделаем по-другому, я вам даю деньги и все полномочия, вы находите людей, оборудование, я уверен, при желании и то и другое в Берлине или в его пригородах найти можно, расширяете завод, доводите выпуск до шестидесяти тысяч банок и половину берете себе. Все будет довольны: и оккупационная власть и дети Берлина. Согласны?

Мозг Герды работал напряженно: Берзарин увидел, как вдруг замерло лицо, сосредоточился нацеленный в одну точку взгляд, нижняя губа плотно прихвачена зубами. Герда Баум понимала: если дают слово — за него отвечают, она тоже слов на ветер не бросала, поэтому будет трудно, и, скорей всего, очень трудно, но, с другой стороны, она почувствовала: настал ее звездный час — или она окажется смелым, решительным, достойным уважения человеком, или, струсив, упустит этот момент и потом будет горько тужить, вспоминая минуту, когда могла показать настоящий размах, силу своей души, и не решилась.

— Сколько денег вы мне дадите?

Легкая тень улыбки мелькнула на губах Берзарина и исчезла, было приятно, что он не ошибся в Герде. Боков не напрасно называл ее любимицей коменданта.

— Денег мы вам дадим столько, сколько будет нужно.

— А если мне потребуется много денег?

— Много и дадим, — понимая ход мыслей Герды, ответил Берзарин. — Молоко для детей — такое дело, экономить на нем не будем.

— Хорошо,— спокойно, с легкой угрозой проговорила Герда,— я знаю человека, который наладит выпуск двухсот тысяч банок в месяц.

— Этот ваш человек — хозяин завода?

— Нет, хозяин удрал на Запад. А этот — простой мастер.

— Был членом нацистской партии?

— Нет.

— Так,— согласился Берзарин.— Сколько бы молока ни выпускал завод — половина ваша. Чем больше, тем лучше.

— Главный вопрос — сырье. Потребуются большие средства. Они у меня будут?

— Конечно. Необходимые приказы я отдам немедленно. Вы будете хорошим министром, Герда Баум.— Берзарин впервые за все время разговора позволил себе улыбнуться. И тут же его улыбка словно передалась Герде: лицо ее расцвело, похорошело, она спросила:

— Вы все еще мной недовольны?

— Для вас это так важно? — снова улыбнулся Берзарин, и женщина, не очень сознавая, почему она так говорит, ответила:

— Важно, очень важно! Как-то так случилось, что вся моя жизнь после войны, после нашей первой встречи, связана с вами, с вашей работой, и мне очень важно знать, что вы мною, вернее, не мной лично, а работой моей довольны.

— Да, я доволен вашей работой,— понимая, что в жизни Герды совсем не все так просто, как кажется на первый взгляд, и похвала ей нужна как воздух, сказал Берзарин.— Если бы все немцы работали так, как вы, проблемы Берлина были бы уже решены.

Берзарин нажал кнопку, написал несколько слов на листке бумаги и сказал Староверову:

— Капитан, вот приказ финчасти о выделении средств в распоряжение ф-rau Баум с соответствующей отчетностью.

— Перед кем я буду отчитываться?

— Перед магистратом. Второе: напишите удостоверение, что комендатура поручает ф-rau Герде Баум перестройку и расширение консервного молокозавода в Мариенфельде с передачей оккупационным властям половины продукции. Я подпишу. Исполняйте.— И Герде: — У вас будут ко мне вопросы?

— Нет, у меня все. Если разрешите, через две недели я доложу вам, как идут дела на заводе.

— Записываю, через две недели... И вот еще что.— Берзарин взял со стола лист бумаги.— Вот список домов, некоторые из них пустуют, а некоторые пока заняты нашими офицерами, но скоро и они освободятся, и тогда вы сможете использовать их под детские учреждения, ясли для детей рабочих, детские сады, интернаты для сирот, чьи отцы погибли на войне... Все

эти дома бесхозные, а состояние их более или менее приличное. Осмотрите их, поручите товарищам составить планы и сметы ремонта...

— А члены магистрата не обидятся?

— Не думаю. Они сейчас заняты высокими политическими проблемами, без этого тоже не обойтись, а мне нужно, чтобы кто-то конкретно с каждым днем наращивал размах работы, заботился о судьбе берлинских детей. Если вы возьмете на себя эту работу, они будут только довольны. А на всякий случай — удостоверение лежит у вас в кармане.

«Он все время приучает меня к работе», — снова подумала Герда.

— Давайте-ка приказ, Староверов. — Берзарин прочитал, подписал и передал Герде. — На этом удостоверении капитан вам поставит печать. На приказе для финчасти печати не требуется. Все?

— Все, господин генераль-оберст, — сказала Герда, чувствуя, что еще мгновение, и она расплывется от радости, а главное — от признательности за доверие, оказанное ей Берзаринным. — Всего лучшего!

18

Вернер вошел в кабинет, неся под мышкой объемистую картонную папку, с трех сторон связанную красными тесемками. На улице припекало июньское солнце, и все люди были легко одеты, а обер-бургомистр пришел в темно-сером строгом костюме, под воротником безукоризненно белой рубашки — завязанный тонким узлом синий галстук.

— Человек удивительно устроен, господин комендант, он способен радоваться и восторгаться даже тогда, когда вроде бы и нет очевидных причин для радости и тем более для восторга. — Вернер с достоинством опустил в предложенное ему кресло.

Берзарин понимал, что это всего лишь вступительная часть разговора, и поспешительно промолчал.

— Работы у нас у всех много, и, я надеюсь, комендатуре заметны позитивные результаты, хотя до восстановления нормальной жизни в Берлине еще далеко, — продолжал Вернер. — И все же, что бы там ни говорили, а снабжение организовано, водопровод и канализация работают, электростанции пустили... Метро тоже в основном работает. Город живет.

— И в этом заслуга недавно созданного магистрата города и его руководителя, — сказал Берзарин.

— Не будем сейчас говорить о наших с вами общих достижениях, господин комендант, они пока более чем скромны. Как

ни странно, но сегодня я пришел к вам для весьма неожиданного разговора. Мы с вами живем в Берлине, и центр этого, когда-то очень чистого, немного старомодного, построенного в тяжелых пропорциях города сейчас представляет собой развалины. Если разобрать битый кирпич и бетон, то откроются обширные площади, на которых, совершенно очевидно, и должен будет вырасти новый город. Я сейчас не собираюсь касаться темы предстоящего политического устройства Германии. Очевидно, все решится на конференции глав правительств союзников, но, что бы там ни постановили, Берлин останется Берлином.

Вернер умолк, ожидая ответа Берзарина, но комендант молчал, выражая этим свое сочувственное внимание, и архитектор вынужден был снова продолжить:

— Я давно, очень давно, еще в те дни, когда первые бомбы начали падать на Берлин, стал думать, как можно было бы перестроить город, чтобы он производил впечатление праздничной торжественности и значительности и одновременно избавился бы от прусской тяжеловесности линий, оттенка военной муштры, которая, бесспорно, когда-то определяла архитектуру Берлина. Я мечтал не абстрактно, а образно, создавая ансамбли в воображении, потому что понимал: конкретная работа может начаться после того, как закончится война.

— А интересно, — неожиданно перебил архитектора Берзарин, — вопрос о том, останется Берлин столицей гитлеровского рейха или станет центром новой Германии, играл для вас какую-нибудь роль?

Вернер помолчал, потом медленно, как бы чеканя слова, сказал:

— Я никогда не представлял Берлин столицей гитлеровского рейха. Требования и идеалы Гитлера мне всегда были чужды. Наверное, мои эскизы будут лучшим тому доказательством. Я пришел сюда не только для того, чтобы показать вам мою мечту, воплощенную лишь на бумаге, но имея совершенно конкретную просьбу. Сначала взгляните, как в моем представлении через какой-нибудь десяток, а может, и два десятка лет мог бы выглядеть коммерческий и исторический центр Берлина — Александерплац.

Он торопливо, волнуясь, развязал тесемки на большой папке и положил перед Берзариним лист ватмана.

Это был легкий штриховой набросок, эскиз, который давал полное зрительное представление о замысле архитектора. Широкая магистраль Франкфуртераллее, застроенная легкими многоэтажными домами, впадала в Александерплац, как могучая река в море. На самой площади, украшенной шпилем, скорей всего радиовышки, возвышался изящный ансамбль высотных зданий. Линия взметнувшейся на колоннах шнелльбан — берлинской надземной железной дороги, которая уже частично

начала действовать, — вписывалась в эскиз как естественное продолжение площади...

Берзарин вспомнил о нынешней Александерплац и погрустнел. Там были сплошные руины; много, очень много времени пройдет, пока «Алекс» станет похожим на мечту Артура Вернера. Это дело не одного, а может, даже не двух мирных, непременно мирных, поколений. О своих сверкающих в лучах солнца ансамблях из стекла, стали и бетона Вернер мечтал ведь тогда, когда ему самому приходилось лежать на холодных камнях бомбоубежища, а наверху, на улице, совсем рядом, бесновалась смерть, рассыпались в прах стены и колонны, рвались бомбы и мины, рушилась империя. И Берзарину подумалось, что в немецком народе больше здоровых сил, нежели можно было себе представить. Разве мечта Вернера, изображенная здесь, на бумаге, не доказывает, какими были его устремления, во что он верил?

Берзарин почувствовал, что сердце его словно оттаивает, и, снова надеясь увидеть чудо, попросил:

— Покажите, пожалуйста, еще.

— Вам понравилось? — Старый архитектор взглянул недоверчиво. — Это Кенигштрассе, район дворцов и соборов, вот Цейхгауз, от него до Бранденбургских ворот идет Унтер-ден-Линден. Вполне вероятно, мечты мои покажутся вам немного смелыми, но где же еще человек может позволить себе быть дерзновенным, как не в мечтах?

Вернер на рисунке удалил аляповатый императорский дворец, разрушенную теперь колоннаду и поврежденный памятник Вильгельму, и от этого площадь стала просторной, светлой. Это, конечно, был прежний Берлин, но одновременно и другой, непривычно свежий, молодой, — так преобразил его талантливый замысел.

— А вот так я вижу Тиргартен, рейхстаг и Бранденбургские ворота...

За листом лист, за листом лист, и перед глазами Берзарина вставал на бумаге обновленный, похорошевший Берлин... Невольно подумалось: сколько еще работы, фантазии и средств придется вложить в этот город, чтобы он походил на мечту Вернера! Но если человек создал мечту, значит, наверняка найдет силы ее осуществить...

— Спасибо, — сказал Берзарин, когда архитектор перевернул свой последний лист. — Для меня это был подарок. Не знаю, придется ли вам или мне жить в таком Берлине, но внуки наши, уверен, познают это счастье... Помимо удовольствия и радости, которые вы мне доставили, я извлек из этого еще и пользу: теперь мне куда легче понять и город и вас, человека, у которого хватило душевных сил увидеть Берлин по-новому, ярко и молодо воскресить его в своей мечте.

— Если бы увидеть ее осуществленной... — сказал архитек-

тор и, помолчав, добавил: — В некотором роде об этом я и пришел с вами поговорить. При магистрате необходимо создать архитектурную мастерскую или отдел, который определил бы, насколько разрушен город, наметил бы места застроек, будущие площади, улицы, жилые кварталы. У комендатуры это не вызывает возражений?

— Никаких. Вы могли бы создать такие мастерские, не согласовывая со мной. Между прочим, было бы хорошо встретиться с архитекторами города... Скажем, прямо сегодня. Не откладывая в долгий ящик, часов в шесть. А?

— С радостью. Для нас это будет очень полезно.

Вернер быстро, один за другим, снова перелистал свои эскизы, словно боясь с ними расстаться: вот уберет их в папку, завяжет тесемки — и исчезнет будущий город...

Берзарин наблюдал за ним — оживленное, помолодевшее лицо, мягкий румянец.

— Вот и отлично. Проектно-архитектурную мастерскую создавайте немедленно. Нужно уже сейчас наметить основные направления строительства города и принципы архитектурного решения.

— Все-таки странно, — задумчиво отозвался Вернер, — из страшной войны, закончившейся поражением, из слез и горя возникает такая красота... Очевидно, это красота новой Германии...

Он не торопясь сложил в папку эскизы, аккуратно, бантиками, завязал тесемки, осторожно отодвинул па край стола и сказал:

— Я рад, что вам понравилось. А теперь у меня к вам есть текущие дела, касающиеся далеко не легкой жизни Берлина. Мне неприятно об этом напоминать, но в клинике Шарите...

Проблему возобновления работы крупнейшей берлинской больницы и поликлиники мог решить только комендант, но Берзарину именно теперь, когда перед глазами возник прообраз будущего Берлина, как никогда хотелось очутиться в седле своего мотоцикла, промчаться по хорошо знакомым, теперь уже почти свободным улицам, подышать свежей прохладой июньского ветра.

Усилием воли он заставил себя сосредоточиться, подумал: «Дела сегодня решаются почему-то легче и быстрее, — любопытно, заметил это обер-бургомистр или нет?»

Нет, скорее всего, Вернер ничего не заметил. Поставил перед ним, комендантом, вопросы, уяснил ответы, записал их, еще раз проверил, не упустил ли какую-нибудь мелочь, потом встал.

— Спасибо, господин комендант. Работу с вами — надеюсь, что она продлится долго, — я всегда буду вспоминать с удовольствием.

Они пожали друг другу руки почти торжественно. Берзарин

проводил архитектора до дверей, заставил себя подождать, пока двери не закроются. Потом бросился к столу, нажал кнопку.

— Староверов! Пришлите Ляхова и мотоцикл.

Было утро, солнечное утро шестнадцатого июня, нежно-зеленого, в запоздало цветущих акациях месяца короткой немецкой весны.

— Поехали. В госпиталь. Вручать ордена.

Мотоцикл завелся, как всегда, с одного нажатия на педаль. Мощный мотор рванул машину, будто приподнял ее над землей. Хорошо знакомые улицы проплывали перед глазами. Вот сейчас кончится Тресковаллее, в один миг пролетит коротенькая Шлоссенштрассе, и машина вырвется на перекресток Альт-Фридрихсфельде. Неожиданно вспомнился один из эскизов Вернера — там было изображено это место, и будущее улицы комендант увидел ярко, отчетливо, до балконов и лоджий на фасадах домов. Он взглянул на солнце, и видение стало еще ярче, скульптурно-выпуклым, как в стереоскопическом кино. Какой-то странный крик раздался впереди, перед глазами мелькнул взметнувшийся красный флажок, и тотчас же Берзарин увидел с правой стороны тупой нос «студебеккера», успел вывернуть мотоцикл так, чтобы удар не пришелся по Ляхову, и упал на выщербленный асфальт под колеса наполненного мешками с мукой грузовика. Ордена, которые Ляхов держал на коленях в тяжелой, черного дерева шкатулке, рассыпались, как большие кроваво-красные звезды.

В последнее мгновение Берзарин увидел перед собой Берлин, только не разбитый, не в руинах, а такой, каким он был на рисунках Вернера. Высотные дома на Александерплац надвигались на него, вырастая все выше и выше, пока не заслонили солнца, и тень, вдруг сгустившись, плотной стеной упала на глаза. В тот же миг он снова увидел Берлин, каким он был в действительности, в развалинах, почувствовал его как свою тяжкую рану, но не испугался, не попытался как-то спастись, только с удивлением отметил, как быстро вокруг сгущаются тени, сливаясь в густой, вязкий мрак. Он знал, что умирает, и не имел времени поверить в собственную смерть...

У каждого человека появляются и исчезают друзья, которым было предназначено оставить в его жизни глубокий след. И когда я вспоминаю своего командарма, который был старше меня, тридцатитрехлетнего, всего на восемь лет, на быстролетное мгновение в сравнении, скажем, с масштабами космоса или истории, мне всегда отрадно от мысли, какую добрую память он успел оставить по себе в сердцах людей. И слова его, которые он часто любил повторять и еще чаще выполнять: «Человека нужно понять и приветить», — стали для меня символом не только его личности, но и человека вообще. Он и минуты не ко-

лебался, посылая мою часть, а значит, и меня в атаку, но никогда не забывал прикрыть огнем, привести в движение все возможные и даже невозможные силы, чтобы нас встретила не смерть, а победа и, следовательно, жизнь. И тем, что я жив и могу написать эту книгу, я обязан ему и уверен, что тысячи и тысячи солдат и офицеров нашей 5-й Ударной армии подписутся под моими словами. Среди них, вполне вероятно, будут не только живые, но и погибшие на войне, это ничего не меняет. И, может, главное то, что к ним присоединились бы многие немцы, которые тоже были обязаны ему своей жизнью, больше того, правом называться людьми. Он погиб случайно, и, когда исследовали факты, это оказалось правдой. От длинной колонны «студебеккеров», которые везли муку в пекарни Берлина, отстали две машины. Шоферы догоняли своих товарищей на большой скорости. Путь впереди был свободен. Регулировщик на перекрестке разрешил им проезд. Взмах его красного флажка Берзарин увидел в последнее мгновение своей жизни, но именно в этот миг глаза его ослепило солнце, светившее над Берлином, каким комендант хотел увидеть его после разговора с Вернером...

Что мне еще сказать о вас, мой дорогой командарм? Ничего больше, только, может, еще раз повторить слова, которые хорошо запомнили все, кто воевал вместе с вами: «Человека нужно понять и приветить». Они странно звучат на войне, но от этого, пожалуй, глубже и надежнее врезаются в память.

Мой командарм погиб случайно, при исполнении служебных обязанностей, и не нужно никого винить в его смерти, но я глубоко убежден, что иначе умереть он просто не мог.

Такие утверждения всегда нужно доказывать, и следствие по делу гибели коменданта Берлина велось тщательно, досконально, но и оно пришло к единственному выводу — случай. Об этом передавали по радио, писали в газетах, но для Марты Ландер мысль о случайности смерти Берзарина была невероятной, более того, нелепой.

Для нее этот день начался и хорошо, и скверно. Примерно около восьми в передней зазвонил телефон, хозяйка позвала Марту. Веселый голос корреспондента английской газеты поздравил ее с удачей: сегодня во второй половине дня на аэродром Шенефельд приземлится самолет, присланный специально за Мартой Ландер, вечером она уже будет в Стокгольме. Корреспондент искренне сожалел, что не сможет проводить актрису, комендант Берзарин в магистрате сегодня собирает архитекторов Берлина. Новость, вне всякого сомнения, сенсационная. Но корреспондент поможет Марте, в два часа он прилетит за ней машину, которая и доставит ее в Шенефельд; если ей будет угодно, она сможет задержаться машину до отбытия самолета.

Корреспондент был внимателен, любезен, почти заискивал.

В награду за все свои хлопоты он просил лишь одного: в Стокгольме первое интервью дать его коллеге по газете. Марта легко согласилась, с удивлением отметив, что сообщение об отъезде не принесло ей радости, на которую она надеялась. Марта была уверена, что эта радость появится, если взять одну из двух ампул, которые лежали в сумочке, надломить тонкую стеклянную горловинку и набрать в шприц прозрачной жидкости. Это, пожалуй, она сделает попозже, одну ампулу — часа через два, другую — перед приземлением в Стокгольме. Тогда Марта Ландер выйдет из самолета в блестящей форме, будет ослепительно красивой и остроумной, а до того, как она почувствует себя завтра утром, кому какое дело... Но все же почему нет радости? Откуда появилось странное недовольство, горький осадок? Она перебирала свои мысли, но источник тревоги досадно ускользал. Что ж, разобратся во всем ей поможет морфий.

Она начала собираться. Впрочем, вещей у нее почти не было, все уместится в двух маленьких чемоданчиках. Один есть, другой возьмет у хозяйки. Массажистка, маленькая, кругленькая, энергичная, одна из тех дам, которые постоянно влюбляются то в известных киноактеров, то в знаменитых теноров, даже руками всплеснула, услышав новость.

— Я так и знала, фрау Марта, что ваша звезда еще вспыхнет новым светом, — зашебетала она. — Разумеется, вы можете взять какой угодно чемодан. Милая фрау Марта, если у вас там, в Швеции, будет потребность в скромной массажистке, вспомните, ради бога, обо мне.

— Я не только вспомню о вас, я вас просто никогда не забуду, — отозвалась Марта. — Если бы не вы и не Берзарин...

Берзарин. Она произнесла это имя и умолкла, словно поперхнулась. Ее странное, непонятное беспокойство сразу определилось, стало отчетливо ясным, как на фотоплёнке. Именно с Берзариним связана ее тревога. С Берзариним и Кемпке. Берзарин хотел убить, и Марта Ландер об этом знает. Если она сегодня, не сказав никому, улетит в Швецию, Кемпке найдет способ исполнить свой замысел.

Что же ей делать? Что может сделать в таком случае честный человек?

Ясно что. Предупредить Берзарина.

Это она уже сделала.

Да, но сделала, как и все, что она делала в жизни, только наполовину: предупредить предупредила, а имени Кемпке не назвала.

Но если бы она его назвала, то первый попавшийся репортершика имел бы право утверждать, что Марта Ландер продана большевикам, потому что выдает им бывших гитлеровских штурмбаннführеров.

Что же делать?

Как можно быстрее очутиться в Швеции, раз и навсегда забыть Берзарина и вообще все эти страхи. А способна ли она забыть об этом? Попробует, ну а если не удастся, то ей поможет морфий.

Она раскрыла сумочку и с нежностью посмотрела на две прозрачные ампулы. А что будет, если однажды утром в шведской газете она прочтает о случайной гибели Берзарина? Это, конечно, будет случайная гибель — Кемпке неглуп и дальновиден. Он все предвидит и собственной шкурой рисковать не захочет. Как тогда почувствует себя Марта?

Подожди, почему ты должна отвечать за его жизнь?

Потому что ты честный человек.

Мысли, описав неширокий круг, возвращались к прежним истокам, чтобы вновь и вновь пройти уже не раз пройденный путь. Марта рассердилась на себя... В конце концов, никто не вправе требовать от нее каких-то поступков.

Да, никто этого права не имеет, но она сама имеет на это право?

Да, имеет, но им не воспользуется. Она предупредила Берзарина, а теперь пусть он сам делает выводы. Кстати, он комендант города, и у него в руках больше чем достаточно власти. Хватит терзать себя! Хватит!

Марта разложила на стульях свои вещи, оглядела их критически и насмешливо, вот уж действительно, с роскошным гардеробом едет в Швецию знаменитая кинозвезда. Взяла электрический уют и вдруг застыла, прислушиваясь...

В последние дни войны берлинцы почти не выключали приемников, это была единственная возможность быть в курсе переменчивых событий. Теперь тревоги войны остались позади, но привычка слушать последние известия и сообщения не забылась. Берлинское радио начало передачи уже давно, еще тринадцатого мая, и с того времени то громкий, то тихий голос репродуктора ни на минуту не умолкал в домике массажистки. Вот и теперь он говорил что-то тихо и размеренно, но в передаче слышалось знакомое имя Берзарина, и Марта насторожилась. Что передавали, она не поняла, но интуитивно встревожилась, вышла из своей комнаты, распахнула дверь в столовую и увидела застывшее от ужаса лицо массажистки.

— Что с вами?

Массажистка молча показала пальцем на коричневый, с белыми концентрическими кругами освещенной шкалы, «телефункен».

— Что случилось? Опять война?

— Нет, — наконец опомнилась массажистка, — мы пропали!

— Почему?

— Погиб Берзарин... Комендант города. Теперь мы все пропали. Они наверняка скажут, что его убили мы, и уничтожат

всех берлинцев. Так всегда делали. Помните, наци подожгли рейхстаг, а обвинили коммунистов и начали их расстреливать. Это называется политикой. Мы в оккупированных странах тоже не однажды так поступали. Мы пропали, фрау Марта, нужно бежать... И немедленно...

— Его убили или...

— Не знаю. По радио объявили, будто бы в результате катастрофы...

Марта Ландер крепко и сильно провела ладонями по голове, от лба к затылку, словно отжала влажные волосы.

Кемпке именно так и должен был действовать, осторожно, осмотрительно, без промаха...

Быстро, стараясь не встречаться взглядом с массажисткой, вернулась в свою комнату, окинула глазами разбросанные вещи... Обессиленно опустилась на стул, не зная, что делать, куда себя деть.

В конце концов, какое ей дело до жизни и смерти генерала Берзарина? Он же не маленький ребенок, которого надо оберегать, а комендант Берлина, генерал, наделенный неограниченной властью, мог себя защитить. Сам об этом говорил...

И что она может сделать теперь?

Ничего. Сложить вещи, подождать, пока подойдет машина, поехать на аэродром Шенефельд, сесть в самолет и оказаться в Швеции. Разговоры массажистки об уничтожении немцев — это, конечно, глупая паника...

Решила действовать и не сдвинулась с места.

Смерть Берзарина ударила ее сильнее, чем можно было бы предположить.

Почему, почему, спрашивала она себя, не находя ответа. Почему она не может взять и уехать из Берлина, забыв раз и навсегда и Берзарина, и Кемпке, и капитана Котова.

Разве она не может так поступить? Оказывается, не может. Вот так уехать, ничего не сделав, не попытавшись хотя бы что-то предпринять, — в таком случае она перестала бы уважать себя, считать порядочным человеком.

Что же ей делать?

Неизвестно, поделать что-то надо, иначе она просто сойдет с ума. Взгляд ее упал на коричневую кожаную сумочку: там морфий, две ампулы! Вот и спасение от всех тревог и сомнений...

Поспешно достала ампулы, шприц и вдруг неожиданно для себя положила все обратно, на обшитое красным шелком дно сумочки. Нет, морфий сейчас не поможет. Успокоение, которое принес бы морфий, показалось вдруг оскорбительным и недостойным. Закрыла сумочку без сожаления, замочек щелкнул металлически звонко. Сама еще не зная, она с этой минуты навсегда распрощалась с морфием, вышла из-под его черной

власти и потом никогда в жизни не вспоминала об этом унижающем человеческое достоинство забытии.

Ей нужно было подумать и решить. Что? Если бы было можно посоветоваться с опытным и добрым другом! Такого друга у нее уже нет. Значит, все решить должна только она одна. Ну что ж, если нужно, она решит.

Но что? В конце концов, от нее никто ничего не требует. За деятельность Кемпке она не отвечает.

А за смерть Берзарина?

Еще меньше. Она могла бы улететь из Берлина вчера, не услышав, не узнав о случившемся несчастье. Так чего же она терзается, почему мучает себя сомнениями...

Конечно, проще всего было бы пойти в комендатуру и сказать: «Я знала, что Кемпке хотел убить Берзарина». Но этот путь — не для нее. Она никогда никого не предавала, даже своих врагов. Она — актриса, и этим сказано все. В газетах писали, что талантливая, гениальная актриса. Многое, если быть откровенной, писалось для красного словца, но многое было правдой. Да, это так: талант и злодейство — несовместны. Она не способна на измену, обыкновенный гаденький донос.

Выходит, она так и улетит в Стокгольм, сделав вид или, вернее, убедив себя в том, что смерть Берзарина ее не касается? К чему же тогда разговоры о порядочности, о честности, о таланте? К чему гордость, сознание своей незаурядности? О, она любила тешить себя этими громкими словами! Что же, на поверку выходит, все это пустота, мыльный пузырь, который лопнул, не оставив после себя и следа — одни вошючие брызги?

Что же делать?

Проклятый вопрос! Заладила одно и то же, словно хочет успокоить себя, что не знает, не догадывается, как на него ответить. Перед собой-то зачем лукавить? Ну?

Актриса подумала об этом и замерла, словно окаменела над раскрытым чемоданом. Да, она знала и знает ответ на этот проклятый вопрос, только трусит, не решится себе в том признаться. Она ходила и ходила вокруг да около, кружила и кружила возле этого жуткого ответа, пока эти круги не сузились, не сошлись в одной точке, беспощадной, как дуло пистолета.

Хватит ли у нее сил?

Должно хватить, иначе она — не Марта Ландер. Настала минута, когда нужно самой себе доказать, какая ты актриса и — больше того — какой ты человек.

Она вдруг резко поднялась со стула, склонилась над чемоданом, распахнутая крышка которого напоминала пасть голодного зверя, аккуратно сложила свои вещи.

Приглушенные рыдания доносились из соседней комнаты, это массажистка все еще билась в истерику, страшась расплаты за смерть Берзарина.

Марта вошла в столовую, и на лице ее было столько спокойствия и уверенности, что всхлипывания хозяйки мгновенно прекратились.

— Не волнуйтесь, — сказала она. — Никто вас не будет преследовать и тем более карать за смерть Берзарина.

— Вы в этом уверены? — вытирая кулачками слезы, спросила массажистка.

— Да, уверена. За мной должна прибыть машина. Посмотрите, пожалуйста, не стоит ли она у калитки.

Удивленная не словами Марты, а ее тоном — властным, спокойным, — массажистка вышла и тут же вернулась.

— Машина ждет, — снова обретая спокойствие, сказала она, с непривычным вниманием всматриваясь в Марту: как-то странно та изменилась... Спокойна или, наоборот, вся напряжена до предела? — Вы сейчас уезжаете?

— Еще не знаю. Позвоню на аэродром Шенефельд.

Прошло немало времени, пока она отыскала нужный номер телефона, убедилась, что самолет, присланный за ней, действительно приземлился и по расписанию должен будет улететь в двадцать один час.

— Было бы хорошо, если бы вы не очень задерживали самолет, фрау Ландер, — сказал советский дежурный по аэродрому. — Изменение расписания требует согласования с разными службами...

— Я не опоздаю. Спасибо, — ответила Марта и положила на рычажок телефонную трубку. — Вот и все, — сказала она. — Теперь осталось сделать кое-какие последние, небольшие дела, и с Берлином можно будет прощаться.

— Навсегда? — спросила массажистка, и Марте показалось, что та сейчас снова зальется горькими слезами.

— Возможно, и навсегда.

— Какая потеря для немецкой культуры! — еще мгновение, и хозяйка наверняка зарыдает.

— Не думаю, — ответила Марта. — Никто пока не знает, какой она будет, будущая немецкая культура.

— Они знают, — массажистка со страхом и любопытством взглянула в окно, словно увидела там людей, которые придут к власти в Германии.

— Они, может, и знают, — не улыбулась Марта. — Я очень благодарна вам за гостеприимство. Вы были моим настоящим спасением. Если бы не ваша забота, я бы погибла. Буду счастлива, если мне удастся отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.

— Когда вы устроитесь там, в Швеции, вызовите меня. Моя специальность нужна всюду.

— Трудно сейчас обещать, но я подумаю об этом. До Швеции еще надо долететь.

— Неужели у вас могут возникнуть осложнения?
— Кто знает... в наше время нет ничего абсолютного.
— Фрау Марта, простите...
— Пожалуйста.
— Вы действительно летите в Швецию?
— Конечно. Вы сомневаетесь? Самолет уже ждет.
— Я слышала об этом... Только мне показалось, что сомневаетесь на этот раз вы...

— У меня нет сомнений. Правда, перед тем как улететь, мне необходимо уладить одно маленькое личное дело...

— Связанное с Берзарипым? — неожиданно, проявив женскую интуицию, спросила массажистка.

— Да, с Берзарипым, — медленно ответила Марта, и лицо ее потемнело.

— Вы очень любили его? — вновь неожиданно прозвучал вопрос.

— Нет, я стара для того, чтобы влюбляться... Простите, мне пора ехать...

— Будьте осторожны, будьте очень осторожны, фрау Марта, — массажистка, сложив молитвенно ладони, прижала их к груди. — Умоляю вас.

— Я буду осторожна, не беспокойтесь, — сказала Марта, поражаясь силе женского предчувствия. — Мне не угрожает опасность.

— Поберегитесь!

Марта вернулась в свою комнату, еще раз перебрала вещи, оказалось, что, если кое-что из них оставить, можно обойтись одним чемоданом. Потом взяла сумочку, щелкнув замком, открыла. Пудреница, губная помада, платок, паспорт, блокнот, шприц в металлической коробочке, две ампулы морфия, маленький пистолет — не так уж мало для дамской сумочки. Шприц и морфий нужно выбросить. Откуда взялась такая уверенность? Странно... Но она есть, живет в душе. Марта щелкнула замком сумочки, теперь она стала легче...

— Если у вас есть знакомые морфинисты, — сказала она, вновь входя в столовую, — сделайте им подарок, они вам будут благодарны.

Массажистка промолчала, не сводя испуганных глаз с Марты.

— Прощайте, — поклонилась актриса.

— Всего хорошего и доброго пути.

Хозяйка проводила Марту до машины, проследила, как шофер, здоровенный рыжий ирландец в английской униформе, положил чемодан в выпуклый, напоминавший зад павиана багажник «мерседеса», захлопнул крышку и распахнул дверцу перед актрисой.

— Мы едем на аэродром Шенефельд, но прежде заглянем в Лихтенберг, это ведь по дороге, — сказала шоферу Марта.

Шофер молча, соглашаясь, коснулся вытянутыми пальцами своего мягкого зелено-коричневого берета, и машина тронулась с места.

Марта, откинувшись, сидела на упругих кожаных подушках, смотрела в боковое окно на развалины, которые когда-то были улицами, и вдруг отшатнулась. Огромная афиша, занимавшая почти всю стену, возникла перед глазами. Красивая молодая девушка лежала у пулемета. Всадник на вздыбленном коне, черная папаха заломлена на затылок, сабля вскинута над головой. Марте показалось, что она расслышала, как та звенит на ветру... «Чапаев», — с трудом составляя немецкие буквы, прошептала актриса.

Шофер взглянул вопросительно.

— Этот фильм я видела, — сказала актриса.

Ирландец молча кивнул. Разговаривать с пассажирами не входило в его обязанности. Улицы пошли хорошо знакомые. Слева сожженный рейхстаг, прямо впереди Бранденбургские ворота, направо за руинами «Адлонотель», рейхсканцелярия.

Теперь все внимание ее сосредоточилось на небольшом особнячке в Лихтенберге, где она бывала часто, а сегодня должна заглянуть в последний раз.

Капитан Котов умный человек?

Непонятно, почему возник этот вопрос, но ответ на него был небезразличен для Марты.

Она издала увидела двухэтажный дом, отделенный от улицы невысоким подстриженным кустарником, и прижала к груди свою маленькую сумочку. Странно, в душе такое чувство, что вот сейчас, через несколько минут, ей предстоит выйти на сцену и сыграть серьезную, может, свою последнюю роль в жизни. Но сейчас это будет не сцена, и играть ей придется не роль из пьесы, сюжет который определен драматургом. Это будет сама жизнь. Пожалуй, так и лучше... И волнения не сдержат, и сердце бьется толчками где-то у самого горла, мешая дыханию.

А там за столом собрались давно знакомые друг другу люди, медленно, печально текла беседа, спотыкаясь на каждом шагу, как больной человек; все хотели высказать свою боль, свои страхи.

— Говорят, что умер он сразу, — уже в который раз возвращаясь к этому, сказала Розамунда Флазер, и профессор Зоненбах, имеющий надежную информацию от знакомых врачей, авторитетно ответил:

— Да, смерть наступила мгновенно...

— Ах, какая утрата, какая утрата! — не забывая орудовать пожом и вилкой, проговорил встревоженный Альберт Кемпке. — Ведь никто не знает, какотреагирует на смерть Берзарина со-

ветская власть... Хорошо, что никто не говорит, будто это террористический акт.

— Черт знает что! — гневно воскликнул Гапс Флазер. — Не могли поставить регулировщика.

— Был регулировщик, — тихо сказал капитан Котов. — И даже просигналил генералу остановиться, потому что шли грузовые машины.

— Возможно, его ослепило солнце? — осторожно заметил Кемпке.

— Возможно, конечно... Автомобильные катастрофы случаются часто.

В столовой некоторое время держалась напряженная тишина. Всем казалось, что еще минута — и случится новое несчастье. Солнце за окнами коснулось крыш соседних домов, верхушек деревьев, отбросив на землю их удлинненные мирные тени. В палисаднике расцвела посаженная Таней ночная фиалка — маттиола, в распахнутое окно долетел ее едва уловимый нежный аромат, к ночи он наберет силу, станет резким.

— Я уверена, это не случайность, его убили! Да, да, — вдруг, не выдержав напряжения тишины, выкрикнула Розамунда Флазер. — Я уверена, что это гадкое преступление организовали гитлеровские собаки, которые многие годы травили моего мужа и меня, им-то Берзарин и встал поперек горла.

— Мне кажется, ффрау Флазер, — сказал Котов, — не стоит обвинять немцев в том, в чем они не виноваты. У них на совести и без того немало грехов.

— Совершенно справедливо, — отозвался Вангель, он сидел в кресле, в стороне от застолья, лицо бледное, в резких морщинах, взгляд печальный, и мысли его были тяжелыми и сумрачными, как серые валуны на берегу Балтийского холодного моря, — но разобраться в этом деле еще придется.

— Специалисты уже разобрались... Во всяком случае, предварительное следствие закончилось, — сказал капитан Котов, протягивая Кемпке стакан чая. — Может быть, кто-нибудь еще хочет?

— К чертовой матери ваш чай, — вдруг выругался Флазер. — Чай! Чай! Мне сейчас напиться впору, как тому боцману... Или повеситься, тоже было бы недурно...

— Не говорите глупости, Флазер, — резко бросил Вангель.

— Он у меня всегда такой, взрывается, как порох, — влюбленно пропела Розамунда.

— А ординарец его жив? — деловито осведомился Кемпке.

— Да, жив, но сильно покалечен. В последнюю минуту Берзарин успел свернуть мотоцикл. Удар обрушился прямо на него.

Вангель встал, прошелся по столовой, потом остановился, горестно всплеснул руками, переплетя пальцы, сжал их так, что

они побелели, и, сам понимая бессмысленность собственных слов, спросил:

— Профессор, неужели настолько бессильна наша медицина, неужели ничего нельзя было сделать, помочь как-то?..

— Врачи — не боги, — сердито ответил Зоненбах.

— Значит, это обычная автомобильная катастрофа, не больше? — переспросил, стараясь все выяснить до конца, Альберт Кемпке.

— Да, — скупно обронил Котов, понимая, что на этот вопрос ответить должен он.

— И это доказано? — упорно допытывался Кемпке.

— Да, доказано. Почему вас интересует именно эта сторона дела?

— Не скрою причины. История знала немало примеров, когда подобные случаи использовались как повод для репрессий...

— Вы имеете в виду историю гитлеровского рейха?

На длинной шее доктора резко дернулся кадык, словно Кемпке, подавившись, с трудом проглотил застрявший в горле комок, но нервы не сдали, голос остался по-прежнему спокойным.

— Не только гитлеровского рейха, история Франции, и далеко не одной Франции, знает немало подобных примеров.

Котов бросил на доктора внимательный взгляд: от генерала Бокова капитана предупредили, кто такой доктор Кемпке, которого профессор Зоненбах вызволил из лагеря военнопленных. И теперь писателю Котову было небезынтересно наблюдать поведение, следить за ходом мыслей этого доктора-палача, на совести которого были тысячи человеческих смертей. Капитан Котов знал, что Кемпке, если уж стало известно его доподлинное лицо, не удастся сбежать. Враг был рядом, сидел за одним столом, только что принял из его, капитана Котова, рук стакан с чаем, спрашивал, рассуждал, и все это спокойно, без тени волнения или тревоги, а сам в это время думал о чем-то другом, что-то прикидывал, к чему-то примеривался... Да, наблюдать за ним было бы интересно, если бы не это горе, если бы не смерть генерала Берзарина, к которой Кемпке, конечно, не имел никакого отношения, но которой желал всеми силами своей души. Сознание непоправимости случившегося несчастья, горечь, сжимавшая сердце, затуманивали этот обычный писательский интерес, отодвигали в сторону, до других времен, и разгадку характера Кемпке, и решение его судьбы, и потому Котов сказал:

— Да, история знала подобные примеры, и ближайший из них — поджог гитлеровцами рейхстага для расправы над коммунистами. Примеров можно привести множество, но все они будут иллюстрацией действий сил капиталистических, роялистских или феодальных, мы же Советское государство, и потому

горестная для всех нас, но все-таки случайная смерть генерала Берзарина не повлечет за собой никаких репрессий.

— А я все-таки уверена, что его убили, — снова заявила Розамунда.

— У вас есть какие-нибудь доказательства? — спросил Котов.

— Нет, доказательств никаких, одна уверенность, что его убили...

— Ну что ты мелешь глупости, — сердито перебил жену Флазер.

— Видите ли, фрау Розамунда, — раздумчиво сказал Котов, — я понимаю ваши чувства, но одних чувств мало для такого утверждения.

— Ведь оккупационная власть наверняка кого-то уже арестовала? — стояла на своем Розамунда. — И кого-то обязательно будут судить?

— Нет, — сказал Котов, — случай разбирали наши, а вместе с ними и немецкие специалисты по расследованию автомобильных катастроф, среди них были и криминалисты...

— И никого не арестовали? — все еще не сдавалась Розамунда.

— Никого.

— У меня такое впечатление, будто вам очень не хочется, чтобы в этой смерти были повинны немцы, — хмуро заметил Флазер.

— Если хотите знать, то да. Мне было бы очень горько убедиться в том, что берлинцы, для которых генерал Берзарин сделал так много...

— Это могли сделать и не берлинцы.

— Ну, все равно немцы...

Двери в столовую распахнулись, и Марта Ландер остановилась на пороге. Появление ее было столь неожиданным, что Розамунда испуганно отпрянула, прижавшись плечом к мужу.

— Здравствуйте, — сказала Марта, но почему-то никто не отозвался.

Все смотрели на бледное, будто нарисованное резкими штрихами лицо актрисы, ее слегка подкрашенные губы тронула легкая улыбка, не коснувшись спокойных печальных глаз.

«Она знает, чего хочет, что будет делать, и оттого в душе ее покой», — неприязненно подумал Котов и в принципе не ошибся. В сердце Марты и в самом деле было холодное спокойствие, которое появляется тогда, когда человеку абсолютно безразлично, что будет с ним самим, а важно лишь одно — исполнение цели, которую он сам определил себе. Котов не мог знать намерений Марты, но лицо ее, та холодная сосредоточенность, которая, несмотря на насмешливо улыбающиеся губы,

проступала в каждой черточке, поразила капитана, и он настояжился, предчувствуя недоброе.

— Вы так на меня смотрите, будто я заявила с того света,— усмехнувшись, сказала Марта.

— Простите, фрау Ландер,— любезно сказал Котов, пододвигая кресло,— здравствуйте. Мы все хотим вас видеть... Но я удивился, думал, вы уже уехали...

— Не попрощавшись? — спросила Марта, обведя взглядом всех присутствующих. — Нет, Володя, неправда, вы этого не думали.

На Кемпке появление Марты не произвело большого впечатления, да и актриса не выделила его из числа присутствующих.

— Я не могла уехать, не попрощавшись.

— Простите великодушно,— сказал Котов,— я право, не думал этого. Просто сейчас нелегко логически связно мыслить... День такой тяжкий.

И, произнеся эти слова, он подумал: «Странно, почему Марта ни словом не обмолвилась о Берзарине, о его гибели... Неужели ее личная судьба, самолет из Швеции, эта кажущаяся удача заслонили все на свете, и даже это наше горе?» Он не успел ответить на свой вопрос, потому что актриса, сияя улыбкой, проговорила:

— Да, день тяжелый, очень тяжелый. Но жизнь на нем не остановилась, жизнь продолжается, и неизвестно, кто вынет завтра черную карту, а кто красную. Через час я улетаю в Швецию. С аэродрома Шенефельд. Шведы все-таки прислали самолет: как ни странно, но, оказывается, друзья меня не забыли. Прошу прощения, господа, но мне нужен на одну минуту доктор Кемике, поговорить с ним перед отъездом. Если вы не возражаете...

— Пожалуйста,— ответил Котов и отвернулся, словно ему нанесли личную обиду. Окинув взглядом сидящих за столом, он заметил, что и они удивлены и разочарованы: лица их выражали недоумение и откровенную брезгливость. Вангель, потупившись, внимательно разглядывал вилку, а Флазер, демонстративно встав из-за стола, отошел к окну. Кемпке поднялся навстречу Марте, приветливо улыбаясь. «Отлично понимаю, моя разлюбленная,— подумал он,— что привело тебя сюда. Ты хочешь морфий, и ты его получишь, потому что в такой день, когда нервы у всех напряжены до предела, неразумно парываться на скандал. А от тебя всего можно ожидать... Но ты дорого заплатишь за это удовольствие, разумеется, не сегодня...» Марта вместе с Кемпке отошли в уютный, увитый комнатными цветами уголок столовой, рядом распахнутое окно глядело в зеленый, по-весеннему свежий сад.

Котов посмотрел им вслед и, ожесточаясь, подумал: «Сейчас она примется клянить у него морфий, через полчаса

уедет, но и там, в Швеции, найдется новый Кемпке, так и будет бежать от ампулы к ампуле, как белка в колесе, пока не разорвется сердце. Этого Кемпке мы сегодня обязательно обезвредим, сколько их еще ходит по белому свету?..»

Капитан был бы поражен, если бы сейчас услышал Марту. Она спросила тихо, почти шепотом:

— Как вы осмелились на это, штурмбаннфюрер эсэс Альберт Кемпке?

Вопрос, сказанный шепотом, прозвучал для Кемпке как удар грома. Испуганно оглянувшись, он умоляюще попросил:

— Ради бога, тише. Я не понимаю, о чем вы говорите.

— О Берзарине. И не смейте делать вид, что вы к его смерти не имеете никакого отношения.

— Клянусь, так оно и есть. Никакого отношения! Это все вам подтвердят... Спросите хотя бы капитана... Дело расследовали авторитетные специалисты... Они вынесли решение — несчастный случай... Об этом все знают.

— Мне нет необходимости спрашивать, — сказала Марта. — Я все знаю сама, штурмбаннфюрер...

— А что касается моего звания в прошлом, то неужели вы опустили настолько, что донесете на меня... Через два дня я исчезну отсюда навсегда. Все уже организовано... В Мюнхене меня ждут. Вы не выдадите меня...

— Я хорошо помню, — продолжала Марта, словно и не слышала испуганного лепета Кемпке, — хорошо помню, как вы говорили о целях, достойных пули. Цель номер один — Берзарин, цель номер два — Зоненбах, цель номер три — я сама...

— Марта, неужели вы не понимаете, что это была шутка, обыкновенная, может не очень удачная, но шутка. Уверяю вас!

— Шутка? А Берзарина уже нет. Кто будет следующий? Зоненбах или я?

— Повторяю, я не имею к этому никакого отношения.

— Но вы этого очень хотели, штурмбаннфюрер.

Марта громко произнесла эти слова, их, при желании, могли расслышать в комнате. И тогда... Кемпке схватил Марту за руку.

— Ради бога, тише, Марта, — прошептал он. — Вы угрожаете мне, а я люблю вас, — он нащупал в кармане коробочку с ампулами морфия, они выручали его не однажды. — Люблю и заботиться о вас. Приготовил целую упаковку ампул. Двадцать штук. Это же целое состояние по нынешним временам, а я отдаю вам...

Почему Марта никак не откликнулась на его слова? Будто и не слышала. Неужели случилось то, чего он больше всего боялся, — она вышла из-под его власти и такое может натво-

рить... Кемпке пожалел, что не положил в карман пистолет, в Берлине, где на каждом шагу тебя может остановить патруль, проверить документы, подвергнуть обыску, носить оружие небезопасно. А сейчас отличный, надежный «вальтер» так был бы кстати. Неизвестно, что еще выкинет Марта, и как ему выйти из этого дома, где собралось столько неуравновешенных людей?.. Во всяком случае, здесь, в столовой, даже за густой стеной араукарий, продолжать разговор невозможно, хотя сидящим за столом вроде бы нет до них никакого дела.

— Мне кажется, Марта, — с нажимом сказал Кемпке, — что продолжать наш разговор здесь неудобно. Давайте выйдем в садик.

— Хорошо, выйдем в садик, — взяв со стола свою сумочку, согласилась Марта. — Вы правы, здесь разговаривать неловко. — И, выходя из затемненного эркера, добавила, обращаясь ко всем: — Мы немного пройдемся.

— Пожалуйста, — пожал плечами капитан. На душе было тягостно и тревожно. Трудный, самый горестный день в его, капитана Котова, жизни. Конечно, он видел много смертей, гибели товарищи, друзья, но они умирали в бою, на фронте, а смерть генерала Берзарина, дожившего до победы, командарма, героя, смерть среди бела дня, на улице мирного побежденного Берлина, — самая невероятная, нелепая, до ужаса обидная смерть. Вот потому и тревога, которая нарастает и нарастает в груди. А может, не только от этого? Кемпке! Марта пошла с ним в садик. Ну и что? Не пускать ее было бы просто смешно. Какое он имеет основание и право? Да и способ взять у Кемпке морфий она всегда найдет. Так что сиди и не волнуйся.

Все, кто был за столом, невольно проследили, как Кемпке, любезно пропустив вперед актрису, аккуратно закрыл за собой дверь-окно, которая вела из столовой в сад. Движения его были медленно-спокойными, неторопливыми.

— Все-таки жаль, что она уезжает, — после того как закрылась дверь, откровенно вздохнул Зоненбах, так же, как и Котов, убежденный, что Марта спустилась в сад с Кемпке только для того, чтобы взять у него морфий. — Очень жаль.

— Да, — согласился Вангель, — я бы хотел увидеть ее когда-нибудь на берлинской сцене...

— Конечно, — сказал Флазер, — имя ее громкое, но...

Все поняли, на что он намекал, и возражать не стали, а Флазер хотел было заметить, что и он, пожалуй только, мог бы уехать из Берлина, и в этом не было никакого преувеличения, но подумал, что, сказав так, он поставил бы себя на одну доску с Мартой, морфинисткой, поморщился и промолчал.

— А теперь, после смерти Берзарина, — неожиданно изменила направление разговора Розамунда Флазер, — нам можно будет приходить к вам в гости?

Она спросила это, так откровенно связывая гостеприимство Котова с именем Берзарина, что капитан невольно улыбнулся.

— Конечно,— сказал он,— я всегда буду рад вас видеть. Со временем, конечно, мои возможности несколько ограничатся...

— Склад трофейного продовольствия понемногу истощается? — насмешливо покосился на него Флазер.

— Конечно, как и всякий склад, он же не бездонный.

— Во всяком случае,— заявил писатель,— я никогда не забуду вечеров, которые мы провели в вашем доме. И дело здесь не только в еде, хотя и это для нас было жизненно важным, не будем скрывать, а в моральной поддержке. И совершенно очевидно, что в будущем наши отношения будут базироваться на общности ресурсов. Я, например, всегда буду приносить с собой фляжку. Вот никогда не думал, что смерть Берзарина станет для меня личным горем!

— Пожалуйста, приносите,— согласился Котов, не очень задумываясь над словами Флазера, все его внимание было обращено туда, в садик, в котором сейчас находились Марта и Кемпке. Главные события произойдут там, капитан чувствовал это безошибочно.

Но в садике было тихо, как ни прислушивался капитан; лишь теплый июньский ветер пробежал по молодым листьям, весело переговариваясь с ними, играл с макушками деревьев, и этот мирный, ласковый шум, словно ватным одеялом, укутывал все звуки, которые долетали сюда, в столовую, приглушал и умиротворял их.

И вдруг в кухне что-то грохнуло.

— Стреляют? — воскликнул Вангель.

— Нет,— ответил Котов,— просто Таня разбила очередную тарелку. Если не ошибаюсь, сегодня это четвертая. Ее можно понять, ординарец генерала Берзарина — ее жених.

— Но он-то жив?

— Жив, но состояние его тяжелое.

— О, она еще прекрасно держится,— сказала Розамунда,— если бы что-либо подобное случилось со мной, я бы вообще не поднялась с постели.

— А мне показалось, что это похоже на выхлоп автомобиля,— заметил Вангель.

— Господа, нервы у нас так напряжены, что хлопок в ладоши легко примем за выстрел,— пожаловалась Розамунда.— Ганс, нам, может, пойти домой, у меня есть фляжечка разведенного спирта. Сегодня напиться так, чтобы звезды из глаз посыпались,— лучшее, что нам осталось...

— Именно сегодня пить нельзя,— ответил Флазер, внимательно всматриваясь в Котова.— Сегодня не мешает лишний раз

подумать. Я, например, абсолютно спокоен. А выпить твой спирт мы успеем и завтра. Кстати, где ты его взяла?

— Вчера к нам завернули трое солдат и офицер, попросили разрешения разогреть обед. Я, конечно, разрешила. Что в этом плохого?

Флазер мельком взглянул на свою супругу и спросил:

— Те же самые?

— О нет, нет, другие,— возразила Розамунда.— Вежливые, добрые, отлично выбритые, ведь война уже давно окончилась. На прощание они оставили мне эту фляжку...

— О господи,— сказал Флазер, всматриваясь в лицо Котова. Дорого бы дал писатель, чтобы прочесть мысли капитана. И ему очень захотелось выйти в садик...

Капитан Котов тоже сдерживал себя, чтобы не сорваться с места и не броситься на помощь Марте Ландер, он был уверен — она в ней нуждалась. Хотя бы Таня вошла со своим чаем, будь он неладец, тогда бы возник повод выйти, позвать... А тут еще этот пристальный взгляд Флазера, под которым отчего-то чувствуешь себя неуютно. Казалось, все, что в эту минуту происходило в доме и в саду, писатель понимал больше и лучше других и словно безмолвно спрашивал капитана: «Ну, что же мы сейчас будем делать, вмешаемся или дадим событиям развиваться своим путем?»

Этот же вопрос задавал себе и капитан. Больше всего в жизни он не любил оказываться в положении офицера, лишенного разведки, а следовательно, понимания обстановки и возможности принять верное решение. Правда, он знал больше других, потому что получил исчерпывающую информацию о Кемпке, приказ не трогать его до отлета Марты Ландер, и отлично понимал, какой трудный, может, самый сложный в своей жизни экзаме́н держит сейчас она — испытание характера, воли, чести,— и потому заставлял себя спокойно сидеть, пить чай и даже выдерживать пытливые, умные взгляды Флазера. Ему казалось, что в столовой в конце концов должно произойти что-то чрезвычайное: прогреметь взрыв, обрушиться потолок, упасть и рассыпаться в прах стены, но ничего подобного не случилось. Просто скрипнула высокая дверь-окно, которая выходила в сад, и Марта Ландер появилась на пороге. Такой красивой Котов еще никогда ее не видел. Огромное нервное напряжение преобразило лицо актрисы, словно осветив его каким-то внутренним светом, а усилие сдерживать его придавало каждому ее жесту и слову особую значительность и торжественность.

«Слава богу, ничего страшного не произошло»,— подумал Котов и сразу понял, что ошибся, потому что Марта заговорила, и голос ее прозвучал, как со сцены, размеренно и отчетливо, словно актриса произносила заранее написанный и отрепетированный текст.

— Простите, — сказала она, — мне кажется, нас всех ожидает неприятный сюрприз: господину Кемпке стало худо. Уезжая, я от всего сердца желаю вам счастья. Возможно, когда-нибудь приеду посмотреть на Берлин. — Оглянулась вокруг, словно не понимая, где находится, и совсем другим тоном добавила: — Странно, как за одну минуту все изменилось.

Еще никто не успел понять значения ее слов, как в столовую ворвалась Таня и крикнула:

— В саду немец застрелился!

У Тани сегодня был до отчаяния трудный день. К Ляхову в госпиталь она прибежала через час после катастрофы, но генерал Боков лично заверил ее, что сержант будет живым и здоровым. Не верить этому Таня не имела никаких оснований... И все-таки успокоение не приходило.

— Что же теперь делать? — только и спросила она тогда.

— Идти на свое рабочее место и нести службу, — ответил почерневший от горя и потрясения Боков. — Что бы ни случилось, мы, военные люди, должны нести свою службу.

Таня вернулась в дом Котова, но перед тем договорилась со старшей сестрой госпиталя, что будет звонить каждые два часа, и стрелка казалась ей просто приклеенной к белому эмалированному циферблату кухонных часов, так медленно она двигалась. Сестра отвечала любезно: «Пришел в себя, сделали переливание крови, температура немного подскочила, но это вполне естественно. Ногу, перелом обычный, несложный, положили в гипс. Сотрясение мозга, по всей вероятности, серьезное, но жизни не угрожает, потому что так называемые «мозговые явления» незначительны. Если завтра будет все нормально, вас пустят к раненому».

Казалось, что вроде бы все обстояло неплохо, могло быть куда хуже, но чувство надвигающейся новой беды не проходило. Думать о Берзарине было ошеломляюще больно. Поразительно, они рядом прошли всю войну, дважды лежали в неглубоком окопе, спасаясь от огневого налета. И всегда казалось, что он бессмертен.

Но работа оставалась работой, и, хотя Таня была глубоко уверена, что катастрофу подстроили недобитые фашисты, которые ненавидели коменданта, приказ генерала даже после его смерти оставался приказом, — и, чтобы забыться, прогнать ненужные страшные мысли, девушка работала как одержимая, мыла, скоблила, чистила, варила, пекла.

Она стояла у кухонного окна, разрезая ломтики хлеба для бутербродов, когда вдруг в саду, уже по-вечернему сумеречном, сверкнула искра, в легкий шум потревоженного свежим вечерним ветром сада ворвался глуховатый звук, словно хлопок в ладоши. Таня выбежала в сад, охваченная предчувствием, и увидела распростертого на земле Кемпке, большое кровавое

пятно расплывалось на груди, судорожно дергалась левая нога в военном сапоге под длинной гражданской брючиной, маленький пистолет, который, очевидно, выпал из его руки, валялся рядом, и, не оглянувшись, даже не посмотрев на Марту Ландер, которая в эту минуту закрывала за собой стеклянную дверь, ведущую в столовую, бросилась через кухню с отчаянным криком:

— В саду немец застрелился!

Лицо Тани было мертвенно-бледным, и темный, чуть заметный пушок на верхней губе в эту минуту стал отчетливым, словно нарисованным. Котов взглянул на Таню, потом на Марту, актриса выглядела так, будто ничего особенного не произошло.

— Что, что? — переспросил насторожившийся Флазер.

— Немец застрелился! — кричала Таня, указывая на кресло, где несколько минут назад сидел Кемпке.

«Спокойно, спокойно, спокойно, — мысленно приказывал себе Володя Котов, хорошо понимая, как трудно выполнить свой собственный приказ. — Не спеши говорить, двигаться, делать выводы. И вообще не торопись. Пусть говорят другие!»

— Успокойтесь, господа, — размеренно и значительно сказала Марта, — у штурмбаннфюрера эсэс Альберта Кемпке были все основания поступить именно так.

Зоненбах, словно пулей сраженный, откинулся в своем кресле, глаза округлились, лицо медленно наливалось краской гнева.

— Какого штурмбаннфюрера? Что за брехня! Кемпке выдающийся нейрохирург! Это подлая клевета, и от вас, фрау Ландер, я этого не ожидал.

— Просто вы не все знали о нем, профессор, — сказала Марта. — Альберт Кемпке производил опыты на человеческом мозге в специальных лабораториях Заксенхаузена. Я знала об этом, сказала ему, что не буду молчать, и он... застрелился. У него не было выбора.

Она развела руками, как человек, у которого и в самом деле не было другого выхода, если бы она оказалась на месте Кемпке. Маленькую паузу перед словом «застрелился» заметил только капитан, который все понял, однако приказал себе: «Не спеши, не торопись, не мешай ей».

— Может, он еще жив, может, нужна помощь? — выбежал в сад Зоненбах.

— Нет, он мертв, — уверенно сказала Марта.

— У него еще дергалась нога, когда я подбежала, — заговорила Таня. — Товарищ капитан, почему вы молчите? Нужно же что-то делать...

— Вот профессор и сделает, — ответил капитан Котов.

— Вы так спокойно говорите...

— А криком поможешь? Позвони в комендатуру, скажи, что у нас случилось самоубийство. Только говори спокойно...

Это уже была программа действий, а не только проявление эмоций. Таня бросилась из столовой в переднюю, где стоял телефон, и сразу же оттуда донесся ее встревоженный голосок.

— Не нужна ли господину профессору наша помощь, — сказал Вангель, внимательно взглянув на каменно застывшее лицо Марты Ландер. — Пойдемте?

— Нет, нет! — испуганно возразила Розамунда. — Я ужасно боюсь мертвых... Это страшно... мертвый человек... Совсем рядом...

— Бояться надо живых, а не мертвых, — сказал Вангель.

Ганс Флазер патетически всплеснул руками:

— Подумаешь, событие! Застрелился еще один эсэсовец. Их еще много будет стреляться, так из-за каждого я должен трепать свои нервы? Но если вам так хочется, я могу пойти. Даже поучительно взглянуть, как стреляются эсэсовцы...

Флазер направился к дверям, и Розамунда вцепилась в его рукав:

— Я тоже пойду... Это же невероятно интересно.

Они вышли, и в столовой остались только Марта Ландер, которая по-прежнему стояла, опираясь рукой о спинку стула, и капитан Котов. Он внимательно смотрел на актрису и думал: «Свершилось то, о чем я мечтал и на что надеялся, неожиданно случилось». Если бы его спросили, что же именно случилось, он, вероятно, не смог бы последовательно и логично объяснить, но глубокую перемену в душе Марты Ландер почувствовал ясно, и теперь ему больше всего хотелось, чтобы эта перемена не оказалась мимолетной, закрепились, чтобы какая-то случайность не вспугнула ее, и потому, не торопясь, так, словно в этом доме, на окраине Лихтенберга, в Берлине, ничего не произошло, капитан сказал:

— Вам пора ехать, фрау Марта.

Актриса взглянула на него, будто в первую минуту не поняла значения его простых слов, потом сказала:

— Вы думаете, я опоздаю?

— Когда отлетает самолет?

— В двадцать один час.

— У вас еще есть время, — сказал Котов, удивляясь самообладанию актрисы. На ее месте, если события развивались именно так, как он их себе представлял, другой бы поспешил оказаться на аэродроме. А может, все произошло совсем иначе? — подумал он и сразу отбросил эту мысль. Нет, он не ошибся, единственно, чему можно удивляться, так это поразительной выдержке Марты. А возможно, она держится так потому, что в капитане чувствует союзника? Что ж, и такое может быть.

— Трудно было? — вдруг, казалось бы вне всякой связи с темой разговора, спросил он, но Марта поняла сразу.

— Нет. Не трудно. Это было справедливо.

— Справедливо, разумеется. Только все-таки один человек не вправе решать — жить другому или умереть. Это дело закона...

— Вы осуждаете меня?

— Нет. Если бы этого не сделали вы, завтра или даже сегодня пришлось бы сделать нам.

— Завтра или даже сегодня? — переспросила Марта, медленно, с усилием выговаривая слова. — Подождите, я не понимаю. Выходит, вы все знали о Кемпке, и Берзарин знал?

— Да.

— И дали мне время, чтобы самой понять и...

— Да.

— Он сам застрелился, я его не убивала.

— Не имеет значения, убили его или он сам застрелился, поняв, что вы больше не станете молчать. Какая разница, кто это сделал? Он справедливо наказан. А пуля его убила или слово — все равно...

— Хорошо, думайте обо мне что хотите, — вдруг с вызовом сказала актриса. — Я живу так, как считаю нужным: справедливо и честно. Вызывайте комендатуру, пусть меня арестовывают.

— Я не сделаю этого.

— Значит, вы уже празднуете победу: Марта Ландер перешла на вашу сторону?

— Нет, я не думаю этого. Через час вы улетите в Стокгольм.

— Именно так я и поступлю, можете не сомневаться.

— А я и не сомневаюсь. По-настоящему на нашей стороне вы, наверное, никогда не будете, хотя жизнь — сложная штука... Прожить ее — не поле перейти. Подводить итоги еще рано... До сегодняшнего дня мне никак не удавалось представить себе, как вы выглядите на сцене... Сегодня я это понял.

Марта вдруг села на стул так резко, будто подломились в коленях ноги. Впервые за последнее время слезы хлынули из глаз, и справиться с ними она не могла.

— Он тоже никогда не видел меня на сцене... Как все ужасно...

Возмущенная Таня, ногой распахнув дверь, появилась в столовой.

— В комендатуре все машины в разгоне, — заявила она. — Раньше часа не приедут.

— Ну и ладно, — ответил капитан Котов. — Часом раньше, часом позже — разница небольшая. Подождем.

— Товарищ капитан, я вас не понимаю.

— Что именно?

— Не понимаю вашего спокойствия. Ведь погиб человек...

— У доктора Кемпке были все основания застрелиться. В недалеком прошлом он был штурмбаннфюрер эсэс...

— Штурмбаннфюрер эсэс? — переспросила Таня и, словно защищаясь, заслонила грудь руками. Мгновение она молчала, потом лицо ее, по-детски нежное, посуровело, плотно сжатые губы побелели, и едва слышно прозвучали слова: — Все они такие.

Таня, резко повернувшись, вышла из столовой, плотно прикрыв за собой дверь, словно хотела отгородить себя от этих преступных, неверных и уже вне всякого сомнения подозрительных людей, которыми окружил себя капитан Котов.

— Она никогда не поверит, что среди немцев есть честные люди, — сказала Марта.

— Поверит, — ответил Котов. — Мне тоже это не сразу удалось.

— Берзарину тоже, — добавила Марта и умолкла.

В саду послышались голоса, и все во главе с Зоненбахом вернулись в столовую.

— Он попал себе в сердце, — сказал профессор. — Невероятно, невероятно!

— Вот все, что было у него в карманах, — сказал Вангель, раскладывая вещи на столе. — Кошелек, денег совсем немного, удостоверение об освобождении из лагеря военнопленных, коробка с ампулами морфия... Я не знал, что он был морфинистом.

— Сейчас это уже все равно, — сказал Котов, отметив, что коробка не вызвала интереса у Марты Ландер.

— И маленький пистолет, дамский, — сказал Вангель, кладя на стол миниатюрный браунинг.

— Можно взглянуть? — спросил Котов.

— Пожалуйста.

Котов взял пистолет, подержал, словно взвешивая на ладони, полюбовался, щечки рукоятки были инкрустированы перламутром, потом вынул из кармана платок и тщательно вытер сизо-вороненую сталь. Марта следила как завороженная за его неторопливыми движениями.

— Действительно, маленький и изящный, — подтвердил Котов.

— И все-таки я не могу в это поверить, — вдруг снова взорвался Зоненбах.

— Во что?

— В то, что Кемпке был штурмбаннфюрер эсэс. Ведь он действительно был талантливым хирургом. У него золотые руки...

— Которыми он мастерски распиливал головы тысячам пленных в специальных лабораториях Заксенхаузена.

— Таких лабораторий не было.

— Были, вам просто нацисты не доверяли, и потому вы не знали о результатах их работы. Во всем этом вам еще придется удостовериться, профессор.

— И меня убедят только факты. Бесспорные факты. Я теперь на слово никому не верю... Хотя... Мир сошел с ума. Ведь это я настоял, чтобы Кемпке освободили из лагеря военнопленных. Что подумает обо мне Берзарин?

Он устало опустил в кресло и закрыл лицо ладонями.

— Не такой уж это нелепый вопрос: «Что подумает Берзарин?» — сказал Вангель, грустно и внимательно глядя на Марту, и актриса почувствовала, что ей нужно сейчас же, немедленно уехать, иначе... Бог знает, что будет иначе: вдруг не хватит сил, чтобы выйти из этой комнаты.

— До свидания, господа, — сказала она, и капитан Котов снова понял ее состояние. — Мне пора ехать, и, откровенно говоря, я завидую вам, потому что вы остаетесь в Берлине. Через много лет, когда вы будете проходить по Берзаринштрассе, а такая улица наверняка будет в Берлине, вспомните о первом коменданте, как о живом человеке. В Берлине осталось его сердце.

И уже быстро, желая лишь одного — чтобы никто не увидел в эту минуту ее глаза, актриса вышла, почти выбежала из столовой.

— Я провожу вас, — сказал Котов, но догнать ее не успел, хлопнули двери парадного, взревел оживший мотор, кровавыми ранами в сумерках вечера сверкнули прощальные огни «мерседеса». Капитан вернулся в столовую, гости сидели в тех же позах, молчаливые и, как показалось Котову, печально-грустные.

— Может быть, нам стоит подождать, когда придут из комендатуры? — спросил Флазер.

— Почему? — удивился Котов. — Не вижу ничего особенного в том, что Кемпке застрелился. Здесь все ясно.

— Вам ясно? — все понимая, спросил Флазер.

Котов выдержал его взгляд и вопрос без каких-либо признаков смущения или растерянности.

— Да, мне все ясно, — еще раз повторил он. — Для штурмбаннфюрера эсэс иного выхода не было.

— И мы можем еще выпить чаю? — спросила Розамунда.

— Конечно. О чем речь... Таня!

Девушка появилась на пороге и сказала:

— До приезда представителей комендатуры я накрыла его простыней.

— Ты, Таня, всегда делаешь то, что нужно. Принеси нам, пожалуйста, еще чаю.

— Чайник сейчас закипит.

— Спасибо.

В эту минуту в передней прозвучал негромкий, но явно «чужой» звонок. Они все привыкли друг к другу и знали, что Флазер, например, звонит один раз, но продолжительно и громко, а Вангель, наоборот, оповещает о своем приходе тремя короткими и тихими звоночками. А этот звонок был явно «чужой».

— Комендатура! — всполошилась Розамунда.

— Ну и что из того? — спросил Котов. — Почему это может вас волновать?

— Я не люблю представителей власти, как бы они ни назывались.

— Что поделаешь, не все зависит от наших желаний. Таня, открой, пожалуйста.

В передней раздалась женские голоса, и в ту же минуту Герда Баум в сопровождении высокого немца с объемистой книгой под мышкой вошла в столовую. Остановилась, окинула взглядом всех присутствующих, несколько дольше задержалась на лице Котова, словно стараясь припомнить, знакомы ли они. Тот видел, как придавило Герду горе, каких усилий стоило ей держаться, говорить, словно в полусне припоминая обычные слова, двигаться, дышать и вообще жить.

— Простите, пожалуйста, за столь поздний визит, — механически, не вдумываясь в смысл произносимых слов, проговорила Герда. — Мы — комиссия магистрата, которая берет на учет дома, пригодные под детские учреждения. Товарищ Берзарин передал мне список... Ваш дом в нем обозначен... Как вы думаете, он освободится месяца через два?

— Думаю, что да, — ответил Котов.

— Когда Берзарин дал вам списки? — вдруг, поднимаясь с кресла, спросил Зоненбах.

— Сегодня утром, — ответила Герда, и все увидели, что она не выдержит, заплачет, и это почему-то показалось страшнее выстрела или взрыва, к которым за последнее время все привыкли.

— Люди уходят, а жизнь продолжается, — философски изрек Флазер.

— Вы правы, — проглотив горькое рыдание, ответила Герда. — Жизнь продолжается. И сиротам Берлина надо где-то жить.

С того дня прошло немало лет. В разные стороны разбрелись по свету люди, работавшие с Берзариним. Ганс Флазер написал-таки свой роман о простом рабочем, который решил выйти один на один против фашизма. Розамунда Флазер еще и сейчас кокетливо опускает длинные ресницы, когда на нее поглядыва-

ют мужчины. Вангель стал президентом Академии художеств. Герда Баум получила высшее образование, она известный врач, директор Института педиатрии. Володя Котов работает в редакции большой газеты и пристально интересуется информацией об актерах, живущих и работающих в Швеции. Таня с Ляховым поженились, у них уже трое детей. Марта Ландер так и осталась в Стокгольме, она постарела, но все еще красива и раз в году, в июне, обязательно приезжает в Берлин. Здесь среди других дел она находит время прийти на Берзаринштрассе, светлую улицу, которая соединяет бывшую Франкфуртераллее и Ландсбергераллее, и, медленно прогуливаясь, любуется румяными, громкоголосыми детьми, которых здесь множество, проходит всю улицу от начала до конца. А потом идет к киоску с цветами... Ведь цветы — память. А Марте, как и мне, есть о ком помнить.

Вторая
встреча

Роман





ГЛАВА ПЕРВАЯ

чем сравнишь притягательную оживленность вокзалов, деловую суету речных причалов, точную стремительность аэродромов? Кажется, люди бестолково мечутся, бессмысленно толкуются у билетных касс, возле стеклянных окошек справочных бюро, на самом же деле никакой суеты нет, наоборот — все подчинено разумному порядку, и в неорганизованном, похожем на суматоху потревоженных муравьев движении есть определенный ритм. Сама атмосфера вокзалов и аэродромов несет в себе волнующее ожидание предстоящей дороги. Над людьми слово «дорога» имеет колдовскую силу. Скажи, казалось бы, смертельно больному человеку: «Едем в Антарктиду» — и он отбросит свою немочь, поедет посмотреть неведомый ему край.

Но неодолимую власть приобретает дорога, если случается поехать взглянуть на те места, где когда-то, давным-давно, прошла часть твоей жизни, может, даже пролилась твоя кровь и уж копечно где остались твои давние друзья или хотя бы воспоминания о них. От такого возвращения в свою молодость никто не сможет отказаться, оно берет за душу, и упустить такую возможность, не поехать — тяжкий грех, а возможно, и большое несчастье.

Сергей Бородай, сталевар из Запорожья, не совершил подобного греха, согласился ехать немедленно, с радостью, с ликующим холодком под сердцем, который всегда возникал у него в предчувствии далекой дороги. И ничего, что это будет свидание с друзьями, большинства из которых давно, чуть ли не тридцать лет, уже нет в живых. В памяти Бородая они остались такими же молодыми, сильными и красивыми, а что сам он поседел, лицо прорезали тяжелые, словно на металле прочерченные, сталеварские морщины, так это ничего не значит. Телом, может, и изменился, хотя сам он этого еще не чувствует, а вот душа осталась прежней, такой же трепетной и молодой. Или, может, это ему только кажется, а в действительности измени-

лось все? Впереди дорога, дальняя дорога, на тысячи километров, чуть ли не через всю Европу, впереди встреча с друзьями, и не только с друзьями,— значит, жизнь продолжается, она прекрасна!

Конечно, было бы лучше, если бы причина этой поездки была праздничной, не связанной с горечью далеких военных дней. Впрочем, и горе, преодолев двадцать пять суровых лет, перестает быть прежним безысходным горем, и с отдалением времени о тех днях можно думать спокойно и мудро, словно рассматривать их через увеличительное стекло.

Ну что ж, эта поездка, надо полагать, сложных проблем перед ним, Сергеем Бородаем, не поставит. Они едут во Францию на открытие памятника погибшим партизанам в крупном бургундском городе Флеманше, расположенном юго-восточнее Парижа. Земля там чувствует дыхание близких Альп: полого, словно медлительные волны, вздымаются живописные холмы, укрытые густыми лесами; у подножия их обилие садов и виноградников. Во Флеманше Бородаю довелось прожить почти три года... Далеко теперь они отошли, эти три года... Там же, во Флеманше, живет Нина, дочь, ей сейчас двадцать четыре или только двадцать три? Нет, все-таки двадцать четыре. А бывшей его жене Натали — под пятьдесят. Ему же самому? Ему уже пятьдесят два. Не самое все-таки лучшее занятие считать свои, да и чужие годы. Тогда все, что кажется на свете несокрушимо прочным, как-то сдвигается со своих мест, и появляется ощущение быстротечности времени, а следовательно, и самой жизни.

В Москве, на Белорусском вокзале, делегацию провожал представитель Советского комитета ветеранов войны. Все было по-деловому обыденно и просто. Не такое уж это событие — отъезд нескольких товарищей на открытие памятника. Десятки, сотни таких памятников и мемориальных досок открыты в разных странах. И поездки стали обычной работой, служебными командировками, не более...

Это если смотреть глазами представителя Комитета ветеранов и переводчицы, которая, возможно, уже объездила весь свет. А вот ежели встать на место Сергея Бородая и Марии Кондратьевны Климовой — членов делегации, то впечатление меняется. Сын Марии Кондратьевны Иван погиб во Франции и похоронен во Флеманше. Лежит в братской могиле вместе с двумя французами, именно им, этим героям, сейчас открывают памятник. И от предчувствия встречи с незабываемыми днями молодости на сердце Бородая тревога, скорее даже ощущение несчастья. А какое несчастье может случиться теперь? Все горе выплеснулось в годы войны...

Поезд тронулся почти незаметно, медленно поплыли мимо окон лица людей на платформе. Негромко, будто принаравливаясь или пробуя свою силу, стукнули под вагоном колеса.

— Поехали, девчата,— сказал Бородай, останавливаясь в дверях купе. Высокий, крупный, по-сталеварски плотный и сильный, он, улыбаясь, смотрел сверху вниз на своих спутниц, и коротко подстриженные, еще не седые усы его дрогнули насмешливо. Седыми были лишь виски, когда-то темно-русый чуб еще и сейчас отливает темным блеском, только кое-где нет-нет да и блеснет серебряная нить. Лицо у Бородая сухое, смуглое. Смуглость его — не загар, привезенный с черноморского пляжа, она светлее — постоянная, сталеварская смуглость. Брови над серыми глазами тоже мечены отблесками плавок, широкие, кустистые, они почти срослись над переносицей и затенили все лицо. Когда Бородай улыбался, возле глаз и в уголках губ появлялись тонкие паутинки морщинок и все лицо становилось добрым и мягким. Глаза, взглянув из-под бровей пытливо и насмешливо, снова прятались в тень.

— Да, поехали,— удивляясь, что ей вот теперь, на старости лет, когда стукнуло семьдесят годков, приходится ехать бог знает куда, ответила без улыбки Мария Кондратьевна Климова.

— Поехали,— весело отозвалась Оля, переводчица,— люблю, когда путешествие только начинается.

— Садись,— предложила Мария Кондратьевна, пододвигаясь на пружинном диване,— давай познакомимся ближе.

Бородай послушно сел. И голос Марии Кондратьевны, и манера говорить содержали в себе не высказанный, но ясно ощутимый намек на приказ. С высоты своих семидесяти лет она всех, даже тех, кто старше ее, называла на «ты», и для нее это было естественно.

— Ивана моего ты хорошо знал? — спросила Климова.

— Да, Ивана знал хорошо.

— И как он погиб, видел?

— Видел.

— А ты как остался жив?

— Удалось прорваться.

— А ему не удалось?

— Ему не удалось.

— Это где же было?

— Во Флеманше. Вот приедем на место, все расскажу и покажу.

— Ты только один спасся?

Острое подозрение пряталось где-то в глубине этого совсем простого вопроса, но Бородая оно не смутило.

— Нет, не я один, там еще были люди.

— Значит, Иван, чтобы вас спасти, своей жизнью заплатил?

— Нет, мы тогда бежали. А за спасение наше другой человек жизнью заплатил. И даже не один.

— Кто?

— Двое французов. Только третьему удалось к нам проскочить и патроны принести.

— Женщина?

— Да.

— С нее и начинать надо было, — печально сказала Климова, и продолговатое, уже по-стариковски сухое, иконописное, испещренное морщинами лицо ее осветилось улыбкой. — В священном писании сказано: там, где черт не пройдет, пошли женщину — проберется.

— Нет такого ни в одном священном писании, — засмеялась переводчица Оля.

— А это не твоего ума дело, — строго сказала Климова, — еще молода про святое письмо толковать. Твое дело — французский язык и международные отношения. Вот там ты полный генерал, а что в священном писании, то мы, старые, знаем.

— Странно, — сказала Оля, — передовая доярка, награжденная орденом Ленина, и такое... Вы что же, и в церковь ходите?

— Нет, не хожу. Я в церковного бога не верую, и к тому же у нас поп — горький пьяница, авторитет потерял. Как скажет слово с амвона, дух по церкви идет самогонный. Нет, я в того бога не верю.

— Значит, какого-нибудь другого себе нашли? — допытывалась Оля.

— А как же, — нисколько не смутилась Климова, — смотри, вот мой бог. Он всегда со мной, всю жизнь, шагу без него ступить не могу.

И медленно, словно силой отрывая от дивана, положила на маленький, покрытый прозрачной пластмассой столик свои тяжелые, перевитые крутыми корнями вен руки. Они были сильные, уже прихваченные старостью и одновременно красивые.

— Хороший у вас бог, Мария Кондратьевна, — сказал Бородай.

— А боги дурными не бывают. На то они и боги, — ответила доярка. — Недаром народ поговорку сложил: «как без рук». Ничего-то на свете без рук не сделаешь, ни спутника на орбиту не выведешь, ни корову не подоишь...

— Голова, между прочим, тоже чего-то стоит, — добавила Оля.

— И то правда, — улыбнулась Климова, — «без головы как без рук». Ну хорошо, все эти проблемы успеем еще выяснить, если благополучно вернемся. Сейчас о ближайшем будущем надо подумать... Так как же ты во Францию попал?

— Из концлагеря сбежал.

— А в концлагерь как?

— В плен меня взяли.
— Сдался?
— Ранен был... стрелять уже не мог...
— Ясно, — сказала Мария Кондратьевна.
— Что вам ясно?
— Все. Моего Ивана только тогда взяли, когда на его теле и места живого не осталось, когда вся кровь его вытекла, когда сознание потерял и упал как мертвый...

— Вы откуда знаете? — спросил Бородай.

— Иначе и быть не могло. И не было.

Сталевар промолчал. Зачем ему рассказывать этой гордой, уверенной в своем сыне матери, что летчик Иван Климов выпрыгнул с парашютом из горящего самолета и приземлился прямо в расположение гитлеровского батальона, за двадцать километров от линии фронта.

— Да, иначе и быть не могло, — повторила Климова. — Не могло.

И снова Бородай промолчал. Не надо причинять матери боль. Тем более что Иван Климов никогда не был трусом и доказал это не только своей жизнью, но и смертью.

— Не могло, — еще раз, словно убеждая себя, повторила Климова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Французским владеете? — спросила Оля Бородай.

— Говорю и читаю свободно, а пишу с ошибками — мало практики. Все же три года во Франции, было время научиться. Натали всегда потешалась, читая мои письма.

— Кто эта Натали? — строго спросила Климова.

— Жена моя бывшая.

— Жена? — удивилась старуха.

— Да, жена. — Бородай смотрел теперь в окно, где мелькали, пролетая мимо и исчезая, подмосковные перелески.

— А дома у нас знают об этом? — допытывалась доярка.

— Конечно, — Бородай улыбнулся. — У меня там и дочка есть.

— И мы их увидим?

— Наверное. Нина, это мою дочь так зовут, два раза у меня гостила.

— А жена?

— Жена нет.

— Ясно, — снова вынесла свое категорическое заключение Климова.

— Счастливый вы человек, Мария Кондратьевна, — не улыбувшись, сказал Бородай. — Вот если бы мне все было так ясно, как вам.

— Ничего, там, на месте, во всем разберемся.

— Мария Кондратьевна, — заволновалась Оля, — я вас очень прошу: там, на месте, ни в чем не разбираться. Мы едем на открытие памятника героям войны. В этом, и только в этом, заключается задача нашей делегации. А товарищ Бородай, его жизнь и деятельность во время войны давно проверены соответствующими органами, и я вас очень прошу...

— Органы органами, а я сама своими глазами все хочу увидеть, — стояла на своем Климова, — и ты мне не указ. Там мой сын смерть принял.

— Это, конечно, правда, — согласилась Оля, — я вам не указ, но мне очень хотелось бы, чтобы наша поездка прошла успешно.

— А я чего хочу? Могиле сына поклониться и тогда уже — домой, помирать. Ты не волнуйся, я тебя раков печь не заставляю, хлопот со мной не будет. Мне еще товарищ Калинин, все-союзный староста, первый орден в Кремле вручал. Так что можешь быть спокойной. — И, повернувшись к Бородаю, добавила: — Я только посмотрю, с первого взгляда все пойму, и не пытайся от меня что-то скрывать.

— Хорошо, — согласился сталевар. — А вы, случаем, не гадалка?

— Нет. Я — мать, — сухо ответила Климова, не подымая своих светлых, выцветших от старости глаз, и надолго замолчала.

«Ну и делегация, — подумала переводчица Оля, — хлебну я с ними сладкого до слез. Бородай еще вроде ничего, спокойный, уравновешенный. А от Марии Кондратьевны всего ожидать можно. В семьдесят лет люди становятся или по-стариковски добрыми и ласковыми, или бескомпромиссно резкими. Мария Кондратьевна, как видно, из числа последних. Боль за сына с течением времени вроде бы поутихла, припорошилась, как жар, пеплом, но подуй ветер — и снова вспыхнет пожар... Ну да ладно, посмотрим, как все сложится».

«Не стану ей рассказывать, — думал Бородай, — пусть встретит людей, которые с Иваном воевали, посмотрит на них, послушает, все поймет, она — мать. И почему надо оберегать ее?» Ему-то самому прятаться нечего, он весь тут, как на ладони... Так ли? Он в этом уверен? Ведь будет же встреча с женой и дочкой. Он давно готовился к этому, а вот готов ли?..

«Посмотрю, разберусь во всем и всех на чистую воду выведу, — думала Мария Кондратьевна. — Гляди-ка, замолчал, будто знает что-то, а говорить не хочет, когда я о плене Ивана речь завела. Вроде как бы тень не хочет бросать на моего сыночка, а у самого, может, бог знает что на сердце творится, когда вспомнит, как руки поднял. Ну а что он мог сделать, если у него патроны кончились?.. Нечего его оправдывать, зубами грыз бы врагов. Когда мой Иван фашистов бил, этот здоровяк

себе другую работенку подыскал, жену, видишь ли, завел, мысли-то о любви веселят сердце, потому и не погиб, уцелел... Нет, винить его ни в чем нельзя, только надо приглядеться, что он за человек».

Почему Бородай, живой и здоровый, так раздражал ее, она не смогла бы ответить. Возможно, именно потому, что Иван погиб, а этот сталевар остался жив. Ведь они могли бы поменяться местами... Что думала бы тогда Мария Кондратьевна? Сложно разобраться в этих привычных мыслях.

И, стремясь все уточнить, узнать до конца, а главное — отогнать эти странные сомнения и тревогу, она снова спросила:

— Как мой Иван в плен попал, ты знаешь?

— Не знаю. Мы с ним уже в лагере встретились.

— А отчего помолчал перед тем, как ответить?

— Оттого что думаю всегда, прежде чем сказать.

— Выходит, ты с хитринкой. Я насквозь тебя вижу, весь твой характер.

— Нет, хитреца из меня не вышло.

— Значит, скрыть что-то хочешь, слово подыскиваешь, проговориться боишься, — не успокаивалась старуха.

— Простите, товарищи, — решительно вмешалась Оля, — но мне кажется, такой разговор ни к чему. Мы честные советские люди, и никто, Мария Кондратьевна, ничего не собирается скрывать. Товарищ Бородай награжден и нашими и французскими боевыми орденами...

— Мой Иван тоже награжден... посмертно.

— Совершенно верно. Про них и про их партизанский отряд во Франции песни и легенды слагали, и ваш тон мне непонятен.

— Смотри-ка, сразу и защитница нашлась, — пожала плечами Климова. — Я тебе уже сказала, молода ты меня учить.

— Не беспокойтесь, Оля, — сказал Бородай, — мне уже не впервой слышать такие разговоры. Просто Марии Кондратьевне больно и обидно, что ее сын погиб, в то время как другие остались живы.

— Да, — сказала Климова, — обидно. Нет все-таки справедливости на свете.

— Пуля не разбирает, куда бьет и справедливо это или нет.

— Пуля-то, конечно, не разбирает, да только бьет она почему-то тех, кто в окопах сидит, а не тех, кто на перинах с французешками отлеживается.

Бородай посмотрел на нее, улыбнулся и ничего не сказал, а Мария Кондратьевна рассердилась еще больше, только на этот раз уже на себя. Нет, не нужно было говорить такие горькие слова. Только ведь и сожалеть о том, что сказала, она не собирается. Сейчас ощущение горя было вроде даже острее, чем тогда, почти тридцать лет назад, когда пришло извещение о

смерти Ивана. В то время горе будто бы приглушалось неизвестностью: еще шла война, и мать чего-то ждала, надеясь, а сейчас горе стало реальным, воплотилось в Сергея Бородаю, и побороть это чувство, не дать ему выплеснуться было ох как нелегко. Неприятней всего, пожалуй, было сознавать, что Бородай догадывается о ее переживаниях, жалеет старую, хочет помочь и утешить.

— Ладно, — сухо сказала Мария Кондратьевна. — На месте все станет ясным. А пока давайте поужинаем.

— Дельное предложение, — обрадовался Бородай. — Я голоден как волк.

— В ресторан пойдем или здесь поедим? — спросила Оля.

— Тут поужинаем, — решила старуха. — Нечего по ресторанам шататься.

— А я пойду в ресторан, — сказал Бородай. — Выпью стопочку, закушу бифштексом, а потом завалюсь спать — до самого Бреста.

Мария Кондратьевна и виду не подавала, как больно задело ее это несогласие. А Бородай только улыбнулся, вышел из купе, закрыв за собой дверь, словно отгородился от строгого взгляда старухи.

— Ну, что ты скажешь? — дала волю своим чувствам Климова.

— Ничего не скажу, — смело возразила переводчица, — он глава делегации и может ужинать, где ему вздумается.

— Вот и ты с ним заодно...

— А почему бы и нет? — улыбнулась Оля.

— Что ж, тебе виднее, — сухо заметила Климова.

— Мария Кондратьевна, — как можно ласковее и тактичнее начала переводчица, — мне кажется, вам не следовало бы так болезненно реагировать...

— Тебе кажется? — перебила Климова. — Что ты можешь понять? Это мой, а не твой сын погиб во Франции. Он погиб, а этот бугай с ним рядом был и жив остался, оружие бросил, руки поднял, в плен сдался. А мне не реагировать?

— Ваш сын Иван Климов тоже сдался в плен без единого выстрела. Не успел...

— Неправда!

— Нет, правда.

— А ты откуда знаешь?

— Перед самым отъездом знакомилась с необходимыми для поездки материалами — справками, биографиями. Это входило в круг моих обязанностей.

— Не верю. Мой Иван летчиком был.

— Правильно. А Бородай танкистом. Самолет вашего сына сбили, а танк Бородая подожгли. Только в этом вся и разница.

— Может, скажешь, что и погибли вместе?

— Нет, здесь боевое счастье оказалось на стороне Бородая.

— Счастье его или французенки?

— Чего не знаю, того не скажу. Ваши чувства, Мария Кондратьевна, — медленно, как малому ребенку, внушала Оля, — я понимаю очень хорошо, но горе свое, обиду выплескивать на ни в чем неповинного Бородаю, мне думается, не стоит.

— Молода еще мне советы давать.

— И это верно. Я моложе вас, внучкой вашей могла бы быть. Но это не столь важно. Поверьте, горе ваше сейчас особенно обострилось, и правильно оценивать людей, их слова, поступки вам трудно. А вот переедем границу, и многое изменится. И прежде всего вы.

— Я?

— Да, вы. Все советские люди это на себе испытывают, переезжая границу. До Бреста они полны своими переживаниями, радостями или огорчениями, одним словом, пристрастиями. После границы ко всем этим чувствам прибавляется огромная ответственность советского человека за свою Родину, и люди сразу будто вырастают. Я это уже много раз наблюдала.

— Мне уже восьмой десяток пошел. Некуда расти!

— Нет, и с вами будет то же самое. Давайте все-таки поужинаем, — сказала Оля, нажимая кнопку. Они ехали в двухместном купе мягкого вагона. В этом теплом и уютном купе им придется провести двое суток, переехать несколько государственных границ, пересечь почти всю Европу и сойти на вокзале Дю Нор в Париже. Оля уже не раз побывала там.

Дверь открылась, вошел проводник, посмотрел вопросительно.

— Чаю, пожалуйста, — попросила Оля, — четыре стакана.

— Зачем так много? — удивилась Климова. — Двух хватит.

— Нет, принесите четыре, я люблю чай, — улыбнулась переводчица.

Мария Кондратьевна недовольно нахмурилась, все не слушалась ее, словно нарочно подчеркивали свою независимость. На молочной ферме в небольшом селе, неподалеку от Рязани, ее слово было неписанным законом, девушкам-дойяркам даже в голову не приходило поступить вопреки ее желаниям. Они любили ее, как родную мать, потому что в каждом слове Марии Кондратьевны, в каждой ее поступке видели здравый смысл, честность, заботу о ферме и о них самих, а с другой стороны, и побаивались, потому что попадаться под веселую руку знатной доярке не решался даже председатель колхоза. Вот так она и жила, окруженная ореолом собственной безупречности, строгости, перенесенного горя, давно привыкла к почтительному вниманию, согласию и вдруг расстроилась, встретив людей, которые относились к ней не столь подобострастно, как молодые доярки, вчерашние десятиклассницы.

Однако жизненный опыт и трезвый ум подсказывали старой женщине, что нельзя подходить ко всем людям с мерками

своей, пусть даже передовой, колхозной фермы, тем более когда ты едешь в дальнюю дорогу через всю Европу. А вот поди ж ты — в сердце невольно закипало раздражение, каждое движение переводчицы, которая чувствовала себя в тесном купе как дома, казалось излишне самоуверенным, и Марии Кондратьевне приходилось всеми силами сдерживать себя, чтобы, не дай бог, не сорвалось с языка какое-нибудь обидное слово. И потому, дожидаясь, пока проводник принесет чай, она мысленно повторила свой разговор с Бородаем, но и теперь не нашла, в чем можно было бы себя упрекнуть. Жгли сердце слова Оли о том, как попал Иван в плен. И все-таки не верилось, не могло быть такого. Слишком она привыкла к картине, нарисованной ее воображением — как сын попал в плен, — чтобы вот так вдруг от нее отказаться.

Проводник принес чай. Мария Кондратьевна достала из плетеной пластмассовой сумки отварную курицу, разломилась, взяв за обе ноги, подозрительно понюхала.

— Ничего, свежая, есть можно, — сказала она. — А ты, может, стопочку перед едой выпить хочешь? Может, в Москве пьешь?

— Нет, не пью, — засмеялась Оля, понимая ход мыслей старухи. — А если вы хотите, так можно заглянуть в ресторан.

— Я? — У Марии Кондратьевны прямо дух перехватило от такого предложения. — Как ты могла подумать?

— А вы же обо мне подумали?

И снова непокорность, независимость этой белобрысенькой девчонки, кажется, дунь — и разлетятся по воздуху ее легкие светлые волосы.

— Я старая. Не забывай об этом, — напомнила Климова.

— Хорошо, не забуду, — весело согласилась Оля.

Когда они поели, в дверь постучали, и Бородай вновь появился на пороге купе, высокий, сильный, какой-то удивительно надежный. Посмотрел весело на остатки курицы.

— Хорошо поужинали?

— Выпил? — строго спросила Мария Кондратьевна.

— А как же, выпил и шницель съел. Может, и вам нужно было бы поднести?

— Я тебе поднесу, — погрозила длинным пальцем Климова, — чтоб эта стопка последней была, за границей ни капельки не увидишь.

— Там посмотрим, — не хотел затевать спор сталевар и улыбнулся, припомнив, что французы не представляют себе обеда без вина.

— Садись, — приказала Климова.

Бородай послушно выполнил приказ.

— Ты с Иваном вместе в плен попал?

Сталевар взглянул на Олю, понял, что какой-то разговор в этом купе уже состоялся, и спокойно ответил:

— Нет, не вместе. Мы встретились уже в лагере. Единственное, что я вам могу посоветовать, Мария Кондратьевна, — не мучьте вы себя этими вопросами. Все было честно, ни одного худого слова об Иване никто сказать не может, и проблем здесь нет никаких. Отдыхайте, да и я пойду к себе. В Брест рано приедем, документы будут оформлять, и позавтракаем там. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответила Оля.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бородай поднялся и вышел. Минуту постоял в безлюдном, ярко освещенном коридоре, глядя в темное окно, за которым пролетали мохнатые, зубчатые тени смоленских сосен, фонари полустанков, выхваченные из ночной темноты железнодорожные постройки. Встречный поезд прогрохотал, ослепляя яркими окнами: в одном купе играли в карты, в другом мать кормила грудью ребенка, в третьем упаковывали чемоданы, в четвертом спали — жизни пронеслись перед глазами за несколько секунд. Поезд, самолет, машина, вообще движение — это, может, и есть подлинный символ жизни.

Отвернулся, вздохнув, от окна, распахнул дверь своего купе, скинул взглядом: небольшой черный чемодан так и стоял, как он его поставил, а в углу дивана сидел мужчина, лысоватый, с круглым добродушным лицом, мясистым носом, украшенным тяжелыми роговыми очками. Полные губы его тропула приветливая улыбка, темные глаза за выпуклыми линзами казались неестественно огромными. Был он, пожалуй, невысокого роста, полный, потому что плечи мощно бугрились, занимая чуть ли не весь угол дивана, а ноги в маленьких, словно детских ботиночках не доставали до ковровой дорожки пола.

— Добрый вечер, — поздоровался Бородай.

— Здравствуйте, — весело отозвался мужчина, — очень приятно с вами познакомиться. Далеко едете? В Париж? Делегация?

— Да.

Человек говорил по-русски свободно, но иностранный акцент ясно чувствовался.

— Давайте познакомимся, — живо продолжал мужчина, — меня зовут Жорж Дюмениль, я четыре года работал в Советском Союзе корреспондентом и теперь возвращаюсь домой. О нет, нет, не беспокойтесь, меня не выслали из Москвы за антисоветские настроения, хотя наша газета особыми симпатиями к советской системе не отличается. Просто я нашел себе более интересную работу.

— Вот и отлично, — ответил сталевар. — Моя фамилия — Бородай, я бригадир сталеваров на металлургическом заводе в

Запорожье, еду в составе делегации на открытие памятника погибшим товарищам в городе Флеманше.

— Вы уже бывали там? — Глаза француза загорелись любопытством.

— Да, во время войны. Три года.

— Простите, конечно, если вы не захотите ответить, то не отвечайте, вопрос до некоторой степени пикантный... Сколько же лет вам пришлось отсидеть в лагере после возвращения на родину? Повторяю, если вам затруднительно...

— Нет, отчего же... Боюсь только, что я вас разочарую, — ответил, усмехнувшись, Бородай, — ни в тюрьме, ни в лагере мне побывать не пришлось.

— Простите, но это маловероятно, — заявил Дюмениль, — весь мир знает, что всех, кто сдался в плен или выходил из окружения, у вас судили и высылали, как говорится, в места отдаленные. Об этом даже создана целая литература.

— Литература, возможно, и создана, — сказал Бородай, — но правды в ней немного. Конечно, были и предатели, которых судили и высылали, но абсолютное большинство вышедших из плена или из окружения во время войны просто вливались в запасные полки и шли в бой. А освобожденные из плена уже после войны возвращались домой. Понять это нетрудно: перед вами — живой пример.

— Вы хотите сказать, что репрессии тех лет были оправданы и справедливы?

— Что касается предателей — да. Только мне кажется, что во всем этом вы изыскиваете пользу для себя.

— Как это понимать?

— О чем бы вы теперь писали? О достижениях Советского Союза? Мне думается, для вас это не самый ходовой товар.

— Ошибаетесь, — весело сказал Дюмениль, — я всегда писал именно о достижениях Советского Союза и именно на этом построил свою карьеру.

Бородай промолчал.

— Я избрал весьма перспективный путь — рассказывать нашим читателям только о достижениях вашей страны. В нашей газете такие корреспонденции выглядят чуть ли не сенсационно. Но разве не на сенсациях держатся все газеты мира?.. Вот только беда, материал-то исчерпывается... По крайней мере, у нас.

— Не понимаю, — сказал Бородай.

— Разве вы сами этого не видите? Пока были классы, пока существовали пролетарии и капиталисты, была борьба между ними, классовая борьба...

— А теперь?

— А теперь, когда не стало классов, когда каждый рабочий владеет акциями предприятия, на котором сам работает, и кров-

по заинтересован в его процветании, какая же может быть классовая борьба? Разве я захочу вредить себе, у самого себя таскать из кармана деньги?

— Конечно, не захотите, — согласился с ним Бородай. — А позвольте спросить, у вас лично много акций вашей газеты?

— Газета не акционерное общество.

— А мне казалось, что у нее есть хозяева.

— У нашей газеты тоже есть хозяева, если хотите, акционеры, но акции их не продаются.

— Ни за какую цену?

Глаза, увеличенные сильными стеклами очков, посмотрели на Бородаю внимательно, но улыбка не покинула губ корреспондента.

— Ну, разумеется, чего в нашем мире не купишь за большие деньги! Все можно купить, не только акции, но и всю газету. Но для этого я не такой уж богач, хотя, должен признаться, на Советском Союзе подзаработал прилично и теперь могу смотреть на свое будущее спокойно.

— А классовой борьбы у вас и в самом деле больше не существует? — осторожно спросил Бородай.

— Нет, — уверенно ответил Дюмениль, — бывают, конечно, стачки, кто-то добивается повышения зарплаты, но это отдельные случаи.

— Почему же нужно повышать заработную плату, если у каждого есть акции?

— Час на час не приходится, разные страны и разные предприятия развиваются по-разному, бывают диссонансы...

— Маркс когда-то эти диссонансы не называл ли кризисами?

— Побойтесь бога, — развел руками Дюмениль, — о каких кризисах может идти речь? И, откровенно говоря, мне очень жаль. Для журналиста революция — это жирный кусочек, так же как и война; ни одна твоя строчка не заваливается, все с ходу — в набор.

Бородай лукаво посмотрел на корреспондента.

— В марксизме вам не нравится учение о диктатуре пролетариата, не нравится, что в нашей стране нельзя разбогатеть одному человеку, сесть на шею другому, да еще и батожком погонять.

— Странно, — пожал плечами корреспондент. — Я ведь вам говорил, интересы рабочих и предпринимателей сейчас совпали, никто ни на ком не ездит.

— Вот это-то мне и не представляется таким бесспорным, — как бы подводя итог беседе, сказал Бородай. — Ничего, друзья во Флеманше мне все расскажут.

— О, они порасскажут, — недовольно проговорил корреспон-

дент. Он склонился к своему чемодану, щелкнул блестящими замками, вынул бутылку с красно-золотистой этикеткой, поставил на стол, дотянулся до маленького шкафчика над головой, достал оттуда два стакана и спросил:

— Выпьем по капельке?

— Спасибо, — ответил Бородай.

— Это же вермут «мартини», превосходная штука, и то, что его можно купить в Москве, в баре «Интуриста», уже само по себе символично. Все своим чередом: сначала едут люди, потом машины, за ними вино, а потом уже и новые идеи...

— А разве ваши идеи прежде у нас не побывали?

— Вы имеете в виду времена капитализма в России? Царизм только скомпрометировал буржуазный строй и полностью заслужил свое свержение.

— Вот что правда, то правда.

— Видите, существует немало пунктов, по которым мы не расходимся с вами во мнениях. Жаль, что нет фруктового сока, «мартини» с соком — божественный напиток, нектар, амброзия! Вам никогда не удастся создать что-нибудь подобное.

— Сколько раз мы слышали эти слова, — сказал Бородай. — Сначала говорили: большевикам не удастся удержать власть, потом — не удастся построить заводы и Днепрогэс, потом — не удастся выиграть войну, не удастся создать атомную бомбу, не удастся запустить спутник...

— Нет, вермут — это посложнее, и вы его действительно никогда не создадите, — засмеялся Дюмениль. — И не потому, что не сможете, это, вообще-то говоря, пустяк. Вы заняты такими важными проблемами, что вам просто некогда подумать, куда вы идете.

— Послушайте, господин Дюмениль, — вдруг, улынувшись, сказал Бородай, — вам не кажется странным, что судьба марксизма беспокоит вас значительно больше, чем меня? А должно быть вроде бы наоборот. И еще одно: если марксизм действительно устарел, то каким образом нам, опираясь на это учение, удалось построить свое государство, самую отсталую на свете страну, царскую Россию, превратить в индустриальный гигант?

— Это и есть непостижимая загадка, — ответил корреспондент, — и коренится она, скорей всего, в глубинах таинственной славянской души.

— А как же быть с узбеками, туркменами, грузинами? — продолжал сталевар. — Ведь они не славяне. Или, может быть, и у них загадочные души? Не в этом дело, господин Дюмениль, вас интересует не судьба марксизма, а собственное будущее и судьба вашего собственного капитала.

— Ну знаете, — развел короткими пухлыми руками Дюмениль. — Неужели мои высокие раздумья о будущем человечества можно связать с заботами о собственном кармане?

— Представьте себе — можно.

— Боюсь, что мы с вами не найдем общего языка, — сказал француз, — я очень люблю вашу страну, я отдал ей несколько лет своей жизни, должен сказать, наиболее интересных лет, и, если бы вы отошли хоть немного от своего пресловутого марксизма, можно было бы договориться...

— Не отойдем, — сказал Бородай, — не надейтесь. Капитализм у нас шансов не имеет.

— Жизнь вас заставит.

Серые глаза за сильными стеклами стали не улыбочивыми, жесткими.

— Нас уже пробовали заставить. Вы сами знаете, что из этого получилось: социализм из достояния одной страны превратился в мировую систему, — ответил Бородай.

А за окном, в темноте, проносились леса, исполосованные ныне заросшими партизанскими тропами, поля, изрезанные стершимися зигзагами траншей, под колесами поезда стлался старый наполеоновский путь от Парижа до Москвы и от Москвы до Парижа. Эти километры были не только дорогой Наполеона, гитлеровским генералам тоже довелось отвратить их горечь. Бородай хотел сказать об этом своему спутнику, но, подумав, промолчал — еще обидится, чего доброго. Марксизм ему въелся в печенки. Да разве только ему? Сколько их ходит по белу свету, теоретиков, платных и добровольных, хлебом не корми — только выдумай, чем бы поудобнее заменить марксизм.

Утром, после двух часов стоянки в Бресте, поезд пересек границу. Всегда есть в этом что-то глубоко волнующее, когда у тебя за спиной остается огромная страна, покрытая городами и селами, полями и лесами, реками и озерами, где у тебя полным-полно родных, именно родных людей. Если где-то, скажем в Италии, встретятся два американца, они — чужие люди. То же самое и французы, и англичане. Только советские люди, где бы, в каком уголке земного шара ни встретились, они близкие и родные. Это особое человеческое племя — советский народ, со своими нормами поведения, честности, понимания добра и зла, требовательностью к себе и к другу. Вот стоит около моста через Западный Буг молодой двадцатилетний парень, сержант-пограничник. Рука — у блестящего козырька зеленой фуражки. Сосредоточенный и гордый, застывший, как монумент, только в глазах светится живой огонек. Глухо простучали по мосту колеса. Какой же он узенький, Западный Буг, и как трудно было переходить его в сорок четвертом...

Еще разочков с десяток прогремели на стыках колеса. Польский пограничник стоит точно так же, застыв, приветствует поезд.

Вот теперь начинается настоящее путешествие.

Роже Кольвен, хозяин парфюмерной фирмы в городе Флеманше, ждал Сергея Бородаю. Приезд давнего друга вызывал в его душе целую бурю противоречивых чувств, но прежде всего — это была искренняя радость. Увидеть друга после такой продолжительной разлуки было, конечно, очень приятно, и особенно еще потому, что сам Роже Кольвен из сопляка-мальчишки превратился в солидного и состоятельного хозяина фирмы, которая имела магазины и фабрики-лаборатории, изготавливающие довольно широко известную не только во Франции, но и в Южной Америке и в Индонезии парфюмерию — мыло, губную помаду и прессованную пудру «Кольвен». Конечно, его фирме далеко до таких гигантов ароматической индустрии, как «Герлен», «Диор» или «Коти», однако без ложной скромности можно сказать, что и имя «Кольвен» тоже заметно. Сознание этого наполняло сердце Роже не то чтобы гордостью, но, в известной степени, профессиональным удовлетворением. Открытие памятника погибшим партизанам, его друзьям, более того, боевым товарищам, тоже было приятным событием, которое заставило всех вспомнить о годах далекой военной молодости, надеть на голову, правда сейчас уже немного облысевшую, но далеко еще не старую, трехцветную каскетку, а лацкан пиджака украсить заслуженными знаками отличия и на мгновение снова почувствовать себя молодым, сильным, отважным.

На этом, собственно говоря, приятные мысли заканчивались, потому что вслед за ними теснились далеко не такие радостные воспоминания. Все же, если подвести итог всем чувствам, то оставался глубокий осадок тревоги, неуверенности и желания, чтобы побыстрее закончился этот визит и миновали дни, тающие в себе неожиданность и какую-то странную опасность. Конечно, не все эти беспокойства были связаны с приездом Бородаю, но его появление все усложняло; чаще приходили на память минуты, о которых хотелось бы забыть.

Правда, между войной и сегодняшним днем пролегло больше двадцати пяти лет. Время приглушает горе — на таком отдалении даже о смерти друзей вспоминается зачастую спокойно, мудро, почти без боли. Воспоминание о них тебе самому будто бы придает значительность: ведь ты стоял рядом, и пуля, которая сразила друга, могла ударить в тебя. Но тут же в памяти возникают минуты, о которых вспоминать неприятно, и тогда уже хочется, чтобы скорее открыли памятник, а жизнь в тихом, знакомом и обжитом, как собственный дом, Флеманше снова вошла в свою обычную, не сказать сонную, но размеренную колею.

И разумеется, самая большая тревога Роже Кольвена — жена Натали. Какой выйдет она из этого испытания, как пере-

живет эти дни, неизвестно, хотя женщину, которой далеко за сорок, если не сказать под пятьдесят, вряд ли ожидают крутые жизненные повороты. Впрочем, как сказать... Всякое бывает. И все же приезд Сергея Бородая — прежде всего радость, так к нему и пужно относиться. Все неприятности отбоят и забудутся, а дружба останется вечной в этом мерзком мире, где, оказывается, и верить-то никому нельзя. Открытие это для Роже Кольвена, конечно, не новость, но убедиться еще раз в старой как мир истине неприятно. Странно, как появление одного человека, даже не сам его приезд, а только ожидание этого приезда, меняет все вокруг, заставляя посмотреть на привычные вещи иными глазами, словно бы увидеть их впервые в жизни.

Флеманш, бургундский городок, раскинувшийся на живописных холмах, с центральным бульваром, узкими средневековыми улицами, высоким шпилем готического собора, расположенного на площади напротив мэрии, — этот милый городок, полный искрящегося жизнелюбия, стал вдруг казаться старомодным и провинциальным. В глазах Роже Кольвена Флеманш в эти дни стал выглядеть, мягко говоря, неказистым, и даже странно было, почему же раньше все виделось иначе — привлекательным и даже красивым.

Что там ни говори, а ничего выдающегося в этом городишке нет! Вот разве что эта могила, в которой вместе лежат советские и французские партизаны, памятник им откроют через два дня...

Роже Кольвен подходил к своему дому, стоявшему в отдалении от центра города, куда не доносился шум центральных улиц с их пылью, бензинным чадом и сутолокой толпы, но еще и не ощущалось сонное, сельское дыхание окраины. Дом был двухэтажный, основательный, построенный еще до первой мировой войны, прочный и удобный. Хорошо, что обошли его сражения и пожары, которые за жизнь Роже Кольвена волнами прокатились над Флеманшем. Сюда, в свой дом, он всегда приходил, как в крепость, где можно отсидеться, переждать опасность. Сегодня ощущение надежности исчезло, он это ясно почувствовал и потому раздосадовался еще больше. Высокий, немного располневший в свои пятьдесят лет, Роже Кольвен всегда ходил пешком из центра, где помещалась фирма, домой, считая, что езда в машине лишает человека необходимого движения, а значит, и здоровья.

Дом стоял в глубине сада, отгородясь от улицы густой стеной зарослей роз и барбариса. На гибких веточках уже появились большие зеленые с розовыми прожилками бутоны. Еще день-другой, и в честь приезда Сергея Бородая они лопнут, расцветут, превратятся в пышные цветы. Кольвен всегда гордился своими розами, но на этот раз, вспомнив о приезде Бородая, он не ощутил привычной горделивой радости.

Что это с ним? Почему его так тревожит встреча с давним другом? Ничего не будет менять в своей жизни Натали, в этом он может быть абсолютно уверен. Если бы она хотела, то сделала бы это раньше. Так в чем же дело?

Нина? От нее можно ожидать чего угодно, но больших, ощутимых для Роже Кольвена неприятностей она принести не может. Он любил Нину, как родную дочь, ей минуло двадцать четыре года, она зрелый, образованный человек, вероятно, скоро выйдет замуж. Роже Кольвен всегда окажет ей любую помощь. События, над которыми мы имеем власть, не столь уж часто причиняют настоящее горе. Значит, и здесь все благополучно.

Тогда что же?

Воспоминание про бой у бистро «Корона», когда погиб Иван Климов, а вместе с ним Жак Лефевр и Клод Дюран? Да, там была минута, о которой лучше не вспоминать... Да и зачем? Время затянуло все плотным слоем забвения.

Открытие, которое сегодня довелось сделать на рю Богарне? Да, скорее всего, оно и было причиной его скверного настроения. Никуда не денешься, мир подл, его надо принимать таким, каков он есть, и, хотя случай этот чрезвычайно неприятный, Роже Кольвен сумеет выйти победителем. Ничего не поделаешь, жизнь предпринимателя средней руки всегда смахивает на войну, невидимую, неприметную, но оттого еще более жестокую. Всегда приходится быть настороже: ожидать удара и быть готовым ответить ударом на удар. Иначе не выживешь. Роже Кольвен потому и добился кое-каких успехов, что никогда не опаздывал дать сдачи, а если подворачивался случай — бил первым. На этот раз удар был сильный, но Роже знает, как ответить, и это уже хорошо.

На глухой улочке, где помещался дом, автомобили не стояли вплотную один к другому, как в центре, и дышалось здесь легко, и зелень кустов успокаивала глаз, а деревья за оградой из сплетенных железных прутьев приветливо шелестели молодыми весенними листьями. Мягкое солнце стояло над Бургундией в этот погожий день конца мая, и Роже Кольвен остро почувствовал бесхитростную прелесть природы, столь контрастную с откровенной жестокостью людей.

Вынув из кармана связку ключей, соединенных блестящим стальным кольцом в кожаном футлярчике, не глядя выбрал нужный, открыл железную калитку и ступил на неширокую дорожку, вымощенную квадратными грубо отесанными каменными плитами. Здесь макушки деревьев сплелись над головой, образовав зеленый шатер — защиту от солнца и ветра, и, шагнув под эту живую крышу, Роже Кольвен почувствовал себя спокойно, он в своей крепости — дома.

К дверям вели три, тоже вытесанные из серого камня ступени, и он преодолел их одним махом, словно проверяя себя, молодой ли еще, сильный ли.

В маленьком холле, откуда вела дверь в гостиную, он на минуту остановился, взглянул на себя в зеркало, висевшее у вешалки. Ничего особенного. Обычное галльское лицо с большим, с горбинкой носом, крупными губами, покатым лбом и близко посаженными глазами. Лицо энергичное, сухое, подбородок крепкий, упрямый. Только в глазах почему-то притаились тревога и неуверенность. Вот это уже ни к чему... Все будет так, как он хочет, все будет хорошо.

Вошел в гостиную — никого. Огляделся так, будто очутился здесь впервые. Абстрактная дорогая картина на стене, которой он всегда так гордился, теперь почему-то показалась пошловатой и безвкусной. Может, снять ее перед приходом Борода? Тот наверняка спросит, что здесь изображено, а как ему объяснить, что эту картину специально так и нарисовали, чтобы каждый видел в ней все, что захочет. Не поймет и будет смеяться. Может, в самом деле снять? Ну, это черта с два! Ничего он в своем доме менять не будет. Слишком много чести. Рояль, бар, широкий диван, новый телевизор — все на своих местах, все хорошо знакомо и почему-то смотрится по-новому. Прислушался — тишина. Неужели никого нет? Ну, что Нина куда-то ушла, это нормально, но Натали должна быть дома. И чтобы подкрепить свою уверенность, которой ему сейчас так не хватало, он крикнул:

— Натали!

Сразу где-то над головой послышались шаги, и Натали Кольвен появилась на лестнице, которая вела на второй этаж. Дом построили на модный перед первой мировой войной английский манер, поэтому лестница была не по-современному широкой и пологой, по ее ступеням свободно могли подняться, не прерывая своей беседы, два человека.

— Что случилось? — спросила Натали. — Почему кричишь?

Кольвен взглянул на жену и подумал, что она, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой в этом городе, смогла бы ответить на все его вопросы. Натали уже приготовилась к встрече Борода. Побывала в парикмахерской, юбка, которая была на ней, по мнению Роже, больше подошла бы двадцатилетней девчонке, чем матери и хозяйке солидного дома. И именно это, последнее, вконец раздосадовало Кольвена. Он вдруг увидел, что жена его все еще очень красива и по-женски привлекательна. Если судить строго, то это была не классическая красота француженки. Лицо округлое, с ямочкой на подбородке, маленький, слегка вздернутый нос в легких веснушках и полные, выразительно очерченные губы. Волосы темно-русые, у левого виска седая прядь только подчеркивала свежесть кожи. Высокая, с тонкой талией и длинными ногами, открытыми выше колен по современной мини-моды, Натали производила впечатление женщины утонченной и кокетливой, неженки, созданной для того, чтобы любоваться собой. Вот только руки... Руки вечной, с малых лет,

труженицы — этого не мог скрыть даже тщательно сделанный маникюр. Да еще глаза: большие, темно-карие, они поражали глубоко затаенным страданием и растерянностью. Еще вчера ничего похожего в них не было. Натали всю ночь прекрасно спала, Роже Кольвен сам видел. Возможно, она только делала вид, что спит, пролежала ночь с закрытыми глазами, не шевельнувшись?

Не много ли сегодня встает перед ним вопросов, на которые, как ни старайся, ответа не найдешь. Ну ничего, Бородай придет и уедет, а Натали останется, и все пойдет по-старому.

Кольвен искренне удивился:

— Кто тебе сказал, что я кричу? Смешно! Я спокоен, и, надеюсь, причин для волнения у меня нет никаких. Сергей Бородай приехал.

— Уже? — Натали даже отступила на шаг.

— Да, представь себе.

— Когда же прибывает парижский поезд?

— О боже! — всплеснул руками Роже Кольвен. — Я говорю о событии, которое может потрясти всю нашу жизнь, а ее интересует расписание поездов!

— Я тоже думаю только об этом, — сказала Натали, медленно спускаясь по лестнице, и Роже невольно отметил, как стройны и красивы ее ноги.

И опять расстроился: не могла уж надеть что-нибудь подлиннее, попрстойнее, непременно надо демонстрировать свои прелести. Правда, если исходить из требований моды, юбка ее даже длинновата. Но все равно женщине, которой далеко за сорок, не к лицу выглядеть девчонкой.

Однако говорить об этом Роже Кольвен не стал, только недовольно смерил жену взглядом.

— Я тоже только и делаю, что думаю об этом событии, — продолжала Натали, спустившись в гостиную и сядя в глубокое старомодное, удобное кресло. Она свободно положила ногу на ногу.

— Тебе, пожалуй, надо бы переодеться, — все-таки не сдержался Роже.

— Почему?

— Ты одета не по своим годам.

— Ты так думаешь?

— Да.

— А я нет. Юбка могла бы быть на десять, а то и на все пятнадцать сантиметров короче.

Роже только хмыкнул в ответ. Что он, в самом деле! Носила же она платья куда короче — и ничего: он лишь гордился ею, а тут взорвался. Выходит, что все упирается в приезд Сергея Борода...

— Нет, я много думала об этом событии, — сказала Натали, беря сигарету из пачки, которая лежала на низком столике.

Роже тут же поднес зажигалку.

— Спасибо. Да, много думала. Как странно, мы загодя знали, ждали, готовились, а захватило оно нас врасплох. Мне даже страшно немного...

— Не понимаю, чего бояться? — заговорил Роже, широкими шагами меряя гостиную. — Это же прекрасно, что приезжает Сергей. Я рад видеть его нашим гостем. Могут возникнуть некоторые осложнения, но я, откровенно говоря, их не предвижу. Двадцать пять лет — это продолжительное время... Хотя... Да нет, все будет прекрасно! Не каждому удастся через двадцать пять лет встретить человека, с которым вместе пережил тяжелейшее время, бил гитлеровцев...

— Бил гитлеровцев? — медленно переспросила Натали, и в голосе ее послышалась грусть, Роже уловил это и остановился, с недоумением, не понимая, посмотрел на жену и с нажимом повторил:

— Вот именно! Бил гитлеровцев. И ты это прекрасно знаешь. Меня тоже наградили орденом Почетного легиона, медалями, и, клянусь богом, было за что. Мне краснеть не приходится. — Он сел в кресло, стоявшее у окна, и горько, словно жалуясь, добавил: — Вот уж действительно, одно к одному...

— Что еще случилось? — спокойно, даже равнодушно спросила Натали, глубоко затягиваясь ароматным дымом. И Роже понял, что никакие события, будь то землетрясение, потоп или конец света, не в силах в ее глазах превзойти приезд Сергея Бородай.

— Да, — вздохнув, сказал он, — есть неприятности. Большие, касающиеся дела. Но о них потом, я со всем этим справлюсь. Так было и будет, наверное, не раз. Все это мелочи. Сергей Бородай — вот главное!

— Правда?

— Конечно. А ты что, сомневаешься?

— Нет.

— Вот и отлично.

Они мгновение помолчали. Потом, стараясь сменить тему разговора, а на самом деле продолжая ее, и только ее, потому что в этот день говорить о чем-нибудь другом было просто невозможно, Роже спросил:

— Где Нина?

— На вокзале, конечно. Наверное, и нам следовало бы пойти?

— Нам — нет, не следовало, — твердо проговорил Роже Кольвен. — Ей — обязательно, а нам — нет. Мы примем его дома как дорогого гостя. Все правильно.

— А я не вполне уверена...

— Сейчас это уже не имеет значения. Поезд пришел. И нет нужды так волноваться. Бери пример с меня. Все будет хорошо. Я тебе обещаю: все будет просто отлично. Ты нервничаешь?

— Нервничаю? Нет, это не то... Какое-то странное чувство... Так, будто могла сделать в жизни что-то очень важное и не решилась... Должна была сделать какой-то смелый шаг и не смогла... А теперь... Не беспокойся... Менять что-то в нашей жизни уже поздно...

— Ты раскаиваешься?

— Раскаиваюсь? Нет, раскаиваться, сожалеть — тоже поздно. И вообще это унижительное чувство. Что сделано, то сделано, а слезами, если бы они даже нашлись, делу не поможешь. Это совсем иное... Возможно, мне нужно было встретить его на вокзале?

— Только этого еще не хватало. — Кольвен энергично поднялся с кресла и снова быстро зашагал по просторной гостиной. — Нина — его дочь, и встретить отца ее право, больше того — обязанность. Мне было бы неприятно, если бы моя дочь меня не встретила. А тебе это не обязательно и, скорей всего, даже неприлично. Ты моя жена.

— Да, я твоя жена, — медленно, всматриваясь в тлеющий огонек сигареты, сказала Натали.

— Ты говоришь таким тоном, словно это величайшее разочарование в твоей жизни.

— Ты ошибаешься, я не разочарована. Я думаю не о Бородае, не о нас с тобой и даже не о Нине. Мне бы очень хотелось знать, почему в жизни так много горя.

— Прости, пожалуйста, — серьезно, не улыбаясь, ответил Рोजе, — но философские вопросы сегодня меня мало интересуют... О них подумаем потом, на свободе. Сейчас меня больше волнуют вопросы жизненные. Этот проклятый Жан Патен...

— Что тебе сделал Жан Патен?

— Много чего сделал. Но об этом тоже потом. Все следует делать в строгой очерочности, не сваливая мясо и рыбу в один горшок. Сейчас главное — приезд Сергея Бородаа.

— Поезд, наверное, уже пришел...

— Он пришел еще полчаса назад. Сергей уже ходит по улицам нашего города.

— И не позвонит? Не даст знать о себе? Нет, нехорошо, что я не поехала на вокзал.

— Наоборот, очень хорошо. И не забывай, что он приехал с официальной делегацией на открытие памятника. Их встречали, говорили речи о единстве наших народов в борьбе против гитлеровцев... У него просто не было времени подойти к телефону... А вообще говоря, я тебя очень прошу, Натали, ни на минуту не забывай...

— Что я твоя жена? — закончила его мысль Натали.

— Да и это, конечно, тоже, но, кроме того, много всякого другого. Подумай о нашем положении в городе. Это тебе не Париж, здесь каждый человек на виду. Прошу тебя, не забывай о нашей репутации.

— Она под угрозой, наша репутация?

— Надеюсь, что нет. Но теперь, когда в городе я стал более или менее заметным человеком, нам нужно быть особенно осторожными. Создавать, организовывать — трудно, разрушать — легко. Мы должны быть осторожны.

— Что же изменилось в нашей жизни?

— В эти дни, когда Бородай будет в городе, мы станем в центре внимания, будем жить будто под увеличительным стеклом. Именно в эти дни нужно быть особенно осмотрительными...

— В своей жизни я ничего не собираюсь менять.

— Этого хочу и я. Никаких перемен. Пусть все катится по старым рельсам.

— А это не скучно — всю жизнь катиться по старым рельсам?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ответить на этот важный и для него и для Натали вопрос Роже Кольвен не успел. Дверь распахнулась, вошла Нина, кивнула в знак приветствия, быстро подошла к бару, плеснула в стакан апельсинового сока, долила немного вермута, кинула прозрачный кусочек льда, помешала и выпила одним духом, потом, поставив стакан на место, сказала:

— Ну вот, они и приехали. Сумасшедшая жара сегодня.

— Уже приехали? — подалась навстречу дочери Натали.

— Ты говоришь так, будто это для тебя неожиданность, — пожалала плечами Нина. В хорошеньком ее личике было много от Сергея Бородая, особенно глаза, серые, затененные густыми ресницами. Мать наградила ее темно-русыми волосами и своей статью — высокой ладной фигурой, сильными крупными руками.

Роже посмотрел на нее с восхищением, но одновременно и деодобрительно. Если юбка Натали вызывала в нем досаду, то про Нинину юбчонку и говорить было нечего. Ноги у девушки красивые, так разве она откажется от возможности показать их людям? Натали спокойно и легко отбила все его атаки, где уж ему воевать с Ниной! И Роже с грустью почувствовал себя старомодным, хуже — старым, но виду не подал.

— Так как же прошла встреча? — бодро спросил он.

Нина откинула густые волны темно-русых волос, спадавших на плечи.

— Что с тобой, Роже?

— Ты не можешь назвать меня отцом? Трудно сказать «папа»?

— Сегодня труднее, нежели вчера. — Нина знала, что слова ее жестоки, но иначе ответить не могла.

— Да, конечно, — на мгновение Роже растерялся, но тут же

вспылил и спросил резко: — Он не упал в обморок при виде твоей юбочки?

— Господи, как ты надоел мне со своими нотациями, — сказала Нина. — Запомни: мой отец, Сергей Бородай, образованный, культурный человек, один из передовых рабочих современности, как о нем пишут в советских газетах. В нашу глушь он ехал через Париж, а там наверняка мог увидеть и не такое, так что короткой юбкой его не удивить.

— А чем, по-твоему, его можно удивить? — спросил Роже.

— Преданной любовью, — не задумываясь ответила Нина.

— Не говори глупостей, — сухо заметила Натали. — Изменился он? Постарел?

— Постарел? Нет, я этого не заметила. С позапрошлого года седины прибавилось, но и только. Пятьдесят два года — разве это старость?

— Спасибо, — сказал Роже.

— Не за что, тебе до пятидесяти еще далеко.

— Один год.

— Между прочим, я пригласила его сегодня к нам на обед. Ты ничего не имеешь против, Роже?

— Тебе не кажется, что об этом в первую очередь следовало бы спросить маму?

— Нет, не кажется, именно поэтому я и решила спросить тебя.

— Странно. Впрочем, могла бы ты вообще никого не спрашивать, а просто пригласить его. И вообще, как это можно в демократической стране запретить дочери пригласить в гости родного отца? Да к тому же он не только твой отец, он бывший... — Роже запнулся.

— Ты хочешь сказать, мой бывший любовник? — спокойно спросила Натали, глядя не на мужа, а на дочь.

— Нет! — Гнев словно подкинул Роже в кресле. — Я вообще не знаю и не понимаю этого слова — любовник. Я хочу сказать, твой бывший муж, венчанный церковью и богом или нет — это в наше время не имеет значения. А еще я хочу напомнить, что он мой лучший друг, с которым мы вместе лежали под пулями, человек, который спас мне жизнь и жизнь которого спасли мы...

— Мы? — снова тихо и спокойно переспросила Натали.

— Да, мы. Ты была острием иглы, а иглой были все мы, маки, партизаны. И одна ты ничего бы не смогла сделать, значит, я с полным правом могу сказать слово «мы».

— Это правда, — согласилась Натали.

— И еще я хочу, чтобы вы знали, раз и навсегда знали, что я не признаю никаких мешанских предрассудков, к примеру, ревности, подозрения и подобной галиматии. Он мой друг, и я искренне, от всей души буду рад приветствовать его в нашем доме.

— Спасибо, Роже,— улыбнулась Натали,— я знаю, ты всегда был благородным человеком.

— Вот чего от меня не отнимешь, того не отнимешь,— согласился Кольвен.

— Люблю скромных людей,— весело засмеялась Нина.

— Это неуместный смех, Нина,— сухо сказала Натали.

— Неуместный и к тому же еще несправедливый,— подхватил Кольвен.

— Прости, пожалуйста, Роже,— покорно согласилась Нина.

— Просишь прощения, а глаза смеются...

— Оставьте этот пустой разговор,— приказала Натали.— Завелись, как малые дети.

— Я-то уж никак не похожу на ребенка,— сердито сказал Роже.— Но ты права: речь сейчас должна идти только о нашем госте. Кстати, Нина, ты пригласила на обед Шарля?

— Конечно,— сморщив носик, ответила Нина.

— Прекрасно. Пусть Сергей Бородай посмотрит на твоего жениха, пусть оценит нашу дальновидность и вкус.

— Нашу? — с проницательностью переспросила Нина: почему-то именно сегодня каждое слово Роже вызывало ее раздражение.— Все мы собираемся выходить за него замуж?

Роже оценил шутку и весело рассмеялся:

— Прости. Когда он придет?

— Он пошел с мадам Дюран в Комитет ветеранов войны договориться о церемонии открытия памятника.

— Я не о Бородае спрашиваю, а о Шарле Кюба, твоим женихе.

— Странно, но минутой раньше ты заявил, что сегодня можно думать и говорить только о Сергее Бородае.

— А я не беру своих слов обратно. Все верно, но Шарль мне сегодня тоже нужен. И очень! Когда он придет?

— Очевидно, скоро.

Роже снова прошелся по комнате, посмотрел на Нину, в глазах которой все еще плясали веселые бесенята, на задумавшуюся Натали. Пожал плечами и сказал:

— Конечно, приезд Бородая хоть и главное событие, но ведь оно не означает, что жизнь остановилась. У меня к Шарлю дело. Важное дело. Я настроен самым решительным образом...

— Интересно, кому угрожает твоя решительность? — снова с усмешкой спросила Нина.

— Мирный период нашей жизни окончился, теперь я намерен воевать.

— С кем? — Этот разговор приносил Нине очевидное удовольствие. Во всяком случае, таким отчима она еще не видела. И пусть он не прячется за свои какие-то таинственные дела, которые только сейчас пришли ему в голову, все это для отвода глаз; мысли же его — о Бородае, и только о нем.

— Еще рано говорить, с кем я буду воевать,— заявил Роже,— противник может оказаться куда более ловким и сильным, чем мне кажется. Поэтому надо заручиться союзниками, и я их найду. Найти союзников и провести разведку. И то и другое я сделаю в ближайшие дни.

— Мальбрук в поход собрался...— пропела Нина.

— Вот тогда посмотришь, какой выйдет из меня Мальбрук. Посмотришь и оценишь мою дальновидность. Натали, ты нас совсем не слушаешь?

— Прости, я задумалась...

— Ну конечно, есть повод и основания,— сказал Роже, он посмотрел на жену, Нину и подумал, что, в сущности, его работу, мечты, огорчения они не принимали всерьез, не ценили, а может, и не понимали. Постояв немного молча, он вышел из гостиной в свой кабинет, который находился рядом с гостиной, на первом этаже. Сел за большой, старинный, еще дедом купленный письменный стол, взял толстую папку с бумагами, развернул ее. Это были документы, которые подтверждали участие и его и Натали в партизанском движении во время войны, старые, уже пожелтевшие листовки тех лет, газетные вырезки, а на большом куске блестящего бристольского картона наклеена вырезка из правительственной хроники, где уведомлялось о награждении его, Роже Кольвена, вместе с группой других товарищей орденом Почетного легиона. Натали тоже наградили, правда, не орденом, а медалью. Официально, за подписью президента де Голля, подтверждена честность и незапятнанность Роже Кольвена, он не сидел сложа руки в те трудные дни, он бил фашистов.

На какое-то мгновение, в тысячный раз перечитывая строки хроники, Роже Кольвен почувствовал себя по-настоящему счастливым. Он не станет выступать на открытии памятника, он будет лишь присутствовать, но оглядываться люди будут на него... Правда, на праздник приехал Бородай, и о нем тоже вспомнят, отдадут должное, но ведь он иностранец, а французы всегда были и останутся патриотами, им необходим свой собственный, французский герой — он, Роже Кольвен. И это великоленно!

И хотя Кольвен видел, что в его жизни далеко не все так хорошо, как ему хотелось бы, забыть на какое-то, пусть короткое время о каждодневных заботах и неприятностях, хотя бы на миг снова стать молодым, отважным, каким он видел себя в те далекие военные годы, стать таким хоть на мгновение — показалось ему не только приятным, но просто необходимым. Прекрасно, что приехал Бородай, и не менее прекрасно, что продлится этот визит всего три дня. Приятно встретить давних боевых друзей! Правда, потом начнутся трудные дни, но разве он сам, Роже Кольвен, не имеет права на трехдневный отдых?

А в гостиной Нина снова налила в стакан сока, плеснула вермута и сидела в кресле, теперь уже спокойно, не торопясь, смакуя, по глоточку отпивала ароматную холодную влагу. Смешные все-таки ее мать и отчим. Чего они волнуются? Разве такой человек, как ее отец, может принести кому-нибудь горе или стать предвестником его?.. Но и у нее на сердце не все было так спокойно, как ей хотелось бы. Шарля Кюба, ее жениха, придется показать отцу, и именно здесь кончалась тропинка, по которой можно было идти легко и уверенно, и начинался зыбкий грунт, на котором не знаешь, где поставить ногу. Понравится ли отцу Шарль? Нет, скорей всего, не понравится. Действительно не понравится или ей хочется, чтоб так было? А, собственно говоря, почему? Разве она не уверена в своем выборе? Разве в душе ее есть сомнения? В том-то и дело, что есть, и даже немалые, но нужно сделать так, чтобы никто их не заметил, больше того — не догадался. Она решила быть богатой и счастливой, это решение верное, дальновидное, а все сентиментальные чувства, связанные с прошлым, необходимо отбросить и забыть. Она так и сделала. Или это только кажется, что она сделала? Почему в жизни на все вопросы существуют не только два ответа — «да» или «нет», а куда больше? Почему люди не могут брать пример с вычислительных машин, которые на все вопросы отвечают «да» или «нет»? Жизнь была бы значительно проще и легче. И нечего себе морочить голову, правильно или неправильно, ведь все уже решено. Осенью она станет мадам Кюба, и их супружеская жизнь наверняка будет не хуже, чем у других богатых людей.

— Как он выглядит? — вдруг прозвучало в гостиной. Нина удивленно посмотрела на Натали, потом засмеялась: мама идет только по одной тропе, не в силах свернуть на другую, думает о Сергее Бородае, и только о нем. Ну что ж, ее можно понять. Будем относиться снисходительно к переживаниям старших, а особенно к некоторым их воспоминаниям, они наверняка заслуживают уважения, и она весело ответила:

— Я тебе уже имела честь доложить — выглядит он прекрасно.

Натали поднялась с кресла, прошлась по гостиной, на мигу остановилась возле столика, поправила два красно-синих тюльпана в хрустальной вазе, отошла, переплела и заломила пальцы рук так, что они хрустнули.

— Волнуюсь, как девчонка. А волноваться, собственно говоря, нечего...

Нина взглянула на мать, и вдруг предчувствие каких-то неизвестных, непредвиденных перемен охватило ее душу. Если говорить честно, ей даже хочется, чтобы случилось что-то, изменилось, пусть к лучшему или к худшему, но изменилось. Куда

денешься от этого странного чувства, оно живет в тебе, и все тут: хочешь ты того или нет. И все-таки, стараясь обмануть себя, Нина сказала:

— А волноваться вовсе и нечего. Я же спокойна. Роже прав, приезд отца — радость.

— Оно и видно, как ты спокойна.

— Моя жизнь расписана наперед, как расписание поезда. Случаются, правда, и там опоздания или отклонения от графика, но катастрофы бывают все-таки редко.

— Это тебе только кажется, что в расписании поездов все четко и неизменно. А на самом деле наступает момент, когда все летит к чертям.

— Ну, мама, это уже мистика.

— Нет, в жизни всегда так бывает. Все идет спокойно, привычно, без происшествий. А потом настает день, когда выясняется, что по-старому жить уже нельзя, какой-то удар, потрясение, открытие, и внешне все остается на своем месте, а на самом деле меняется все.

— Что-то тебя потянуло на гегелевскую диалектику? Я ее недавно проходила. Называется переход количества в качество.

— Я этих законов не изучала, но в жизни случается так. Накапливается, собирается в душе, и ты не всегда даже понимаешь, что именно, а потом плеснет через край — и все: по-старому жить невозможно. — И уже совсем нелогично, меняя тему разговора, спросила: — Я очень постарела? Скверно выгляжу?

Нина окинула мать критическим, оценивающим взглядом, задержалась на едва заметных морщинках под глазами, на серебристой пряди над левым виском и честно сказала:

— Ты выглядишь чудесно. Тебе никто не даст больше тридцати пяти, ну максимум тридцати шести лет.

— Ты всегда была вежливой и хорошо воспитанной девочкой, — невесело усмехнулась Натали. — А тебе не кажется, что тридцать пять — это тоже не так-то уж мало?

— Нет, не кажется, — ответила Нина. — И, пожалуйста, не волнуйся, потому что твое волнение, как заразная болезнь, легко передается и мне, и Роже, и вообще угрожает скоро охватить все население нашего дома. Конечно, я твоя дочь и не могу быть объективной, но, на мой взгляд, женщин красивее тебя даже во Франции не часто встретишь, не говоря уже о Советском Союзе. Я ухитрилась наделать немало ошибок в своей жизни: мне, наверное, не следовало ездить к отцу. Не следует будоражить таинственные гены, скрытые в нашей крови...

— О чем ты говоришь? Какие гены?

— Поверишь, Запорожье мне снится ночами, хотя вроде бы причин для этого нет никаких. Понимаешь, я сошла с самолета, вокруг степь, такая огромная, просторная и ровная-ровная, что люди там ориентируются, как моряки в море, с помощью компаса; подул ветер, и я прямо обомлела и испугалась — такой

сложный и ни с чем не сравнимый запах. Отец потом рассказал, какими травами пахнет ветер. Чабрец, мята, полынь, любисток, иван-чай, прямо какие-то колдовские зелья! В этом, конечно, нет ничего удивительного. Испугало меня другое, я уже знала, как они пахнут, эти травы...

— Знала, наверное, не ты, а твои далекие предки.

— Вот именно. Ты тоже не очень-то можешь похвастаться своим чисто французским происхождением. У нас, в Париже, тысячу лет назад королевой была киевская княжна, не говоря уже о восьмьсот двенадцатом годе, когда в Париже гостили русские солдаты.

— Не говори глупости!

— Это не глупость, а историческая правда, хотя для нас с тобой значения не имеет. И все! Все-таки отлично, что приехал отец! Покажу ему Шарля и с его благословения выйду замуж. — Они сидели друг против друга в глубоких креслах и будто бы вели общую беседу, а на самом деле мысли их текли в разных направлениях, и каждая говорила о своем.

— Роже почему-то первый, будто бы испуганный, — задумчиво улыбаясь, сказала Натали, — и это просто смешно. Ведь прошло двадцать пять лет, мы возмужали, если не сказать, что постарели, и бояться ему нечего...

— Откровенно говоря, жить там постоянно я бы не хотела, — продолжала Нина. — Но все равно, вот так закрою глаза, и снится Днепр, озеро Ленина, яхты на нем. Оно глубокое, прохладное, и говорят, будто бы на его дне водятся черные усатые сомы длиной метра в два. Лично я не видела, но там все может быть... У нас и на Лазурном берегу, и на Сене, и на Луаре тоже есть яхты, и даже значительно красивее, с яркими разноцветными парусами, а снятся мне почему-то те, простые, белые, похожие на чаек... Я долго искала ответ, почему же снятся именно они?

— И нашла? — вдруг вырываясь из плена своих мыслей, спросила Натали.

— Пожалуй, да. Дело не в яхтах... Дело в людях... В меня там один капитан влюбился...

— Успела? — засмеялась Натали.

— Успела. Капитан из пионерского яхт-клуба. Ему было тринадцать лет... Я у него на яхте плавала матросом. Ты даже представить себе не можешь, какой это был суровый, требовательный и образованный капитан. Взглянет на меня — покраснеет как мак, а команды подает так, словно и вправду стоит на капитанском мостике «Нормандии», и никак не меньше. Я получила огромное удовольствие.

— Несчастный мальчик.

— Нет, наоборот, счастливый. Я у него спросила: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» — «Конструктором автомобилей», — отвечает. И он действительно станет конструктором. Эта уве-

ренность живет в каждом из них. Как в сказке: что пожелаешь, то сбудется. Поплывешь на яхте, полетишь на Марс, станешь поэтом, рабочим...

— Ну, это, наверное, не самое трудное — стать рабочим...

— Все зависит от того, как понимать это слово. На меня вообще заводы производят гнетущее впечатление, а там я часами любовалась, как отец варит сталь. «Моя кастрюля», — говорит про свой мартен. А в той кастрюле пятьсот тонн расплавленного металла, прикрытого пушистым шлаком.

— Ты заговорила, как инженер. Что такое шлак?

— Долго рассказывать.

— Жаль, не удалось мне там побывать, — медленно промолвила Натали.

— И очень хорошо. Ты наверняка осталась бы там. Я же тебе говорю, решают не яхты и не мартеновские печи. Решают люди, а для тебя один человек. Ты даже представить не можешь, какой он сильный и красивый...

— Ну это-то, наверное, я могу представить, — снова коснулась в душе какого-то воспоминания Натали и тихо улыбнулась.

— Это тебе только кажется, а на самом деле его, сегодняшнего, ты знаешь очень мало...

— Не знаю, не знаю, — повторила свою любимую поговорку Натали. — Да где же он? Говорим, говорим о нем, а он, может, о нас и забыл.

— Нет, не забыл. Просто его захватила в плен мадам Дюран, а от нее вырваться не так-то просто, сама знаешь... Но он вырвется. Понимаешь, я особенно рада, что он приехал именно сейчас. Мне удалось сделать один практический вывод из своей, пока еще небогатой опытом жизни. Что может быть наиболее ценным в судьбе человека? Уверенность в своем будущем. Так вот, уверенность в жизни человеку дает или советская власть, как говорил мой советский отец Сергей Бородай, или большое богатство, как твердит мой отчим Роже Кольвен. Советской власти в моем распоряжении, увы, нет, — значит, я выбираю богатство. Я тоже хочу быть уверенной в своем завтрашнем дне. Все-таки это прекрасно: медовый месяц на Гавайских островах. Океанские зеленые волны, прелестная белоснежная вилла, очаровательный солярий на крыше, и я под солнышком в красном купальнике «бикини». Ну как, нравится тебе такой подбор колеров?

— Нравится.

— А у них таких волн, как на Гавайских островах, нет, так пусть и не очень-то задаются.

Натали посмотрела на дочь немного удивленно:

— Послушай, разве у тебя с Шарлем не все ясно?

— Нет, все решено. Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю, ты будто себя убеждаешь: я поступила правильно, правильно, правильно.

— Не выдумывай, пожалуйста, того, чего нет на самом деле. Хотя, когда у меня будет дочь, я, наверное, тоже стану придумывать всякие страхи. Такова участь всех матерей. Успокойся, у меня все ясно.

— Ну и отлично.

— Просто великолепно, — с вызовом сказала Нина.

Но у Натали Кольвен не было времени разбираться в чувствах своей дочери: все мысли ее поглотила предстоящая встреча. И хотя она знала, что ничего уже не изменится в ее жизни: и поздно менять, да и невозможно, все равно сердце обмерло, едва послышалось за дверью какое-то движение.

А правда ли, что ничего нельзя изменить в ее жизни? И так-то уж ничего? Конечно, за Сергеем Бородаем в Советский Союз она не поедет: у него там семья... Но разве только такие перемены идут в счет? Малые события зачастую меняют жизнь куда глубже, чем катастрофы. И эта встреча вряд ли пройдет для них обоих бесследно... Мысли ее метались, ударяясь в прочную стену привычного семейного уклада, за многие годы устоявшегося в их старинном особняке, и тут же стремительно уносились тревожным потоком воспоминаний и надежд. Выдержит ли эти переживания Натали и какой выйдет из них?

Мелодичный, знакомый, даже незаметный в обычные дни звонок, который всегда выговаривал одну и ту же протяжную музыкальную фразу, теперь показался громом.

— Он! — выдохнула, бледнея, Натали.

— Не волнуйся так, мама... — постаралась успокоить ее дочь.

— Оставь, ради бога, — отмахнулась Натали, бросаясь к дверям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Но это пришел не Сергей Бородай. На пороге гостиной стоял высокий светловолосый молодой человек лет двадцати семи, с продолговатым сухощавым лицом, высоким лбом и гасконским, с горбинкой, носом. Глаза у него, видимо, были карие, но какие они были на самом деле, определить было трудно, потому что парень смотрел только на пол, и густые темные ресницы лежали, как глубокие тени под глазами. Одет он был в легкий, поношенный, но старательно отглаженный серый костюм. Кончики воротника красной мягкой рубашки воинственно торпорщились. В руке он держал черную, из искусственной кожи, сумку для инструментов.

— Здравствуйте, мадам Кольвен, — чуть запинаясь, сказал он, все еще не поднимая глаз. Уже не по-юношески сильный его

баритон прозвучал приглушенно, молодой человек, словно нарочно, старался говорить тихо и рассудительно.

— Здравствуй, Патрик,— приветливо отозвалась Натали.

Нина только тряхнула головой и промолчала.

— Я пришел очень некстати?

— Нет, отчего же, проходи, пожалуйста, садись.

— Спасибо. Я на минуту, по делу.

— Вот и хорошо,— сказала Нина.

Предчувствие неминуемой грозы, несчастья стало настолько ощутимым, словно воздух уплотнился в комнате, и Натали, не зная, как себя держать, растерянно посмотрела на дочь и на гостя.

— Я сейчас уйду,— сказал Патрик.

— Мне еще нужно...— перебила его Натали.

— Мама, тебе ничего не нужно,— резко сказала Нина,— ты прекрасно выглядишь и останься, пожалуйста, здесь. Сейчас отец...

— Я услышу, когда он придет,— Натали уже поднималась по лестнице.— Ты даже не представляешь, сколько обязанностей у хозяйки в такой день.

— Отлично представляю,— недовольно бросила ей вслед Нина, но мать уже скрылась за дверью.— Зачем ты пришел? — перенесла она свой огонь на гостя.

— Я знаю, что пришел не вовремя, но другого часа у меня нет. До прихода твоего нареченного успею уйти. Он явится минут через пять-восемь. Здравствуй.

— А ты откуда знаешь? Добрый день.

— Обогнал его на велосипеде. Они по-аристократически шествуют пешком и сейчас остановились на углу рю Богарне, разговаривают с бухгалтером фирмы Жана Патена. А ты не беспокойся, я к тебе правда по делу.

— Ты очень любезен,— не улыбаясь ответила Нина. Она смотрела на парня: этот красивый и славный Патрик все еще не поднимал глаз, упорно рассматривая ковер. Что его там занимало? Почему-то совсем не к месту вспомнилось, как они впервые поцеловались. Воспоминание было настолько острым, что девушка прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Это было неподалеку от мыса Антиб, на Лазурном берегу Средиземного моря. Позапрошлым летом они прожили там вместе почти месяц. Тогда было все ясно и понятно: они любили друг друга и решили пожениться.

Что изменилось с тех пор?

Патрик тогда уехал на год в Африку, чтобы подзаработать деньжонок и заложить основу их будущего семейного благополучия, а за это время Нина встретила Шарля Кюба.

История банальная, таких в жизни случалось тысячи, если не миллионы: любила одного, разлюбила, полюбила другого. Патрик вернулся из Африки неамного состоятельнее: как был

электромонтером, электромонтером и остался, а значение денег, их роль в жизни человека отрезвляюще дошли до сознания Нины во время его отсутствия. Между ними не было никаких драматических сцен. Просто во время их последнего разговора Нина старалась не смотреть Патрику в глаза и поражалась, что может быть такой спокойной и, если честно сказать, жестокой. Правда, в сердце жило острое, едкое и стыдное ощущение своей неправоты, но она сумела подавить его. Если бы тот разговор задержался хотя бы на пять минут, Нина наверняка не выдержала бы и, может, кинулась Патрику на шею, умоляя все забыть и простить... Но, к счастью, Патрик ушел тогда вовремя, бледный и молчаливый. Нина боялась, не сделал бы он чего худого над собой, но парень оказался сильнее, нежели она думала, и все обошлось, лишь в сердце осталась щемящая боль и ощущение вины.

С Патриком отношения внешне не изменились. Он старался не попадаться девушке на глаза, хотя в таком небольшом городке, как Флеманш, сделать это было не так-то просто, они встречались, здоровались, только ресницы Патрика всегда были опущены. А вот сегодня, поди ж ты, решился, пришел, и сделал это в самое неподходящее время.

Видно, важные были причины.

— Да, я к тебе по делу, — повторил Патрик, — в воскресенье в городском саду открывают памятник...

Все раздражало в эти минуты Нину, она боялась изменить себе и потому постаралась спрятаться за насмешку. О, насмешка — отличная защита.

— Ты доверяешь мне великую государственную тайну?

— Ирония здесь неуместна, — спокойно сказал Патрик. — В могиле лежат герои: Иван Климов, мой отец и Жак Лефевр, это не могила неизвестного солдата, героев мы знаем, и нужно, чтобы все было точно...

— В чем дело, не понимаю.

— Не торопись. Твоему жениху топать сюда еще минут пять, мы успеем. На памятнике — ошибка вышла в надписях: мой отец родился двумя годами раньше, чем там указано, не в двадцать пятом, а в двадцать третьем. Мне жаль тебя беспокоить...

У Нины отлегло от сердца: слава богу, никакими неприятностями этот разговор не угрожает, день и без того полон всякими волнениями. И сразу в просторной гостиной стало как-то светлее, или это лучи предзакатного солнца прорвались в окна?

— Что я могу сделать?

— Очевидно, все. Ты же все-таки скульптор...

Нина пожала плечами, снова взглянув на гостя насмешливо.

— Тебе не кажется, что это не особенно вежливо звучит — «все-таки скульптор»?

— Прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть...

— А ты и не можешь обидеть. Я все-таки скульптор.

— Не сердись, ты же хотела им стать. Даже училась...

Кем только она не хотела стать — актрисой, ученым, скульптором. Всюду требовалось работать долго, терпеливо, и потому ей все это казалось скучным. Она везде обнаруживала способности, вначале даже выделялась среди своих товарищей, а потом вскоре разочаровывалась и отступала, начиная искать что-то другое. Два года училась под руководством известного скульптора-абстракциониста, потом решила, что скульптура — не ее судьба, и кинулась в науку, увлечение театром тоже было кратким. И все-таки эти годы не совсем прошли впустую, кругозор ее расширился, хотя она так и осталась дилетантом, способным, правда, но и только. Не хватило упорства, умения и желания работать, а главное — убежденности в правильности избранного пути. За последний год она попробовала свои силы в журналистике, и это было, пожалуй, самое интересное, но тут подоспело обручение с Шарлем Кюба, и все стало на свои места. О будущем теперь думалось спокойно, она, как тысячи и тысячи французов, станет прекрасной женой состоятельного человека, у нее — семья, дети, круг добрых друзей, и тогда понемногу отойдет на второй план, а потом и вовсе сгладится из памяти образ Запорожья, города над озером Ленина, который всегда вызывал в душе неясную тревогу.

И в то же время девушке было лестно: к ней обратились с просьбой, как к настоящему специалисту, — значит, ее умение может кому-то пригодиться. Чувство это было приятным, поэтому она посмотрела на Патрика миролюбиво, но все-таки сдалась не сразу.

— Для того чтобы изменить цифру на уже установленном памятнике, необходимо разрешение, — авторитетно сказала она.

— Оно есть у меня. Я понимаю, что это не мое частное дело. Он теперь принадлежит всей Франции, этот памятник.

Нина нахмурилась. Громкие слова всегда вызывали в ее душе недоверие. За ними — она твердо знала — не увидишь настоящего глубокого чувства, в этом она убеждалась не раз. Но выражение ее лица не тронуло Патрика: он по-прежнему не глядел на девушку.

— Вот посмотри, — Патрик протянул Нине бумагу, — я был в Комитете ветеранов и в мэрии. Они и минуты не раздумывали, сразу согласились. Ведь всем неприятно видеть ошибку.

— А ты уверен, что произошла ошибка?

Нина задала вопрос и тут же почувствовала, как невольно придала ему иной смысл, Патрик сразу это уловил и в свой ответ постарался вложить тот же подтекст, ясно давая понять перемену в разговоре.

— Уверен. Не только ошибка, а может, и настоящая трагедия.

— Да, в те дни здесь разыгралась подлинная трагедия, — сразу уклонилась от темы, которую сама же затронула, девушка. — Какие это были люди! Я всегда думаю о них с восхищением. Интересно, хватило бы у меня сил совершить что-нибудь подобное?

Она отошла от проблемы, которой коснулась как бы невзначай, и Патрик, поняв это, покорился, хотя все его существо кипело от обиды. Он просто спросил:

— Ты мне поможешь?

— Помогу. Инструменты, кажется, сохранились, если мама их не выбросила.

— И знай, — веско сказал Патрик, — я приходил сюда, чтобы попросить тебя поправить надпись.

Он и сам не мог понять, почему говорит то, о чем лучше было бы помолчать: сам того не желая, он открывал сокровенные свои чувства; казалось, все успокоилось, прошло, а на поверку выходит — живет, чуть дотронешься — болит.

— Я это знаю, — просто сказала Нина.

Уснувшая было сладкая боль пробудилась и в ее сердце, но сразу оценить эту перемену девушка не могла, вернее, боялась, не хотела приоткрывать свою душу.

— Да, без всякой другой цели, — твердо повторил Патрик, уже стараясь убедить не Нину, а прежде всего себя. — Ты правильно меня поняла? Без всякой другой цели.

Последние слова прозвучали чуть громче обычного. Нина встревожилась: неужели не все кончено между ними? Пожалуй, не все. Беспокоит ее не горячность Патрика, а собственные чувства. На сердце могло бы быть спокойнее. И, стараясь полностью овладеть собой, не дать вырваться ни одному неосторожному слову, она сказала:

— Да, я правильно все поняла. Мне очень приятно было повидать тебя именно сегодня.

— Правда? — Патрик впервые за все время разговора решился посмотреть на девушку, и ей сразу пришлось затенить свои глаза ресницами, отгородиться от устремленного на нее страстного взгляда.

— Правда, — тише, чем обычно, ответила Нина, и именно это показное спокойствие откровеннее всего сказало о ее неуверенности. Неизвестно, как дальше потекла бы беседа, если бы в гостиную не вошел уже переодевшийся Роже Кольвен.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он остановился на пороге, удивленно поглядывая на молодых людей и не понимая, почему здесь находится Патрик Дюран и не следует ли ожидать от этого свидания какой-нибудь новой неприятности. Странное настало время, каждый миг приходится думать, не принесет ли он тебе новых забот. Нет,

кажется, на этот раз все обошлось благополучно, но появление Дюрана в их доме все равно неуместно. Об отношениях дочери и Патрика Роже Кольвен хорошо знал. На Лазурный берег они ездили вместе. Конечно, ничего необычного в этом нет. Нине тогда было двадцать два года. Все так делают. К слову сказать, именно там она встретила Шарля Кюба. Значит, он тоже все знает, но это не помешало ему предложить Нине руку и сердце, как говаривали в старину. А разве для него самого прошлое Натали имело какое-то значение? Важны только чувства, которые ты сейчас переживаешь, и деньги. Вот что правит миром. Он, Роже Кольвен, честный человек и имеет право спросить:

— Что ты здесь делаешь, Патрик?

— Пришел к Нине по делу.

— По какому делу?

Нина взглянула на своего отца и протянула ему бумагу. Кольвен взял, снова ожидая какого-то подвоха, прочел и потом легко, даже немного с гордостью вздохнул.

— Да, конечно, нужно исправить,— сказал он.— Памятники создают на века, и надписи на них должны быть точными. В этой могиле мог лежать и я...

И ему почему-то именно в этот момент захотелось рассказать, какой тогда был жестокий бой. Он имел все шансы погибнуть, но не погиб. Видно, его сберегла судьба, он вынул счастливый жребий. Правда, воспоминание об этом бое было немного омрачено, в глубине его таилась капля горечи, со временем она все меньше и меньше ощущалась, почти исчезла, но в минуты, когда начинался разговор о минувших боях и погибших героях, всегда давала о себе знать.

— Да, в той могиле мог бы лежать и я,— повторил Роже Кольвен. Он вынул платок из кармана легкого пиджака и провел им по глазам, вытирая символические слезы.

В передней снова прозвучала привычная протяжная мелодия звонка.

Роже взглянул встревоженно, почти с испугом:

— Он уже пришел?

— Кто? — вопросом на вопрос ответила Нина.

— Сергей Бородай, конечно.

— Нет, это, скорей всего, Нинин жених,— сказал Патрик.— У товарища Бородай в комитете еще много работы.

— А ты откуда знаешь?

— Я там был. Брал разрешение исправить надпись на памятнике.

— Я открою? — взглянул на Нину Роже.

— Зачем, там Жаннета.

Это была их старая служанка, почти член семьи, без нее существование этого дома было просто невыносимо. И правда, стукнула входная дверь, и вскоре Шарль Кюба, веселый, энергичный, появился на пороге.

То, что ему везло в жизни и судьбой своей он был доволен, чувствовалось в каждом его движении, улыбке, слове. Высокий, стройный, он, казалось, не жил, а упивался жизнью. Если бы художнику потребовалась натура, чтобы изобразить типичного француза, то для этой цели лучше Шарля ему бы не подобрать. Тонкое лицо, орлиный нос, крупные губы, густые смоляные блестящие волосы, словно разрубленные косым пробором, и выразительные, тоже черные, на удивление веселые глаза. Особенно поражала легкость и пластичность движений, он будто бы постоянно пританцовывал какой-то танец, каждый его жест был законченным и продуманным. Он был полной противоположностью Патрика Дюрана, тоже высокого и молодого, но сдержанного и медлительного в движениях. А может, это счастье накладывает свой отпечаток на жесты людей? Если бы этих двоих поменять местами, возможно, Патрик тоже стал бы радостно-оживленным, а Шарль молчаливо-сдержанным?

— Здравствуйте, — весело поздоровался Кюба, — какая чудесная стоит погода!

Он на мгновение задержался взглядом на лице Дюрана, но улыбка осталась прежней — белозубо-ослепительной. Может, он просто не узнал Патрика или не захотел узнать?

— Счастлив видеть вас, Шарль, — сказал Роже, — и особенно — сегодня. Знакомьтесь, это сын моего погибшего во времена Резистанса друга Патрик Дюран.

Он нарочно, подчеркивая свою собственную роль в минувших событиях и точно расставляя акценты, сказал не «оккупация», а «Резистанс», Соппротивление, тем самым выделил наиболее важное из того далекого и героического времени.

Только теперь до сознания Шарля дошло, кто стоит перед ним, но ничто не могло погасить его бьющей через край радости.

— Мы с вами не могли где-то встретиться раньше? — спросил Шарль, уже поняв все, однако не подавая вида, что узнал Патрика.

— Могли, — хмуро ответил Дюран и перевел взгляд на Кольвена: — Простите, мне пора идти.

— Может, ты останешься отобедать с нами? — сам не понимая, зачем он это говорит, спросил Кольвен. И Нина посмотрела на него с удивлением.

— Нет, благодарю вас, я условился пообедать с друзьями, — ответил Патрик, не глядя ни на кого. — Значит, Нина, ты исправилась надпись? Спасибо. Всего доброго!

Он поклонился и направился к выходу.

— Всего хорошего, — сказал Кольвен.

Какое-то мгновение в гостиной держалась неловкая тишина, затем из передней послышался голос Жаннеты: «До свидания» — и стукнула входная дверь.

О существовании Патрика Дюрана теперь можно было и забыть. Начисто.

— Здравствуй, моя любимая, — сказал Шарль Кюба, широко улыбаясь.

Нина спокойно и привычно, как делала это не один раз, поставила ему щеку для поцелуя, Шарль коснулся губами прохладной, свежей девичьей щеки без особого удовольствия: на его взгляд, целоваться при встрече они могли бы поосновательнее, но Нина постоянно доказывала, что не может после каждой встречи подновлять свой «мейк ап» — косметику. Причина была уважительная, и потому приходилось довольствоваться малым.

— Почему он такой сердитый, этот молодой человек? — спросил Шарль.

— У нас по свету ходит немало сердитых молодых людей, — философически заметил Кольвен. — Я думаю, что результат атомных взрывов и повышенной радиации.

— Вряд ли, — ответил Шарль весело, — как правило, это люди, которым нечего делать, нечем заняться...

— Неправда! — громко перебила Нина.

— Нет, моя любимая (эти слова, «моя любимая», Шарль произнес по-английски — «my darling», и в его устах они прозвучали естественно), все-таки это правда. Но на свете так много подлинных чудес, что задумываться над такими мелочами не стоит.

— Вот именно, — не желая согласиться, ответила Нина. — Простите, я скоро вернусь. — Она поднималась по лестнице, даже не кинув взгляда на своего жениха.

Шарль, не теряя юмора, сказал:

— Моя милая невеста тоже принадлежит к поколению сердитых молодых людей. Это сулит мне далеко не стандартную семейную жизнь. Приятно и утешительно. Вы знаете, Кольвен, я все время открываю в ней новые черты характера. Картина нашей семейной жизни вырисовывается все выразительнее.

Он был значительно моложе Роже, годился ему в сыновья, но называл его запросто по имени или по фамилии и даже, вполне вероятно, на правах будущего зятя легко мог перейти на «ты», но это не волновало Кольвена.

— Нина — веселая и сердитая, — сказал Роже, неожиданно входя в роль заботливого и любящего отца, — добрая и талантливая, ленивая и старательная, чего только не отыщешь в ее характере. Она — типичное дитя второй половины двадцатого столетия, однако от многих ее сверстниц Нину отличает одно бесценное качество — она всегда честная.

— О, в этом я не сомневаюсь, — засмеялся Шарль, вдруг исперпав неожиданно возникшую тему разговора.

Кольвен тоже сделал это с удовольствием. Все, что касалось прежних отношений Нины с Патриком Дюраном, казалось ему зыбким и ненужным. Хотя, видит бог, бояться сейчас нечего. Нина сама все решила без помощи родителей, а такие решения, как известно, наиболее твердые.

— Прекрасно,— сказал он, хотя не совсем было ясно, что именно его так обрадовало.— Что мы выпьем перед обедом? Вермут? Виски? Ах, да,— вспомнил он будто бы совсем незначительную, не стоящую особого внимания деталь,— у нас сегодня обедает наш бывший партизан, мой друг из Советского Союза Сергей Бородай.

— И вы молчите о таком интересном событии?

— А что в нем интересного для вас? Это для меня важно — встреча друзей. Война забывается, а вот так встретишь старого друга — и снова будто молодеешь на двадцать пять лет.

— Он русский? — поинтересовался Кюба.

— Не совсем. Он откуда-то с Украины. Во всяком случае, он советский.

— Тогда просто грех по такому поводу не выпить водки,— весело решил Шарль.

Роже подошел к бару, бросил по кусочку льда в высокие рюмки, налил водку, немного разбавив водой.

— Садитесь, Шарль, нам нужно поговорить.

— Что-нибудь серьезное?

— Не очень. Приезд Бородая требует от меня некоторых, так сказать, пояснений... О нет, нет, не беспокойтесь, ничего такого, о чем неловко говорить или вспоминать. Все честно и пристойно.

— У меня и в мыслях нет ничего подобного,— беззаботно улыбаясь, ответил Шарль, садясь в кресло и глотнув холодного огня.— Напрасно мы разводили водку, такой прелестный продукт надо пить в чистом виде.

— Справедливо сказано. В следующий раз мы так и поступим. Я хочу, чтобы информация о нашей семье для вас немного расширилась, а главное, дошла точной, из первых рук.

— Если в этом есть необходимость, я — весь внимание,— вновь улыбнулся Шарль, убежденный, что из рассказа Кольвена вряд ли узнает что-либо новое.

— Вы, Шарль, будущий член нашей семьи,— продолжал Роже,— и будет правильно, если узнаете все. История началась с героического времени движения Сопротивления во Франции. Я вам скажу, что этот Сергей Бородай был человеком отчаянной смелости. Когда мы все впервые встретились, ему было немногим больше двадцати лет, в сущности мальчишка, не больше. Все мы тогда были юнцами. Так вот, этого Бородая взяли в плен на Восточном фронте, он не был офицером, простой рядовой солдат, но это не меняет дела. Ну, его, конечно, бросили в концлагерь, а он вскоре вместе со своим другом Иваном Климовым бежал, пошли они не на восток, как обычно делали все, кому удавалось бежать, а на запад, и это ребят спасло; правда, их снова поймали где-то в Бельгии, но им опять удалось бежать, и снова вдвоем, и уже не из концлагеря, а из гестаповской тюрьмы где-то неподалеку от Льежа. Конечно, все это было бы

просто невозможным, если бы им не помогало население. У Борода я удивительная способность располагать к себе людей, легко находить с ними общий язык... Так вот, они пробились во Францию и в лесах Бургундии, неподалеку от швейцарской границы и от нашего благословенного Флеманша, вместе с такими же отчаянными головами, и своими и нашими, французскими, организовали партизанский отряд «Генерал де Голль», в котором были и мы с Натали. Наш отряд не сидел сложа руки. О наших боевых делах знали все. Мы организовали операцию, о которой написано в истории движения Сопротивления. В боевой группе было четверо: Клод Дюран, сына его вы только что видели, Жак Лефевр, Иван Климов и Сергей Бородай. Остальные бойцы отряда обеспечивали тылы и подходы, можете быть уверены — это было далеко не безопасно. Вчетвером они ворвались в здание гестапо, забросали гранатами, перебили офицеров... Между прочим, Шарль, вы могли бы убить человека?

— Ну, это зависит...

— Совершенно справедливо. Так вот, я хочу сказать, в то время я мог свободно убить гестаповца. Это смешно, но мне кажется, будто в то время я был во всем выше, значительнее, сильнее.

— А сейчас вы бы не смогли убить гестаповца? — осторожно спросил Шарль.

— Не знаю. Но мы уклонились от темы нашего разговора. Так вот, они сожгли гестапо, выпустили французов, брошенных в тюрьму.

— Где же вы были в это время? — снова осторожно спросил Шарль.

— На боевом посту, заранее определенном для меня командиром Жаком Лефевром. Правда, мне не удалось выполнить всех возложенных на меня обязанностей, но я был в центре боя. И Натали была в нашем отряде, хотя непосредственного участия в операции не принимала, но потом оказалась чуть ли не главным действующим лицом.

— Bravo! Bravo! — воскликнул Шарль.

— Ну так вот, из гестапо они вырвались счастливо, но на подмогу гитлеровцам из Дижона вскоре прибыло подкрепление, и они окружили всю нашу группу в бистро «Корона», вы его хорошо знаете...

— Это там, где Люси Шабер?

— Да, да, именно... Она имела к операции прямое отношение, скажем, и к Ивану Климову тоже. Вы даже представить себе не можете, какая это была красивая любовь! Мы иногда чуть ли не плакали от умиления и восторга, глядя на них... Ну вот, значит, эсэсовцы окружили группу в бистро «Корона», троих убили, а Бородаю удалось прорваться, и его погнали по городу, как зайца. Тут-то и сказался характер Натали. Смертельно рискуя, она его спрятала. Отец ее был шофером, он скончал-

ся лет десять назад как достойный христианин. Во дворе, где они жили, стояли старые машины и одна цистерна. Бородай влез в эту цистерну... Потом Натали вызволила его оттуда и спрятала в подвале...

— И очень скоро влюбилась,— закончил рассказ Шарль Кюба.

— Совершенно верно. Женщины очень легко влюбляются в людей с героическим прошлым, к спасению которых они сами причастны.

Отряд «Генерал де Голль» провел еще две операции, правда, меньшего масштаба, а потом притаился, потому что фронт подошел вплотную, где уж нам было выступать с нашим оружием против танков! Когда окончилась война, Натали была уже беременна.

— Они венчались?

— Венчались... Вы не имеете никакого представления о том времени. Кто тогда думал о браке или о каких-то там юридических формальностях? Ну вот, окончилась война, все пленные стали возвращаться на родину, Сергей хотел взять с собой Натали, но не разрешили, и это можно понять: беременной женщине не место в лагере бывших военнопленных. Потом, уже в Советском Союзе, он долго старался вызвать к себе Натали, ничего из этого не вышло, ведь перед законом и людьми они не были мужем и женой... Родилась Нина...

— А потом показал свою власть всемогущий врачеватель — время? — растроганно спросил Шарль.

— Время, конечно, тоже, но мне казалось, что и сама Натали не очень хотела покидать Францию.

— Одно дело, когда тебя несет на высокой волне героизма, и совсем другое, когда начинаются будни?

— Именно так. Но не думайте, Натали любила его искренне и преданно и наверняка поехала бы, если бы там, в учреждениях, ведающих всякими справками, не начали тянуть волокиту... Еще глоток водки?

— Пожалуйста.

— Ну вот, они там тянули, тянули, а когда через четыре или пять лет разрешили, было уже поздно. Я любил ее всегда и сейчас люблю. Без нее представить свое существование я просто не в состоянии. И не осуждайте ее, это очень непросто — покинуть свою родину. Мне удалось ее убедить, и это, безусловно, к лучшему. Она бы там не прижилась и навсегда осталась несчастной.

— А сейчас она счастлива?

— Вне всякого сомнения. И наилучшим доказательством является то, что Нина, дважды побывав в гостях у отца, там не осталась. Мы воспитаны иначе, не хочу судить, лучше или хуже, но иначе, и об этом нельзя забывать.

— Да, об этом забывать нельзя,— задумчиво отозвался гость.

— Вы разочарованы?

— Наоборот, восхищен,— засмеялся Шарль, допивая последний глоток.— Кстати, где работает мой будущий тесть?

— В какой-то глуши. Во всяком случае, не в Москве и не в Ленинграде. В Запорожье на Днестре. Нина рассказывала, что город большой, но она склонна к преувеличениям.

Шарль посмотрел на Кольвена немного удивленно и одновременно с сочувствием.

— Запорожье? Глушь! — воскликнул он.— Мой дорогой Роже, вы стоите на ложном пути и на нем рискуете наделать немало ошибок. Запорожье с его металлургией, которая включает в себя и такой завод, как «Днепроспецсталь», — одно из крупнейших предприятий мира. Он не директор одного из запорожских заводов, этот ваш верный друг?

— Нет, он простой сталевар, но с высшим инженерным образованием. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, Шарль. Никакие металлургические заводы, вместе взятые, меня не интересуют. Я живу только в своей области. Парфюмерная фирма «Кольвен» — вот средоточие моих желаний, надежд и тяжких забот. А рассказал я вам всю историю нашей любви в те героические дни для того, чтобы вы имели полную информацию из первых рук, хотя здесь никаких тайн, как видите, нет и быть не может. Для вас тесть — я. Нина носит мою фамилию, сами понимаете, насколько нелепо было бы для девушки, оказавшейся в колледже, иметь фамилию Бородай. Это вызвало бы массу ненужных вопросов...

Шарль подошел к бару, налил в свой стакан на этот раз не водку, а вермут. И Роже подумал, что эта перемена не случайна. С далеких романтических дорог воспоминаний жених вернулся во Францию.

— Этот Бородай в самом деле ваш лучший друг, Роже? — с оттенком иронии спросил он.

Роже посмотрел на него удивленно, как на человека, который все время казался разумным, внимательным и вдумчивым и вдруг враз оказался сумасбродным. Вопрос воспринимался просто как бессмыслица.

— Да, лучший друг,— уверенно ответил Кольвен.— Мы ему спасли жизнь, а вы ведь знаете, что люди, которым мы делаем добро, всегда кажутся нам достойнейшими из достойных. Я только не понимаю, почему вы спросили...

— Сам даже не знаю... Мне показалось, будто прозвучал некий едва заметный оттенок...

— Сделайте скидку на старомодную ревность и необычность ситуации. У меня есть все основания пусть не для тревоги, а для обыкновенной осторожности.

— Могу вас понять, могу вас понять,— задумчиво ответил Шарль, и в это время послышался легкий перестук женских каблучков по лестнице. В гостиной снова появилась Натали.

Она все-таки переделалась, и, по мнению Роже Кольвена, еще более неудачно. О женщины, самое святое их желание — казаться моложе своих лет, с горечью подумал он, но ничего не сказал, только раздражение и тревога почему-то усилились.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Ну где же Бородай? — нетерпеливо спросила Натали. — Ужасно не люблю подавать к столу разогретый суп. У нашего гостя, не дай бог, сложится неправильное представление о нашей французской кухне.

— Не беспокойся, — примирительно сказал Кольвен, — нашу кухню он знает прекрасно.

— Нет, тогда мы просто голодали.

— Верно, хлеб, картошка с морскими черепашками — мули в то время для нас были величайшими лакомствами. Но времена изменились. За твои кулинарные способности мы можем быть спокойны. Не волнуйся так, Натали, все будет хорошо.

— Кто тебе сказал, что я волнуюсь?

— Смена твоего туалета.

Натали посмотрела на него и, не сказав ни слова, вышла, но не по лестнице наверх, а куда-то в глубь дома, по всей видимости — на кухню.

— У моей будущей тещи весьма выразительный взгляд, — оставаясь спокойным и даже более сдержанным, чем был часом раньше, сказал Шарль.

— Да, — неохотно согласился Кольвен.

— Простите, я хорошо знаком со всей вашей семьей, но никогда не видел кухарки Луизы.

— Не видели, зато частенько встречались с творениями ее рук, — ответил Кольвен, — это кулинарный бог нашей семьи. Она работает у нас уже, верно, тысячу лет. Кухарка, каких не сыщешь даже во Франции, особенно в наше время, когда все, в том числе и пища, стандартизируется и нивелируется. Но из кухни она почти не выходит, не любит показываться на людях.

— Она уродлива?

— Нет, просто нелюдима. Ничего не поделаешь, такой характер.

— Да, тут уж действительно никуда не денешься. Впрочем, вам не кажется, что мы, французы, придаем всем этим идеалистическим глупостям слишком большое значение? Кухарка должна быть кухаркой, и настроение ее не столь уж важно, кухарку всегда можно заменить.

— О, что вы говорите! — воскликнул Роже Кольвен. — Луизу заменить невозможно! То есть в принципе сделать это можно, но вместе с нею вы утратите святыню, которая в каждой французской семье зовется обедом. Я всегда с нетерпением ожидаю, каким еще вкусовым нюансом уже давно знакомого блюда пора-

зит меня Луиза. Суть не в самом блюде, а в нюансах. Точно так же как и в жизни, мой дорогой Шарль, нюансы, оттенки — главное. Ваше поколение это не всегда понимает и потому многое утрачивает.

— Возможно, — охотно согласился Шарль, не имея ни малейшей охоты спорить. — Где же все-таки моя невеста?

— Где-нибудь наверху. Позвать?

— Нет, не надо. Если задерживается, то наверняка для этого есть причины.

Он снова подошел к бару, плеснул в стакан обыкновенной газированной воды, с наслаждением выпил и осторожно спросил:

— Она очень любила его?

Роже Кольвен оказался в неловком положении: было неясно, о ком идет речь. Вопрос мог относиться и к жене и к дочери. У Нины за плечами тоже неудачная (хотя это слово не совсем точно выражает смысл отношений) любовь, и может случиться так, что жених спрашивает именно об этом, хотя тактичным в таком случае его не назовешь. Но бестактным Шарль Кюба никогда не был, и потому правильное и удобнее было бы отнести этот вопрос к Натали; правда, и в этом случае любопытство казалось несколько странным в устах постороннего человека.

Но, может быть, будущий зять и в самом деле имел право знать все о семействе, в которое собирался войти. И потому Роже коротко ответил:

— Очень.

— И все-таки вы... — начал Шарль. Но Кольвен перебил его:

— Вы только что сказали, что французы придают слишком большое значение всяким романтическим глупостям. Я — француз в этом понимании слова. Для меня человек существует таким, каков он есть, а не каким был. Я люблю и всегда любил ее больше жизни, и, будьте уверены, это не красивые слова, а святая правда. А если Роже Кольвен сказал, что он хочет чего-то добиться, то так оно и будет.

— Мой американский шеф любит частенько повторять эти слова.

— Мне абсолютно безразлично, что любит ваш американский шеф. Я изложил мое жизненное кредо и ему пока не изменял. Натали любит меня, я обожаю ее, мы образцовая семья, и никакая тень прошлого не сможет омрачить нашего счастья.

Продолжить разговор, который для Роже Кольвена казался очень важным, а для Шарля Кюба, собственно говоря, просто не имел никакого значения, они не успели, — Нина быстро, вприпрыжку, спустилась по ступенькам лестницы в гостиную.

— Ну вот, я и готова, — весело заявила она.

У Шарля даже дух захватило от восторга, такой прелестной была Нина. И действительно, она сделала все, чтобы выглядеть лучшим образом при встрече с отцом. Но на Роже Кольвена

такого впечатления она не произвела. Окинув ее критическим взглядом, он хмуро сказал:

— В этой гостинной все точно с ума посходили.

— А кто же еще, кроме меня? — весело спросила девушка.

— Твоя мать.

— Могу ее понять. Кстати, где она?

— На кухне. Наносит последние художественные мазки на кулинарный шедевр Луизы.

— И здесь я ее понимаю. Обед — важная вещь.

— Рад это слышать, — улыбнулся Шарль.

— Да, можешь радоваться, я буду готовить тебе по всем правилам французской кухни, но с украинским привкусом.

— Это небезопасно? Перец, чеснок, лук?

— Далеко не всем дано это понять, но я знаю секреты. «Мартини», пожалуйста. Сухого. Спасибо.

Шарль подал ей бокал, на три четверти наполненный густым, чуть зеленоватым напитком. Девушка с наслаждением отпила и весело посмотрела на жениха и отчима:

— Ну как, обо всем поговорили?

— Поговорили, — хмуро ответил Роже.

— Чем ты недоволен?

— Современной модой.

— Ну, Роже, это просто смешно! Разве можно быть таким? Вот Шарль, например, доволен.

— Конечно, — согласился жених.

— Возможно, — сказал Роже, — но вы, мои юные друзья, лишаете себя многих утопченных удовольствий. Конечно, у тебя красивые ноги, но, всем известно, если в женщине нет тайн, исчезает очарование.

— Ну, это для меня слишком сложно, — сказала Нина. — С какой стати я должна скрывать свои сильные стороны?

— Вернее, скрадывать, — нашел точное слово Роже Кольвен, — да, да, от этого они станут еще прелестнее.

— Не знаю, — сказала Нина. — В наше время в таком случае могут просто не заметить.

— В том-то и дело, — грустно повторил Кольвен, — в том-то и дело! Ваше поколение обкрадывает себя.

— А может, наоборот, — сказал Шарль. — Может, мы научились полнее и смелее пользоваться нашими ранее скрытыми сокровищами? Скрытая красота остается неузнанной, мертвой.

— Важно, чтобы она была доступна не всем, а только одному человеку, эта красота, — ответил Кольвен. — В этом-то и разница между вашим и нашим поколениями.

— Роже, — удивленно сказал Шарль Кюба, — что бы вы делали, если бы чудесные духи вашей фирмы мог оценить только один человек? Вы бы просто умерли с голоду, а фирму пришлось бы продать с молотка. Вы неблагодарный человек, Роже, вы богаты именно потому, что прелестные духи фирмы «Коль-

вен» нравятся тысячам французов, которые понемногу приносят вам свои деньги.

— Женская красота — это совсем другое, — стоял на своем Кольвен. Но беседа оборвалась, потому что в передней мелодично прозвучал звонок, и Роже встрепенулся.

— Это он, наверняка он. Встречаю!

— Ты не относись к нему так строго, Шарль, они очень милые, эти пожилые люди, с их идиллическими взглядами. Именно они-то и украшают жизнь, — сказала Нина.

— Абсолютно согласен с тобой. Но это мелочи. Роже мне все рассказал, я и не знал, что у тебя такая необычная родословная.

— Не знал, что я дочь рабочего из Запорожья? Ты надеялся, что я незаконнорожденная русская княжна?

— О, нет, — рассмеялся Шарль, — современный советский рабочий куда значительнее пронафалинированного царского князя. Во всяком случае, провести медовый месяц в Запорожье было бы куда интереснее, чем проторчать на Гавайях.

— Ты правда так думаешь? — внимательно посмотрела на жениха Нина.

— Конечно, — ответил Шарль, — ничего, ничего, мы еще всюду побываем, и на Гавайях, и в гостях у твоего отца в Запорожье. Очень хочется, чтобы я ему понравился.

— Мне тоже этого хочется, — сказала Нина и улыбнулась. Сергей Бородай стоял на пороге.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прежде он никогда не бывал в этом большом, внешне мрачном, а внутри светлом и просторном доме. Тогда еще был жив отец Роже Кольвена Сезар Кольвен, который не одобрял деятельности своего сына. Конечно, не раз говорил он, с бошами вести борьбу нужно всеми возможными средствами, но товарищей себе необходимо выбирать осмотрительно — достойных, а не каких-то там беглых военнопленных или заводских рабочих, как Жак Лефевр или Клод Дюран. Правда, на войне твоими товарищами становятся те, кто вместе с тобой идет в бой, но все-таки...

Вот так для маки старый дом на рю Даниэль был закрыт, и сам Роже не часто почевал в нем, опасаясь обыска и ареста. А гестапо, хорошо зная настроения и правила старого Кольвена, вообще домом не интересовалось. Партизаны прятались в небольших, но густых лесах Бургундии между Дижоном и Безансоном, никогда не почевали дважды на одном месте, им и в голову не приходило привлечь старого Кольвена к движению Сопротивления и они были правы: старик вряд ли их поддерживал бы. «Выжить в этой проклятой войне, не знаят своего имени» — вот был его принцип, и придерживался он его твердо.

Но сразу после войны старший Кольвен умер, и Роже сделался единственным наследником и владельцем большого дома и маленькой парфюмерной фирмы. Именно тот, сорок седьмой год стал счастливейшим в его жизни, потому что ему удалось жениться на Натали. К чести его, нужно сказать, что всякие мещанские разговоры о незаконнорожденном ребенке и вообще о связи Натали с бежавшим из плена Бородаем не волновали Роже Кольвена. Женщина вышла замуж, потом в силу каких-то причин (сейчас нет смысла разбираться, важных или не важных) разошлась со своим мужем, уже имея ребенка, и снова вышла замуж. Таких примеров — пруд пруди. Роже Кольвен — не исключение. Самой же Натали вся эта история в глазах соседей и вообще жителей Флеманша не только не повредила, наоборот — создала вокруг нее ореол героизма, честности и настоящей смелости. Любовь к советскому пленному солдату во время оккупации была далеко не безопасным поступком и выглядела романтично и самоотверженно. В том, что Натали уже после войны вышла замуж за Кольвена, люди тоже не видели ничего худого: хорошо, что честные француженки-патриотки остаются во Франции.

Натали переписывалась с Бородаем поначалу часто, потом письма стали приходить реже, однако ниточка связи между ними не обрывалась... И вот наконец Сергей Бородай переступил порог дома, который в его воображении всегда оставался враждебным и неприступным.

Он вошел в гостиную, сразу увидел Нину и высокого молодого человека с приятным, характерным для французов лицом, но не обратил на них внимания. Все его существо было охвачено ожиданием встречи с Натали, и первое его слово, естественно, было о ней.

— Нина, а где Натали? — громко спросил он.

— На кухне, — ответила дочь, подавляя чувство обиды. — Что может быть важнее обеда во Франции?

— И то правда, — засмеялся Бородай и обратился к Кольвену: — А ну, поворотись-ка, сынку... Ничего не скажешь, вполне самостоятельный мужчина. — Бородай обнял его, стиснул плечи, словно проверяя на крепость, и отпустил. — А ты сильный, вполне еще сильный хлопец. Тебе ведь и пятидесяти нет?

— В следующем году стукнет. Я на три года тебя моложе.

— Великое дело — три года. Со временем их чувствуешь все сильнее. Нет, ты действительно молодец.

— Да, еще держусь, во всяком случае стараюсь убедить других, что держусь, — скромно ответил Кольвен. И пригласил: — Знакомьтесь.

Шарль Кюба шагнул вперед и, слегка склонив голову, сказал:

— Разрешите представиться, Шарль Кюба, имею честь быть женихом этой очаровательной девушки.

Бородай взглянул удивленно на дочь, было непонятно, приятна или, наоборот, огорчительна для него эта новость, так как он, слегка запнувшись, спросил:

— Нина, а что же ты не сказала?

— Когда?

— На вокзале.

— Разве там было время говорить?

— А написать не могла?

— Все это недавно окончательно решилось, — ушла от прямого ответа дочь.

— Ну что ж, рад с вами познакомиться, — сказал Бородай и протянул Шарлю Кюба свою широкую ладонь. Ему интересно было почувствовать рукопожатие Шарля, оценить человека не только на взгляд, и он не разочаровался: ладонь француза оказалась сухощавой и сильной. Первому рукопожатию Бородай всегда придавал большое значение, для него это было словно бы подключение к другой нервной системе, настоящее знакомство. На этот раз он остался доволен.

— Я восхищен, — легко вступил в разговор Шарль, — вы прекрасно владеете французским.

— Ну, насколько прекрасен мой французский язык, я знаю сам, — засмеялся Бородай. — Когда-то имел возможность выучиться, и учительница была хорошая... только не удалось, как говорится, закончить курс образования.

— Ты в самом деле хорошо говоришь, я тоже поражен, — быстро вставил свое слово Роже. И, чтобы уйти от разговора об учительнице, добавил: — Как тебе понравился наш старый Флеманш?

— Я еще ничего не успел посмотреть. А вот твой дом мне очень понравился. Я почему-то никогда не представлял, что станет день, и я смогу свободно сюда войти. Роскошно живешь.

— Роскошно? И это ты называешь роскошью? Ты не видел по-настоящему роскошных домов! А это что — старая халупа, два этажа, окна узкие, бассейна нет, центральное отопление провели только в прошлом году, кондиционированного воздуха не хватает. И это ты называешь роскошным домом? Но ничего, если дела пойдут так, как я рассчитываю, и не будет никаких неожиданностей, я года через три заведу себе такой дом, что не только во Флеманше — в Париже ахнут.

— Вот никогда не думал, что ты станешь настоящим капиталистом.

Неожиданно Роже помрачнел.

— «Капиталист, капиталист», — передразнил он. — Поперек горла стал мне твой капитализм. Подлый мир, подлая система, подлые люди, шпион на шпионе сидит и шпионом погоняет, пусть все сгорит ясным огнем!

К этому времени они все уже сидели в креслах, Нина рядом со своим женихом, Сергей Бородай возле окна, освещенный со спицы предзакатным солнцем, лицо же оставалось в тени. И только Роже Кольвен энергично шагал по гостиной, размахивая пустым стаканом, не в силах сдержать возбуждения.

— Что с тобой? — удивился Бородай. — Мне всегда казалось, что капитализм создан именно для тебя.

— Прежде мне тоже так казалось. Не будем скромничать — после войны мне кое-чего удалось достичь. Преодолею спад. Удачно купил и продал немецкие трофеи. Не все им нас грабить, должна же была когда-то наступить и расплата, ну вот она и настала... Дело пошло неплохо, весьма неплохо... Ну что тебе сказать, сейчас в моей фирме занято почти пятьсот химиков, лаборантов, фармацевтов, просто рабочих, имею несколько магазинов во Флеманше и соседних городах. Париж, правда, я не завоевал, но и там мое имя имеет вес. Я, конечно, не такой гигант, как Диор, Коти, Патен или Ланком, но тоже все-таки не пустое место.

— Извини, — сказал Бородай, — все это очень интересно. Но обо всем этом давай поговорим позже. А сейчас... Где же Натали?

— Я тебе сказал, сейчас придет, — сухо ответил Кольвен. — Весьма странно, что моя жизнь тебя так мало интересует.

— Нет, нет, не обижайся, я слушаю.

— Ну вот, все было прекрасно, пока я ходил в коротких штанишках. А только вырос, все изменилось. О нет, люди остались такими же любезными, вежливыми, улыбчивыми, но вдруг оказалось, что я окружен предателями, шпионами, микрофонами.

— Почему? Мне казалось, что с полицией у тебя должны быть наилучшие отношения...

Роже Кольвен посмотрел на своего друга так, словно увидел первобытного человека.

— Господи, до коих пор ты будешь мучить меня? — горестно всплеснув руками, воскликнул он. — Неужели вы никогда не научитесь воспринимать мир во всей его сложности? При чем здесь полиция? Там служат честнейшие люди, и именно на них-то в конечном итоге и держится все государство. Герою романа Сименона комиссару полиции Мегрэ поставили памятник! Символ разума, честности и знамение времени! Это о полиции разговор. А шпионами меня окружил Жан Патен. Дело в том, что мне удалось найти талантливых людей, химиков, специалистов по изготовлению и композиции ароматических смесей. Это удивительные люди, их работу можно сравнить только с искусством гениальных музыкантов, я сам специалист в этой области, и мы изобрели неповторимый аромат — духи, которые заставляют женщин и их поклонников совершенно автоматически раскрывать кошельки. Именно с этой величайшей находкой я связывал будущее моей фирмы, ее расцвет, большие прибыли...

И вот сегодня утром прихожу на рю Богарне, вижу витрину Патена и в ней метровыми буквами мое название «Мадам Камю». Вхожу, стараясь остаться незаметным, хотя из этого, конечно, ничего не вышло, девушки из патеновских магазинов меня хорошо знают, покупаю флакон, нюхаю и чуть ли не падаю в обморок. Еще раз нюхаю и убеждаюсь: моя композиция, мои духи, мой рецепт. Куда я дену десятки тысяч флаконов, которые я хотел выпустить к летнему сезону и уже собирался рекламировать? Всех оптовых торговцев, конечно, уже заграбастал Патен. Он наверняка уже выпустил не десятки, а сотни тысяч флаконов, и они дешевле моих, потому что у него большие возможности. Кто меня предал? Еще два-три таких удара, и все. Крах! По теории Карла Маркса. Абсолютно точно.

Вспомнив разговор в вагоне, Сергей Бородай улыбнулся, чем вызвал взрыв негодования своего старого друга.

— Не вижу причин для веселья! — обиженно воскликнул Кольвен.

— Ты уже читаешь Карла Маркса?

— А что тебя удивляет? Да, чтоб ты знал, читаю. Ничего не подделаешь, приходится. Мы с тобой об этом когда-то говорили. Нина, почему у Сергея пустой стакан?

— Не беспокойся, я сам налью, — сказал Бородай. — Так как же все-таки он смог выкрасть твой рецепт?

— Не задавай вопросов, на которые невозможно ответить. Откуда я знаю? Важен не процесс, а результат. Но он не знает, с кем имеет дело! До сих пор я никому на мозоли не наступал, но теперь все изменилось. Война так война. В ответ я так ударю...

— Что вы имеете в виду? — лениво, без особого интереса спросил Шарль, почувствовав паузу в горячей речи Кольвена.

— Я знаю, что имею в виду, — уклонился от прямого ответа Роже, — но удар будет сокрушающим. Именно с вами, Шарль, мне нужно посоветоваться.

— Всегда к вашим услугам, — ответил Кюба.

— Где же все-таки Натали? — снова спросил Бородай.

— Неужели ты не знаешь, что для французов обед, да еще в такой день, все равно что для артиста выступление с сольным концертом... Где-то нота не так звучит, чуть громче, чуть тише. А для хозяйки — сюда чуть добавить соли, здесь лишний раз помешать, а то еще немного поддержать на огне...

— Я думаю, что со всем отлично справится кухарка.

— Она сделает только черновую работу. Настоящим произведением искусства обед станет только после того, как к нему прикоснутся руки хозяйки.

— Ну, раньше ты так не говорил. Просто ел, что дают, и был доволен.

— Времена изменились, ты знаешь совсем другую Францию,

друг мой, совсем другую. Не беспокойся, сейчас придет Натали, завершит свое колдовство и придет, она настоящая француженка и понимает значение обеда в жизни человека.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

А в это время «настоящая француженка» вовсе не думала об обеде, не добавляла в жаркое из голубей ни соли, ни специй, во всем положившись на Луизу, алжирскую испанку, в жилах которой была и капля арабской крови, придавшая ее коже темно-бронзовый оттенок. Хозяйка сидела на кровати в комнатке кухарки, где на стене висел портрет чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Мохаммеда Али, он, как известно, оказался человеком принципиальным, отказавшись воевать во Вьетнаме, за что и угодил в тюрьму, однако вышел оттуда и вновь стал чемпионом мира. В маленькой комнате пахло кухней, дешевыми духами. В обычное время Натали не задержалась бы здесь так долго, но сейчас эта комнатка казалась ей последним убежищем, где можно чувствовать себя в безопасности. Почему она боялась войти в гостиную, было просто непонятно: все отношения давно выяснены, изменить ничего невозможно, да она и не хочет перемен. И все-таки войти в гостиную и встретить Сергея Бородаю страшно, будто броситься зимой в ледяную воду. Странное дело, отчего у нее на душе ощущение вины и острой тревоги? Что она в своей жизни сделала не так, в чем ошиблась? Собственно говоря — все. Нет, неправда, ей не за что краснеть, она ничего не скрывала, ни в чем не обманула Сергея. Он знал, что она больше не может ждать, он ведь прислал поздравление в день свадьбы. Ну и что? Разве чувства изменились? Ведь прошло почти тридцать лет. Подумать только... Они стали пожилыми людьми. Если бы Нина раньше вышла замуж, у нее, Натали, могли бы быть внуки. Самое время для любовных переживаний! От сознания этого на сердце печаль, более того, ощущение глубокого горя, понимание тщетности жизни, в которой она не решилась изменить что-то главное. Но все это в прошлом, в очень далеком прошлом. Почему же сейчас она медлит войти в гостиную, почему непослушно-ватными стали ноги? И вообще, правильно ли она живет? И как надо жить, она знает?

Луиза приоткрыла дверь в комнату.

— Если телятину я не подам на стол через сорок минут, она потеряет свой вкус, мадам.

— Я сейчас иду, Луиза, — Натали не тронулась с места.

Просто неслыханно, чтобы хозяйка так долго сидела в комнатке кухарки. Но женским инстинктом Луиза почувствовала драму, женскую драму, и не удивилась.

— Хорошо, я иду, — решительно сказала Натали. Встала, взглянула на себя в старое, потрескавшееся зеркало в деревянной овальной раме на узеньком туалетном столике Луизы и по-

морщилась. Красуля, ничего не скажешь! Ну что ж, беды большой в этом, пожалуй, нет, пословицу «Чем хуже, тем лучше» люди придумали именно для таких случаев.

«Подтянись, возьми себя в руки», — приказала себе Натали, провела расческой по волнистым темно-русым, некрашеным волосам и вышла из тихой комнатки, провожаемая сочувствующим взглядом боксера Мохаммеда Али. Он наверняка хорошо понимал ее, потому что знал, как нелегко сделать первый шаг к рингу, где через пять минут начнется решающий бой.

Какой решающий бой? Что может решиться в ее жизни? Ничего. Зачем же тогда волноваться? Вперед.

А тем временем разговор в столовой, изменив свое русло, приобрел деловито-бодрый оттенок, потому что повел его Шарль Кюба.

— Я рад, что вы приехали перед нашей свадьбой, — говорил он. — Если у вас выберется свободная минута, мосье Бородай, то я просил бы подарить ее мне.

Сергей Бородай невольно улыбнулся, услышав это словосочетание «мосье Бородай», по-французски оно прозвучало вполне естественно, просто иначе не скажешь. Ответить же Шарлю Кюба не успел, вмешалась Нина:

— У него вряд ли будет свободное время!

Чем она взволнована, чего боится, разве нет в ее сердце уверенности в любви, или что-то не так в этом будущем супружестве?

Все эти вопросы, на которые не было ответов, мгновенно промелькнули в мыслях Бородай. Он помолчал немного и сказал:

— О нет, Шарль, мы, наверное, выкроим время. Мне тоже хочется поближе познакомиться с вами.

— Но ведь ты будешь здесь только три дня! — не сдавалась Нина.

— Четыре. Мы уезжаем в понедельник, сегодня четверг.

— Но тебе надо купить подарки...

— Это не займет много времени.

И, все еще не понимая, почему дочь хочет, чтобы на разговор его с Шарлем осталось как можно меньше времени, он спросил:

— Где вы работаете, Шарль? Какая у вас профессия?

— Вообще говоря, я математик, закончил Сорбонну, но немного отошел от чистой математики в сторону электроники и кибернетики. Мне удалось кое-чего достичь. Сейчас я один из представителей американской фирмы «Гудвин и сын» во Франции. Наш центральный офис в Париже, но я оказался здесь, потому что, вы, наверное, знаете, во Флеманше большой приборостроительный завод, в котором интересы нашей фирмы представлены довольно широко. Мы взяли заказ на проектирование и установку электронных систем, вычислительных машин, стан-

ков с электронной памятью... Работа интересная, оригинальная, заказы не повторяют один другой, и потому всегда приходится решать новые математические, инженерные или электротехнические проблемы... А это для меня важнее всего.

— Самое важное в жизни для тебя — это я, — заявила Нина. — И не позволю, чтобы меня приравнивали к электронике.

— Вот это уж точно, — весело засмеялся Шарль, показывая свои ровные, ослепительно белые зубы. — Простите, я не очень осведомлен, но у вас, в Советском Союзе, имеют представление о таких системах? Хотя, если вы запускаете спутники, они у вас есть. Вопрос мой не вполне разумный. Но я имел в виду не космос, а обычное производство.

— Да, — ответил Бородай, — варить сталь мне помогает электронно-вычислительная машина. Должен сказать, очень дельный и надежный помощник.

— Ну вот и закончилось твое ожидание, Бородай, — стараясь быть абсолютно спокойным, однако с тревогой в голосе сказал Роже Кольвен.

В дверях гостиной стояла Натали. Она на мгновение будто застыла — бледное, неподвижное лицо, устремленная вперед фигура, — не сводя с Бородай взгляда больших, похожих на темные миндалины, карих глаз. Потом сделала короткое движение, будто хотела броситься к нему, но сразу сдержалась, снова замерла, и всем было видно, каких нечеловеческих усилий стоит ей эта сдержанность.

Роже Кольвен даже вздохнул, так ему было жалко Натали. «Почему это люди не научились еще избегать вредных эмоций, — думалось ему. — Ведь изменить уже ничего нельзя. Так не лучше ли воспринимать события с легкой душой, весело. Мы прошли через огонь войны, смерть и остались живы, разве у нас нет оснований для радости?»

Натали стояла, смотрела на постаревшего Бородай, на сдину его висков и морщины щек, и главное для нее было — сдерживать слезы. Не седина, не морщины поразили ее, она была готова к встрече, больше того, уже познакомилась с ними по фотографии, и разве они имели хоть какое-то значение? Она видела перед собой человека, которого любила всю жизнь, сейчас это стало ясным, как никогда прежде.

А перед Бородаем вдруг предстала его далекая молодость, такая же прекрасная — нет, куда краше, чем была в мечтах. И все, что казалось надежно упрятым в глубине сердца, вдруг ожило, и каждая маленькая, зажившая, словно забытая, ранка в душе проснулась, отозвавшись болью. Он не знал, что произойдет в следующее мгновение, любой поступок, даже самый отчаянный, не показался бы ему странным.

— Здравствуй, Наталочка, — тихо сказал Бородай. Оказывается, кто-то первый должен сказать слово, и оно сразу разбило на маленькие кусочки купол напряжения, который словно

накрыл собой большую гостиную, не давая возможности свободно дышать, говорить и вообще жить.

— Здравствуй, Сергей, — тоже очень тихо, но уже не через силу, без боли ответила Натали.

Но напряжение еще не исчезло, и Роже Кольвен решил вмешаться, прийти на помощь этим несчастным.

— Ну бросайтесь же, бросайтесь в объятия друг к другу, — милостиво, улыбаясь, разрешил он. Но ни Бородай, ни Натали не двинулись с места.

— Думаю, что ваше позволение здесь излишне, — в глубине души потешаясь этой сценой, сказал Шарль Кюба.

В серых глубоких глазах Нины стальным лезвием промелькнул гнев. Этих слов ее жениху не нужно было бы говорить, он откровенно намекал на права, которых у него еще не было...

— На твоём месте я бы помолчала, Шарль, — сказала, как отрезала, девушка, и Кюба посмотрел на свою невесту с удивлением. До сих пор ему казалось, более того, он был уверен, что приезд Бородая никак не скажется на его личной судьбе. Сейчас уверенность поколебалась, и сознавать это было неприятно. Но разобраться во всех этих тонкостях он не успел: Натали все-таки кинулась к Бородаю, обняла его, прижалась, спрятала лицо на груди...

И руки Бородая сами собой поднялись, обнимая женщину. Он ощутил душу, любовь Натали совсем близко, возле своего сердца. Ее нежные руки, грудь, прикосновение щеки — все это было его собственным, до боли, до крика родным. Ничто не изменилось за долгие годы, все осталось нетронутым. Как же так могло случиться, что Натали принадлежит не ему, а другому?..

Молчание затянулось, и Роже, все еще придерживаясь своего шутивого тона и просто не в силах себя вести иначе, сказал:

— Жаль, нет кинооператора. Такие встречи надо показывать по телевизору в передачах под заголовком: «После разлуки». Успех обеспечен. Растроганные зрители уже вынули носовые платки, а некоторым даже капают тридцать капель вальерьянки.

— И тебе, пожалуй, сейчас лучше бы помолчать, Роже, — остро ненавидя в эту минуту отца, сказала Нина. И эти слова помогли опомниться Натали и Бородаю. Их руки опустились. Они разошлись, не решаясь взглянуть друг на друга.

Все молчали, не находя нужных слов, которые бы сняли неловкость и напряжение этих минут. Первым не выдержал Роже.

— Не правда ли, мы все-таки немолоды, чтобы начинать новую жизнь? — стараясь успокоить себя, сказал он.

И Нина поняла: если она не возьмет руководство событиями в свои руки, неизвестно еще, как все обернется...

— Минут пятнадцать до обеда у нас еще есть,— сказала она.— Роже, тебе не хотелось бы показать Шарлю наш сад?

— С удовольствием полюбуюсь им,— все поняв, пришел ей на помощь Шарль.

— Ты молодец, Нина, именно это и нужно было сделать,— облегченно вздохнул Роже.

Он подошел к Сергею и Натали, обнял их обоих за плечи, подумав о том, как все-таки хорошо иметь вот такую любящую (кого любящую, потом разберемся) жену и верного, надежного друга. Постоял мгновение, чувствуя, что уйти отсюда не опасно, но нелегко... И вышел вслед за Ниной и Шарлем, гордо подняв свою тщательно причесанную голову, гордясь своим самообладанием, широтой души и уверенностью в дружбе.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Пятнадцать минут у нас есть,— нервно смеясь, сказала Натали, поглядывая влажными глазами на Бородаю,— не больше и не меньше. Как много может произойти за такой короткий срок! Ты не думай о нем плохо... Он добрый, хороший, очень любит меня... И Нину...

— Да, я знаю,— ответил Сергей, думая о Натали, и только о ней.

Она отошла к окну, потом вернулась, остановилась возле Бородаю. Толстый синтетический ковер скрадывал ее шаги. Натали почему-то подумала: если пройти по этому ковру в темноте, в спортивных, тоже синтетических, тапочках, то из-под ног вырвутся электрические искры...

В голову приходили какие-то глупые — ненужные мысли, это в то время, когда нужно говорить о другом, совсем о другом. А она знает, о чем нужно сейчас говорить? И вообще, так ли необходимы им эти пятнадцать минут?

— Странные испытываешь чувства, когда встречаешься с человеком после стольких лет разлуки,— наконец сказала Натали.

— Да,— согласился Сергей Бородай,— очень странные.

Женщина взглянула через широкое окно в сад, на яркую зелень кустов и травы; лето только начиналось, и солнце еще не опалило нежную листву.

— Ты знаешь, у нас в саду вчера расцвели жонкилии,— неожиданно сказала она.

— В такую пору? — искренне удивился Бородай.

Почему их интересуют жонкилии, маленькие синие цветочки, похожие на подснежники, которые обычно расцветают, как только сойдет снег? Почему нужно говорить о них? Да, именно о них, потому что иначе могут вырваться другие, не такие уж безопасные слова... Для кого не безопасные? Что для них обоих сейчас может быть опасным?

— Я тоже страшно удивилась,— сказала Натали,— расцвели-то ведь не ранней весной, а теперь, в начале лета. Правда, смешно?

Она засмеялась, нервно, коротко, боясь этого смеха, который родился где-то в глубине груди.

— Да, удивительно смешно,— тоже улыбнулся Бородай.

— Я прежде не слышала ничего подобного,— быстро говорила Натали.— Смешно...— А смех и в самом деле, нервный, громкий, вырвался из груди, словно прорвалась сдерживающая его преграда.

Бородай бросился к бару, плеснул в стакан воды, подбежал к Натали.

— Наташа, Наталочка! Успокойся! Не волнуйся. Все будет хорошо, все будет очень хорошо. Вот выпей...

— Прости,— сказала, с трудом сдерживая смех и слезы, Натали,— прости, выпить действительно не мешает, но только чего-нибудь покрепче, вода тут вряд ли поможет... Плесни виски или водки, чего хочешь... И льда, кусочек льда...

Сергей сделал все, как сказала Натали. Она взяла стакан, жадно отпила несколько глотков. Немного помолчала, потом сказала:

— Ты не волнуйся. Вот видишь, все и прошло.

Сергей Бородай далеко не был в этом уверен, его душа полилась острой жалостью к Натали, к себе, болью, давно пережитой, но сейчас вновь вспыхнувшей; минула половина жизни, а ведь она могла бы сложиться иначе. Ему бы сейчас горько засмеяться или заплакать, как Натали, но и этого сделать он не имел права: кто-то из них двоих должен владеть собой.

— Нет, не беспокойся, и в самом деле все прошло,— преодолевая новые взрывы смеха и рыданий, проговорила Натали.— Не сердись на меня. Я не истеричка, но я так ждала тебя, готовилась, обдумывала все, что тебе скажу, а главное, как скажу, время шло, шло, а тебя все нет, и все слова куда-то исчезли, и не осталось ничего, кроме этих слез... Прости.

— О чем ты говоришь? — все еще не мог улыбнуться Бородай.— Думал, все забылось, ветром развеяло, травой поросло. А взглянул — сердце зашлось... Будто и не уезжал никуда, будто и не пролегло между нами целых четверть века.

— Четверть века...— пораженно повторила Натали.— Господи, подумать только.

— Ты знаешь, у меня после войны были сложные годы... Человек в жизни, особенно когда ему трудно, должен держаться за светлые воспоминания, вот я и держался за наше счастье...

— Да, пока не женился,— уже смогла улыбнуться Натали.

— Не будем вспоминать, кто сделал это первый,— мягким движением руки остановил ее Бородай.

Теперь они сидели рядом на диване, и времени у них для

того, чтобы сказать самое важное, оставалось мало, очень мало, а они все еще тянули, боясь коснуться его.

— Именно в те дни я понял, что друзья у меня все-таки есть. Много друзей. Мне тогда было очень тяжело. Ты не думай, меня не бросили в тюрьму, я все время работал на своем месте, у мартена. Я был в лучшем и сильнейшем из всех положений — положении рабочего, варил сталь. Куда хочешь меня пошли, хоть в пекло, я все равно останусь сталеваром, буду варить сталь. Потом мне дали сразу два ордена, и наш и французский, и это, конечно, было приятно. Эти ордена мне дороги не только как награда — в сущности, награждать-то было и не за что, ничего героического я не совершил, — а как знак доверия... А все остальное доводило меня до отчаяния. Невозможно было прорваться к тебе, доказать, что ты моя жена, что я жить без тебя не могу. Улыбались сочувственно, некоторые даже замечали не без ехидства: «Видно, недурно жилось вам в плену...» Но я все-таки стал раскачивать эту стену, и она начала поддаваться. Но пришло письмо от тебя и разрубило, раскололо все эти проблемы, а заодно и мое сердце. Я с год ходил сам не свой. Потом привык... Оказалось, ко всему на свете, даже к отчаянию и боли в сердце, можно привыкнуть...

— Я была рада, когда тебя наградили, — уходя от неприятных воспоминаний, сказала Натали. — У нас тоже всех наградили, даже меня, уж не говорю о Роже... Только у нас, может, ордена не имеют такого значения, как у вас. Про них не часто вспоминают, особенно теперь. Ведь минуло четверть века. — Она замолчала на мгновение, внутренне прислушиваясь к страшному значению слов — «четверть века». — У меня все было проще, потому что я была у себя дома, где все знают меня и я знаю всех. Доказывать мне ничего не приходилось. Я просто не выдержала одиночества... Конечно, у меня была Нина, но это все-таки не то... Это разные вещи — мужчина и ребенок, они нужны женщине вместе, а не порознь. Мне стало жалко Роже, он так любил меня. И еще, я тебе признаюсь честно, страшно было уезжать отсюда, ломать всю жизнь, привычки, нормы. Оказаться среди двухсот миллионов чужих людей, где только один родной человек. Признаюсь тебе, я не героиня... Я не смогла бороться с одиночеством и сейчас чувствую свою вину перед тобой и... перед собой тоже. А может, и перед Ниной... Только теперь ничего не изменишь, и я не знаю, хорошо ли это или худо. — Она минуту молчала, крепко потирая ладонью лоб. — А за последние годы мне все чаще приходят на мысль другие вопросы, ответить на которые нелегко. Кто виноват, что на свете так много горя? Кто повинен в том, что наше счастье было столь коротким?

— Виноваты люди, которые видят зло, но молчат. От них все несчастья. Они думают, а не удастся ли переждать, отсидеться спокойненько, а дело пусть делают другие. Вот так и

появился на земле фашизм, вот так и началась война. А зло надо уничтожать сразу, где бы ты его ни увидел, не дожидаясь, пока это сделают другие. Иначе всегда оказывается, что бороться уже поздно.

Натали смущенно улыбнулась, Сергей всегда любовался, как на губах ее поначалу появлялась только тень улыбки, будто ее далекий ответ, а потом уже и сама улыбка.

— Послушай,— сказала Натали, вставая с дивана и кладя руки ему на плечи,— это же противостоит, что люди, которые любят друг друга,— я не боюсь этих слов, именно так — любят,— в минуту встречи после долгой разлуки начинают говорить о политике. Неужели ты не хочешь меня поцеловать?

Губы Сергея вдруг пересохли, он провел по ним шершавым языком.

— Ты даже не представляешь, как хочу.

Натали потянулась к нему, радостно, молодо, даже приподнялась на носочки. Он обнял ее, почувствовав прикосновение груди, ног, и замер. Все это было его, ни на мгновение не забывал он и до самой смерти не забудет теплоты ее крепкого, ласкового тела... Они целовались долго, закрыв глаза, став одним существом. Так они целовались тогда, в свой первый раз...

Потом губы Натали медленно оторвались от его губ, она осторожно высвободилась из объятий, села на диван, вся еще наполненная ощущением счастья, оказавшегося таким нестароюще новым и свежим. «Что же мы наделали с жизнью своей, господи?» — спросил себя Бородай и не нашел ответа. Он медленно прошелся по гостиной, сел в кресло.

— Ты знаешь, это было бы страшно.

— Умереть, не пережив этой минуты? — поняла его мысль Натали.

— Да,— улыбнулся Сергей Бородай.

Двери гостиной, которые вели на большую веранду, поначалу легко дрогнули, будто там, за этими дверьми, хотели предупредить, что сейчас они откроются. После этого они распахнулись настежь, и Роже Кольвен остановился на пороге. Веселое, шутливое настроение, тень мягкой насмешки над людьми и над собой в том числе, легкомысленная вера в неизменность заведенного в доме порядка — все это было написано на его лице. Вопрос прозвучал иронически:

— Вы не целуетесь? Странно. На вашем бы месте...

— Не беспокойся, Роже, мы уже поцеловались,— возвращаясь к действительности, ответила Натали.

— Я так и думал,— весело сказал Роже, подчеркивая свое презрение к таким низменным чувствам, как ревность.— А теперь, ради бога, давайте подумаем об обеде, потому что мне кажется, мы морим Сергея голодом, и он уедет домой с превратным представлением о нашем гостеприимстве.

Все было в его словах, даже намек, вернее, напоминание о близком отъезде. Видно, очень хотелось Роже Кольвену, чтобы побыстрее настал он, этот день прощания.

— Я сейчас взгляну, что там делается,— сказала Натали и вышла на кухню.

— Еще чего-нибудь выпьем? — спросил Роже.

— Нет, спасибо,— ответил Бородай,— пока не хочется. Лучше уж за столом...

— А я выпью,— решил Шарль,— глоток портвейна.

— Пойдем, отец, пройдемся по саду,— предложила Нина.

— У вас будет время поговорить после обеда,— мягко возразил Кольвен.

— Мы имеем еще с полчаса. Сегодня обед наверняка запоздает.

В другой день Кольвен просто запретил бы дочери поступать по-своему, но сегодня ощущение неуверенности, которое он усиленно скрывал, помешало ему сделать это. И, подчиняясь течению событий, которые он не мог изменить, Роже покорно промолвил:

— Идите. А мы с Шарлем все-таки выпьем.

— Разумеется,— согласился Кюба.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Нина и Бородай, минуя веранду, заставленную летней, пока еще ненужной мебелью, вышли в сад, старый и большой. Берест кое-где уступал место грушам и совсем теснил яблони. Роже Кольвен мог бы себе позволить нанять садовника, но не делал этого, считая, что именно такая естественная глушь больше способствует отдыху. Две большие клумбы возле веранды заседал, обрабатывал и поливал он сам, заявляя, что ничто так не успокаивает нервы, как единение с природой и землей, но с насмешливым предложением Нины ходить по саду босиком не согласился, считая это данью современной моде. Уподобиться хиппи Роже Кольвен не хотел.

Через весь сад от веранды до ограды из железной зеленой сетки вела широкая аллея старых вязов, и теперь, когда солнце почти коснулось горизонта, она была затенена. Нина с Бородаем молча прошли почти до ограды, остановились. Отсюда было видно широкую долину, которая сбегала от окраины города к реке, и Бородай удивился, подумав, какой он, собственно говоря, небольшой и провинциальный, этот тихий городок Флеманш. Почему там, дома, на большом отдалении, он казался ему громадным? Это, скорее всего, обычное изменение представлений. Комнаты, дома и города, в которых мы побывали в детстве или юности, представляются нам огромными и уменьшаются, когда мы приходим к ним пожилыми людьми.

— Кто с тобой приехал? — равнодушно, без интереса и как-то издалека подходя к совсем иному разговору, спросила Нина.

— Мать Ивана Климова и переводчица.

— Строгая женщина.

— Нет, по-моему, очень добрая и хорошая. Только хочет, чтобы об этом никто не догадался, вот и напускает на себя суровость.

— Она из села?

— Да.

— Очень похожа на наших нормандок.

— Возможно, — мягко улыбнулся Бородай.

— А переводчица — славная девушка. Правда, только и думает о том, как бы не проворонить какие-нибудь вражеские проiski капитализма.

— Нет, — ответил Бородай, — она больше озабочена, как облегчить Марии Кондратьевне пребывание во Франции...

Они помолчали немного. Потом Нина спросила:

— В Комитет ветеранов ты ходил вместе с Жоржет Дюран?

— Да, — ответил Бородай, — там был еще ее внук Патрик.

— Я его знаю, — равнодушно сказала Нина, — электромонтер.

И снова в этом спокойном равнодушии дочери отец почувствовал другие, скрытые чувства. Но решил ни о чем не спрашивать, — если Нина захочет, она и сама скажет, что ее томит, если не захочет, то никакой силой ее не заставишь проговориться.

— Очень хороший парень и удивительно похож на своего отца, — сказал Бородай. — Просто невероятно, как природа может так ухитриться, повторяя свои создания. Наверное, легче умирать, сознавая, что на земле остаются твои корни.

— Вот я на тебя не очень похожа.

— И слава богу. Меня больше устраивает мамина порода.

— Я на нее тоже не очень похожа. А ты вежливый и, как у вас говорят, самокритичный. Когда я привезла это слово «самокритичность» сюда из Запорожья, в колледже все очень смеялись. На какое-то время оно даже стало модным, а потом забыли, как и всякую моду.

— У нас тоже так бывает, — улыбнулся Бородай.

— А сейчас я частенько вспоминаю это слово.

— Есть какой-то конкретный повод для самокритики?

— Нет, просто так, вообще, — ответила девушка. И, очевидно переходя к самому важному в разговоре, спросила: — Тебе понравился Шарль?

— Разве мое мнение так уж важно? Я уеду через три дня, а тебе с ним жить всю жизнь.

— Это, конечно, правда, но все-таки мне хотелось бы узнать твое мнение.

— Ты колеблешься, в чем-то не уверена?

- Девушки, выбирая себе суженого, как ты говоришь, на всю жизнь, всегда колеблются, разве это не естественно?
- Разумеется. Только мне послышалась здесь другая нота.
- Не выдумывай. Другой ноты здесь нет и быть не может. Ну так что же, нравится тебе Шарль?
- На первый взгляд очень приятный, энергичный и целеустремленный джентльмен.
- Целеустремленный — это хорошо или плохо?
- Все зависит от того, какая цель.
- Допустим, что так. Ну а не на первый взгляд?
- Я еще не имел возможности посмотреть на него иначе.
- У меня такое ощущение, словно он тебе не понравился.
- Нет, у тебя нет оснований так говорить. Как я могу составить представление о человеке, которого видел всего полчаса?
- Мне кажется, что это впечатление у тебя уже сложилось.
- Давай уточним: ты хочешь знать, понравился ли мне он или что в нем не понравилось тебе?
- Это «что» не нравится во мне самой.
- Как это прикажешь понимать?
- Не знаю. И, скорее всего, объяснить не могу. Прости, пожалуйста, мои вопросы и в самом деле не очень разумны.
- Они прошли несколько шагов в направлении к дому в молчании. Сумерки сгустились, и сад как-то таинственно потемнел, насторожился. Крупная почная бабочка пролетела совсем близко, села на ствол старого вяза и исчезла, слилась с корою. Высоко-высоко в небе, подсвеченный снизу закатным солнцем, пролетел серебристый самолет.
- Париж — Франкфурт-на-Майне, — сказала Нина.
- Бородай не ответил. Мысли его текли в прежнем направлении. И он спросил так, будто не было никакого перерыва в их разговоре:
- Ты его очень любишь?
- Какое это имеет значение? Любишь, не любишь? Как гаданье на цветке ромашки. Только у вас требуют прямого ответа, а у нас, отрывая лепестки, довольствуются оттенками влюбленности: «пылко», «страстно», «до безумия», «до смерти». Вопрос «любишь — не любишь» не встает. Я его невеста, и этим сказано все.
- У тебя большое приданое? — осторожно спросил Бородай.
- Нина рассмеялась, легко, от всей души. Нервное напряжение сказывалось не только в гостиной, но, как видно, и в саду.
- Думаешь, он хочет получить не меня, а мое приданое? Ты не допускаешь, что он меня просто любит?
- Почему же, охотно допускаю, — улыбнулся Бородай, — в такую хорошенькую девушку, как ты, кто угодно влюбится.
- Я уже давно женщина, мне двадцать четыре года, — резко сказала Нина.

— Прости, мне не очень нравится, когда ты говоришь в таком тоне даже о себе.

Они уже подошли к дому. В гостиной вспыхнула люстра, и сумерки в саду от этого стали гуще, плотнее. Багряное зарево заката уже стало понемногу гаснуть. По улице промчалась машина с зажженными фарами.

— Пойдем обедать? — спросил Бородай.

— Нет, еще рано. Позовут. Твой приезд и маму и Луизу вогнал в настоящую панику. У них с самого утра все из рук валится.

— А у тебя?

— Мы с тобой недавно виделись. Можно сказать, добрые знакомые. Куда ближе, чем вы с мамой.

— Это верно.

Они снова, вернувшись, дошли до ограды, думая об этих последних словах. Потом Сергей Бородай совсем непоследовательно спросил:

— Патрик Дюран твой друг?

Спросил и удивился, может, даже испугался, таким глубоким и мрачным было молчание. Он побоялся, что Нина просто повернется и, не ответив, исчезнет, но она только глубоко вздохнула, словно выбираясь из воды.

А потом ответила почти спокойно:

— Когда-то он был больше чем другом. А теперь не знаю... Надеюсь, что друг. Мне долгое время казалось, что он — моя судьба, ну и держались мы соответственно. Что ж, я ни о чем не жалею.

— Значит, победил Шарль? — спросил Бородай.

— Победил? — удивилась Нина. — Знаешь, это слово в данном случае совсем неуместно. Они же не боролись. Вся борьба происходила во мне, в моих мыслях и чувствах, а они, пожалуй, об этом не всегда и догадывались. Они очень разные, и оба имеют много хорошего и плохого. С Патриком интереснее, с Шарлем надежнее...

— Надежнее? — не понял Бородай.

— Вот именно, — снова мгновение помолчав, будто проверяя себя, сказала Нина. — Тебе просто это не понять, потому что у вас все это невозможно: ни высокие взлеты в нашем понимании, ни глубокие падения. У вас нет ни по-настоящему богатых людей, ни по-настоящему бедных. Конечно, разница между профессором-академиком и лифтером в гостинице есть, но они оба могут во время отпуска встретиться где-то в Крыму на берегу моря или на Днепре около Запорожья. Мне приходилось видеть немало таких примеров. А у нас совсем иначе. Вот у Роже украли секрет духов. Еще два-три таких удара, и мы ничьи. И этот дом придется продать, чтобы заплатить долги. Или даже это сделают, не спрашивая нас, и никого не будет интересоваться, как мы будем жить. Конечно, этого может и не случить-

ся, разорения, я имею в виду. Такое бывает не часто, но все-таки бывает, и, хочешь ты или не хочешь, возникает чувство неуверенности в жизни, неуравновешенности мира.

— А Шарль в этом надежный?

— Да, Шарль надежный. Через год мы переедем в Америку, эта страна подходит ему значительно больше, чем наша старомодная Франция, которая, правда, американизируется довольно быстро. Надеюсь, мне там тоже понравится.

— Надеюсь,— тихо согласился Бородай.

— Тебе так не понравился мой жених?

— Первое впечатление от него наилучшее. А вот Патрик Дюран мне очень понравился. Правда, тут нужно сделать скидку на то, что он страшно напоминает мне своего отца, который был моим лучшим другом. Так что в этом деле я человек не беспристрастный.

— Я поймею это в виду,— ответила Нина и вдруг сказала тоненько и по-детски беспощадно: — Ты не представляешь, как все перепуталось...

— Но ведь Шарль твой жених.

— Да, только день свадьбы я все откладываю. Сама не понимаю, чего боюсь, и тяну, хотя, собственно говоря, все это смешно.

— У тебя много предшественниц,— сказал Бородай.— Все девушки медлят с ответом на этот сакраментальный вопрос, думают долго и упорно, а когда все решат, оказывается, что выбран не самый лучший вариант.

— Ты думаешь, Шарль не лучший вариант?

— Вот этого я не могу сказать,— развел руками Бородай.

Теперь сад утонул в темноте, и широкие, ярко освещенные окна дома будто висели в воздухе. Все казалось декоративным, непостоящим, даже тишина и покой, которые царили за этими золотисто светящимися окнами.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И в самом деле, в гостиной текла беседа, которую вряд ли можно было назвать спокойной. Когда Нина и Бородай вышли, то Роже Кольвен нервно прошелся по комнате, остановился перед Шарлем, который остался сидеть в кресле, и сказал:

— Понимаете, Шарль, война на каком угодно поле есть война. Несправедливо, если одна сторона только бьет, а другая только защищается, когда одна сторона вооружена до зубов, а другая вообще лишена какого-либо оружия. В таком случае это уже не война, а бандитизм.

— Совершенно с вами согласен,— охотно отозвался Шарль, явно не придавая разговору большого значения.

— Жан Патен узнаёт все мои секреты. Как он это делает, неизвестно. Никого из своих ученых в подлости или продажно-

сти я заподозрить не могу, они мои искренние давние друзья, мы начинали вместе. И к тому же я плачу им вполне достаточно, чтобы они могли избежать какого-либо искушения.

— Патен мог заплатить больше. Ему нет нужды подкупать всех, хватит одного.

— Нет, не хватит. Каждый из них делает лишь определенную часть работы, а окончательно свожу и komponую ароматы я один.

— Весьма дальновидно.

— Да, дальновидно. Ничего не поделаешь, в этом жестоком мире приходится быть дальновидным, хотя это не всегда приятно. И повторяю, я убежден, что они честные люди. Понимаете, французы старомодны, их не так легко подкупить.

— Не все французы такие, — засмеялся Шарль.

— Да, правда, не все. Во всяком случае, хотя бы те, которые работают в моей фирме. Я их подбирал сам и не ошибся.

— Большие деньги способны толкнуть людей на большие измены, — философично сказал Шарль.

— И это, конечно, правда, но мне кажется: здесь что-то другое. Ваши специалисты проверяли, я подчеркиваю, ваши специалисты, а вы мой будущий зять и кровно заинтересованы в том, чтобы никто не причинил мне убытков, — в моих лабораториях нет ни микрофонов, ни проводки, ни каких-либо иных аппаратов для получения информации.

— Да, за это можно поручиться, — ответил Шарль, — мои ребята ничего не прозевали, я в этом уверен.

— Я тоже. И вам я также абсолютно доверяю, так как мое богатство, приданое моей дочери — это, в сущности, ваши деньги. В конце концов мы узнаем, как Патен пронохивает о наших секретах, но это отнимет много времени. К тому же оборонная тактика меня не очень устраивает. Я хочу наступать.

— И теперь вы хотите узнать тайны Патена? — с любопытством поглядывая на хозяина, спросил Шарль. — Зачем они вам?

— Моя фирма меньше, и, следовательно, она более гибкая, чем колоссальная машина Патена. Зная его секреты, я могу всегда опередить его, точно так, как сегодня он опередил меня. Он подлец и негодяй, но ловкий человек, настоящий современный бизнесмен, и у него нужно учиться, не подлости, конечно, а ловкости, изощренности. На соображения морального плана мне наплевать, у меня совесть чиста, он первый встал на этот путь, первый объявил войну. Вам я доверяю, как самому себе, потому что вы человек заинтересованный. Я хочу знать, над чем работает сейчас, именно в эту минуту, Жан Патен, ну, скажем, не вся его огромная фирма, а хотя бы одна из его лабораторий.

— Это должна быть лаборатория, расположенная в нашем городе, или это для вас не имеет значения?

— Вообще говоря, все равно, но все-таки желательно, чтобы это была здешняя лаборатория.

Шарль Кюба на мгновение задумался. На первый взгляд могло показаться, что весь этот разговор он не воспринимает всерьез, такая беззаботная, почти мальчишеская улыбка играла на его губах. А глаза оставались серьезными, мысль работала четко, напряженно, и Роже Кольвен это точно почувствовал. Он высоко ценил умение своего будущего зятя внутренне сосредоточиться на главной мысли, внешне оставаясь спокойным, чуть ли не легкомысленным.

— Такая система подслушивания дорого стоит, Роже, — наконец Шарль остановился на каком-то одном решении. — Причем дорого стоит не сама аппаратура, хотя и она влетит в копеечку, а возможность ее установления. Очевидно, придется кое-кому заплатить.

Это Роже понимал. Его будущий зять подходил к делу трезво. Ничего другого Кольвен и не ожидал. И потому он сказал, не удивившись:

— Придется заплатить. Война есть война. Сколько?

Шарль оглянулся, будто бы проверяя, одни ли они находятся в этой просторной, уютной гостиной, окинул взглядом стены, старинную тяжелую люстру под высоким потолком, достал из кармана ручку, блокнот, мгновение подумал, посмотрел на Роже, потом решительно написал цифру на первой странице блокнота, дважды подчеркнул ее и сказал:

— Возможно, что-нибудь так. Война обходится недешево.

— Я знаю, — ответил Кольвен, — но это уж слишком. — Он взял ручку у Шарля, зачеркнул его цифру, а под ней написал свою. — Вот так.

— Нет, — ответил Шарль, — хотите фифти-фифти?

Эти два английских слова «пятьдесят на пятьдесят» означали, что он предлагает сойтись на средней цифре между своей и Кольвена.

Роже минуту молчал, прикидывая, подсчитывая. Лицо его так же, как только что у Шарля Кюба, оставалось насмешливо-приветливым, а мысль, спрятавшись за этой улыбкой, работала молниеносно, ничего не оставляя без внимания.

— Хорошо, согласен, — сказал наконец Кольвен. Выдернув из блокнота листок с цифрами, достал зажигалку, щелкнул ею, над изящным серебристым корпусом послушно вспыхнуло высокое пламя, поднес его к листку бумаги, подождал, пока тот превратился в пепел, и спросил: — Когда вы начнете?

— Сразу же, как уедет ваш гость.

— Почему? — удивился Роже. — Он вас стесняет?

— Стесняет? — переспросил Шарль. — Нет, я надеюсь, что у нас с ним сложатся наилучшие отношения. Это состояние иное, я даже затрудняюсь объяснить. Он вносит какое-то беспокойство, сковывает... Не знаю...

— Он честнейший на свете человек, Шарль, — убежденно сказал Кольвен. — Честнейший человек!

— Вот именно, — чуть насмешливо ответил Шарль, — честнейший. И перестаньте играть со мною в жмурки, Роже. Не делайте вид, будто и вам не хочется, чтобы он поскорее убрался из нашего города и вообще с глаз долой, подальше от Натали.

Роже Кольвен еще раз прошелся по гостиной, сдерживая возмущение: он чувствовал себя сильнее этого молодого человека, за его, Роже Кольвена, спиной были убеждения, опыт надежной дружбы, и на это можно было опереться, как на каменную стену.

— Неправда, — сказал он. — Бородай мне друг, и я хочу видеть его в своем доме как можно дольше.

Шарль снисходительно-иронически усмехнулся. Кольвен, конечно, прикидывается, играет в доверие, а у самого наверняка кошки скребут на сердце и отпустят, только когда наступит понедельник и жизнь снова покатится по старым рельсам.

— Bravo! — воскликнул Шарль. — Я восхищен вашей выдержкой и самообладанием. Надолго ее хватит?

— Надолго, — уверенно ответил Роже, — во всяком случае куда больше, чем на три дня.

— Возможно, вы сильнее, чем мне казалось. Если бы ко мне в гости приехал бывший любовник...

Кольвен пристально посмотрел на своего будущего зятя. Слова эти прозвучали неуместно резко и сказаны были с определенной целью. Но для чего Шарлю раздражать и озлоблять своего будущего тестя? Или, возможно, это тоже испытание выдержки? Ну что ж, так просто выбить из седла старого Кольвена этому молодчику не удастся.

— Простите, тогда он был ее мужем.

— Вы отлично знаете, что никогда Сергей Бородай законным мужем мадам Кольвен не был.

— В наших глазах, в глазах всего партизанского отряда «Генерал де Голль», они были супругами. И я не понимаю, почему вы ведете разговор в таком тоне. Вам не кажется, что это жестоко и бестактно?

— Нет, просто теперь, когда мы стали компаньонами в довольно-таки сложном и деликатном деле, мне хотелось бы узнать настоящую силу вашей выдержки.

— Должен признаться, странный способ, — сказал Кольвен. — И не безопасный.

— В каком отношении?

— Можно запросто получить оплеуху. И потом, я что-то не понимаю. Если бы все это говорил американец... Но вы-то француз.

— Французы уже многому научились у своих американских друзей. Успокойтесь, Роже, и не делайте вид, будто вы обижены. В глубине души вы со мной абсолютно согласны.

Роже захотел возразить, но не успел. В гостиную вошла Натали с таким видом, словно отсутствовала всего минуту, не больше.

— Ну вот, куда же вы все поразбежались? Роже, позови Нину и Сергея. Прошу к столу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

После обеда они сидели в кабинете Роже Кольвена. Натали принесла кофе, коньяк и вышла, будто пропала где-то в глубине дома, Бородаю показалось, что сделала она это с удовольствием, оставила на какое-то время атмосферу первого напряжения, которая установилась еще там, в гостиной, а потом за обеденным столом, опасную, как минное поле. А сам Бородай будто бы и не замечает этого напряжения, сидит себе в кабинете своего давнего друга в мягком кресле, курит, глубоко затягиваясь, крепкую французскую сигарету «Голуаз». Пустая чашка из-под кофе перед ним на низком столике, в рюмке еще осталось немного коньяка, а в доме ночная тишина.

Кабинет Кольвена — просторная комната, всю стену которой занимают книги, — явление в современной Франции не частое, если к тому же принять во внимание, что Роже не литератор и не ученый, а всего лишь глава парфюмерной фирмы. Книги здесь разные, хотя если присмотреться, то можно отметить определенную систему — хозяин предпочтение отдает химии ароматических веществ и социальным наукам.

Сам Роже сидит напротив Бородая, грея в ладонях рюмку с коньяком и изредка нюхая его изысканный букет, рядом на столике — кофе в тонкой, почти прозрачной фарфоровой чашке, и впечатление такое, что хозяин наслаждается домашним уютом, покоем и встречей с другом.

Но оба они, и Кольвен и Бородай, знали, что покой и умиротворенность эти непрочные и могут оборваться в любую минуту. Тут, как на шахматной доске, возникало множество опасных положений, и трудно было предугадать, как решится партия: выльется ли она в яростную атаку или закончится вничью.

На широком, тоже старомодном столе, который уже давно следовало бы заменить на современный, несколько развернутых книг с закладками, — очевидно, в этой комнате они не для декорации, а для работы.

— Почему ты так рассматриваешь стол? — спросил Кольвен. — Удивляешься? Для этого нет никаких оснований, сейчас эти книги в нашем мире самые популярные. Компьютеры приравнялись к гадалкам, они прорицают будущее ничуть не хуже цыганок. Мне же нужен не однозначный ответ, а перспектива жизни, обоснованная теория, вот я и взялся за книги. Жили же до меня умные люди на свете...

— Конечно,— согласился Бородай,— но у тебя на столе странная мешанина: Маркс и Ленин, Фишер и Бжезинский,— совершенно противоположные и уж конечно несовместимые теории и взгляды. Честно говоря, я не надеялся увидеть тебя штудирующим Маркса.

— Думаешь, мне так хочется его читать? — пожаловался Роже.— Но другого выхода нет, если хочешь знать свою перспективу. С ним мне хватает мороки. Во всех странах шустрые ребята написали целую кучу книжонок, стараясь ниспровергнуть Маркса... Шут голову сломит, разбираясь во всей этой галиматье, вот я и решил — не лучше ли будет попробовать самому одолеть его. Что-то мы здесь упускаем.

— Прости, ради бога, но, думается, это нелегкое дело... Расскажи-ка лучше о Нине и Натали. И о себе.

— Я только и делаю сегодня, что рассказываю о них и о себе,— недовольно заметил Кольвен.

— Мне показалось, что последние пять минут ты говорил о Марксе и о необходимости его понять, чтобы потом окончательно опровергнуть.

— Это и есть разговор о судьбах Нины и Натали. Марксу повезло, как ни одному ученому. Никто не может похвастаться, что на основе его учения создано не только государство, а даже система государств, а он может.

— Что это тебя на теорию потянуло? — спросил Бородай.— В поезде один корреспондент два дня морочил мне голову своей теоретической путаницей, а сейчас ты...

— Тебе хорошо,— сказал Кольвен,— за твоей спиной стоит такая страна. А куда идем мы? Куда идет все человечество?

— Не о судьбах человечества, а о судьбе своей фирмы ты думаешь,— сказал Бородай,— потому и ищешь щелочку в учении Маркса, хочешь пролезть в нее. А это бесплодное занятие. Давай лучше поговорим о другом. Кто из нашего отряда живой и здоровый?

— Немногие остались в живых — пятеро или шестеро, не больше.

— Ты с ними поддерживаешь связь?

— Почти нет.

— Почему?

— Разошлись наши пути. Тогда, во время оккупации, мы были вместе против бошей. А сейчас что общего у меня может быть, например, с Жоржет Дюран?

— А во время войны было?

— Конечно: общая цель — уничтожить фашизм. А потом дороги разошлись. Логично и закономерно. Диалектика. Я стою за классовый мир, она — за классовую борьбу.

— Опять за рыбу деньги! — засмеялся Бородай.

— Да пойми же ты меня! С кем мне еще поговорить об этом, как не с тобой?

— Вот это правда,— согласился Бородай.— Тогда пойми и ты: мы на основе марксизма построили свое государство, а тебя марксизм не устраивает, так оно и должно быть. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в наше время не только не умер, а, наоборот, набрал новую мощь. Что такое система социалистических стран, как не воплощение этого лозунга?

— Маркс имел в виду помощь пролетариата одной страны пролетариату другой в революционной борьбе.

— А разве сейчас пролетариат этого не делает? Разве наш пример — не помощь пролетариату всего мира? Ясно видеть перед собой цель и пример, как ее осуществить,— это великая вещь.

— В том-то и дело,— сказал Кольвен.— А все же в марксизме должны быть прорехи, и я их найду. Они мне нужны не с теоретической точки зрения, а с практической целью.

— Не знаю, какой из тебя вышел практик, а теоретик, увы, липовый,— засмеялся Бородай.— Поговорим лучше о Нине, о ее женихе. Он тебе нравится?

— Нравится? Разве имеет значение, нравится он мне или не нравится? Жить-то с ним ей. Парень он хороший, отличный специалист, насколько я знаю.

— Она его любит?

Роже пригубил свой коньяк, мгновение подумал.

— Раз согласилась выйти замуж, значит, любит.

— Возможно, и так,— задумчиво сказал Бородай,— возможно, и так.

— У тебя есть сомнения?

— Нет, откуда им взяться?

— И я так же думаю. А вот что он влюблен в Нину, так это точно. И его можно понять: прелестная девушка, но с сумасбродным характером. У нее будет сложная семейная жизнь.

— Почему?

— Понимаешь, Нина такая натура, что никогда не знаешь, что она скажет, когда нужно сказать, и промолчит ли, когда нужно помолчать. Чаще всего она все делает наоборот.

— Понимаю. А Натали?

— Она тоже. Знаешь, мы с ней счастливо прожили долгие годы... Она чудная, верная жена. Но в ней иногда просыпаются такие странные порывы... Например, какое-то болезненное чувство совестливости, желание быть честнее честного. А у нас жизнь сложная. Иногда приходится быть жестоким и к людям, и в первую очередь к самому себе, иначе просто не выживешь, а она это не всегда понимает, хотя было время выучиться понимать этот мир. Как только Нина у тебя в гостях побывала, только и слышишь: ах, в Советском Союзе — это, ах, в Советском Союзе — то! Будто американцы не могут купить всю вашу страну, с тобой и Днепротэсом в придачу.

— Ну это ты загнул! Если бы могли, так отчего же не делают?

— Они бы охотно сделали, да заплатить некому. Раньше пробовали, ничего из этого не вышло, несолидными оказались контрагенты — всякие там деникины, врангели, колчаки, думали только о своем кармане. Вся наша беда в том, что в решительный момент каждый начинает думать о своем кармане. И все-таки имей в виду, Сергей, прорехи в марксизме ищут не только я один, этой проблемой озадачены куда более умные государственные головы.

— Это-то мы чувствуем.

— Чувствуете, но не в полной мере. И есть люди, которые приходят к выводу, что война — единственная настоящая прореха, куда может провалиться марксизм и вся ваша система.

— Гитлер уже пробовал это сделать. Где он сейчас?

— В том-то и дело. И скажу тебе честно, иногда мне делается страшно. Здесь нам всем есть над чем подумать. Куда идти дальше?

— Во всяком случае, не по дороге войны. Она ничего не решит.

— А куда же тогда?

— По дороге мира.

— Когда на кон поставлены большие, по-настоящему большие деньги, война или мир становятся, к сожалению, лишь способами их выиграть... Впрочем, в самом деле, хватит говорить о политике, все равно выхода из этого заколдованного круга нам не найти. Воевать нельзя, а дать вам возможность укрепиться так, чтобы вас все боялись, тоже нельзя. Вот и бейся как рыба об лед. Есть над чем поломать голову.

— Есть, — согласился Бородай. — Натали тогда действительно не смогла или не захотела ко мне с Ниной приехать?

— Не знаю. Скорее всего, просто испугалась.

— Чего?

— Себя самой. Своих чувств, воспоминаний. Она очень любила тебя... Это чувство еще и сейчас дает о себе знать. В мелочах вдруг да скажется... Я не в претензии, ее хорошо понимаю, она честная, и именно это подчас делает ее жизнь не очень-то простой. Но семейная жизнь наша счастливая, безоблачная... Хочешь еще кофе?

— Нет, спасибо. Я и так от твоего кофе полночи спать не буду.

— От кофе или от дум? — грустно улыбнулся Роже. — Я ведь знаю, ты только внешне такой — уверенный в правильности каждого вашего шага, а на самом деле и перед вами возникает целая уйма проблем, что голова кругом идет, когда подумаешь.

— Это верно. Ничего не поделаешь. Нам приходится открывать новые пути.

— Договорились же, о политике — ни слова. Давай о другом. Кто твоя жена?

— Инженер на нашем комбинате.

— Много моложе тебя?

— Почти на десять лет.

— Блондинка?

— Нет, такая, как Натали.

— Красивая?

— Для меня — лучше ее нет на свете.

— А Натали? — почему-то ревниво спросил Роже Кольвен, и Бородай улыбнулся.

— Что Натали? Она — красавица для тебя.

— Нет, Натали — не только для меня. Она вообще самая красивая женщина на свете, — убежденно заявил Роже.

— В этом вечная ошибка, — засмеялся Бородай. — Абсолютных представлений о красоте нет, все относительно.

— Знаю, знаю, — перебил Роже, — диалектика, Гегель, читай, но к женской красоте это не относится. Натали — самая красивая женщина на свете.

— Охотно с тобой соглашаюсь, — сверкнул улыбкой Бородай, и хозяин насторожился, но тут же успокоился и немного грустно сказал:

— Вот здесь мы с тобой найдем полное согласие.

— Это, между прочим, не так уж мало.

— Даже очень много, — согласился Роже. — Это даже очень много.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В эту минуту в комнату вошла Натали, остановилась на пороге, стараясь уловить атмосферу разговора. Ничего тревожного не заметила, облегченно вздохнула.

— Ну, как вам здесь?

— Разве я не прав? — спросил Роже у Бородая, любуясь Натали.

— Конечно, ты абсолютно прав, — ответил Бородай.

— О чем вы? — смутилась женщина.

— О твоей красоте! — торжественно заявил Кольвен. — Только что мы установили, что ты красивейшая женщина на свете.

Она вопросительно взглянула на Бородая.

— Это правда, — сказал он, — именно об этом мы и говорили.

— Женщины все-таки странные создания, — Натали села в кресло, — комплименты им всегда нравятся, даже когда они неуклюжие и прямолинейные.

— Это не комплимент, а чистая правда, — тихо сказал Бородай. И, взглянув на часы, добавил: — Мне уже пора, а то мои спутницы, наверное, волнуются.

— Кто твои спутницы?

— Мать Ивана Климова, колхозница из-под Рязани, и переводчица Оля Торжкова.

— Отчего они волнуются? Боятся, чтобы ты не попросил во Франции политического убежища?

— Нет, — засмеялся Бородай, — этого они не боятся. А вот что я заявлюсь пьяненький после встречи с друзьями, побаиваются. Мария Кондратьевна так мне и сказала: «Смотри у меня, возвращайся домой на ногах, а не на бровях». Строгая дама.

— Обманули мы ее ожидания, не напоили тебя по-настоящему. Мы с ней познакомимся? — засмеялся Роже.

— Конечно, еще будет время.

— Люси Шабер жива и здорова, — сказала Натали, — работает на своем старом месте, в кафе «Корона». Я ее недавно видела, даже не очень постарела.

— Замуж вышла?

— Нет, — тихо ответила женщина, — это я вышла замуж.

Когда Сергей Бородай покидал гостиницу Кольвенов, над небольшим тихим городом Флеманш в Бургундии стояла теплая безлунная ночь. Когда-то, очень давно, в такую же ночь отряд «Генерал де Голль» осуществил свое знаменитое, описанное теперь во всех историях Сопротивления, нападение на гестапо. Тогда такая же тишина окутала город. Далекое волнующее воспоминание.

— Слушай, давай я тебя отвезу, — предложил Роже.

— Правда, — согласилась Натали, — чего тебе топать почти через весь город?

— Подумаешь, большой город, — засмеялся Бородай, — отсюда до центра, пожалуй, километра полтора будет.

— Еще заблудишься...

— Нет, в этом городе я не заблужусь.

— И все-таки я тебя отвезу, — настоял Роже, — иначе просто невежливо. Подожди здесь.

Тень его растворилась в темноте, и Сергей с Натали остались вдвоем. Они стояли перед воротами, которые успел открыть Кольвен, их окружал большой веселый город, а казалось, что они одни на всем свете и, может, только сейчас так полно ощутилась радость встречи. Стояли рядом, молча, не двигаясь, боясь нарушить счастье этой минуты. Город лежал перед ними в долине, ярко освещенный, весь в неоновых рекламках, в центре еще были открыты кафе, ездили машины, гуляли люди, а здесь — тишина. Высоко в небе появилась движущаяся звездочка, — может, спутник, может, самолет на большой высоте, — и это медленное движение только подчеркнуло глубину черного неба.

Им так много надо было сказать друг другу, вспомнить, объяснить, заверить, а нужные слова не приходили на память, и они молчали, слушая, как скрипят несмазанные петли на дверях гаража.

— Жоржет Дюран тоже жива, — наконец сказала Натали, поражаясь, как это вдруг улетели все слова, которые еще днем, когда она сидела одна в комнате Луизы, были в ее сердце.

— Я видел ее сегодня. А где Нина? Гуляет с Шарлем?

— Нет, дома. Может, уже спит.

Они оба взглянули на темные окна второго этажа. Спит Нина? Нет, едва ли кто из них спокойно уснет в эту ночь.

Сзади тихо зашумел мотор. В темноте обозначилась машина, подплыла к ним, мягко покачиваясь на тугих шинах. Лучи далекого уличного фонаря отражались на сверкающих покрытиях бампера. Роже включил подфарники.

— Садись.

— Я тоже поеду, — сказала Натали.

В машине все пять минут, пока ехали до отеля, не вымолвили ни единого слова. И только когда остановились перед слабо освещенным подъездом, над которым неоновыми буквами светилось слово «Модерн», Роже Кольвен спросил:

— Узнаешь наш город?

— Он мало изменился.

— Этот отель «Модерн» современным был в прошлом веке, — засмеялся Кольвен.

— Прекрасный отель, — с нажимом сказала Натали. Они с Сергеем прожили в этом отеле, может, больше полугода — с момента изгнания гитлеровцев из Флеманша и до времени, когда Сергей уехал на родину.

Роже вспомнил об этом и нахмурился. Но, стараясь подчеркнуть, что относится к их прошлому спокойно, проговорил:

— Давайте зайдем в бар, выпьем на прощание по какому-нибудь некрепкому коктейлю и тогда по домам.

— Нет, — возразила Натали, — уже поздно. Сегодня был трудный день, я устала.

— Да, конечно, — поддержал ее Бородай, — завтра увидимся.

— Непременно. И вообще, пока ты здесь, во Флеманше, ты должен бывать у нас как можно чаще.

— Ну, у него здесь много друзей, — осторожно возразил Роже. — Мы тебя, Сергей, не собираемся связывать по рукам и ногам, но всегда будем рады видеть.

— Спасибо, — ответил Сергей Бородай, уже стоя на тротуаре, — я еще не знаю, кто остался в живых из моих друзей, но наверняка кто-нибудь да найдется.

— Найдутся, — ответила Натали, — двадцать пять лет — не такой уж большой срок.

И они все трое грустно рассмеялись, подумав, что эта четверть века оказывается изменчивой величиной — то очень длинной, то короткой, в зависимости от того, как на нее посмотреть.

— Ну, доброй ночи тебе, — Натали стояла рядом с Сергеем, обняла его и поцеловала. Роже остался в машине.

— Доброй ночи. Завтра встретимся.

— Обязательно.

— Если бы ты знал, как мне не хочется с тобой расставаться,— тихо сказала женщина.

— Мне тоже. Давай пройдемся.

— Нет,— возразила Натали,— нужно ехать домой. Роже тоже человек, и об этом не стоит забывать.

— Да, Роже не просто человек, а настоящий друг, и об этом надо помнить,— повторил Бородай.— Счастливо.

— Счастливо.

Они стояли перед отелем, не в силах расстаться, кто-то должен был сделать первый шаг и не решался. А Роже Кольвен, все хорошо понимая, ждал спокойно и грустно, положив руки на баранку своего приземистого, чем-то смахивающего на жабу «ситроена».

— Хорошо. До завтра,— решительно сказала Натали. Села в машину, и тяжелый, блестяще-черный «ситроен», покорный рукам Кольвена, сразу двинулся вдоль улицы, сплошь заставленной автомобилями.

Сергей Бородай остался один у подъезда отеля, на тротуаре центральной улицы города своей юности и своего, давно уже минувшего счастья. Посмотрел вверх: окна всех четырех этажей темные, Мария Кондратьевна и переводчица Оля давно спят. Время еще не позднее, около одиннадцати, но людей на улице почти не видно: Флеманш засыпает рано.

Еще раз взглянул на отель, вспомнил номер, в котором они с Натали прожили более полугода, маленький, неудобный. Тогда они этого не замечали, на свете существовала только их любовь и ощущение победы.

Этот маленький номер с окнами во двор, где всегда пахло кухней, находится сейчас почти рядом с его нынешним жильем. Только теперь ему, Бородаю, предоставили большой номер с ванной и окнами на улицу. Интересно, кто сейчас живет в той их комнате?..

Какая разница? Тысячи людей, радостных или озабоченных, почевали в ней и исчезали, не оставив следа так же, как не осталось следов и от их пребывания.

И он вдруг почувствовал, что не может сейчас очутиться в тесной, наглухо, несмотря на распахнутое окно, закрытой коробке комнаты. Захотелось почувствовать ближе, лучше рассмотреть город, который он так хорошо знал когда-то. «Двадцать пять лет — это не так уж много»,— сказала Натали. Что правда, то правда.

Он повернулся и пошел по центральной улице, медленно, не спеша, стараясь узнать каждый дом, переулок, перекресток улиц. Полночь опустилась на город, едва заметно посверкивая неяркими звездами. Тишина растекалась по скупо освещенным улицам. Может, такая прогулка была бы куда лучше с кем-нибудь из давних друзей. Ничего, у него еще есть время, он здесь

и с друзьями погуляет, а сейчас нужно рассмотреть и понять Флеманш, узнать, каким он стал.

Вот в этом доме на неширокой, обсаженной густыми платанами площади, напротив мэрии, когда-то помещалось гестапо. Внизу, в подвале, восемь камер, отсюда они освободили арестованных товарищей. Он тогда красиво горел, этот дом, но гитлеровцам удалось погасить пожар. Интересно, что сейчас в нем?

Подожел поближе. На хорошо начищенных медных вывесках по обе стороны дверей черными буквами написано «Лионский кредит», филиал одного из солиднейших французских банков, где хранят свои сбережения не столь богатые люди. Да, они не очень богаты, но зато их много. «Лионский кредит» — один из самых могущественных банков Европы. Интересно, что сейчас в этих подвалах и камерах? Может, сейфы, маленькие, огнеупорные коробки, в глазах каждого из французских буржуа такой сейф — воплощение прочности и неизменности порядка. Или, может быть, банковский архив в тех камерах, где на стенах остались надписи: «Завтра нас расстреляют. Прощай, Франция!»

Оглядел дом так, будто ему сейчас предстояло ворваться в него и освободить пленных... Лефевр и Климов тогда сумели перемахнуть через забор и ударить гранатами с черного хода. Тотчас и они с Дюраном начали. Было это на рассвете, когда одолевает сладкий утренний сон, и гестаповцы даже не проснулись. Ничего не скажешь, быстрая и красивая, очень хорошо проведенная операция, и закончилась бы она наверняка счастливо, если бы позже, уже не сюда, а в кафе «Корона», им поднесли патроны. Да, один человек оказывается смелым, а другой трусом, и именно эти человеческие качества и решили судьбу Лефевра, Дюрана и Климова. Бородай вздохнул и отошел от здания «Лионский кредит». Безлюдные улицы, освещенные зеленовато-призрачным светом фонарей, стали словно бы просторнее. Главная магистраль Флеманша с самолета, наверное, выглядит как длинный светлячок, очерченный в темноте яркой цепочкой фонарей. Если свернуть за угол, то сразу попадаешь в сумрак, и именно там ясно чувствуешь сонное дыхание города.

Он шел не торопясь, вспоминая прошлое. Спит город. Отдыхают французы, на работу вставать рано.

На небольшой площади, где сходились пять улиц, около высоких ворот свет. За красной кирпичной оградой — невысокое здание. У ворот двое мужчин, молодой и пожилой, стоят, опершись спинами о стену; рядом с воротами невысокие двери проходной завода фирмы «Батле и компания». Не только во Флеманше, но и во всей стране весьма заметное предприятие. Интересно, чего ради околачиваются эти двое у ворот в столь поздний час?

Бородай вышел из тени высокого платана, приблизился. Сразу послышалось навстречу тревожное и требовательное:

— Кто идет?

По-французски этот вопрос звучит: «Кй вив?» — и означают эти слова: «Кто живой?» Интересно, когда, после какого поражения или победы, впервые в глубине веков таким образом спрашивали часовые? И сразу призрачным показался покой Флеманша. Пахнуло тревогой и войной. Но люди около ворот не вооружены, это очевидно. Почему же они здесь, зачем?

Бородай подошел ближе, с любопытством оглядел людей и поздоровался:

— Добрый вечер.

— Добрый вечер, — ответил старший.

— Что вам надо здесь ночью? — подозрительно спросил молодой. — Что делаете?

— Гуляю.

— А не могли бы вы выбрать место для прогулок где-нибудь подальше от нашего завода?

— Разве во Флеманше запрещено гулять? — удивился Бородай.

— Около нашего завода запрещено. Много вас таких ходит...

— Погоди, Жюль, — сказал старший, — разве ты не видишь, что он иностранец? Я посоветовал бы вам, мосье, держаться подальше от нашего завода.

— Ничего не понимаю.

— А вам и не надо понимать. Это исключительно наши внутренние французские дела...

— Ну, не совсем так, — почему-то улыбнулся молодой.

— Постой, кажется, я тебя знаю, — вглядываясь в лицо старшего, сказал Бородай.

Какие-то неясные, затуманенные временем воспоминания шевельнулись в его голове. Нет, не припомнит. И все-таки с этим человеком, одетым в грубошерстный пиджак, красный свитер (ночи во Флеманше даже жарким летом холодные) и синие, с пузырями на коленях джинсы, ему все-таки приходилось встречаться.

— У меня нет знакомых за границей, чтоб у тебя зад припух, — неприветливо, но спокойно ответил мужчина.

И в этот момент, услышав странную поговорку, Сергей Бородай узнал человека и улыбнулся.

— Чего вы зубы скалите? — во всем видя коварство, спросил молодой.

— Потому что с Анри Ленуаром мы хорошие знакомые, — ответил Бородай.

— Подойди сюда, — приказал старик. Повернул Сергея так, чтобы свет падал ему в лицо, совсем не удивившись, словно так оно и должно быть, и появление Бородая на площади спящего

Флеманша вполне естественное дело, сказал: — А, это ты, здравствуй.

— Апри, кто он такой? — Подозрение не угасало в душе Жюля.

— Мой давний знакомый. Ты в Советском Союзе живешь, Бородай, или в какой другой стране?

— Конечно, в Советском Союзе. Почему ты спросил?

— Всякое бывало после войны. Я решил не крутить вокруг да около, а сразу спросить. Так вернее. А во Францию зачем приехал?

— На открытие памятника Дюрану, Лефевру и Климову.

— Знаю. В воскресенье состоится. Наши ребята туда пойдут. Не все, разумеется. Основные силы здесь останутся.

— Какие силы?

— Наши.

— Подожди, Ленуар, — сказал молодой парень, — если твой знакомый действительно из Советского Союза, то я рад его приветствовать, но думаю, что ему лучше держаться от нашего завода подальше. Только этого не хватало, чтобы нас обвинили в связях с Советским Союзом.

— Почему это плохо, Жюль? — спросил старик.

— Потому что завтра газеты напишут, что всю эту историю организовали не мы, а агенты Москвы, и на нас выльют очередной ушат грязи, а твоему товарищу на открытии памятника побывать не удастся, так как его выплют из Флеманша как нежелательную личность. Одним словом, я думаю, что нам надо держаться подальше друг от друга.

— А я думаю, наоборот — необходимо держаться как можно ближе, — ответил Ленуар. — Никакой опасности нет, газеты вылили на нас столько грязи, что лишняя порция ничего не изменит. Отказываться же от дружбы с Сергеем Бородаем я не собираюсь.

— Подождите, — попросил Бородай, — вы мне можете объяснить, в чем дело и чего вы здесь сторожите?

— Это длинная история, — сказал Ленуар.

— А я не тороплюсь.

Ленуар посмотрел на небо и на безлюдную площадь. Лицо его, уже несколько дней не бритое, поросло серебристой щетиной.

— Который час? — спросил он.

— Скоро двенадцать.

— Хорошо. Жюль, позови своего напарника, пусть меня сменит. Мы с Бородаем зайдем к Морису, посидим. Нужно, чтобы он все знал. Это может оказаться важным.

— Для кого? — никак не хотел преодолеть свое недоверие молодой Жюль.

— Не знаю, может, для нас, может, для него, может, и для нас и для него. Одним словом, зови мне смену.

— Хорошо,— неохотно согласился Жюль, вошел в помещение и через минуту вернулся с человеком, тоже в темном пиджаке и синих выцветших джинсах.

— Можешь идти,— сухо сказал он,— но чтобы через два часа был здесь, не позже.

— Не беспокойся, буду. Пойдем, Бородай.

— Доброй ночи,— сказал Сергей.

— Будьте здоровы,— ответил Жюль.

— Что происходит? — ничего не понимая, спросил Сергей, когда они отошли от заводских ворот.

— Потерпи немного, сейчас узнаешь,— ответил Ленуар.— Сядем, посмотрим в глаза друг другу, тогда и поговорим.

Сергей молча согласился.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Бистро «У Мориса» было не чем иным, как маленькой забегаловкой. Открывалось раним-рано, когда рабочие шли на работу и спешили что-нибудь перекусить на скорую руку, выпить чашечку кофе или стакан белого вина, а закрывалось поздно ночью, потому что заходили сюда рабочие после второй смены — съесть сосиски или пару крутых яиц и запить их белым вином или розовым «божолем», это уже как кому захочется,— все не очень дорого и вполне прилично.

Само бистро представляло собой большую комнату с длинной стойкой, перед которой стояли высокие, обитые до блеска вытертой кожей табулеты, а ближе к стенам — шесть мраморных столиков на железных ножках. Одна стена была когда-то зеркальной, правда, сейчас она потемнела, но все равно комната от этого казалась просторней. Толстый слой опилок, как мягкий ковер, покрывал пол. За стойкой перед баром хозяйничал сам Морис, крепкий человек неопределенного возраста, с короткой, как у быка, шеей, с густыми седыми волосами, внимательными острыми черными глазами и крупным гасконским носом. За ним высились полки, заставленные бутылками, перед ним сверкал никелем автомат «экспрессо» для варки кофе. Воздух в бистро густой и кисловатый, но Морис чувствовал себя в своем хозяйстве как рыба в воде.

— Садись,— пригласил Ленуар, показывая на столик около стены, и, обращаясь к Морису, добавил: — Я думаю, в такой поздний час кофе нам не помешает.

— Правильно,— согласился Бородай.

— Смотри ты,— только в эту минуту узнал его Морис,— никак, ты, Бородай. А я думал, тебя уже давно похоронили с военными почестями, неся впереди гроба твои ордена и стреляя из пушек и пистолетов. Здравствуй.

— Здравствуй, Морис,— засмеялся Бородай,— ты, как всегда, очень любезен.

— Вот чего у меня не отнимешь, того не отнимешь. Кофе или чего-нибудь покрепче?

— Нет, кофе,— решил Ленуар,— у меня еще вся ночь впереди.

— Кофе так кофе,— согласился Морис.— А ты что, Серж, прибыл к нашим парням как представитель рабочего класса Советского Союза? Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в действии, так?

— Нет,— сказал Бородай,— я приехал на открытие памятника. В ваши внутренние дела мне вмешиваться не годится.

— Ну да, разумеется,— согласился Ленуар,— правые газеты на нас всех собак повешали — и рука, мол, Москвы, и подкупленные международным коммунизмом враги Франции, ну, одним словом, их старый репертуар.

— Мне молчать о том, что ты здесь был? — спросил Морис.

— Можешь говорить кому угодно,— засмеялся Ленуар,— это встреча старых друзей, не больше.

Бородаю в первый момент стало не по себе от этого разговора. Но потом он рассердился и подумал: «А какого черта, что я, не имею права зайти в первое попавшееся быстро и выпить чашку кофе? Конечно, завтра полиции все будет известно,— вероятно, Морис работает на два фронта, одной рукой помогает рабочим, другой — пишет донесения в полицию об их разговорах и настроениях. Но ведь если ты не ел чеснок, от тебя и не смердит. Бородаю бояться нечего, пусть себе наушничают. Перед людьми, богом и французской полицией он чист, как слеза. А у Мориса всегда была одна прекрасная черта: он никогда не перебарщивал, так что бояться нечего».

— Ну так что же тут у вас происходит? — спросил Бородай, когда чашки с кофе уже стояли перед ними на чисто вытертом мраморном столике.

На стене, напротив, висел большой рекламный плакат туристской фирмы «Франс-Тур» — красивая белокурая девушка, ослепительно улыбаясь, летит на высокой ярко-синей морской волне. Внизу подпись: «Посетите Гавайские острова». Кто из посетителей быстро мог поехать на Гавайские острова?..

— Что у нас творится? — переспросил Ленуар.— Мы захватили завод.— Он с довольным видом посмотрел на Бородаю, проверяя, в полной ли мере дошло до него это сообщение, усмехнулся и повторил: — Да, да, захватили завод и надеемся одержать победу.

— Как захватили, зачем? — не понял Бородай.

— Чтобы его не смогли закрыть и мы не остались бы безработными. Мне кажется, ты отстал от жизни. Правда, у вас подобные вещи невозможны, а у нас вся борьба еще впереди. Понимаешь, совсем недавно у нас еще царил настоящий классовый мир, чуть ли не идиллия. «Батле и компания» процветала, электронных приборов мы выпускали до черта, и их хорошо

покупали. Одним словом, все было прекрасно. Мы даже стали вроде сопайщиками, у каждого одна-две акции фирмы. Старый трюк. Какую выгоду может мне дать одна акция? Пятнадцать—двадцать франков, в конце концов. А для фирмы это золотое дно — почти все сбережения рабочих становятся ее капиталом. И все было бы ничего, если бы не кризис. Наш Батле столкнулся с немецким концерном. Тот решил пойти простым и проверенным путем — купить Батле, завод закрыть, заказы прибрать к своим рукам и расширить свое производство. Одним словом, все точно по Карлу Марксу.

Бородай невольно улыбнулся.

— Ты чего ухмыляешься?

— Карл Маркс здесь у вас, по всему видно, популярная личность.

— Больше, нежели ты думаешь, но не о нем речь. Ну, Батле завод решил продать, а на нашу судьбу ему наплевать. Куда мы пойдем, если завод закроют? Что нам, подаваться из своего богом спасенного Флеманша? Где нас ждут? Как работы искать? Это же не одна или две сотни рабочих, а больше тысячи, и у каждого семья и дети, а они хотят есть каждый день. Ну вот, только стало известно, что завод закрывают, мы его и захватили.

— Ты коммунист? — спросил Бородай.

— Нет, я ни к какой партии не принадлежу, но, если коммунисты защищают мои интересы, я их поддерживаю. Мне все равно, билет какой партии лежит в кармане, важно, чтобы она была честной.

— А кто же всем этим руководит? — спросил Бородай.

— Профсоюз. Всеобщая конфедерация труда, но руководят ею коммунисты, и, может, именно поэтому мы заставим фирму пойти на переговоры и добьемся успеха. Но ты даже представить себе не можешь, какое это хлопотное дело, захватить завод, и какой по-настоящему научной и юридической это требует подготовки! Во-первых, пришлось проголосовать поначалу открыто, а потом тайно, — демократия есть демократия, — чтобы все рабочие были согласны. Оказалось, абсолютное большинство — «за», семьдесят два процента. Тогда, и только тогда, мы начали действовать. Дирекция хотела вынести документацию — мы не дали, а инженеров, пожелавших уйти, выпустили. Потом создали шесть комиссий.

— Не обошлись без этого?

— Нет. Первая комиссия — для поддержания железной дисциплины и порядка на заводе. Вторая — для обеспечения пропитания рабочих. Третья — для обеспечения жилищных условий, она заняла у туристской фирмы несколько сот раскладушек, людям ведь спать на чем-то нужно. Четвертая комиссия — по сбору средств. Пятая — чтобы позаботиться о семьях рабочих, которые захватили завод, им ведь тоже есть надо. И

наконец, шестая, может самая главная, — это комиссия по прес-се, агитации и разъяснению нашей позиции, потому что на нас сразу такое начали лить, что и не расскажешь. А потом попробовали забыть о нас, так, словно ничего и не случилось. Вот эта комиссия и организовала шум на всю Францию, мобилизовала гражданскую мысль...

— И в самом деле научная организация, — улыбнулся Бородай.

— Не только научная... Они поначалу хотели нас силой с завода выбросить, так со всех предместий двадцать пять тысяч рабочих собралось. Без знамен, без лозунгов, просто приехали и гуляют возле завода. Ну, против такой силы не попрешь, отступили, но надежды сломить нас не потеряли. Зашли с другой стороны — окружили нас стеной молчания. А мы тоже не сидели сложа руки. Послали своих ребят в Париж и захватили кабинет директора фирмы. Тогда фирма обратилась в суд, а суд не стал выносить решения о выдворении нас силой, скверно это выглядело бы для его репутации. Вот он тянет, а мы тем временем средства собираем, знаешь, как когда-то коммунары делали: идут ребята с развернутым трехцветным знаменем, и все, кто хочет и может, в него бросают какую-то мелочь. Тебе рассказать, сколько здесь юридических, политических, теоретических тонкостей, — голова вспухнет. А иначе нельзя — борьба дело серьезное. Это накопление революционного опыта, и каждая капля опыта нам пригодится, ох как пригодится. Опыт — единственная вещь, которую не купишь. И еще необходимо, чтобы о нашей борьбе знало как можно больше народу... Видишь, вот ты приехал на открытие памятника, а о нас ничего и не слышал.

— Правда, — ответил Бородай. И неожиданно спросил: — И вы надеетесь победить?

— Конечно, — ответил Ленуар, — фирма согласится на переговоры, и завод будет работать. Понимаешь, у капитализма свои законы, и мы их, слава богу, знаем. Концерн тоже долго ждать не может: капиталы лежат без движения. На черта ему завод, на котором хозяйничают рабочие? Мы знаем, что концерн уже снизил цену, которую предлагал раньше, вот и очутился наш Батле между двух огней. Так что здесь возможны всякие неожиданности. Но я уверен, мы все-таки победим. Послушай, неужели у вас ничего не писали про нашу борьбу?

— Писали, промелькнуло в газетах несколько коротких сообщений, но я как-то не придавал им значения.

— Вот видишь, — сказал Ленуар, — читаем сообщение в газете и, не имея информации, не придаем ему значения. Почему так случилось, Бородай? Во время войны распустили Коминтерн. Свою роль он сыграл. Тогда кричали, что каждой стачкой руководит Москва. Хорошо, можно и без Коминтерна. Но ведь центр информации должен быть? Должен ты знать про нашу

борьбу или нет? Капиталисты никогда не распускали своих международных объединений и организаций! Скорее наоборот — укрепляли! Почему же им можно, а нам нельзя?

— В Москве было Совецание коммунистических и рабочих партий, — сказал Бородай.

— Правильно, тоже полезная вещь. Смотр своих сил и определение новых перспектив. Но это только совещание, а не постоянно действующий орган. А нужно, чтобы был центр информации. А то начинаем бой, а никто о нем не знает, и выходит, что это маленькая, ограниченная одним Флеманшем акция. Газеты, известно, в классовом мире куплены: нет борьбы, все тихо. Вот видишь, сколько у нас сейчас возникает проблем. Морис, дай-ка нам два стаканчика «божоле». Ты где теперь работаешь, Бородай?

— На заводе в Запорожье. Сталевар.

— Ну вот, вернешься домой, в перерыве своим товарищам о наших делах и Расскажи, а то они, может, думают, мы успокоились, зажирили, акциями обзавелись, капиталистами стали. Тыфу! — плюнул с досады Ленуар. — Я на этом мошенничестве на двести франков погорел.

— Выгодное надувательство, — сказал Бородай.

— Правильно, только кризис чуть прижмет, падают все фиговые листочки и остается только зубастая волчья морда мосье Батле, который платит сорок три франка за сто, а сам загребает вдвое больше. Ты, когда памятник будут открывать, напомни о нас. Наша делегация там будет, ведь Лефевр на нашем заводе работал.

— Напомню, — согласился Бородай.

— А теперь Расскажи, как вы там живете, из газет мы, конечно, кое-что знаем, но услышать из первых рук, да еще от давнего друга, с которым в концлагере вместе вшей кормили, совсем другое дело. Рассказывай.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

О своем заводе Бородай мог рассказывать часами. Громадный цех специализированной стали вырос у него на глазах, здесь он знал все; желоба, по которым течет расплавленный металл, были словно реки, созданные его руками. А вокруг раскинулся прекрасный огромный город Запорожье с его озером Ленина и древней Хортицей, с широкими проспектами, которые выходят прямо в Таврию, черноморским ветром и горькой полынью пропахшую степь, где, собственно говоря, совсем недавно, всего каких-то полстолетия назад, гонимые ветром, беспрепятственно перекатывались вороха перекаати-поля.

Ленуар глубоко вздохнул.

— Если бы я о нашем заводе мог так рассказывать! — медленно потягивая розовое «божоле», сказал он. — Ты думаешь, я

свой завод не люблю? Люблю. Я здесь тридцать лет работаю. А они, негодяи, закрывать его вздумали. Не дадим, не закроют!

— Конечно, не закроют,— согласился Бородай, не зная, чем бы помочь Ленуару и его товарищам. Опасаясь, чтобы рассказ его о Запорожье не выглядел хвастливо, добавил: — Не думай, у нас не все так гладко, как выглядит в таком рассказе, у нас и трудностей еще хватает, и лодырей, и прогульщиков, и мало ли чего еще...

— Я знаю,— отозвался Ленуар,— об этом в наших газетах, кроме «Юманите», конечно, часто пишут. Но понимаешь, это мелочи, а мелочи никогда не решают дела. Со всякими бездельниками, хапугами вы справитесь. Главное другое: это твой завод и рассказываешь ты о нем как настоящий хозяин. И в этом я тебе завидую. Ничего, ничего, подожди, когда-нибудь и мы на нашем «Батле» хозяевами станем.

— Я уверен, что вы победите,— сказал Бородай.

— Должны победить, иначе зачем же было кашу заваривать,— твердо ответил Ленуар.— Еще нам придется хлебнуть горя, но мы победим. Ты, конечно, ничем нам помочь не можешь, но разговор этот был очень полезен и для меня и для моих товарищей; я им завтра передам. Советский Союз агитирует уже самим фактом своего существования: если смогли победить вы, то почему не сделать этого нам?

— Истинная правда,— сказал Бородай.

— Ну, значит, за нашу победу! — поднял свой стакан Ленуар.

— За нашу победу! — поддержал его Бородай.

— Мне пора идти,— Ленуар поднялся из-за столика.— Ребят оставлять одних надолго нельзя, есть много молодых неопытных товарищей. Пойдем?

— Ты действительно не состоишь в партии?

— Нет, я — профсоюз. Понимаешь, партии хороши, когда они все тянут в одну сторону, когда действует консолидация. А как начинаются теоретические баталии (мы, французы, эти баталии умеем вести превосходно и часто заменяем ими конкретное дело), то ничего, кроме вреда, они не приносят. Правда, сейчас это все понемногу начинают понимать, и наилучшее доказательство тому наша борьба с Батле. Все понимают, что это похоже на шаг к революции... Ну, рад был тебя повидать. На сердце стало спокойнее, как-то увереннее. Очень важной для меня была эта беседа. Вот слушал я тебя и думал, какой же прекрасной может стать Франция без Батле и компаний!

— Для меня этот разговор тоже был полезен и важен,— сказал Бородай.— Да, именно так, полезен и важен.

— Ты когда уезжаешь?

— В понедельник.

— Возможно, еще увидимся, — улыбнулся Ленуар.

Они разошлись в разные стороны. Ленуар шагал быстро, энергично, торопясь к заводу, волнуясь, уж не случилось ли чего за время его отсутствия. Бородай шел медленно, не торопясь, погруженный в раздумье и хорошо зная, что за это время в отеле «Модерн» ничего не произошло.

Глубокая ночь окутала спящий Флеманш, только теперь она не казалась умиротворенной. Густое варево, как в огромном котле, klokотало в недрах города, и когда оно поспеет и хлынет через край, никто не знал. Тишина была настолько глубокой и оттого какой-то настораживающей, что Бородай даже оглянулся. Вокруг покой, сонная неподвижность платанов, освещенных голубоватым светом редких фонарей. Стоят, вытянувшись в длинные ряды у тротуаров, спящие машины. Ни одного прохожего. Тишина. Отчего же на душе тревога, острое недовольство собой? От сознания бессилия помочь Ленуару?..

Остановился около большой, ярко освещенной витрины парфюмерного магазина. Хрустальные флаконы, различные по величине и форме, с темной агатово-зеленой или вишнево-коричневой жидкостью, лежали на черном бархате, подсвеченные прожекторами, как драгоценные кристаллы. Любимки губной помады всех оттенков, от естественного телесно-розового до темно-красного, почти черного, переплелись в две радуги. А в центре витрины лежал огромный флакон духов, в световых лучах отчетливо прочитывалась надпись: «Мадам Камю — сенсация сезона».

Бородай усмехнулся. У «сенсации сезона» — криминальное прошлое. Ее открыли в лаборатории Роже Кольвена. Ну что ж, французы недаром говорят, что небольшой скандал только придает женщине пикантность. Хотя Роже Кольвену от этого не легче.

Сергей Бородай шел и шел по рю Богарне, погруженный в свои мысли, пока не остановился у подъезда отеля «Модерн». Взглянул на часы — уже третий. Загулялся он, пора и на покой.

— Мадам из двадцать третьего номера очень волновалась, что вас долго нет, — портье, вежливо улыбнувшись, протянул ключ.

— Не из двадцать пятого?

— Нет, из двадцать третьего.

Мария Кондратьевна оставалась верной себе. Что могло случиться с Сергеем Бородаем в городе, где у него столько друзей?

— Спасибо, — сказал он, беря ключ, медленно стал подниматься по узким, зеленым ковром устланным ступеням на третий этаж. Вошел к себе в номер, чем-то напоминавший большую спичечную коробку, распахнул окно. Тишина и спокойствие над Флеманшем. Все спят.

Кафе «Корона», куда он направился утром после завтрака, находилось неподалеку от рю Даниэль, квартала за четыре, не больше. С самого утра их захлестнула суeta пятницы, последнего рабочего дня недели. Оля пошла в транспортное агентство, компостировать билеты на понедельник до Парижа, чтобы успеть к московскому поезду.

Бородай не думал об отъезде. Он настанет в определенный час, все предусмотрено расписанием, — значит, надо пока отжаться прекрасному чувству встречи с далекой молодостью и давними друзьями. Правда, встреча оказалась не такой спокойной, как представлялась, и причиной тому была Натали. Он больше думал о ней, чем о Нине. И это было понятно: у Нины все решено, улажено и перемен не предвидится... А у Натали? Какие перемены могут произойти в ее судьбе? Разве не все определилось?

— Пойдемте погуляем, Мария Кондратьевна, — предложил он, когда они поднялись из-за столика в холле отеля после первого малого завтрака — чашки кофе, двух булочек, кусочка масла, завернутого в блестящую бумагу, и джема в пластмассовой баночке.

Мария Кондратьевна осталась недовольной.

— Все с ног на голову перевернулось, — сказала она. — Человек должен утром хорошенько поесть, чтобы на весь день сил набраться, а они — утром булочку, а вечером наедаются до отвала.

— Это зависит от привычки, — засмеялся Бородай. — У нас есть полчаса свободного времени. Прогуляемся?

— Пойдем, — милостиво согласилась старуха.

Все здесь ее раздражало и вызывало неприязнь — и постель, заправленная так туго, что не знаешь, как ухитриться залезть под одеяло, и круглая, похожая на диванный валик подушка, которая так и норовит выскользнуть из-под головы, и молодой официант, который принес завтрак в восьмом часу. Официанта, она, не раздумывая, выпроводила: не хватало, чтобы завтрак ей подавали в постель. Но все это мелочи, на которые можно было не обращать внимания, за ними стояло главное — посещение могилы сына, и его-то, это посещение, Мария Кондратьевна старалась отдалить... Непостижимо: тысячи километров проехала, чтобы побывать на могиле, а когда дошло до дела, заколебалась.

— Куда мы пойдем? — спросила она. — На могилу?

— Нет, — ответил Бородай, — там еще работают, готовятся к открытию, и мы можем появиться некстати. Знаете, как бывает неудобно, когда хозяева еще не готовы, а гости явились.

— Куда же мы тогда?

— Я вам хочу показать одно кафе...

- Зачем мне оно?
- Хочу вас провести по местам наших прежних боев.
- А при чем здесь кафе?
- В нем и был наш последний бой. Там погиб Иван.
- Пойдем, — сразу согласилась старуха.

Они вышли на улицу, обласканную нежаркими лучами майского солнца, когда еще не упала на землю палящая жара и все вокруг — серебристо-зеленое и нежное. На Марии Кондратьевне — темно-зеленое платье, коричневые удобные туфли на низком каблуке. На голове легкая, тоже темная косынка, открывающая над лбом седые, слегка выющиеся волосы, и от этого лицо кажется еще более сухощавым и строгим. Хотела накинуть на плечи пуховый оренбургский платок, но передумала: тепло на улице, люди будут смеяться.

С какого это времени она, старуха, которой стукнуло семьдесят, стала так заботиться о своей внешности?

Ничего особенного не было в ней, Марии Кондратьевне Климовой, когда она в сопровождении Сергея Бородая вышла из отеля «Модерн» на улицу, но всеобщее внимание сосредоточилось на ней. Флеманш — не Париж, здесь все знают друг друга и, хотя удивляться давно разучились, все же чувств своих скрыть не умели.

Мария Кондратьевна шла по улице, и все встречные, непонятно каким образом, знали, что это мать того советского солдата, который во время войны погиб во Флеманше, сражаясь против бошей, будь они прокляты. Она приехала, чтобы присутствовать на открытии памятника своему сыну, и потому вокруг нее распространялась атмосфера строгой торжественности. А Мария Кондратьевна ни на кого не обращала внимания, с интересом рассматривая город, в котором погиб ее сын. Значит, стоил он того, чтобы за него отдать жизнь. Или, может, здесь, в далеком Флеманше, Иван Климов воевал и отдал жизнь за свое рязанское село, где старая церквушка отражается в спокойной воде зеленоватого пруда, радио около клуба в шесть утра начинает передавать последние известия так оглушительно громко — ни один лентяй не проспит. Она думала о неоглядном просторе полей и перелесков, в который так уютно вписалось село Задольное. Красивая страна Франция, ничего не скажешь, только милее ее сердцу скромное Задольное и неоглядный зеленый простор вокруг. Жаль, до боли в сердце жаль, что довелось сыну лежать в чужой земле, а не на тихом кладбище за старой церковкой. И чувство такое, будто здесь, во Франции, сын никогда не уснет спокойно и мирно в этой твердой бурой чужой земле, а будет бессменно нести свою нелегкую солдатскую службу.

Теперь, после слов Сергея Бородая, у Марии Кондратьевны появилась точно обозначенная цель, и город, с его улицами, площадями, высоким готическим собором и огромными витри-

нами, затуманился, отошел на второй план. Здесь, в кафе «Корона», она все узнает: и о смерти собственного сына и о поведении Бородая. Отзвук недавнего подозрения снова ожил в ее душе, но боли не причинил, как-то глухо постучался в сердце и умолк. Ну, где же оно, кафе «Корона»?

Это было заведение значительно солиднее забегаловки «У Мориса», куда рабочие заглядывали на ходу выпить стакан белого вина, закусив его сандвичем с сыром или яйцом, сваренным вкрутую. Кафе «Корона» от таких маленьких быстро отошло далеко, хотя до настоящих ресторанов не дотянулось. Сюда можно было зайти с приятелем на весь вечер или заглянуть на минуту, прилично пообедать или выпить чашку кофе, бутылку пива. Располагалось кафе тоже на рю Богарне в приземистом двухэтажном доме. Бородаю всегда казалось, что на втором этаже вообще никто не жил, во всяком случае признаков жизни ни до того памятного боя, ни после него заметить не удавалось.

Дом выходил фасадом на улицу, а справа и слева от него стояли особняки, укрытые зеленью деревьев. Подходы к кафе, если рассматривать их с военной, партизанской точки зрения, были выгодные и невыгодные одновременно: чтобы приблизиться к дому, требовалось преодолеть небольшое открытое пространство. Для обороны выгодно. Однако, если отступать, — смертельно опасно. Пространство, которое было твоим другом, превращалось в лютого врага.

Об этих тактических тонкостях думать было некогда, когда они на рассвете в первый день апреля сорок четвертого года, уже разгромив гестапо и выпустив пленных, бросились к кафе, преследуемые тремя десятками гестаповцев, и, поняв, что кольцо сомкнулось, заняли оборону. Ликвидировать гестаповцам боевую группу оказалось далеко не простым делом, потому что засели в кафе «Корона» хорошо обстрелянные, опытные ребята. К тому же положение их было не столь уж безнадежным: во Флеманше действовал партизанский отряд «Генерал де Голь», — значит, помощь могла подоспеть или в виде неожиданного удара в тыл гестаповцам, или в виде пополнения боевых запасов и усиления огня перед прорывом.

Тогда Бородай не знал, что надеяться на удар в тыл гестаповцам было тщетно: немцы уже вызвали из Дижона целую роту и отрезали кафе «Корона». Но рассчитывать на другую возможность он имел все основания, товарищи были совсем близко, в соседних домах, которые сообщались дворами и садочками. Конечно, гестаповцы всюду поставили своих людей, но ведь прорываться через открытое пространство не потребуется. Имея патроны, они продержатся до ночи, а там — ищи ветра в поле, Флеманш для партизан родной город.

Вышло немного не так, как хотелось. Подвел не город, подвели люди, вернее, один человек. Оказался не таким героем,

каким представлялся. Нет, он не испугался, не убежал, он просто не смог, не нашел в себе силы выполнить задание. Судить человека за то, что он не исполнил своего долга, нужно, а вот охаивать его за то, что у него не хватило душевных сил для героического поступка или самопожертвования, вряд ли кто-то решится. Человек — герой или не герой, и этим сказано все.

Такие мысли одолевали Сергея Бородай, когда он вместе с Марией Кондратьевной Климовой подходил к кафе «Корона». Все здесь осталось почти неизменным. Вывеску, как видно, подновили, сияет свежей краской. Деревья стали выше, разрослись. Правда, особняк, который стоял справа, исчез, на его месте вырос пятиэтажный, похожий на высокий улей, современный дом. На балконах цветы — бегонии, герани, яркая, сочная зелень, и от этого «Корона» кажется еще меньше и неказистее.

Бородай открыл дверь и вошел. Здесь и подавно ничего не изменилось. Десяток столиков, поставленных в просторной комнате с невысоким потолком. Слева от входа бар, стойки его покрыты прозрачным плексигласом, все полки старинного буфета заставлены бутылками. Почему-то вспомнился корреспондент-попутчик: «Когда я вижу «мартини» на полке бара, то чувствую себя дома». Подальше — низкие двери, ведущие на кухню, рядом телефонная будка и стрелка с надписью «туалет». В тот, последний раз здесь все было черным-черно от гари и пыли, сейчас все блестит, вымыто, вычищено, белоснежные, с мережкой, бумажные салфетки на столиках. В кафе сумрачно, верхний свет выключен, а солнечные лучи скупо пробиваются сквозь цветные стекла витражей.

За столиками пусто, первый завтрак окончился, второй не начался. В дальнем углу, сменяя салфетки и собирая грязную посуду на поднос, копошится официантка.

Бородай узнал ее сразу, хотя прошло столько времени...

Изменилась ли она? Конечно, изменилась. Была такая смешная белесоголовая девчонка с широко распахнутыми голубыми глазами, вздернутым, в веснушках, носиком и пухлыми губами. Фигура и тоненькая и одновременно крепкая. Женщина пополнила за эти годы, но не утратила изящества.

Официантка не обратила внимания на появление гостей. Пришли они в неурочное время между двумя потоками посетителей, наверняка свой кофе где-то выпили, значит, не голодны, пусть подождут, поговорят, может, успокоятся, если разволновались, или отдохнут, если устали.

Сергей Бородай, предложив Марии Кондратьевне стул, сел и сам, не торопясь все оглядел, все заметил, даже появление американской кока-колы и огромного рекламного плаката с Бриджит Бардо, прикрепленного между телефонной будкой и баром. От необычности поведения посетителей официантка по-

чувствовала некоторую неловкость, подняла глаза, однако сразу Бородая не узнала. Но стоило ему произнести только одно слово, как звук его голоса пробудил воспоминания, заставил дрогнуть струны, которые, казалось, навсегда умолкли. И сразу стало радостно, легко, как в молодости. А Сергей Бородай сказал всего-навсего:

— Здравствуй, Люси.

Она на мгновение замерла, еще боясь ошибиться, голубые глаза ее потемнели от волнения, потом быстро оглядела себя, белоснежный фартучек, белые туфельки, без носка и задника, удобные для тех, кто целый день толчется на ногах, и снова посмотрела на Бородаю, все еще не веря. И вдруг через весь зал бросилась к нему, обняла, поцеловала, не то чтобы не обращая внимания, а просто не замечая косых взглядов Марии Кондратьевны Климовой.

Потом оторвалась от Сергея, даже отступила на шаг, еще раз оглядела его с головы до ног, стараясь убедиться, что ошибки нет. И снова прижалась лицом к его груди, повторяя:

— Сергей? Ты? Да, да, ты, живой, здоровый, красивый.

— Ну красавец из меня так и не вышел,— тоже волнуясь, ответил Бородай.

— Вышел, вышел! Господи, как я рада!

И видно было, что она действительно рада и счастлива не только от встречи с Бородаем, но и от встречи со своей юностью. Слезы сами собой навернулись на глаза, она старалась их побороть — скрыть за смехом — и не понимала, почему так делает. Что худого в том, если бы она немного поплакала?

Люси Шабер никогда не позволяла себе раскисать даже при трудных обстоятельствах, а тут на радостях... И она, чтобы что-то говорить, повторяла:

— Живой, здоровый, красивый...

— А ты совсем не изменилась, Люси,— сказал Бородай, намеренно переводя разговор в привычное русло светских любезностей.

— Ну что ты,— все-таки смахнула слезинку с глаз Люси, но голос прозвучал уже спокойнее,— правда, ты всегда был мастак на комплименты, и очень хорошо, что не разучился. Однако работу за меня никто не сделает. Я сейчас...

В этот момент взгляд ее упал на сухое и строгое лицо Марии Кондратьевны. Лицо старухи было искажено глубокой болью, и Люси виновато отступила от Бородаю и тихо, словно извиняясь за свой несдержанный порыв, спросила:

— Кто это?

Сергей взял Люси под локоть и подвел к столу.

— Знакомься. Это мать Ивана, Мария Кондратьевна Климова.

Сказал и почувствовал, как под его рукой замерло, словно одеревенело женское плечо.

— Да, это мать Ивана, она тоже приехала на открытие памятника. Не пужно так волноваться, Люси, все будет хорошо.

— Да, все будет, все должно быть очень хорошо,— машинально повторила Люси и, не понимая почему, спросила: — Она знает? Она понимает по-французски?

— Нет, она ничего не знает, но сейчас я ей все скажу.

— Может, не надо. Я уже такая старая... Она смеяться будет.

— Нет, надо все сказать, и она, конечно, не станет смеяться. Знакомьтесь, Мария Кондратьевна,— перешел он на русский язык.— Это Люси Шабер.

— Здравствуй,— сказала Мария Кондратьевна сквозь зубы.

— Здравствуйте,— также тихо ответила Люси.

— Видно, она хорошая твоя знакомая,— уже обретая привычное равновесие и решительный тон человека, совесть которого чиста и который имеет право судить других, потому что он прав,— неплохо, как видно, вы здесь воевали.

— Да, воевали мы здесь хорошо,— Сергей Бородай не обратил внимания на тон Марии Кондратьевны,— Люси Шабер моя знакомая, но подруга она вашего сына.

— Что это значит?

— Все.

— Все?

— Да, все. Иван очень любил ее...

— Любил? — переспросила Мария Кондратьевна, словно вслушиваясь в звучание незнакомого или забытого слова.

— Да, любил.

Лицо Марии Кондратьевны осталось неподвижным, окаменелым, но где-то в глубине глаз словно прошла едва заметная теплая волна.

— А она? — стараясь быть спокойной и чувствуя, что спокойствие с каждой минутой тает, как льдинка в теплых ладонях, спросила Климова.

— Она его тоже любила. Наверное, и сейчас любит.

— Его любит, а тебя обнимает?

— В том нет беды. Мы старые друзья.

— Я и вижу.

Возникла неловкая пауза, когда никто не знает, как дальше вести разговор. Может, лучше всего поговорить о чудесной весне и только потом вернуться к главному. Но мысли Марии Кондратьевны текли в одном русле, не допуская отклонений. Они изменились, стали не такими резкими и вдруг вылились в вопрос, полный надежды и страха:

— Внуков у меня здесь нет?

Какой-то ответ промелькнул на выразительном лице Люси Шабер. Она поняла вопрос. Климова это заметила, но поверить

не смогла: чужая страна, чужие люди, как могут они понять ее чувства, язык — и потому сказала твердо:

— Насколько мне известно, внуков нет.

Вдруг вся кровь прилила к красивому свежему лицу Люси Шабер. И она сказала, с трудом подыскивая русские слова:

— Я сама жалею... Жалею, что их нет.

Акцент был сильный и слова прозвучали смешно, но Мария Кондратьевна не улыбнулась. Ее мысли все еще шли по проторенной дороге, и, тяжело вздохнув, она просто, по-женски мягко пожаловалась:

— Жаль, ох как жаль.

Исчезла в этих словах, в тоне, которым они были сказаны, неприязнь, настороженность, опасение того, что кто-то еще может разделить материнское право на сына. И Люси Шабер перестала казаться чужой и легкомысленной. И где-то в душе родилось чувство общности глубокого горя. Неизвестно, как бы дальше потекла беседа, если бы Люси не вспомнила о своих обязанностях хозяйки.

— Сергей, переведи, пожалуйста, что я буду рада достойно принять мать Ивана в нашей старой «Короне».

— А ты сама попробуй сказать.

— Нет, не смогу: не хватит русских слов.

Бородай послушно перевел.

— А мы что, здесь позавтракаем? — спросила Мария Кондратьевна.

— Думаю, это нам не повредит.

— Я тоже так думаю,— согласилась Климова,— две булочки — не завтрак.

— Правильно,— сказала Люси,— Иван всегда говорил, что ему с утра нужно на весь день наесться...

— Иван?

— Да, Иван.

Мария Кондратьевна снова погрузилась. Это далеко не просто — привыкнуть к тому, что на свете есть человек, который знает о ее сыне не меньше, а может, больше, чем она сама.

А Люси уже овладела собой настолько, что нашла силы взглянуть с юмором и на себя, и на строгую Марию Кондратьевну, и на Бородай, как бы со стороны, глазами постороннего человека, и едва заметно улыбнулась. Улыбка — лучшая защита от горя, могучее средство преодолеть его. Больше всего нужно бояться потерять улыбку.

Радуюсь, что первый, трудный момент встречи, когда особенно остро чувствуешь горе, миновал, а дальше будет легче, Люси сказала:

— Я сейчас все приготовлю. В лучшем виде...

Снова затенила едва заметный отблеск улыбки длинными ресницами и исчезла за дверью, ведущей в кухню.

Теперь лучи солнца падали в широкие, низкие окна, и в кафе стало светлее. От витражей на посыпанный свежими сосновыми опилками пол легли синие, красные, зеленые пятна, и почему-то запахло детской сказкой: подожди минуту — и из-за пустой пивной бочки, около стойки, выглянет маленький добрый гном.

Мария Кондратьевна встала, прошлась по кафе, остановилась около ярко раскрашенного механического бильярда, посмотрела, поняла игру, полюбовалась стальными блестящими шариками у борта, потом приблизилась к открытому окну, выглянула. Подоконники были почти на уровне тротуара: чтобы войти в «Корону», нужно спуститься на несколько ступеней.

— Да,— сказал Бородай, словно читая мысли старухи,— мы через эти окна и хотели прорваться. Если бы до темноты удалось дотянуть, обязательно вырвались бы.

— Почему же не дотянули?

— Патронов не хватило. Правда, думаю, что гестаповцы обязательно подождли бы дом. Но дым — штука коварная, через него легче прорваться, потому они и не спешили. В этой комнате он и погиб.

Климова снова осторожно прошлась по кафе, обходя столики и поглядывая на пол, будто опасаясь увидеть следы крови. Комната эта представилась ей совсем иной — не тихой и уютной, украшенной портретом Бриджит Бардо, с белоснежными салфетками и цветными пятнами витражей, а наполненной смрадом и копотью, обугленной и окровавленной.

— Мы здесь часа три оборону держали. Они не были смельчаками, гестаповцы, все поджидали, пока к ним подойдет подмога, но стрелять приходилось, чтобы держать их на расстоянии, вот патроны и таяли... Правда, Люси, эта самая Люси, она тогда совсем девчонка была, две коробки патронов нам принесла... Как она сумела прорваться, уму непостижимо... Еще один человек должен был принести нам патроны, но из этого ничего не вышло... А в темноте мы бы вырвались... Когда у каждого осталось по десятку патронов в автомате, пришлось прорываться, не сидеть же здесь, как мышам в мышеловке? Первыми пошли Жак и я, Клод с Иваном нас прикрывали огнем... Жака убили сразу, гранатой, а я прорвался... Клод с Иваном прорваться уже не смогли... Вот здесь, около этого окна,— Люси Шабер мне потом рассказала, сам я не видел,— он и погиб. А Люси живой осталась. Гестаповцы поймали ее, пытали... Прическу ее видели?

— Видела,— сухо ответила Мария Кондратьевна.

— Это не ее волосы. Парик. У нее гестаповцы с головы всю кожу вместе с волосами содрали. Она через такой ад прошла, что содрогнешься, если подумаешь... А все-таки веселой и при-

ветливой осталась... Французский характер... Между прочим, мы этот характер, как и они наш, в боях понимать научились...

— Французский характер,— медленно, будто взвешивая каждое слово в отдельности и только после этого произнося, повторила Климова, и неизвестно было, как относится она к рассказу Бородай, хулит Люси Шабер или, наоборот, восхищается ею.

Люси появилась, веселая, подтянутая, неся на подносе несколько тарелок, хлеб, две бутылки...

— Вот, прошу,— сказала она, быстро расставляя все на столике. Движения ее были точными, ловкими, накрывала стол и, видно, сама получала от этого удовольствие.

— А ты Ивана хорошо помнишь? — вдруг обратилась к ней Мария Кондратьевна, и Люси вздрогнула от неожиданного вопроса, но, тут же овладев собой, улыбнулась.

— Конечно,— ответила она. И, снова улыбнувшись, тоненько пропела: — «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». — Улыбка ее была будто виноватой, словно она себя укоряла — вот, мол, сама-то осталась в живых, а Иван погиб, лежит в холодной французской земле, а должно бы быть наоборот...

— Верно, это — его любимая песня,— на мгновение замерла, опустив голову, Мария Кондратьевна. И снова подняла лицо, энергичная, строгая, готовая вмешаться в события, во всем разобратся и понять. — А кто не принес вам патроны?

— Теперь это уже неважно,— уклонился от ответа Сергей Бородай.

— Нет, голубчик мой, важно,— ответила Климова, и ласковые слова в ее устах прозвучали угрожающе. — Ни подвиг, ни измена срока давности не имеют. Все важно. — И, любуясь, как быстро и споро управляется возле стола Люси, как порхают над тарелками ее умелые руки, повела разговор: — Вот сегодня, с самого утра, мне думается: одиноко здесь моему Ивану. Я пригоршню родной земли захватила из Задольного, из-под Рязани, завтра на могилу высыплю...

— Нет, Мария Кондратьевна,— сказал Бородай,— друзей у него здесь много.

— А родные его где? За горами, за долами, за десятью границами?

Она вдруг резко поднялась со стула, ступая легко и энергично, словно сбросив со своих плеч тяжесть лет, прошла по кафе, остановилась у окна...

— Жаль, внука у меня здесь не осталось. Я бы его в Задольное забрала... Она согласилась бы, отпустила на время, а может, и навсегда...

Теперь все внимание старухи переключилось на Люси Шабер, на женщину, которая в свои почти пятьдесят лет казалась Марии Кондратьевне молодой девушкой, владевшей каким-то

колдовским даром сохранения молодости. И вылилось это внимание в вопрос, который давно назрел.

— А кто тебя научил по-нашему говорить? — спросила старуха.

— Иван, конечно, — просто ответила Люси.

— Интересно знать, когда вы успевали этим заниматься?

— Мы виделись не так часто, как хотелось бы, — смешно и мило выговаривая русские слова, ответила женщина. — Но все-таки виделись... Вот тогда и учил меня. В перерывах...

Мария Кондратьевна вдруг отчетливо представила темную комнату или закоулок, где притаились двое влюбленных, выключились из течения жизни, для них на свете не существовало ничего, кроме их чувства, — ни войны, ни страха, ни смерти. Больше того, они даже были счастливы в эти короткие дни, часы или минуты, когда удавалось им остаться вдвоем. Но подозрительная Мария Кондратьевна в словах Люси почувствовала какой-то намек и придирчиво переспросила:

— В каких перерывах? Что ты плетешь? Не было у него никаких перерывов. Не такой человек был мой сын.

Люси Шабер впервые за время разговора тихо рассмеялась.

— Это правда, — сказала она, будто выхватила из памяти светлое, нежное воспоминание и сразу спрятала его в сокровенной глубине сердца, настолько оно казалось неуместным. — Правда, перерывов и пауз было мало, потому-то и слов русских знаю мало. А жаль. И рад бы в рай, да грехи не пускают...

— Что, что?

— Я не очень точно улавливаю смысл, но Иван часто повторял...

— Правильно, его поговорка, — подтвердила Мария Кондратьевна. Эта немудрая, знакомая Ивану с детских лет пословица вдруг ввела Люси Шабер в круг семьи Климовых, сделала ее понятнее и роднее. В их большом доме, срубленном из тяжелых дубовых плах, обложенных сверху кирпичом, Люси Шабер наверняка не была бы чужой, ее наманикюренные ноготки никого бы не обманули. Она с Иваном, а значит, и с Марией Кондратьевной выпечены из одного теста, может, потому и любил Иван Климов эту женщину. Вот так-то... Старуха посмотрела на Люси и добавила: — Могла бы быть невесткой... — и горестно вздохнула. Сейчас даже подумать об этом невозможно, а если бы Ванюшка в живых остался, может, глаз с нее не сводила бы. Правда, не так с нее, как с внучат... Ладные внучата были бы...

Она почувствовала, как впервые за все время пребывания во Франции слезы сдавили горло, подкатили к глазам, вот-вот хлынут, и, чтобы сдержать их, избавиться от видения маленьких внучат, которые бегали по свежeweымытому полу просторной комнаты в селе Задольном, сменила тему разговора:

— Чем же ты его пленила?

На этот вопрос ответить было трудно, почти невозможно, но Люси Шабер знала точный ответ.

— Веснушками,— сказала она.— У меня в молодости и нос и щеки были в веснушках. Так вот Иван частенько говорил, что за это меня и полюбил.

Она явно гордилась тем, что хорошо произнесла трудное слово «веснушки», засмеялась, потом построжала и добавила уже по-французски:

— Сергей, переводи, ради бога, а то мне даже жарко стало... Слов не хватает. Хорошо?

— Добро.

— Ну вот, скажи, что для меня большой праздник видеть мать Ивана и принимать ее в нашей старой «Короне».

— Я тоже рада ее повидать,— сказала Мария Кондратьевна, внимательно выслушав перевод.

— А праздник полагается встретить по-праздничному, и потому я хочу вам предложить излюбленное блюдо Ивана. Это мой сюрприз.

Мария Кондратьевна сразу насторожилась.

— Излюбленное блюдо? — переспросила она.— Поостерегись, Сергей! Иван был тихий, как овечка, но выдумщик, каких свет божий не видел, никогда не угадаешь, чем тебя удивит, что за номер выкинет. Сколько раз его за это лупила, а он только посмеивался: «А что, разве плохо придумал?» Поэтому разведай-ка сначала, в чем дело, а то, может, тут какая собака зарыта.

Сергей Бородай заметил веселую искорку в глазах Люси. Они оба, и Люси и Иван, любили шутки, веселые затей, можно сказать, на этом и сошлись и влюбились друг в друга, хотя для смеха тогда у них было ох как мало времени. И сейчас отблеск тех горестных, но счастливых дней озорным огоньком мелькнул в глазах Люси, но Бородай решил не поддерживать опасной игры, лучше выложить карты на стол: еще неизвестно, как Мария Кондратьевна воспримет шутку.

— Это лягушачьи лапки, не так ли, Люси, любимое блюдо Ивана? Насколько я помню...— спросил он по-русски, чтобы поняла и Мария Кондратьевна.

Смешливое личико Люси вытянулось: пропал сюрприз! Однако и то нужно понять: сейчас этой строгой женщине, полной горестных мыслей о сыне, не до смеха. Люси посмотрела благодарно на Бородаю, словно приласкала взглядом.

— Конечно, они. Иван это блюдо не только не ел — не видел. У нас в те времена не то чтобы деликатесов — хлеба не было. Но Иван всегда повторял, что лягушачьи лапки его излюбленное блюдо и после победы он будет есть его каждый день. Я сейчас принесу, попробуете...

Она произнесла это по-французски, и Мария Кондратьев-

на, конечно, ничего не поняла, но насторожилась. Она строго спросила Бородая:

— Куда она пошла? Что тебе сказала?

— Сейчас принесет любимое кушанье Ивана...

Климова с недоверием посмотрела на Бородая: его рассказу о деликатесе французской кухни она не придавала значения. И, как видно, напрасно. Сразу вспомнился колхозный конюх, инвалид первой мировой войны, Родион Блин, который еще до революции воевал во Франции в экспедиционном корпусе. Сейчас ему далеко за восемьдесят, а на пенсию не идет. Говорит, на пенсионеров девчата внимания не обращают, а он, старый греховодник, ни одной юбки не пропустит, хоть словом, да зацепит. Так вот, услышав, что Мария Кондратьевна едет во Францию, начал распускать слухи, будто кормить ее там будут только лягушачьими лапками. И еще хотел дать адрес своей бывшей возлюбленной. Но потом передумал. Тогда Мария Кондратьевна просто отмахнулась: видано ли такое, а вот поди ж ты — оказывается, правда...

Невысокие кухонные двери распахнулись, и показалась Люси: она несла поднос с двумя тарелками, приветливая, радужная, уверенная, что осуществляет заветную мечту гостей. Подошла к столу и сказала по-русски:

— Прошу отведасть...

Мария Кондратьевна недоверчиво посмотрела на тарелки, увидела несколько кусочков мяса, и гарнир, жареную картошку.

— Правда, должна вас предупредить, — извиняясь, заметила Люси, — лягушачьи лапки — консервированные. Конечно, от этого вкус блюда много теряет. Но ведь сейчас весна, не сезон... Я знаю, у вас их всегда едят только свежими. Иван рассказывал...

Мария Кондратьевна вдруг отчетливо представила, что мог порассказать Иван! Наверняка с серьезным видом сообщил, что у них, в колхозах, существуют целые фермы для выращивания лягушачьего поголовья в условиях белорусских болот. Ему только тему подсажи, а там не остановишь — так разыграется фантазия. От такой догадки у Марии Кондратьевны потеплело на сердце, она посмотрела на Люси подобревшими глазами, сухо поджатые губы, мягко шевельнувшись, ожили.

— Беда в том, что консервов я не ем. Давай, Люси, что-нибудь другое.

— Котлету из телятины? — явно разочарованно спросила Люси.

— Отлично, давай котлету.

— Только придется немного подождать, — ответила та и вышла.

Осторожно, боясь нарваться еще на что-то непредвиденное, Мария Кондратьевна положила себе на тарелку хорошо знакомую ветчину, взяла кусок белого хлеба — не очень вкусного,

пресного, с душистым ржаным хлебом не сравнишь, но все-таки есть можно. Пусть они стгорят ясным огнем, эти поездки за рубеж, больше сюда Марию Кондратьевну и калачом не заманишь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Дверь в кафе приоткрылась, пропуская Патрика Дюрана. Отец Нины Сергей Бородай занимал его мысли, очень хотелось поговорить с ним. Конечно, Патрик знал, что судьба его решена, и все-таки в глубине души жила надежда.

Следовало написать Нине письмо, спокойное, трезвое, морально уничтожающее ее, доказать ей, как ничтожно мало значит она в его, Патрика Дюрана, жизни, стать выше своих чувств. А попробуй-ка прикажи себе, вот и выходит — не так-то просто. И настроение от этого скверное: хоть бы поссориться с кем-нибудь, злость свою сорвать... Высокий, широкоплечий, с пышной копной каштановых волос, с насупленными бровями, он имел такой вид, будто ждал минуты, чтобы, не раздумывая, наброситься с кулаками на первого встречного.

— Добрый день, добрый день, — сказал Патрик, обращаясь сначала к Люси, а потом к Бородаю.

— Добрый день, — отозвались они.

Патрик сел за соседний столик, подчеркивая свою независимость, посмотрел на Бородаю. «Он, конечно, человек современный, только усы у него коротковаты и смешно топорщатся. Нина на него очень похожа...»

Эта мысль принесла такую жгучую боль, словно сердце готово было разорваться. Он стиснул зубы и с вызовом спросил:

— А вы на свадьбу приехали? Будете теперь родственником капиталиста? Это вам не повредит там, в Советском Союзе?

Они познакомились еще вчера, но поговорить с гостем Патрику не удалось. В глубине души Патрик сознавал, что этот разговор ничего не изменит; и что, собственно, ему мог посоветовать этот человек?

— Нет, не повредит, не беспокойся, — ответил Бородай, понимая состояние парня. — Ты хорошо знаешь Нининого жениха?

Вот здесь открылись плюзы, сквозь которые могли хлынуть сдерживаемые чувства. Цель найдена, причем определил ее не он, Патрик, так что можно высказаться откровенно.

— Знаю, — пренебрежительно ответил Патрик, — работал довольно долго в его фирме. Я, к слову сказать, монтирую электронные приборы, даже в компьютерах немного разбираюсь, специальные курсы окончил. А жених как жених. Обыкновенный. Француз, которому хочется походить на американца. Во всяком случае, американские привычки и представления о людях он усвоил превосходно... Узнал, что мы с Ниной дружим,

придрался к какой-то мелочи и выгнал. Не сам, конечно, для этого он слишком высокая персона, через мастера, но я-то знаю, откуда ветер дует... А жаль, большая работа предстоит... Можно было бы неплохо заработать...

— Какая работа? — равнодушно спросил Бородай.

— Откуда мне знать? Говорят, то самое, что Кольвен в своих лабораториях устанавливал.

— И давно он это делал, в своих лабораториях?

— С полгода. Что в том особенного?

— Ничего, конечно.

— А Кольвен все время что-то ищет, изобретает и внедряет, хочет быть на уровне современной техники. Только сколько бы он ни старался, ничего из этого не выйдет. Все равно задавит его Патен. Громадный концерн, как акула, проглотит мелкую рыбешку в виде нашего Кольвена. Это еще Карл Маркс отмечал.

Сергей Бородай, снова услышав имя Карла Маркса, спрятал под усами улыбку, но Патрик заметил.

— И улыбаться тут нечему, — раздраженно заметил он, — у них настоящая война идет, не на жизнь — на смерть. Шарль Кюба поставляет оружие обоим противникам и хорошо на этом зарабатывает.

— Как ты сказал? — спросил Бородай.

— Поставляет оружие обоим противникам и гребет деньги лопатой. Так устроен мир. Он делает свое дело честно, несмотря на то что остается самой последней сволочью.

— Поставляет оружие обоим противникам, — думая о чем-то своем, повторил Бородай.

— А что? Деньги не пахнут. Он всюду вхож, мой бывший босс и ваш будущий родственник, свой человек — и у Кольвена, и у Патена, и в других фирмах... Впрочем, не обращайтесь внимания на мои слова, мое мнение объективным быть не может. А вообще он сволочь! Меня выгнал, для работы у Кольвена моего дружка Пьера Барзака взял. Он всегда так с людьми поступает. Выбор большой, безработным никому быть не хочется.

— Это правда, кому охота быть безработным, — задумчиво согласился Бородай. — А что же ваш дружок делал у Кольвена?

— Могу узнать, если вам интересно.

— Нет, мне не нужно.

— Конечно. В металлургии, электростанциях, спутниках, всяких других масштабных вещах вы нашу Францию за призовой чертой оставили. А вот настоящих духов делать не научились. У нас недавно ваша туристская группа была. Одна дама так хвалила «Красную Москву» и мне сувенирный флакончик подарила. Я понюхал — чуть не умер...

— Преувеличиваешь, — засмеялся Бородай. — «Красная Москва» — неплохие духи.

— Преувеличиваю немного, потому что злой как черт и свои неудачи хочу выместить на других. А нововведение Кольвена вам действительно ни к чему?

— Да, ни к чему, — сказал Бородай, думая о чем-то своем. И эту его сосредоточенность Патрик Дюран уловил.

— И все-таки что-то вас в этом деле интересует.

— Нина, моя дочь, — вот что меня интересует.

— Возможно, что и так, хотя ощущение у меня иное. За Нину вы не беспокойтесь. Она выйдет замуж, ни вас, ни меня не спросит.

— Это правда.

— И хватит о ней. У меня есть дела поважнее. Простите. Мадемуазель Шабер, будьте любезны, принесите лист бумаги и конверт.

— Пожалуйста, — вежливо сказала Люси, в глубине души посмеиваясь над милым Патриком — знала, какое письмо решил он написать, и подала бумагу. Юноша вынул шариковую ручку, прикусил губу и уставился в бумагу. Еще какой-то человек вошел в кафе, на скорую руку выпил стакан белого вина, сказал: «Салют, Люси, тепло сегодня, жаркое будет лето, до свидания, Люси» — и исчез. За дальний столик села пожилая женщина и заказала сбитые сливки. Она приходила сюда уже несколько десятков лет, долго размышляла над меню и неизменно останавливалась на сбитых сливках. Кафе жило своей обычной размеренной жизнью в перерыве между первым и вторым завтраком, но за столиком Бородая чувствовалось напряжение. Мария Кондратьевна молча смотрела, как Сергей Бородай берет вилкой прозрачно-тонкий кусочек нежного мяса, подносит ко рту, жует, добавляет еще несколько кусочков золотисто поджаренного картофеля, глотает. Любопытство просыпалось в ее глазах: заметить его Бородаю было не так уж трудно.

— Попробуйте, Мария Кондратьевна, — предложил он.

Старуха решительно отвернулась, крепко поджала губы, словно боясь раскрыть рот, отрицательно покачала головой.

— Ведь только раз в жизни выпадает такой случай, — убеждал Бородай, — хоть будете знать вкус.

— Нет, — возразила Мария Кондратьевна, но прежней категоричности в ее ответе не было. И совсем неожиданно добавила: — Ну и попробую, если тебе так хочется. Подумаешь...

— Правильно, — весело согласился Бородай.

Она взяла кусочек мяса, собрав все душевные силы, положила в рот, пожевала.

Люси следила за ней с интересом.

— Вкусно?

— Очень, — ответила Климова.

— Я рада, что вам понравилось,— живо отозвалась Люси.— Иван недаром...

Но разговор не успел набрать силу, Патрик Дюран за своим столиком скомкал лист бумаги и сказал:

— Мадемуазель Шабер, еще, пожалуйста, лист бумаги.

Люси принесла, положила на стол.

— Возьми. И перед тем, как писать, хорошенько подумай.

Для нее Патрик Дюран все еще оставался ребенком, и привыкнуть к тому, что он уже взрослый, рабочий, монтер сложнейших электронных приборов, Люси Шабер не могла.

Климова внимательно посмотрела на Борода; странно, почему-то теперь те мысли, которые приходили к ней прежде, в вагоне, куда-то испарились. Нет, далеко не трусом был Бородай, иначе во Флеманше к нему бы так не относились. Вокруг его имени прямо появился какой-то героический ореол. Да, интересно все обобщается на деле.

Мария Кондратьевна позвала тихо, но категорично:

— Люси, иди сюда, посиди со мной.

Молодая женщина оглядела свое хозяйство. Патрик Дюран, склонившись над столиком, что-то старательно писал, зачеркивал и вновь писал. В это время клиентов в кафе мало, они появятся скопом, примерно через час. Кафе работает как хорошо отлаженная машина. Несколько минут посидеть с матерью Ивана можно. Она, правда, строговата, могла бы все-таки и улыбнуться, хотя как знать — все зависит от характера. А менять характер кому-то в угоду ни Мария Климова, ни она, Люси Шабер, не будут.

Официантка послушно подошла и присела к столику Марии Кондратьевны. Теперь она вся сосредоточилась на желании обойтись без переводчика, собрать весь свой запас русских слов и разговаривать с Климовой на равных.

— Видела, как он умирал? Ты глаза ему закрыла? — отменяя все мелочи и переходя прямо к единственной теме, которая имела право на существование в ее душе, спросила Климова.

— Да, я видела, как он умирал,— тихо ответила Люси. И сразу перед ней предстала эта же комната, но только полуразрушенная, грязная, задымленная, наполненная едкой пылью от сбитой пулями штукатурки. Нет, она тогда ничего не боялась. Страх смерти не существовал. Это чувство отдалилось, стало нереальным, хотя сама смерть притаилась вон там, за выбитым окном, через которое успел выскочить Сергей Бородай. Он, видно, еще жив, потому что стрельба за стенами кафе отдалялась, но не затихала, бой еще продолжался. Где-то совсем близко сражались друзья, еще ничего не потеряно.

Для кого-то, может, и не потеряно, а для Ивана Климова утрачено все. Лежал он на полу, грязном, закиданном мусо-

ром, гильзами, осколками битого стекла, а изо рта медленно текла струйка крови. Пуля ударила в грудь.

— Тяжело умирал, мучился? — допытывалась Мария Кондратьевна.

— Нет, почти сразу умер, — тихо, довольная тем, что поняла все русские слова и нет нужды обращаться за помощью к Бородаю, ответила Люси. Лицо Ивана, опаленное огнем, стояло перед глазами, и не было, да и не могло быть для нее дороже и страшнее этого воспоминания.

— Какое последнее слово сказал? — снова спросила Мария Кондратьевна. — Мать родную вспомнил?

Люси и на этот раз все правильно поняла, но предпочла бы не понять: в то время все происходило совсем не так, как представлялось Марии Кондратьевне, и для сурового, предсмертного разговора просто не было времени. К тому же почему-то не верилось, что человек, живой, молодой, здоровый, может вот так умереть только оттого, что грудь пробил маленький кусочек металла. Тогда представления о жизни и смерти были прозрачными: все могло измениться за одну минуту. Прорвался же Сергей Бородай, правда, неизвестно, удалось ли ему далеко убежать, потому что стрельба утихла.

Нужно было как-то помочь Ивану, а что делать, Люси не знала. И обрадовалась, когда он раскрыл глаза и неожиданно улыбнулся. Тогда ей показалось, что это уже спасение, все будет хорошо, он выживет...

Мария Кондратьевна смотрела на нее строгими глазами. Мать требовала свою часть сыновней памяти. А о ней, о матери, тогда ничего не сказал Иван Климов, и Люси почувствовала себя виноватой.

— Слово-то какое-нибудь все-таки сказал? — уже все поняла Мария Кондратьевна, твердо решив пройти эту окровавленную стезю до конца. — Значит, какое-то слово перед смертью он все-таки сказал, — уверенно промолвила Климова.

— Да, — покорно согласилась Люси.

— Какое? Ты скажи, — настаивала старая. — Не бойся мне причинить боль. Я все пережила, все выплакала.

Будто умоляя о помощи, спасении, Люси посмотрела на Бородаю, увидела его сухое, с резкими штрихами морщинок лицо, встопорщенные усы. «Нет, ничем не поможет Сергей...» — подумала она. Но Бородай все-таки помог.

— Скажи, Люси, — кивнул он.

И вдруг женщина поняла, что скрывать ничего не нужно, потому что каждое слово, сказанное перед смертью, драгоценно своим прозрением, пониманием жизни и говорит о человеке лучше, чем тысячи обычных слов.

— Он прошептал: «Где ты покупаешь свои веснушки?» Улыбнулся и умер, — тихо проговорила Люси. И с тревогой посмотрела на Бородаю, словно сама была виновата в том, что

перед смертью Ивану пришли в голову такие веселые и нежные слова.

Мария Кондратьевна в смятении взглянула на Люси, не веря, не допуская мысли, чтобы Иван перед смертью сказал такие слова, потом поняла, что он, с его характером, только такое и мог сказать и Люси не солгала.

Сердце сжала тупая боль, но старуха нашла в себе силы притушить ее, потому что внутренне была готова к чему-то подобному: Иван даже в свой смертный час оставался верен себе.

— Извините,— сказала Люси, понимая, какую боль причинила она Марии Кондратьевне.

— Нечего извиняться,— полностью овладела собой старуха.— А что еще он мог сказать? Сын обо мне думал, а тебя утешить хотел...

— Да, да, конечно,— поспешила согласиться Люси.

— Хороший он был,— продолжала Климова.— Жил хорошо, воевал хорошо и умер хорошо. Ни за жизнь, ни за смерть его краснеть не приходится.

— Простите,— поднялась Люси.— Мне нужно... Дела...

— Иди,— милостиво разрешила старуха.— Я уже все знаю и про него и про тебя... Впрочем, подожди-ка, что ты мне голову морочишь? Где твои веснушки? — И она придиричливо оглядела еще свежее, но отмеченное неумолимыми следами прожитых лет лицо Люси.

— Они исчезают со временем,— грустно ответила Люси,— к великому сожалению...— И только в это мгновение почувствовала, что может разрыдаться, поспешила к кухонным дверям, чтобы через минуту снова появиться возле бара. В кафе много работы, не засидишься. Вошли двое рабочих в синих брезентовых комбинезонах, поздоровались. Люси, не спрашивая, поставила перед ними два стакана розового «божоле», вина душистого и терпкого. Они молча медленно выпили, положили деньги и вышли, поклонившись Люси и скользнув взглядом по столу Сергея Борода.

Жизнь шла своим чередом, и казалось, ничто на свете не может ее изменить.

Лицо Марии Кондратьевны будто оттаяло, утратило свою суровость. Сердце ее раскрылось перед Сергеем Бородаем и Люси Шабер.

Она обрадовалась этим новым, неожиданным для нее чувствам. Когда же Люси принесла наполненные едой тарелки, посмотрела на них не то чтобы с боязнью, а с опаской. И напрасно: там аппетитно лежали куски курицы, темно-коричневые, сочные, и рядом — горка золотистой жареной картошки. На других тарелках была зелень — прозрачные листья обыкновенного салата. Мария Кондратьевна облегченно вздохнула.

Неожиданно вошла Нина Кольвен. В легком светлом плащике, высокая, с длинными, по плечам, волосами, она оглядела кафе, на мгновение остановила взгляд на фигуре Патрика Дюрана, все еще склонившегося над чистым листом бумаги, и подошла к Сергею Бородаю. Лицо ее побледнело со вчерашнего дня, под глазами залегли голубоватые тени,— может, плохо спалось прошлой ночью; не такой уж безоблачной была жизнь Нины Кольвен, как это могло показаться на первый взгляд.

— Здравствуйте,— промолвила Нина, обращаясь к Люси Шабер и в пустоту кафе, в которой где-то очень далеко, словно дальняя планета на космической орбите, виделся Патрик Дюран.— Здравствуйте,— поклонилась она Марии Кондратьевне.

Старуха в ответ кивнула.

— Я к тебе, отец.

— Садись. Рад тебя видеть.

— Нет, спасибо. Я на минуту. Времени у меня в обрез. Наши просили напомнить о сегодняшнем вечере — мы ждем тебя. Обязательно приходи.

— Конечно. Как же иначе?

— Ты непременно приходи,— быстро говорила Нина, и Бородай легко почувствовал, что все ее мысли и внимание, увы, сосредоточены не на нем.— Мама почему-то очень волнуется, хотя, собственно говоря, волноваться нечего...

— Ты так думаешь?

— Я в этом уверена, но почему-то опасаясь за нее. И Роже какой-то не обычный, напряженный,— в общем, все сами не свои...

— А Шарль?

— Кто? А, Шарль, с ним тоже что-то не так. Вот и выходит, что единственным человеком в нашей семье, на которого не распространился этот всеобщий психоз, остаешься ты.

— В нашей семье?

— А разве ты не член нашей семьи? Разве ты не мой отец?

— И то правда. А ты сама не волнуешься?

— Я? Нет, я уже отволновалась. Хорошо решила или плохо — не знаю, но думать об этом больше не хочу. Очень вредно задумываться. Мне все равно,— без вызова, не рисуясь, а просто констатируя факт, сказала Нина.

— Правда? — не допуская и отдаленной нотки недоверия в своем голосе, спросил Бородай.

— Правда,— серьезно ответила Нина.— Так, значит, ты придешь?

Этот обычный простой вопрос прозвучал как просьба, заклинание о спасении, и Бородай поспешил ответить:

— Непременно приду.

— Вот и прекрасно,— обрадовалась Нина. И сказала: — Мадемуазель Шабер, кофе-крем на тот столик, пожалуйста.

И неожиданно для себя показала на столик, за которым сидел Дюран, словно в пустом кафе не было другого места.

Патрик все так же упорно смотрел на чистый лист бумаги, не в силах оторвать взгляда. Что случится, если он вдруг поднимет глаза на Нину?

Бородай поглядывал на дочь спокойно, с привычным вниманием, так, словно ничего необычного в этом сумеречном кафе не происходило.

— Я тебе не помешаю?

Это уже относилось к Патрику Дюрану. Только теперь он решился поднять глаза, посмотреть на Нину, и девушка пожалела, что переоценила свои силы: из глубины его зрачков хлынули затаенные страдание и боль.

— Нет, не мешаешь.— Патрик скомкал лист бумаги, сжал в кулаке.

— Ты писал письмо? — Нина уже обрела утраченное было равновесие.

Патрик, не в силах сказать и слова, просто утвердительно кивнул.

— Мне?

И снова молчаливый кивок. Жестокой, очень жестокой была в эти минуты Нина Кольвен.

— Напрасно,— с ядовитой издевкой сказала она. И сразу пожалела, что именно эта нотка прозвучала в ее голосе.

— Я знаю, что напрасно,— ответил Патрик, снова упорно рассматривая пластмассовую крышку стола.

А Нина сама себя не могла понять. Ведь всем, а ей в первую очередь, ясно, что пришла она сюда не для того, чтобы пригласить на обед отца. Он пришел бы и без напоминаний, обо всем вчера договорились. Значит, она здесь, потому что хотела встретить Дюрана? Мысль об этом была до горечи обидной, и Нина рассердилась на себя и, прежде всего, на бедного, ни в чем не повинного Патрика.

— Что ты можешь знать?

— Все,— просто ответил Дюран.

Нина видела, что он действительно знает и понимает все, и от этого горестный осадок на душе только усилился.

— И не думай, будто я пришла сюда, чтобы встретиться с тобой. Мне и ты и твои переживания — ни к чему. Я хотела напомнить отцу о вечере...

— Я знаю.

— Вот так, а ты мне безразличен.— Нина уже не могла остановиться, ее несло словно на высокой злой волне прибой.— А вот памятник и люди, которые лежат в этой могиле, не безразличны. Они были настоящими людьми. А мы кто? Так, жалкие людишки. Бывают в жизни минуты, когда можно позави-

довать мертвым. Они боролись, умирали, зная, чего хотят, и зная, за что умирают. Я и завидую им, мертвым.

— Я тоже знаю, для чего живу, — тихо сказал Патрик.

— Выходит, ты счастливее меня, — запальчиво ответила девушка. — Так для чего же ты живешь?

— Во-первых, — сказал Патрик, — для того, чтобы постичь все прелести твоего характера, а во-вторых, для того, чтобы изменить к лучшему этот мир.

— Господи, все это пышные слова и примитив, — чувствуя истерические нотки в своем голосе и стараясь скрыть их, засмеялась девушка.

— Примитив? — Патрик слегка побледнел, но спокойствия не утратил. — Возможно, и примитив. Мы с тобой сейчас сидим в кафе, где сражались партизаны, где погиб мой отец. Он погиб здесь, у окна, на этом месте, где сидим мы. Он очень хотел жить, думал так же примитивно, как и я, шел в бой и отдал жизнь для того, чтобы мы с тобой жили. И ты теперь завидуешь ему.

— Ну, знаешь, не нужно преувеличивать. Гитлеровцев разбили бы и без этого боя. Подумаешь, великое сражение.

— Правда, сражение не такое уж большое, но победа складывается не только из великих танковых битв, но и из тысяч, миллионов маленьких, никому теперь не известных боев, в которых героически гибли люди. Они били их, фашистов, по одному, по два, от Атлантики до Сталинграда, они не всегда побеждали, но всегда сражались, и именно поэтому ты им завидуешь.

— Еще неизвестно, что сейчас сказал бы твой отец.

— Нет, известно.

— Времена меняются, — Нина старалась подвести мину под уверенность Патрика.

— Да, — согласился Патрик, — времена меняются, и меняются они к лучшему.

— Тебе нравятся эти перемены?

— Да, нравятся. — В голосе юноши послышалось раздражение, но он сразу же погасил его. Важнее всего сейчас сохранить спокойствие, не сорваться. — Представь себе — нравятся, потому что все становится на свои места. Мир делится точно и неумолимо, подлые люди находят подлых, честные — честных.

Хотя слова вроде бы не содержали ничего особенного, Нина сразу отметила изменение темы разговора, переход от политики и мировых проблем к наиболее важному — к личным чувствам.

— Вот как! — обиженно сказала она, допивая кофе. — Прости, но этот разговор мне уже начинает надоедать. Я пришла сюда не ради беседы с тобой. Мне было необходимо повидать отца.

— Ты говоришь так, будто в этом кто-то сомневается.

Они произносили пустые слова, чтобы прикрыть ими настоящие чувства, хорошо это понимали, и потому оба раздражались. Разговор пужно было заканчивать, и Нина поняла это первая.

— Всего хорошего,— поднялась она из-за столика.

— Всего хорошего,— тихо ответил Патрик. И именно этот тихий голос заставил Нину приостановиться на мгновение. Всего на миг, потому что со своих позиций она не сошла: все ясно, все решено. Это был трудный, горький до боли разговор. Девушка раскрыла сумочку, заплатила за кофе и уже повернулась, чтобы идти к дверям, когда совсем близко и одновременно где-то далеко прозвучал голос Бородай. Что он скажет, девушка не знала, остановилась, со страхом поглядывая на отца. Теперь она жалела, что поддалась порыву, захотела повидать, может быть в последний раз, Патрика Дюрана и пришла сюда. Разве она хотела его увидеть? Нет, конечно, ей нужно было напомнить отцу... Хватит ломать комедию, хоть перед собой-то не лги: да, ради Патрика пришла сюда, да, хотела видеть, да, да и тысячу раз да... Вот уже и отец встал из-за своего столика, что-то говорит, приближается. Может, лучше всего было бы броситься опростеться на улицу, бежать без оглядки...

Сергей Бородай, конечно, не мог слышать всего разговора Нины с Патриком, но выражение их лиц было более чем красноречиво. Нет, далеко не все просто и ясно у Нины и совсем не безоблачна ее жизнь.

— Одну минуту, Нина,— сказал Бородай, перехватив девушку у самых дверей.— Давай присядем вот здесь, мне с тобой хочется еще немного поговорить.

— О чем? — Нина уже могла различить смысл слов и отметила это с удовольствием. Ничего, она выдержит и этот разговор, теперь все на свете выдержит.

— Ты знаешь,— умышленно оттягивая время и давая девушке возможность прийти в себя и успокоиться, проговорил Бородай,— я сейчас хожу по городу, встречаю старых друзей, знакоюсь с новыми, и невольно у меня возникает множество вопросов... Конечно, приходится сделать скидку на мою неосведомленность, непривычность к современной Франции, она очень изменилась...

— Хорошо, что ты это понимаешь...

— И где-то в основе своей совсем не изменилась.

— Над этим мне еще придется подумать. Не знаю, так ли это. Прости, я спешу. Так какой же вопрос ко мне?

Она хотела поскорей уйти, спрятаться за надежный щит будничных дел, хотя хорошо понимала, что ничего из этого не выйдет.

— Вопрос странный немного...

— Меня сейчас ничем не удивить.

— У тебя какой-то встревоженный голос...

— Тебе я признаюсь, потому что ты мой отец и, думаю, друг.

— А разве бывает такое: отец и вдруг — враг?

— Бывает. Если не враг, то, во всяком случае, и не друг. Тебе я признаюсь: мне хочется плакать.

— Шарль тебя очень любит?

Нина разочарованно пожала плечами. Жаль, очень жаль, что и отцу не хватило такта. Хотя сама виновата, дала повод для такого вопроса. Что узнал, что почувствовал, что увидел старый Бородай? Ничего, теперь, когда главное сказано, она наверняка выдержит все до конца. И лучшая защита — откровенность. За свои поступки отвечает только она, и никто на свете не имеет права ее судить.

— Да, он меня очень любит, — с вызовом ответила девушка, — и я его тоже люблю, хотя это большого значения не имеет. Мне уже двадцать четыре года, и я хорошо знаю, что такое любовь и чего она стоит. Осенью я выйду замуж и буду счастлива. Возможно, это случится и раньше. У тебя есть еще вопросы?

— Почему он живет здесь, а не в Париже?

— Люди зарабатывают деньги там, где могут их заработать. В Париже таких специалистов много, а у нас он один.

— Других нет?

— Нет. Он меня по-настоящему любит, и он честный человек.

— Это хорошо, — задумчиво сказал Бородай.

— Ты говоришь так, будто знаешь о нем что-то дурное.

— Что я могу знать? — улынувшись, развел руками Бородай. — Я его вчера впервые увидел.

— Вот вы все такие! Приезжаете к нам, вооруженные так называемой передовой теорией, которая позволяет вам понять глубинные, скрытые язвы капиталистического общества, и воображаете, будто знаете куда больше других и умеете читать чужие мысли. Конечно, в большой политике ваша теория великая сила, иначе вам не удалось бы построить такую могучую державу, как Советский Союз. Но к личным чувствам диалектику не применишь. Мы просто не понимаем друг друга. Одни и те же слова и поступки — а понимание их разное.

— Да, это правда, — согласился Бородай, затрудняясь, как лучше перевести разговор в другое русло.

— Мы с тобой родные и одновременно чужие люди. И я прошу тебя, не вмешивайся в мою судьбу, в этой ситуации ты выглядишь как слон в посудной лавке.

— И это, наверное, правда.

— Можешь не сомневаться. Я уже все решила. Не знаю, хорошо или плохо, но решила и ничего менять не собираюсь. Ты меня понимаешь?

— Понимаю, — кивнул Сергей Бородай.

— Что ты понимаешь?

— Что тебе живется труднее и сложнее, чем мне казалось.

— Сейчас, когда все определилось, какое это имеет значение! Патрика немного жалко, это верно, но ничего, пройдет, забудется... Прости, я пойду. Мне не хотелось бы разреваться здесь, в бистро... И обязательно приходи вечером... Я почему-то очень боюсь за маму...

— А за себя?

— За себя я не боюсь. До скорого...

Она встала и быстро, ни на кого не глядя, вышла из кафе. Сергей Бородай посмотрел, как мелькнул светлый плащик, вздохнул и вернулся к своему столику, где сидела Мария Кондратьевна. Она взглянула на Бородаю сочувственно, словно жалея его.

— Дочь? — Мария Кондратьевна повела глазами в сторону дверей.

— Дочь.

— По всему свету детей разбросали, — вздохнула старуха. — А вот для меня ничего не осталось. Жаль. — Посмотрела на Патрика Дюрана, который, ни на кого не обращая внимания, задумчиво пил пенистое светло-желтое пиво, и повторила: — Жаль.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Двери кафе снова распахнулись, и пожилая женщина, энергичная, деловая, появилась на пороге, оглядела низкую комнату и улыбнулась. Жоржет Дюран, бабушке Патрика Дюрана, уже наверняка было за семьдесят, но выглядеть старухой она себе не позволяла. Не скажешь, сколько ей лет, хотя и видно, что она женщина в годах, но именно женщина, не бабушка. Волосы ее — с сильной проседью, цвета «соли с перцем», как говорят французы, лицо прочерчено морщинами; возможно, в молодости она была брюнеткой, но от того времени неизменными остались лишь глаза, большие, темно-карие, почти черные. С первого взгляда можно было отметить, что мадам Дюран следит за своей внешностью: губы оттеняла неяркая розовая помада, аккуратно подпиленные ногти поблескивали лаком. Одета скромно, но именно так, как должна одеваться пожилая женщина, а не бабушка, — недлинная темно-коричневая юбка, темно-зеленый свитер, на ногах коричневые туфли на широком, почти квадратном каблуке, на плечах легкий плащ. Вместительная сумка из мягкой коричневой кожи на длинном ремне перекинута через плечо. Вместе с ней в кафе мгновенно влилась атмосфера деловитости, собранности, было видно, что мадам Дюран отлично знает не только цель, но и средство достижения этой цели.

— Здравствуйте,— обратилась она ко всем, проходя к столу, где сидели Бородай и Мария Кондратьевна.— Мадемуазель Шабер, кофе, пожалуйста. Ну, Сергей, мы уже немало сделали, а за оставшееся время, возможно, успеем сделать еще больше. Наш богом спасенный Флеманш гудит, как растревоженный улей. У меня есть все основания надеяться, что на открытии памятника будут не сотни, а тысячи людей. Патрик, хорошо, что ты здесь. Не уходи, ты мне понадобишься.

Она раскрыла сумку, вынула зеркальце, скользнула взглядом по своему изображению и, то ли осталась довольна своим видом, то ли решила ничего не менять в своей внешности, спрятала зеркальце, из той же сумки достала несколько исписанных листков бумаги и положила перед собой.

Сергей Бородай сказал:

— Знакомьтесь, Жоржет, это мать Ивана Климова, Мария.

Мадам Дюран легко поднялась, подошла к Климовой, подала руку.

— Я не успела познакомиться с вами на вокзале,— заметила Жоржет Дюран,— и очень об этом сожалею. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся.

— Здравствуйте,— промолвила Мария Кондратьевна.

— Простите, ради бога, у меня уйма срочных дел,— улыбнулась Жоржет.— Мадемуазель Шабер, пожалуйста, принесите мне листика три бумаги.

В это мгновение она, казалось, забыла про существование Марии Кондратьевны, Сергея Бородаю и вообще всего кафе «Корона». Мария Кондратьевна взглянула на Жоржет и тихо спросила Бородаю:

— Она кто, начальство?

— Секретарь городской секции компартии.

— Женщине семьдесят лет, а она губы красит...

— Наверное, одно другому не мешает?

— Может, у них так принято, хотя сомневаюсь. Это же Франция, а в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят.

— Абсолютно справедливо.

— Это ее сын погиб?

— Да.

— Значит, все правильно. Ну что ж, поживем — увидим.

И Мария Кондратьевна принялась выбирать сыр, пять сортов которого лежало на круглом деревянном блюде.

Сергей Бородай взглянул на нее, улыбнулся.

Чувство надежности всего, что его окружало, появилось вместе с приходом мадам Дюран. Беспокоила лишь одна болезненная ранка, и потому Бородай встал и подошел к столу Патрика Дюрана. Юноша оторвал от губ стакан с пивом, посмотрел хмуро, неприветливо.

— Уже не пинешь?

— Нет, не пишу,— сквозь зубы процедил Патрик, он считал любое вмешательство в его жизнь недопустимым и бестактным.

— Правильно делаешь. Ты ее очень любишь?

— Больше жизни,— невольно, не понимая своей откровенности, ответил Патрик. И вдруг вспыхнул, взорвался гневом: — Какого черта! Это вас не касается!

— Я все-таки ей отец,— мягко заметил Сергей.

— Ведь я хотел жениться на ней...— ответил Патрик. — Пусть вы ее отец, но для меня это все равно. Решает она, а не вы! Вы можете ей что-нибудь приказать?

— Нет, не могу.

— И никто не может. Подлый мир и подлые люди, хотя иногда мне казалось, что она честный человек...

— А на деле вышло — нечестный?

— Мне неприятно вам это говорить: на деле — да, оказалась нечестной. Сама все понимает, но уже ничего изменить не может. И не хочет — вот что главное!

— А если ты ее по-настоящему любишь, если ты не трус, так борись за нее, а не сиди, распустив нюни.

Сергей сказал резко, почти грубо. И странно, на Патрика это повлияло совсем неожиданно. Бородай перестал быть для него чужим, далеким, стал почему-то вдруг ближе, роднее. Но это новое ощущение все-таки ничего не меняло ни в его, Патрика, жизни, ни в Нишиной судьбе, и потому юноша ответил раздраженно:

— Все это слова! Что я могу сделать?

— Подумай. Я тебе посоветовать ничего не могу. Знаю лишь, что за счастье ты должен драться сам, а не ждать, когда тебе преподнесут его на тарелочке. Твой отец и твоя мать боролись, воевали за свое счастье до последней минуты, до последнего вздоха.

— Вы знали мою мать?

— Знал.

— Тогда была война... Тогда было проще... Умереть за Нишу я готов хоть сейчас, правда, этого ей не нужно.

— Ты в этом уверен?

— Уверен.

— А вот я не совсем.

— Вы... вы думаете, я имею какие-то шансы? — тревожно воскликнул Патрик.

— Я знаю только одно — за любовь, за радость, за дружбу нужно бороться. Даже если у тебя есть только один шанс из тысячи! А если нет ни одного, то и тогда надо биться и добыть его.

— Все это красивые слова! Как бороться?

— Вот этого я не знаю. Я не француз. У нас, в Советском Союзе, я тебе, наверное, что-нибудь посоветовал бы, а здесь

не могу — не знаю. Посоветовать тебе должны твои друзья, французы, они знают вашу жизнь, я же — нет.

— Все вы мастера говорить, — грубо бросил Патрик.

— Да, давать советы легче, нежели действовать, — согласился Бородай. И отошел к своему столику, оставив Патрика в смятении.

Ему нужно было понять, для чего понадобился Бородаю этот бессмысленный разговор, в котором были добрые слова и пожелания и абсолютно отсутствовала программа конкретных действий.

Возможно, уважаемый гость из Советского Союза решил проявить чуткость к сыну своего погибшего друга? Что он может знать о Нине, о семье Кольвенов, о Шарле Кюба, вообще о Флеманше, если не имеет даже малейшего представления о жизни в этом небольшом городке французской «глубинки». Конечно, ничего посоветовать он не может. Он прав, но тогда почему же этот разговор так задел за живое?

Только потому, что Бородай сказал, будто у него, Патрика Дюрана, даже в его отчаянном положении, есть какой-то шанс?

Нет, в этом разговоре была какая-то скрытая, неприметная, но все-таки ощутимая мысль.

Действительно была или ему хочется, чтобы была? Возможно, что и так. Мы всегда легко верим тому, во что хотим верить...

С ума можно сойти от этих мыслей. А главное — нет программы действия. Нет идеи борьбы за Нину! Если бы она появилась, эта идея, если бы ясно стало, куда идти, что делать, он бы горы своротил...

А так сиди, пей свое пиво, поглядывай на энергичную мадам Дюран, которая целиком погрузилась в работу и смолит уже, кажется, десятую сигарету.

— Патрик! — вдруг послышался рядом низкий, прокуренный голос Жоржет Дюран. — Вот тебе записка, беги в железнодорожное депо, отдай товарищу Гарбо. Я хочу, чтобы на открытии памятника присутствовали не только коммунисты, а все рабочие.

Патрик энергично поднялся со стула. Вот это уже не слова, а конкретное дело. И он выполнит его отлично. Он по горло сыт разговорами и хочет действовать.

— Хорошо. Я мигом. Велосипед стоит у дверей.

— После смены Гарбо соберет рабочих. Выступишь перед ними и пригласишь на открытие памятника твоему отцу.

— А это удобно?

— Почему же неудобно?

— Действительно, почему! Я уверен, они все придут.

— Ну, вероятно, не все, — улыбнулась Жоржет Дюран. — Но сколько бы их ни пришло, все равно будет хорошо.

— Даже если никто не придет? — нашел Патрик в себе силы улыбнуться.

— Даже если и так, — серьезно ответила Жоржет Дюран. — Подумать о памятнике, о нашей борьбе, о погибших героях ты их заставишь. А это уже чего-то стоит. Раз не придут, два не придут, а на третий придут. Ну, двигай!

— Я пошел? — Патрик направился было к двери, но взглянул на Бородаю и шагнул к нему: — Вы мне больше ничего не хотите сказать?

— А что я могу сказать?

— Так я и знал! — в сердцах проговорил Патрик. — Возьмите деньги, мадемуазель Шабер.

— И сразу же возвращайся сюда, — сказала Жоржет. — У меня есть еще одна блестящая идея. Нужно, чтобы было как можно больше народу.

— Я вернусь.

Патрик вскользь взглянул на Бородаю и вышел из кафе. Мадам Дюран снова достала зеркальце, мельком оглядела себя и попросила:

— Мадемуазель Шабер, еще, пожалуйста, бумаги и кофе.

И снова принялась за работу. Потом Дюран подошла к столику Бородаю.

— Сергей, — деловито сказала она, — речь нашей дорогой гостью на открытии памятника должна занять минуты три-четыре, не больше. Всем интересно послушать, а главное, увидеть мать Ивана Климова, но к длинным выступлениям у нас не привыкли.

Бородаю перевел.

Мария Кондратьевна молча кивнула. Жоржет снова села к своему столику. В кафе вошли сразу четверо посетителей. Приближалось время завтрака, скоро здесь будет полным-полно народу. Люси Шабер уже работала, как хорошо отлаженный автомат, и Мария Кондратьевна залюбовалась ее ловкостью, деловой ухваткой, ласковой обходительностью, рассчитанной точностью движений.

— Артистка, — сказала она. — наших бы девчат-официанток хотя бы на месяц сюда на практику... — И вдруг кивнула в сторону Жоржет Дюран, которая сидела с сигаретой в зубах и сосредоточенно, энергично водила толстой ручкой по бумаге. — Пишет выступление? В забегаловке?

— А разве здесь хуже, чем в кабинете. Какая разница, где писать слово матери на могиле сына.

— И то правда, — на мгновение задумавшись, сказала Мария Кондратьевна.

— Выступать будет, конечно, без бумаги. Важно только точно знать, что ты хочешь сказать. И уложиться в три минуты. А если не напишешь, трудно коротко выступать. Это же не на кладбище.

— На кладбище, Сережа,— впервые за все время разговора слабо улыбнулась Мария Кондратьевна,— можно такое сказать, что хоть стой, хоть сам в могилу ложись. Я знаю такие случаи. Хорошо, переведи ей, скажу все как полагается. Пусть не беспокоится.

— Она, наверное, и не беспокоится,— улыбнулся Бородай.— Скорее наоборот, надеется на вас опереться.

Климова мгновение помолчала, словно взвешивая его слова, проверяя, нет ли какого в них подвоха. Ничего подозрительного не нашла и заметила:

— А ты, пожалуй, не ошибся. Крепкая и жилистая она. Может быть секретарем городской секции партийной организации. Только пусть не очень-то задается, мы тоже работать умеем. Во время войны трудились и в мирное время в грязь лицом не ударим. Скажи-ка, будь добр, нашей красуле, пусть принесет бумагу.

— А вы сами скажите,— дрогнули в улыбке губы Бородай.

Мария посмотрела на него снисходительно: рассуждает — так вроде бы перед тобой серьезный человек, а вот на тебе, ребенок, да и только.

— Ну и скажу, подумаешь. Люси!..

Молодая женщина тут же появилась, взглянула вопросительно.

— Принеси, дочка, мне бумаги и ручку,— прислушиваясь к себе и опасаясь, как бы слова ее не вызвали какой-нибудь нежелательной реакции, попросила Мария Кондратьевна.

Но Люси восприняла ее просьбу как вполне естественное и привычное дело. И вообще в кафе, которое уже заполнялось народом, на них никто и внимания не обратил: просьба как просьба.

— Пожалуйста,— принесла бумагу и ручку Люси.

— Спасибо,— сказала Климова и добавила, обращаясь к Бородаю: — Теперь не мешай мне. Я подумаю, что сказать над могилой сына.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Патрик Дюран мчался на велосипеде в железнодорожное депо, и настроение его было пасмурным. Вот так часто бывает: обронит человек мимоходом какое-нибудь слово, а ты думай, соображай, что он имел в виду или так бросил наобум и пошел мимо. Сказал Бородай несколько тревожных слов, и сразу в душе ожила надежда. А что они, эти слова, лишены основания, в том убедиться нетрудно. Нет шансов на счастье у Патрика Дюрана, и эта фраза о шансе, который можно всегда найти, даже если надеяться не на что, просто смешная и наивная. Отец Нины, видно, любит сорить словами... А интересно, как он целуется при таких усах? Глупости какие-то лезут в голову...

И все-таки была в словах Бородай какая-то сокровенная мысль или Патрику только хочется, чтобы она была? Подожди, давай припомним весь разговор.

Патрик нажимал на педали, и велосипед прытко катился к окраине города. Юноша перебрал в памяти весь разговор и ничего утешительного не нашел. Все давным-давно известно! «За радость, за любовь, за дружбу нужно бороться». Великое открытие! Как бороться? Старый Бородай — обыкновенный пустомеля. «Это можешь сделать только ты или кто-то из твоих настоящих друзей». Глупости! Ну чем помогут друзья в таком деле, как любовь? Ведь здесь, именно здесь чувствуется какой-то намек на конкретность. Может, Бородай думает, что ему следовало бы собрать своих друзей и хорошенько намять бока Шарлю Кюба? Так, возможно, поступают у них, в Советском Союзе, а во Франции — нет, не подойдет. Да и не об этом думал Бородай. Нечего думать о нем хуже, чем он есть на самом деле.

А тем временем уже показались ворота депо. Хорошо, что он успел до обеденного перерыва. Товарища Гарбо найти совсем нетрудно, нужно только подождать у ворот, когда тот пойдет обедать, в депо Патрика Дюрана, конечно, не пустят. Правда, и туда можно было бы пройти, потому что в проходной у автоматических часов, которые точно фиксируют на карточке приход каждого рабочего, дежурит Сюзан Фарнезе, хорошая девушка, полуфранцуженка-полуитальянка, для Патрика Дюрана она все готова сделать.

Однако зачем прибавлять ей хлопот, когда можно и так обойтись... Куда лучше подождать десять минут. Что все-таки имел в виду Бородай, когда говорил о друзьях?

Ага, вот и перерыв. Идет Гарбо, глаза от солнца прикрыты кепкой с маленьким козырьком, высокий и плотный, видно сильный, как автомобильный домкрат, целая гора мускулов. Наверное, он и слона мог бы поднять.

— Здравствуй, Гарбо.

— Здравствуй, Патрик. Пришел?

— Да, пришел. Вот вам записка. От мадам Дюран.

Гарбо не требовалось объяснений.

— Сам выступишь?

— Попробую.

— Хорошо. Сделаем так: приходи сюда сразу после смены, только не опоздай. В депо тебя, конечно, не пустят.

— Сюзан пустит.

— Зачем девушке лишнее беспокойство, она еще не раз пригодится. Что там у Батле?

— Держатся.

— Мы им немного деньжонок подкинем. Собрали. Трудно их собирать, эти проклятые деньги. А с твоим делом, значит, так, — я ребят оповещу, что после смены сын Клода Дюрана,

погибшего во время войны, хочет сказать им несколько слов. Они о твоём отце, может, и не знают ничего. Микрофон и громкоговорители, чтобы всем было хорошо слышно, установлены. Я тебя представляю.

— Прямо на улице?

— А чем плохо? Прекрасное место, особенно в такую чудесную погоду. Даю тебе минут десять, не больше: ведь они устали после смены.

— Знаю. Мне хватит и десяти.

— Вот и прекрасно. Все-таки молодец Жоржет. Она только тебя послала приглашать на открытие памятника или ещё кого-нибудь?

— Ну что я один мог бы сделать?

— Я тоже так думаю. Ты где сейчас работаешь?

— Пока нигде.

— Безработный?

— Не совсем. С первого июня пойду учиться на четыре месяца, а тогда буду работать по точной механике.

— Ясно! Жаль, не пришлось мне поучиться.

— Не теряй надежды.

— Нет, мне поздновато, пускай молодые учатся. А почему тебя Шарль Кюба выгнал? Девчонку не поделили?

— Послушай, Гарбо, не говори так. Этот Кюба правильно сделал, что меня спровадил, а то при случае врезал бы ему хорошенько. Там сейчас мой дружок работает, Пьер Барзак.

— Кажется, уже не работает,— сказал Гарбо.— Не опаздывай! До скорой встречи.

— До скорой.

Патрик Дюран снова помчался на велосипеде в город. Разговор с Гарбо ему понравился — деловой дядька, и коммунисты в депо, видно, имеют силу. От этого приходит ощущение масштабности событий, которые внешне частенько остаются не приметными. Неплохо было бы, если бы вот таких Гарбо побольше стало во Флеманше, да и в Париже тоже.

А что он сказал о Пьере Барзаке? Неужели Патрик чего-то не знает о своём ближайшем друге? Нет, здесь какая-то ошибка. Они с Пьером ещё мальчишками были вместе, в одной школе учились, на одной парте сидели, тут, во Флеманше, прямо после войны. Нужно было бы к нему заглянуть, узнать, что случилось. Правда, мадам Дюран приказывала немедленно возвращаться в кафе «Корона»... Но мысль о друге не давала покоя.

Посмотрел на часы над воротами завода точной механики, мимо которого лежал его путь. Он управился быстрее чем за час. Мадам Дюран наверняка ещё не ждёт его. Так что время есть.

На мгновение остановился, поднявшись на невысокий холм,

и замер от восторга. Флеманш, зеленый, красивый, родной, словно купался в лучах уже по-летнему теплого солнца. Яркая зелень платанов, кленов нарядно одела его тихие улицы. Город казался мирным, веселым, полусонным, чем-то напоминавшим маленького ребенка, который только что проснулся в своей уютной колыбели, подвешенной между двумя невысокими взгорьями, и от радости существования улыбается ласковому солнцу.

Сморщился, выругался про себя и чуть было не плюнул с досады, представив, какой обманчивой окажется картина, стоит только попристальнее приглядеться. В городе бушуют жестокие страсти. Богатство и нищета, благородство и подлость — все это неплохо уживается рядом и внешне даже кажется пристойным.

А в сквере, около площади, притененная высокими вязами, — братская могила, в ней лежит его отец, он погиб молодым, значительно моложе, нежели сейчас сам Патрик Дюран. Это, наверное, очень страшно, лежать в могиле...

Патрик, как в ознобе, передернул плечами, представив смертельный холод земли. И сразу исчезло очарование — за все надо платить. И за то, чтобы сын пережил минуту радости, отцу пришлось заплатить жизнью. Неужели так будет вечно?

Риторический вопрос, на который можно найти сотни ответов. Ага, вот и дом Пьера. Он сам, может, на работе, но мать или кто-нибудь из сестер наверняка дома, и сейчас Патрик все узнает. Дом невысокий, всего четыре этажа, лестница крутая, к тому же темная и грязная. Пока доберешься до мансарды, где поселился Пьер, такого нанюхаешься, что хоть противогаз надевай. Нарочно разводят здесь кошек, что ли?

Постучал в знакомые двери и очень удивился, когда Пьер собственной персоной появился на пороге.

— Ты дома, старик? Вот не ожидал.

— Дома, — хмуро ответил Пьер.

— И тебя выгнал?

— Проходи, нечего кричать на весь дом.

Патрик вошел. Бедность жилья Пьера Барзака ничуть не удивила его, он и сам жил не намного лучше. Бывать здесь давненько не приходилось, но ничто не изменилось с той поры. Закопченный потолок, порванные обои, печка в углу комнаты, дом старый, центрального отопления нет. Две маленькие комнаты, где зимой холодно, как в Антарктиде, а летом от нагретой железной крыши — жара, не продохнуть. У Пьера мать и три младших сестренки. Отец умер три года назад, и теперь парню приходится тянуть всю семью. В комнатах всегда стоял странный запах. Побывав здесь немало раз, Патрик понял, что это запах бедности, нет, не грязи, не неряшливости, а просто бедности.

Вошла мать Пьера, еще не старая, но уже изнуренная работой и заботой женщина. Поздоровалась, улыбнулась: «Рады тебя видеть, Патрик». И снова отправилась на кухню. Во взгляде ее чувствовалась тревога, — может, от постоянного ожидания новых ударов судьбы.

Сам Пьер Барзак, высокий, костлявый, с короткой черной бородкой и такой же черной щеткой густых волос, был с виду хмурый и расстроенный. Улыбнулся скупой и неохотной, будто пролегла между приятелями какая-то межа. А почему это произошло — не понять. Вроде бы никаких оснований для отчужденности не было, а вот поди ж ты...

— Давно ты без работы?

— С педелю. Садись.

Пьер вынул из старого буфета, такого старого, что было непонятно, как только держатся дверцы, бутылку вина, два стака.

— Спасибо. Почему он прогнал тебя?

— Откуда я знаю? — вяло ответил Пьер, сосредоточенно поглаживая бородку. — Он — хозяин, сказал, что больше в моих услугах не нуждается, заплатил за месяц вперед, и все.

— Где же ты теперь работаешь?

— Поищу, посмотрю. Возможно, пойду на завод точной механики. Там наша квалификация нужна. Хотя никто ничего не знает, сейчас вроде бы требуется, а через месяц оказываешься лишним. — Налил в стакан красного вина, немного отпил. Патрик тоже отхлебнул.

На стене рекламный плакат: красотка в купальном костюме «бикини» стоит на гребне ярко-голубой океанской волны, и ее несет к далеким зеленым пальмам. А сверху надпись: «Навестите с вашей невестой Гавайские острова». Только для Пьера Барзака реклама!

— А может, жепюсь и в самом деле подамся на Гавайские острова, — усмехнулся Пьер. И Патрик подумал: «Раз смеется, значит, еще не все потеряно».

— Невесту нашел?

— А как же? Дочь барона Ротшильда. И должен тебе сказать — половина дела уже сделана. Я согласился, подождем, что скажет она.

Они посмеялись над этим немудреным старым анекдотом. Потом Патрик сказал:

— В воскресенье открытие памятника. Придешь?

— Обязательно.

Странно, почему-то их разговор прерывался молчанием, раньше такого не случалось. Словно тень какого-то третьего человека стояла между ними.

— Девочки как поживают?

— Ничего... — от упоминания о сестрах бородатое лицо Пьера осветилось легкой улыбкой, так бывает, когда говорят о

близких и любимых людях.— Клотильду взяли учиться на курсы операторов счетно-вычислительных машин.

— Давно?

— Три дня назад.

— Колоссально! Как это тебе удалось?

— Долго рассказывать. Жаль, что там срок обучения два года. Но ей даже стипендию назначили.

— Ты маг и волшебник!

— Почти,— невесело согласился Пьер.

И снова молчание. В разговоре не хватало какого-то важного стержня.

— Послушай, Пьер,— вдруг сказал Патрик, пропустив глоток вина.— Что ты делал в лаборатории Кольвена?

Спросил и сам испугался своего вопроса. Лицо Барзака, обрамленное черной бородой, вдруг резко побледнело, большие выразительные, тоже черные глаза посмотрели настороженно, испуганно, рука со стаканом дрогнула, и несколько капель вина выплеснулись на старую, во многих местах потрескавшуюся клеенку.

— Ничего особенного, ремонтировал автоматические анализаторы,— хмуро ответил Барзак.

— И ничего другого?

— Ничего. А почему ты спрашиваешь?

Патрик минуту подумал, говорить или нет. Потом решил.

— Так просто. Я считаю, что в лабораториях Кольвена кто-то установил секретные микрофоны. Патен пронюхал рецепт его новых духов и выпустил такие же, только значительно больше и дешевле в цене. А Кольвен теперь не знает, что делать со своими запасами.

— Здорово! — неестественно весело засмеялся Пьер.— Глотки готовы перегрызть друг другу эти парфюмерные боги.

— Вот именно. Это твоя работа?

Черные глаза снова сверкнули тревожно, настороженно.

— Нет, не моя,— ответил Пьер.— Но если бы это и было так, я все равно тебе не признался бы.

— Почему? Ведь ты с господином Кюба подбил бабки.

— Не совсем. Это он устроил Клотильду на курсы, да и со стипендией тоже провернул он... И мне обещал помочь с работой. А откуда ты все это пронюхал?

— Ну, узнать это нетрудно. Если Роже Кольвена зацепят, он верещит, как недорезанный поросенок. Всем о своих неудачах рассказывает. Правда, о микрофонах он еще не догадался.

— Почему ты думаешь — микрофоны? — спросил Пьер.— Можно телевизионные микрокамеры установить, все сфотографировать... Нет, я к этому делу не причастен.

— Не умеешь ты врать, старик,— усмехнулся Патрик.— Вот теперь я абсолютно уверен, что это сделал именно ты. Схема событий представляется мне примерно такой. Кюба прика-

зал тебе сделать это дело, а когда ты все выполнил, очень вежливо тебя уволил. А чтобы ты молчал, пообещал найти тебе другую работу, заплатил деньги за месяц вперед и устроил Клотильду на курсы. Одним словом, дешево тебя купил. Два года, пока она станет учиться, ты будешь молчать. Для него это вполне достаточно.

— Ты просто с ума сошел! Может, даже больше того — ты провокатор. Я от тебя этого не ожидал!

Пьер резко поднялся со стула, нервно заходил по комнате, подгнившие доски прогибались от его стремительных шагов. Только теперь стало видно, какой он высокий, нескладный и некрасивый в своем желтом свитере и синих джинсах.

— Хорошо, — согласился Патрик. — Я буду молчать. Мне просто нужно было узнать.

— Ты ничего не узнал. Я тебе ничего не сказал.

— Хорошо, — улыбнулся Дюран. — Ты мне ничего не ска- зал.

— И я тебя очень прошу, молчи, вообще забудь об этом, — умоляюще проговорил Пьер. — Если пойдут слухи, то Кюба подумает на меня, в первую очередь на меня.

— Значит, все-таки это твоя работа?

— Не выдумывай глупостей, — обиделся Барзак.

— Почему же, если пойдут слухи, плохо будет тебе?

Пьер сверкнул глазами уже не встревоженно, а враждебно.

— Мне всегда казалось, что ты мой друг. Теперь приходится разочароваться.

— Успокойся. Я буду молчать. Понимаешь, один человек недавно сказал удивительную вещь: Шарль Кюба поставляет оружие для двух конкурентов и с каждого дерет деньги.

— Кто этот человек?

— Неважно. Посторонний и незаинтересованный, ты его не знаешь. А слова его запали мне в душу, я стал думать. Какое может быть оружие? Микрофоны? Возможно. Какое-нибудь другое изобретение? Вполне вероятно. Ведь ты специалист по микрофонам и работал у Кольвена. Мог я сделать некоторые выводы?

— Ты не имеешь на это права. Я прошу тебя молчать!

— Хорошо, я помолчу. Все равно изменить ничего нельзя.

— О чем ты?

— Так, это мое, личное...

— Да плюнь ты на них! Пусть глотки перегрызают один другому. Тебе-то что до этого?

— Хорошо, — сказал Патрик, — о тебе я буду молчать.

— А вообще?

— Не знаю.

— Мне конец, — заявил Пьер.

— Ты всегда любил шекспировские страсти и театральные эффекты, — усмехнулся Патрик. — Будь спокоен, я тебя не вы-

дам. Ну, мне пора, ждет работа. Приходи на открытие памятника.

— Непременно приду. Не подведи меня!

— Не волнуйся.

— Будь здоров,— со слезами в голосе сказал Пьер Барзак.— И ради всего святого — молчи.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В субботу утром, сразу после завтрака, Сергей Бородай решил предпринять генеральный осмотр хорошо знакомого когда-то городка Флеманша, узнать, остались ли в нем старые приятели. Он имел в виду не только людей, но и улицы, и площади, и кафе, и дома. Одним словом, повидать друзей своей далекой, но еще не забытой молодости.

— А мы с вами, Мария Кондратьевна,— сказала переводчица Оля,— пойдем по магазинам. Надо же подарки детям привезти.

— Надо,— согласилась старуха без всякого энтузиазма. Если бы у нее были впуск, то она первым делом подалась бы в магазин. А так идти — неинтересно. Правда, родственники есть, живут в Задольном, но это всего-навсего родственники.— А после обеда ты меня оставь одну где-нибудь неподалеку от могилы. Я там побродить хочу...

— Договорились,— ответила Оля. Она неохотно выпускала Климову из поля зрения: всегда жди от нее новых сюрпризов. Вот с Бородаем — никаких забот. Он в этом городе — как рыба в воде.

Сергей Бородай вышел из отеля, остановился на тротуаре, взглянул на веселое синее небо и ослепительно яркое солнце, почувствовал себя молодым, сильным, энергичным, ослабил туго завязанный галстук, расстегнул пуговицу на воротничке сорочки. С этим нарушением установленных норм пришло и соответствующее немного грустное, немного озорное настроение, когда сам не знаешь, чего хочешь, надеешься на интересную встречу, какой-то случай, событие и одновременно понимаешь, что ничего особенно интересного в твоей жизни уже не произойдет.

На рю Богарне он не стал задерживаться, а сразу свернул в переулок и пошел куда глаза глядят. Суббота — день нерабочий. Но все магазины в первую половину дня открыты, поэтому народу на улице много. Неужели не встретится ни один знакомый? Он попросил мадам Дюран организовать встречи с друзьями-партизанами, и вчера вечером одна состоялась, народу собралось немало, но говорить, отвечать на вопросы почти весь вечер пришлось ему одному. А когда человек произносит речи, вечер приобретает официальный характер, и тут уж, как ни бейся, не узнаешь, чем, скажем, окончилась любовь рыжего

пофера Альберта к смуглой, хорошенькой, по легкомысленной Клодин, жених которой Сильвестр, слесарь-авторемонтник, похвалялся зарезать Альберта и даже просил Сергея Бородай, который в это время уже убежал из лагеря и прятался не в лесу, а в соседнем селе, помочь ему. Бородай отказался, помирил Альберта с Сильвестром, и они втроем осторожно и тихо убрали кривого Бенедикта, официанта из ресторана «Купол». Тот всем говорил, что работает в ресторане только потому, что ему нравится французское название, а на самом деле проданся гестапо и хотел выдать Лисовского, который тоже убежал из лагеря. Поляка успели предупредить, и Бенедикт справедливо и законно получил от оберштурмбаннфюрера Гаузнера, шефа гестапо во Флеманше, которого тоже хотели подорвать гранатой, но не сумели, не деньги, а смерть. Сразу же после этой операции Альберт и Сильвестр снова заявили, что не помиряются никогда в жизни, потому что оба любят Клодин. Но Сергея это уже не очень интересовало — началась высадка союзников в Бретани, и некогда было думать о таком милом пустяке, как ревность. Так вот, на собрании обо всем этом не поговоришь, а очень хотелось бы узнать, как сложилась судьба друзей. Именно на это рассчитывал Сергей, отправляясь в «свободный поход по городу», как он сам назвал свою прогулку, и несколько не ошибся. Имена, лица, люди, события проплывали в его памяти скопом, трагическое переплеталось со смешным, и теперь, на отдалении стольких лет, все словно покрылось розовым туманом и стало казаться куда более приятным, нежели было на самом деле.

Именно поэтому Сергей несколько не удивился, когда на его плечо легла чья-то крепкая рука, а очень знакомый голос сказал:

— А ну, давай-ка зайдем, отметим нашу встречу. — Даже не взглянув, он по голосу узнал, кто говорит. Старый друг, может, больше того — побратим, Гастон Коро, токарь завода приборов, или, как говорили в городе, точной механики, стоял рядом. Высокий и красивый — таким запомнил его Сергей Бородай, когда они шли подрывать железнодорожную колею, по которой гитлеровцы подбрасывали подкрепление к Парижу. Прикосновение рук, немного хрипловатый голос Бородай узнал безошибочно, а вот взглянул, и показалось, что рядом стоит незнакомый человек. Неужели этот седой, ссутулившийся, с лицом, перенаханным глубокими морщинами, старик и есть удалой Гастон Коро?

— Что, не узнал?

— Честно говоря, не узнал.

— Ничего удивительного — изменился я очень. Такое житье было. А вот тебя сразу узнаешь.

Сергей Бородай словно бы почувствовал неловкость от того, что так мало изменился за это время.

— Зайдем выпьем?

— Зайдем. Как же ты жил, Гастон?

— Долго рассказывать. После войны — Африка, хотел денег подзаработать. Потом во Вьетнам подался. Вовремя ноги оттуда унесли, правда, не все. Я, например, без ступни. Инвалид. Семья. На работу не берут. Пенсия, правда, есть, но только-только чтобы с голода не подохнуть. Но живой, а значит, «все хорошо, прекрасная маркиза», — закончил он словами когда-то популярной песенки. — Ты как? Рассказывай.

Они уже сидели за мраморным столиком на железных кривых ножках, который стоял прямо на тротуаре у входа в бистро «Красный петух». Белое вино легко и приятно туманило голову. Сергей Бородай смотрел на хорошо знакомую с давней-давней поры улицу и чувствовал себя счастливым. Ему было что рассказать о своем Запорожье, и он знал, что Гастону это интересно. Но где-то за рассказом о большом заводе, мартеновском цехе и друзьях все время маячил образ Натали Кольвен, воспоминание о ней. Она была неотступно рядом, слушала каждое его слово, вместе с ним пила по глоточку прозрачное вино, и избавиться от этого видения было невозможно и не хотелось.

Вскоре за столиком их было уже трое. Присоединился Проспер Рабле. Потом четверо...

— Хватит обо мне, — наконец сказал Сергей. — Рассказывайте, как вы поживаете.

— Живем, — лаконично ответил Проспер, — и даже иногда взбрыкиваем.

— Ребята с «Батле» завод в свои руки захватили, — добавил Гастон.

— И чем это кончится?

— Поживем — увидим. Понимаешь, вроде бы и пустяк: что их там, этих рабочих, — горсточка, раз, два и обчелся, если сравнивать со всей Францией. И все-таки важно. Сам факт важен...

— Чем? — не сразу понял Бородай.

— Ну, во-первых, потому что решились, понимаешь, сами рабочие решились, а во-вторых, организовались, хватило смекалки, и вот — на тебе: захватили завод. А где гарантия, что они не захватят что-нибудь побольше?

— Францию, например, — насмешливо бросил Проспер.

— А что, например, и Францию, — спокойно ответил Гастон.

— В наше время это невозможно, — заявил Проспер.

— А завод захватить возможно?

— Сравнил...

— Все начинается с малого. А потом накапливается опыт борьбы, — сказал Гастон. — Ты прав, Проспер, сегодня это невозможно. А завтра? Ты можешь поручиться, что и завтра будет невозможно?

— А... Довольно спорить,— неохотно ответил Проспер,— по-моему, это не очень-то вежливо по отношению к нашему гостю.

— Нет, отчего же? Мне интересно,— ответил Бородай.

Ему и в самом деле было интересно: если двое рабочих думают о таких серьезных вещах, то почему об этом же не могут задуматься и другие рабочие Франции?

— Ты коммунист? — спросил Сергей.

— Кем же мне быть после Испании и Вьетнама? — вопросом на вопрос ответил Гастон.

— Он у нас последовательный коммунист-марксист, который в конце своего жизненного пути приведет старушку Францию к революции,— насмешливо щуря светлые глаза, заметил Проспер.

— К твоему сведению,— сухо ответил Гастон,— в нашем городе не я один коммунист. Нас тут тысячи.

— Что ж, вполне возможно,— охотно согласился Проспер Рабле, однако своего насмешливого тона не изменил.— И все же давай-ка лучше поговорим о более приятных вещах, о времени, когда мы были молодыми, о красивых женщинах, наконец...

— Его всегда на поэзию тянет, он у нас такой,— теперь настала очередь Гастона подшутить над другом.— А наша жизнь жестокая...

— Нет, о том времени охотно поговорил бы и я,— сказал Бородай.— Послушайте, ребята, что вы знаете о Натали Кольвен?

— Болит старая рана?

— Болит.

— А что о ней знать? За Роже Кольвена вышла. Он и раньше бедным не был, а сейчас и вовсе разбогател. С нами не водится, это тебе не времена Сопротивления. От нас отошла, а Роже чужой — к нему не пристала. И понять ее можно: он и у нас был не очень-то надежным. Ты бой у кафе «Корона» помнишь?

— Как же мне его забыть?

— Ну вот, в этом весь характер Роже. Каким был, таким и остался, ничего нового. А Натали замкнулась в своем доме, в своем благополучии. Сытый голодного не разумеет. Так часто бывает. Отец ее еще в те времена со своим грузовиком под поезд попал. Тормоза отказали.

— Она писала.

Сергей Бородай поглядывал на высокое небо над Флеманшем и мысленно на его сине-золотом фоне рисовал лицо Натали, молодой, прекрасной, какой увидел ее в первый раз.

Они перебрали в памяти всех старых знакомых, и наконец Бородай сказал:

— Хочу пройтись посмотреть город. Спасибо, друзья, за встречу.

— Верно, пройдишь, — сразу согласился Гастон. — Завтра на открытии памятника увидимся...

— Только не надейся, что тебе удастся одному прогуляться по городу... — сказал Проспер, лукаво щурясь.

И он не ошибся.

Минут через десять снова встретились друзья, в это субботнее утро никто не сидел дома. И снова Бородай оказался в очередном бистро за стаканом вина, и не было конца путешествию в молодость.

А рядом, не исчезая ни на миг, стоял образ Натали, забыть, отогнать который не было возможности, да и не было желания...

В городе оказалось немало друзей, знакомых, и, когда они снова вернулись в бистро «Красный петух», их было уже семеро. И снова у всех на устах был завод Батле. А перед глазами у Бородая — лицо Натали, будто оправленное в синеву безоблачного неба...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

А в это время Роже и Шарль Кюба сидели в просторной гостиной Кольвенов. В доме тишина. Роже Кольвен, глубоко затягиваясь сигаретой, явно волновался, а Шарль Кюба, наоборот, сидел свободно откинувшись в мягком кресле, медленно, наслаждаясь, покуривал, разглядывая сизовато-голубые кольца табачного дыма, и казался невозмутимо спокойным.

— Дело не сдвинется с места, пока не будет денег, Роже, — произнес Шарль Кюба и поднес к губам рюмку с темно-коричневым коньяком, понюхал его тонкий аромат, но не отпил. Уверенность в своей удачливости отражалась в безмятежном выражении его красивого лица, непринужденной позе, во всей его элегантной фигуре, уютно разместившейся в удобном кресле.

— Раньше понедельника, при всем желании, этого не сделаешь, — Роже Кольвен тоже хотел быть спокойным и уравновешенным, но невольно каждое свое слово подчеркивал нервным, быстрым жестом, а нога, будто сама собой, без его вмешательства, отбивала на толстом ковре четкий ритм. — Сегодня суббота, завтра воскресенье — банк закрыт.

— Вчера была пятница, — жестко напомнил Кюба.

— Я не успел вчера, и вы отлично знаете почему.

— Почему? Что изменилось в нашей с вами жизни?

— Не знаю. Все.

— Не думаю... Ничего не изменилось: людей, заинтересованных в переменах, среди нас нет.

— Вы так думаете?

— А вы думаете иначе?

— Не знаю, — искренне ответил Кольвен, — я сейчас ничего не знаю, ни в чем не уверен. Натали страшно возбуждена, и от нее можно ожидать чего угодно.

— Ну какие могут быть неожиданности... — Шарль Кюба запнулся, не закончив мысль, но ее на лету подхватил хозяин.

— В таком возрасте, хотите вы сказать? Ну, так вы плохо знаете свою будущую тещу. Для нее годы не имеют значения. Она так же молода, как и двадцать пять лет назад.

— Чудесно! — усмехнулся Шарль. — Она знает секрет вечной молодости?

— Напрасно смеетесь. Она так и знает этот секрет. Влюбленные всегда молоды.

— Это правда...

Мгновение помолчали. Кольвен поставил чашку с кофе на столик и, переплетя длинные холеные пальцы, крепко потер ладонь о ладонь, сверкнули золотые запонки на рукавах белой рубашки.

— Господи, — сказал он, — как я хочу, чтобы поскорее настал понедельник, пусть все поскорее окончится, и снова наступит нормальная жизнь. Все бы наконец успокоилось, встало на свое место, — он снова взял чашку с остывшим кофе.

Шарль выпустил еще одно нежное сизовато-голубое колечко дыма и заметил:

— Вы ошибаетесь, Роже. На свое привычное место уже ничто и никто не станет.

— Вы правы, — Роже, не отхлебнув, поставил чашку на столик, раздраженно отодвинул от края, от резкого толчка кофе выплеснулся на блюдце. — Я давно это заметил: то, что сдвинулось с места, не возвращается в прежнюю колею. Трудно будет вернуться к исходным позициям.

— А это так необходимо?

— Вы думаете иначе? Я люблю, чтобы вещи и люди находились там, где я привык их видеть. И чтобы они были такими, какими я понимаю их... привык понимать. Он приехал из другого мира, оценивает все со своей, отличной от нашей, точки зрения и видит то, чего мы с вами, в силу привычки, не замечаем.

— Или не хотим замечать.

— Да, или не хотим замечать, не все ли равно? Тут решающее значение имеет точка зрения. Согласитесь, это все-таки нелепо! И лично для меня неудобно.

— Больше чем неудобно, Роже, — с нажимом сказал Шарль. — С ним вошло в дом ощущение тревоги, как перед грозой, образовалось мощное магнитное поле. Мне уже приходилось наблюдать нечто подобное. С ними, советскими, всегда так. Ничего, кроме неудобства и тревоги, они не приносят. Но не будем преувеличивать: наша с вами тревога не имеет серьезных оснований.

— А вот я в этом не уверен,— на миг задумался над чем-то Роже Кольвен. И вдруг, внимательно посмотрев на будущего зятя, спросил: — Вы думаете, он вам мешает?

— Мне? — удивился Шарль. — Станный вопрос. Подумайте сами, в чем он мне помеха? Я вне сферы его влияния, и Нина, к счастью, тоже. Она умная, реально мыслящая женщина. Все это глупости. Он приехал, посуетится немного, произнесет свою речь над могилой погибших и уедет. А мы с вами останемся и будем вспоминать этот приезд, трогательно улыбаясь. Вот и все. А о наших с вами делах можете не беспокоиться. Я вовсе не такой бессердечный человек, каким мог показаться вам в начале нашего разговора. Наоборот, часто оказываюсь розовым гуманистом и филантропом.

— Как это прикажете понимать?

— Я уже приступил к работе в лабораториях Патена, не дожидаясь, пока вы перечислите деньги. Он сейчас совершенствует систему автоматических миксеров, мои люди имеют туда доступ.

Кольвену хотелось бы продолжить этот разговор, но в столовую стремительно вошла Натали, спросила:

— Сергей не звонил?

О том, что последние сорок восемь часов ее жизни были наполнены разными переживаниями, начиная от восторга до полного отчаяния, можно было догадаться, лишь взглянув на ее лицо. От нервного возбуждения оно стало еще тоньше, красивее, и вся она в сером легком платье, ладно облегавшем ее стройное тело, напоминала встревоженную птицу, готовую подняться и улететь. Особенно усиливали это сходство резкие движения крупных, нервных рук.

— Нет,— деланно равнодушно ответил Кольвен.— Тебе нет нужды беспокоиться. Раз уж он попал в город, то освободиться ему не так-то просто. Представляешь, сколько у него тут знакомых и друзей?

— Представляю,— сухо ответила Натали.— Нина не вернулась?

— Нет,— ответил Шарль.— Ума не приложу, куда она пропала. Возможно, прогуливается по городу со своим отцом?

Голос его прозвучал на этот раз не столь уравновешенно. Роже Кольвен посмотрел на Шарля внимательно: неужели и за его уверенностью прячется волнение?

— Вы чем-то обеспокоены? — вежливо спросил хозяин.

— Нет, откуда вы взяли? Мне ничто не угрожает.

В этих словах прозвучала особенная, насторожившая Роже нота: он, который всегда думал о себе, и только о себе, вдруг встревожился:

— Вы хотите сказать, будто что-то угрожает мне?

Натали посмотрела на него, потом перевела взгляд на Шар-

ля и медленно, четко, так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, сказала, словно отрезала:

— Можешь быть спокоен. В этом доме ничто никому не угрожает.

Потом повернулась и не спеша, провожаемая взглядами обоих мужчин, поднялась по лестнице на второй этаж. Дверь, скрипнув, закрылась: Натали вошла в свою комнату.

— Вы начинаете утрачивать самообладание, дорогой Роже, — сказал Кюба. — Жаль. Я так восхищался вашей выдержкой. Иногда мне даже казалось, что вы сильнее, нежели я думал.

— Извините, я не нуждаюсь в вашем одобрении, — хмуро ответил Роже.

— Вот видите, — снисходительно усмехнулся гость. — Бородай достиг своего: мы с вами уже ссоримся.

— Вы думаете, он хотел бы, чтобы мы поссорились?

— Не знаю.

На этот раз тишина надолго установилась в комнате. Беседа могла продолжаться сколько угодно, но нового они сказать друг другу уже ничего не могли.

А в своей комнате, на втором этаже, Натали Кольвен, нервно потирая пальцы, несколько минут ходила из угла в угол, потом выглянула в окно: не видно ли Сергея? Нет. И куда он запропастился? Может, что-то случилось? Автомобильная катастрофа, например... Сама не понимала, почему так волнуется. Что это? Вернулась любовь?

Возможно, только поверить в это трудно. Острое недовольство своей жизнью — вот чувство, которое не дает ей покоя. Она что-то не так сделала в своей судьбе или, вернее, не сделала чего-то важного и решающего? Мимо какого события прошла, не заметив? Какой подвиг не совершила? Да нет, смешно! Где уж Натали Кольвен требовать от себя подвига. Была она тогда юной нескладной девчонкой. Отец был шофером на грузовике, она хорошо помнит его — большой, сильный, всегда веселый. Потом попал в катастрофу... Его лицо Натали может восстановить в памяти до малейших подробностей, даже помнит его тронутые проседью черные густые брови. И слова его не стерлись в памяти: «Выше голову, Натали, мы с тобой еще будем королями». Жили они бедно, но концы с концами сводили... Странно, образ матери, умершей через два года после гибели отца, стерся...

Тогда для нее всех загородил, будто отодвинул на второй план, Сергей Бородай. Она так была влюблена в него! И он любил ее, по-настоящему любил, она это знала. А потом окончилась война, и в движение пришли неумолимые шестерни приказов, границ и законов. Удивительно, она вспоминает как счастье годы войны, когда погибло столько людей, когда дети Флеманша были прозрачно-бледными от голода, как картофе-

ная ботва, проросшая в погребе без солнца. Да, то было самое счастливое время в ее жизни.

Появление Борода пробудило в душе желание немедленного действия. Неужели так и пройдет ее жизнь в этом старомодном, но не старом доме?

Что-то стукнуло вниз. Натали кинулась к окну. Нет, никого нет на неширокой, квадратными плитами выложенной дорожке, что ведет от ворот к дому.

Где бродит Сергей и о чем советуются те двое, там, внизу?

О, им, наверное, есть о чем поговорить! Не нужно думать плохо о Роже Кольвене, он ее любит и сделает все, чтобы она была счастлива. А что он может сделать? Ничего.

Значит, она несчастна?

Нет, жизнь обошлась с ней сурово, но говорить о несчастье не приходится. Может, даже наоборот, в глазах жителей Флеманша, знакомых, соседей и друзей — Кольвены счастливая пара.

Почему чувство недовольства собой появилось только теперь, когда приехал Сергей?

Может, потому, что он сделал в жизни все, что ему надлежало сделать: расстрелял все патроны, не прошел мимо ее любви, широко раскрыл свое сердце?

Чего, чего не сделала она в своей жизни? И сразу вместе с этим вопросом встал другой: а что вообще сделала она в жизни полезное и пужное людям?

Странно, что возникли эти вопросы только теперь, когда ей далеко за сорок. И почему они встали именно сейчас, и хочется в чем-то оправдаться перед Бородаем, и неведомо, как это сделать...

Возможно, потому, что она первая не выдержала одиночества, двусмысленности положения одинокой матери и вышла за Роже Кольвена?

Нет, не о том речь, что-то большее, значительно большее она не сделала.

Снова что-то стукнуло в доме. Натали встрепелась, посмотрела в окно — никого. Может, он пришел? Надо бы пойти... Взглянула на себя в зеркало — ничего не скажешь, хорошо, нет, не легко дается ей эта вторая встреча с Сергеем Бородаем.

И все-таки где же он? Почему где-то ходит, бродит, почему не стремится быть тут, с нею? Ведь времени у них так мало, так страшно мало, может, эта встреча — последняя в их жизни.

Ответ найти нетрудно — у него много дел, обязанностей и друзей, все они требуют внимания и времени. А она, Натали Кольвен, очутилась где-то далеко, на заднем плане?

Нет, неправда, не может этого быть!

Натали выбежала из комнаты и еще со ступенек увидела, что в гостиной ничего не изменилось, только фарфоровые чаш-

ки из-под кофе стояли перед обоими мужчинами пустыми да беседа, как видно, закончилась.

— Сергей не пришел? — спросила она.

— Ты спрашивала об этом пять минут назад, — взглянув на высокие старинные часы, на медленные покачивания сверкающего маятника, ответил Кольвен.

Неужели прошло всего пять минут?

— И не звонил?

— Нет, не звонил. Чего ты так волнуешься?

И вдруг Натали взорвалась. Нет, она не заплакала, не закричала, она просто позволила себе сказать:

— Да, я очень волнуюсь, и сама не знаю почему. Может, потому, что у меня мало времени...

— Мало времени для чего? — осторожно спросил Роже.

— Для всего. Для жизни. Эти четыре дня — как свидание для заключенных. Единственное и, может, последнее на всю оставшуюся жизнь.

Едва заметная тень боли прошла по лицу Кольвена.

— Наш дом, наша семья для тебя тюрьма? — тихо спросил он. И может, не его слова, а голос заставил Натали успокоиться, нет, не успокоиться, а взять себя в руки. Такой несправедливости Роже не заслужил.

— Прости, — ответила она, — ничего похожего на эти дни в моей жизни не было...

— В моей тоже, — согласился Кольвен.

— О, никогда не знаешь, какой сюрприз подпесет тебе жизнь, — философично заключил Шарль Кюба.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В этот миг прозвучал звонок, кто-то с улицы просил, чтобы ему открыли. Натали метнулась в переднюю, нажала кнопку, и там, возле ворот, зашумел моторчик, открывая калитку.

— Оп? — с надеждой спросила Натали.

И сразу послышалась негромкая песня. Сергей Бородай пел для себя, с чувством.

Кришталева чара, срібная креш,
пити чи ни пити, все помреш.
Кришталева чара, срібнее дно,
пити чи ни пити, все одно.

— Что с ним? — имея все основания для удивления, спросил Шарль Кюба.

Натали весело засмеялась. Все терзания ее и сомнения как рукой сняло. Сергей жив, здоров, он знал, куда нужно идти, здесь ждут его не дождутся, вот и пришел. И все хорошо, и все чудесно.

А Бородай охватило веселое, счастливое возбуждение, рож-

денное сознанием верности и надежности своих друзей, прочности дружбы, которая выдержала испытания двадцати пяти лет.

— Всех повидал,— громко, по мнению Шарля Кюба излишне громко, сказал Бородай.— Всех встретил, и живых и мертвых, со всеми поговорил, многое повспоминали... А вы что такие кислые? Чего носы повесили? Жизнь прекрасна уже тем, что она жизнь, как любил говорить мой покойный друг Иван Климов.

Из кармана пиджака вынул плоскую алюминиевую флягу, потряс ею возле уха, с удовольствием услышав веселое бульканье.

— Думаете, я о вас забыл? Ни на одну минуту! О тебе, Натали, все время думал, кто бы передо мной ни сидел. Я с ним разговариваю, а о тебе думаю. Оказывается, это вполне возможная вещь. В современной философии называется раздвоением личности.

— Ну, вам это не угрожает,— заметил Шарль Кюба.

— Правильно. Не угрожает,— и не собирался вступать в философскую дискуссию Сергей Бородай.— Я вам принес нашей, украинской, на калгане настоящей... Знаете, что такое калган? Запорожцы пили и потомкам завещали — помогает от семидесяти хвороб, от хандры и живота. Садись!..

— Ой, какой ты смешной! — Натали смотрела на него сияющими влажными глазами.

— Наташенька, давай чарки и иди к нам.

Сломалось страшное напряжение последних дней, наступила разрядка.

— Вот сегодня взглянул я на наш старый Флеманш, на дорогу, которую строили, тогда она считалась стратегической, а сейчас обычное шоссе под номером. Но над асфальтовым полотном, в небе, увидел тебя,— посмотрел на Натали.— И мне кажется: ты и есть символ Франции... Ее красота, ее сила — юная девчонка с цветком в волосах, готовая умереть за дело, которое считает справедливым... Вот такая в моих глазах Франция моих друзей... Я говорю нескладно, но, уверен, вы меня поймете... Так-то, люди, сейчас мы выпьем за Францию, за ее женщин, за тебя, Натали, за Люси Шабер, ту девочку, которая прорвалась-таки и принесла нам патроны! Благодаря ей мы продержались, прожили еще целых три часа. Три часа! Оказывается, очень много — три часа.

Этот, на первый взгляд невинный, тост вызвал совсем неожиданную реакцию. Роже Кольвен покраснел, вскочил, поставил на стол свою рюмку и крикнул:

— Не мог я принести вам патроны! Понимаешь ты, не мог! Такой огонь был — мышонку не проскользнуть!

— Правда. Патронов эсэсманы не жалели. У них боеприпасов было более чем достаточно, и ты правильно говоришь: мышонку не проскользнуть, если прятаться, если жизнь свою бе-

речь... А Люси Шабер прошла, вернее, прорвалась... Она гранату бросила... Пока осколки свистят, дым и пыль столбом — она и проскочила со своей корзинкой... Жаль, маленькая была корзинка... Да разве та девочка могла больше поднять? Два диска, и то для нее много...

Натали, остолбенев, слушала Бородая. Ей впервые довелось представить, как протекал бой в кафе «Корона» весной сорок четвертого года. Никто не говорил, что доставку патронов поручили Роже. Его никто не упрекал, Сергей Бородай и тот сейчас не осуждает ее мужа. Он восхищается Люси Шабер, ее подвигом... И почему-то в этот миг мелькнула, причинив резкую боль, мысль о важном деле, мимо которого она прошла в своей жизни. И непонятно было, почему появилась она теперь, через двадцать пять лет после событий, когда героизм и самопожертвование были нормой жизни.

— Значит... значит, ты считаешь меня трусом? — хрипло, мгновенно осевшим голосом спросил Роже.

Натали смотрела на него и почему-то не узнавала хорошо знакомого лица.

— Нет, трусом тебя я не считаю, — ответил Сергей. — Ты хорошо держался...

— Просто, если бы я попробовал проскочить, было бы не трое убитых, а четверо.

— Правильно, — согласился Бородай, — или четверо убитых, или пятеро живых. Ты не волнуйся, Роже, никто не имеет права приказывать человеку быть героем. Он или герой, или не герой, вот и все. И это вовсе не означает, что человек тот трус. Просто в какой-то миг у него не хватило душевных сил...

— Дело не в душевных силах, — все еще кипел Роже, — а в обычном здравом смысле.

— А героизм и здравый смысл не всегда едины. Часто человек становится героем именно тогда, когда выходит за черту здравого, с нашей обычной точки зрения, смысла.

— Невозможно туда было пройти! Невозможно! — убеждая в первую очередь самого себя, повторил Роже.

— Верно, — снова согласился Бородай, — невозможно.

— А Люси Шабер прошла, — очень тихо и медленно, даже как-то тускло промолвила Натали, но все отчетливо услышали каждое ее слово. В голосе явно прозвучала скрытая боль и еще какое-то неосознанное желание. Роже Кольвену была знакома эта интонация: в такие минуты от Натали можно было ожидать чего угодно. Но что может случиться сейчас в мирном Флеманше (конечно, ежели не вспоминать историю с заводом Батле) — тишина, покой, золотое солнце над головой и ярко-голубое небо над далекими отрогами Альпийских гор.

Натали Кольвен и сама не могла понять своего настроения. Рассказ Бородая о том на всю жизнь памятном дне требовал действия, реакции.

Но как действовать, как реагировать, она не знала. Для нее в характере Роже ничего нового не открылось, перемены происходили в ее собственной душе...

— Да, Люси Шабер прошла, — легко подхватил Бородай. — Посмотрели бы вы на нее, когда она появилась в «Короне»: лицо в саже, от страха плачет, юбка разорвана, а все-таки корзиночку с патронами не бросает, тащит. И, смешно вспомнить, только-только патроны нам бросила, сразу зеркальце достала... Тут смерть, кровь, а она прихорашивается. И скажу тебе честно, на нас это зеркальце здорово повлияло — успокоились, Иван Климов даже улыбнулся. Выпьем за ее здоровье!

— Выпьем, — подхватила Натали, но сделать этого она не успела: дверь в гостиную раскрылась, и Нина появилась на пороге.

— Садись к нашему столу, Нинок, — предложил Бородай. — Выпьем за Люси Шабер, вот твоя чарка.

Нина села в кресло, оглядела всех, чуть дольше задержалась взглядом на своем женихе, словно оценивая его. Осталась довольна: «Ну, тут краснеть не приходится». И взяла рюмку.

— Выпьем, — громко сказала Натали, будто решаясь на что-то в эту минуту и сама удивляясь своей решимости. Что-то изменилось в ней, и она хорошо это почувствовала.

— Мама миа, — по-итальянски сказал Шарль Кюба и, как на подвиг решившись, опрокинул в рот рюмку горилки. У него даже дух захватило от неожиданной крепости и аромата напитка. Было в этой горилке что-то древнее, по-настоящему богатырское. Человек, который пьет нечто подобное, невольно кажется силачом. Но мысли Шарля направились не в седую старину, а, наоборот, в современность. И, стараясь передать свое восхищение, он сказал с уважением: — Атомная водка!

— Да нет, обыкновенная калгановка, только в наше время, видно, и ее разбавляют, раньше крепче была, — ответил Бородай. — Разбавляют или не разбавляют, а штука эта все-таки знатная.

Он поднялся с кресла, встала и Натали. Шарль Кюба как-то сам собой очутился возле Нины, гостиная сразу изменилась, приобрела свой обычный уютный вид. Ничто не папминало об остром разговоре, который, казалось, канул в вечность, забылся, не оставив о себе и следа.

— Где ты пропадала? — обратился к Нине Шарль Кюба. — Я не видел тебя целую вечность.

— Со вчерашнего дня, — ответила Нина подчеркнуто громко, так, чтобы услышали все.

— Разве это не вечность?

— Конечно, — не улыбувшись, ответила девушка. — Насколько мне известно, в прошлые века за долготерпение всегда вознаграждали. Ты достоин награды, и я преподнесу тебе подарок.

Веселый тон Нины не мог скрыть от Натали, какого труда стоит дочери каждое слово, по причины ее переживаний не понимала и потому заволновалась. Вот уж верно, беда, как и тревога, никогда не ходит в одиночку.

— Да, я принесла тебе подарок,— еще раз, твердо, будто проверяя свое решение, повторила Нина.

— Страшно люблю подарки! — чувствуя необычность ее тона, но не придавая этому особенного значения, подхватил Шарль. — Что же ты мне подаришь?

— Себя,— сказала Нина.

— Нина,— воскликнул возмущенный Роже Кольвен. — Ну и молодежь пошла! Как ты можешь так говорить?

— А что я такого сказала? — пожала плечами Нина. — Вот именно, приношу себя в подарок своему жениху. Что здесь плохого?

— Звучит так, будто ты «приносишь себя в жертву», — все еще не мог успокоиться Кольвен.

— Если это и жертва, то очень приятная, — не отступала от своего Нина. — И, как любил повторять старый Вольтер, от этой жертвы еще никто не умер. Я разделяю его точку зрения, он, как всегда, прав. Я откладывала свадьбу до осени, а теперь хочу отпраздновать, как только будет готово подвенечное платье.

Шарль Кюба на миг замер, не столь вдумываясь в смысл сказанных слов, сколь стараясь понять тон, которым они были произнесены, скрытую в них мысль. Все это требовало его немедленной реакции, и потому он воскликнул:

— Ура! Я на седьмом небе! Я в раю!

Схватил девушку на руки, одним махом подкинул высоко, поймал, мелькнула легкая юбочка, и осторожно, как большую куклу, поставил на ковер.

«А он очень сильный», — мысленно определил Сергей Бородай, еще не зная, как отнестись к такому повороту событий. Что случилось у Нины, почему она спешит со свадьбой? Впечатление такое, будто девушка ищет спасения. От кого или от чего? От себя? И это может быть. Или просто стремится как можно быстрее отрезать дорогу всяким колебаниям, сомнениям? Во всяком случае, все не так просто и легко, как хочет показать Нина, и было бы хорошо, если бы она не спешила и подождала до осени.

— Когда свадьба? — спросил Бородай.

— Через две недели, ну максимум через три, — с вызовом ответила Нина, хотя ей никто не думал возражать.

— Очень хорошо, — кивнул Бородай, — времени хватит.

— Для чего? — спросила Натали; странно, что вопрос этот задала она, а не Нина.

— Для того, чтобы прислать свадебный подарок, — просто,

не желая сейчас углубляться в психологические тонкости, ответил Сергей.

— Уже можно заказывать в типографии приглашения? — осторожно спросил Шарль.

— Можешь. Решение окончательное и изменению не подлежит, — заявила Нина, по мнению Роже Кольвена, весьма резковато. И добавила: — Все становится на свое место: подлые люди находят подлых, честные — честных.

— Не понимаю, — удивился Шарль.

— Тут и понимать нечего, — ответила Нина. — Это просто цитата, кажется, из священного писания или из библии, точно не припомню.

— Не передумаешь? — настаивал Шарль.

— Нет. Решено и подписано.

— Ты даже не представляешь, какой для меня сегодня радостный день! — восторженно воскликнул он. — По такому поводу необходимо выпить.

Но сделать этого не успел. В передней прозвучала мелодия звонка, короткая музыкальная фраза, и в следующее мгновение Патрик Дюран распахнул дверь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Сергей Бородай ощутил, как в комнату вместе с Патриком вошла тревога. Его появление было непонятым; можно было подумать, что юноша решил на важный шаг: лицо его осунулось, черты заострились, глаза, окруженные синеватými тенями, запали и смотрели лихорадочно.

Бородай оглядел всех: ох, какими разными были лица! Откровенно испуганное у Роже Кольвена — не миновать скандала! Самоуверенное у Шарля Кюба — с этим мальчишкой справиться проще простого, ведь он всего-навсего один из его бывших монтеров. Смятение и тревога на красивом лице Натали, только сдается, что причиной тому не появление Патрика Дюрана. Возмущение, гнев в глазах Нины — она, если бы могла, испепелила взглядом Патрика: заявился, какая наглость! И она с отчаянием в голосе крикнула:

— Как ты посмел?

Но Патрик остался спокойным: люди в гостиной его не интересовали; они были чужие. Все личное он исключил раз и навсегда. После разговора с Пьером чувство отвращения, брезгливости не покидало его. Но нервы обуздать не так-то просто, а надо, надо держать себя в руках. Сдержанно, боясь сорваться, он сказал:

— Прошу прощения. Я пришел не по личному, а по общественному делу, по поручению Комитета ветеранов войны.

— Ты ветеран войны? — засмеялся Роже Кольвен. Но слова

его, смех как бы повисли в воздухе: на них никто не обратил внимания.

— В воскресенье, завтра, в одиннадцать часов, в городском парке состоится открытие памятника погибшим героям Сопротивления. По поручению Комитета имею честь пригласить вас на митинг. Еще раз прошу прощения за вторжение и благодарю за внимание.

Он коротко поклонился и отступил на шаг к дверям. Но Шарль Кюба не мог позволить, чтобы Патрик ушел вот так просто, — это чем-то смахивало на его, Патрика Дюрана, победу. Не выйдет! Необходимо поубавить этому сопляку спеси, а заодно снять и этот смешной торжественный пафос!

— Патрик, одну минуту! — весело крикнул Шарль.

— Слушаю вас, — лицо Дюрана осталось спокойным: люди в гостиную — чужие, посторонние, особенно Нина. Нужно только не сорваться, и Патрик знал, что выдержит.

— Давайте выпьем по этому поводу, — бодро заявил Шарль, беря со стола фляжку и стакан.

— Извините, — ответил Патрик, — но мне поручено обойти шесть кварталов нашего предместья. Мы с товарищами разделили город на квадраты. Так вот, если я в каждом доме буду выпивать хотя бы по капле, я не обойду не только шесть кварталов, но и трех. Надеюсь, вы правильно поймете мой отказ. Простите, господа. Всего доброго.

В эту минуту что-то сломалось, сдвинулось с места в сердце, мыслях, чувствах Натали Кольвен. Сергей Бородай увидел, как вдохновенно изменилось ее лицо. Что совершит она в следующий миг?

А Натали и сама не могла понять себя. Где-то там, далеко, за стенами этого дома, который казался сейчас особенно темным, хмурым, неуютным, больше того — враждебным, кипела, бурлила настоящая жизнь, она же, Натали, стояла в стороне от нее, сама себя схоронила в благополучной тишине.

В кафе «Корона» сновала между столиками веселая, остроумная, хотя и немного сентиментальная Люси Шабер, и именно на ней сосредоточились мысли Натали. Почему Люси всегда оказывается в самом водовороте жизни, а ее, Натали Кольвен, выносит на обочину, где и легче, и безопаснее, но наверняка мельче? Неправда, во время того боя она, рискуя жизнью, спасала Бородаю. Люси сделала еще больше, бросила гранату и принесла патроны. Почему Люси, именно Люси никак не выходит из головы? Нет, не совсем так. Главное место в ее душе все-таки отдано Сергею Бородаю, и очень хочется, чтобы теперь он о ней, Натали Кольвен, думал так же хорошо, как и двадцать пять лет назад.

И, понимая, что делать этого не следует, потому что собственный покой, устоявшееся благополучие полетят вверх тормашками, и уже всем сердцем ненавидя и этот покой и это благополу-

чие, которые она считала самым ценным приобретением за последние двадцать лет, Натали сказала тихо, обращаясь к себе:

— А она прошла... Люси Шабер прошла.

Почувствовав, что с Натали творится что-то странное, и Кольвен и Бородай одновременно посмотрели на нее. Роже — испуганно, Сергей — с интересом.

— Патрик, подождите, — отрезая себе пути к отступлению, твердо сказала Натали, и Патрик остановился.

— Слушаю вас, мадам Кольвен.

— Сколько кварталов вам нужно обойти?

— Шесть, — не сразу понял вопрос Патрик, — шесть кварталов от улицы Сталинграда до улицы Бордо.

— Поделитесь со мной, — сказала Натали. И снова до сознания Патрика не дошел смысл ее намерения.

— Чем? Простите, не понимаю...

— Кварталами, — уже весело, как бы почувствовав твердую почву под ногами, заявила Натали. — Передайте мне два квартала. Скажем, от улицы Пастера до улицы Сталинграда.

— Простите... — растерянно проговорил Патрик, но в гостиной он был последним, кто не понял намерения Натали. Роже Кольвен побледнел.

— Ты с ума сошла! — воскликнул он, вскакивая с кресла.

Натали даже не взглянула на него. Человек, у которого в минуту смертельной опасности не хватило мужества принести сражающимся друзьям патроны, сейчас лучше бы помолчал.

— Ты сумасшедшая.

— Вот видите, Патрик, — приветливо сказала Натали, — Роже понял. Да, я буду заходить в каждый дом и приглашать людей на открытие памятника. Вы обращаетесь от имени Комитета ветеранов, а я буду говорить: «Приглашаю вас от имени Франции».

— Не слишком ли высокопарно, мама? — заметила Нина.

— Ты не имеешь права обращаться от имени Франции! — крикнул Кольвен. — Я тоже француз и тебя не уполномочивал.

— Возможно, что и высокопарно, — ответила Натали, и Роже Кольвен со страхом подумал, что сейчас она скажет: «Ты не француз, потому что у настоящего француза хватило бы смелости принести патроны». — Хорошо, я буду приглашать от имени ветеранов. На это я имею право.

Кольвен понял ее мысль, испугался, но остался в стороне от того, что происходило на глазах, не смог. Ища спасения, оглянувшись, поймал насмешливо-заинтересованный взгляд Шарля Кюба, гримасу откровенного страдания, желания, чтобы вся эта сцена поскорее окончилась, на лице Нины, сосредоточенное внимание, готовность прийти на помощь — в глазах Бородай. Нет, Бородай поможет не ему, он уж конечно поддерживает Натали в ее сумасбродных порывах. Значит, надо перевести весь этот разго-

вор в другой план — не героический, а житейский. Роже Кольвен не имел времени на обдумывание своих решений, он принимал их автоматически, инстинктивно — им овладела настоящая паника.

— Ты думаешь, что говоришь? — запальчиво выкрикнул он. — Ты, моя жена, пойдешь по домам, как девчонка на побегушках... Что скажут люди? Не забывай, ты носишь фамилию Кольвен, таких не много в городе. А ты хочешь нас опозорить: себя, меня, всю нашу семью! Подумай только, какие пойдут криволотки...

— А вот это мне совершенно безразлично, — ответила Натали. И сразу в гостиной прозвучал уверенный голос Бородай:

— Браво, Наташа!

Роже Кольвен поперхнулся от возмущения, и весь его гнев теперь обратился на Сергея, хотя прямой связи между ним и решением Натали не было. Да, прямой — не было, но потаенная, невидимая, легко ощутимая существовала, и Кольвен понимал это превосходно. Разве посмела бы вот так разговаривать его жена, если бы не появился в их тихом доме Сергей Бородай? Но как выразить это, Роже не знал и потому молчал, не в состоянии дух пережить, воздух будто спрессовался в легких: ни вдохнуть, ни выдохнуть.

— Так передаете мне два квартала, Патрик? — напомнила Натали.

— Конечно, мадам Кольвен, — уже поверил в серьезность ее намерения Дюран. — И не слушайте, что говорит ваш муж. Приглашать людей на открытие памятника героям, погибшим от фашистских пуль, не позор, а великая честь.

— Это все ты, твое влияние! — зло прищурясь, выпалил Роже. — До твоего приезда она была образцовой женой.

— Она и теперь образцовая, — ответил Сергей. — Только, на мой взгляд, стала куда лучше прежнего.

— На твой взгляд, на твой взгляд! — с раздражением пердразнил Кольвен. — На твой взгляд, мы все должны броситься приглашать...

— Нет, — сказал Бородай, — тебе не следует этого делать.

«Ты думаешь, я недостоин, да? — чуть было не выкрикнул Кольвен. — Ты думаешь, если бы я тогда принес эти проклятые патроны, то удостоился бы чести... Так?»

Но он ничего подобного не сказал, ограничился лишь вопросом:

— Почему мне не следует этого делать?

— Потому что тебе не хочется.

— Правильно. А мне хочется! — Натали произнесла эти слова легко, весело, словно переступила в своей жизни через высокий порог. — Нина, ты не пойдешь со мной?

— Нет, — отрезала девушка.

Шарль Кюба, который с огромным интересом наблюдал эту

сцену, одобрительно кивнул. И тут же пожалел об этом: Нина косо взглянула на него и быстро отвела хмурый взгляд.

— Жаль,— сказала Натали,— на твоём месте я бы пошла.

— Нет, она не пойдёт,— Шарль Кюба ласково и властно обнял Нину за плечи, и она на мгновение покорилась, потом освободилась из его сильных рук и, подчеркивая свою независимость, сказала:

— Да, я не пойду.

— Жаль,— повторила Натали.— А может, ты, Роже, пойдёшь?

— Я?

— Да, ведь ты тоже был в отряде «Генерал де Голль».

— Сергей уже сказал, что мне не следует этого делать,— ответил Роже так, словно его обидели.

И подумал: пожалуй, было бы неплохо для репутации обоить два квартала, напомнить людям, что и он, Роже Кольвен, был участником движения Сопротивления, бил фашистов. А кто поручится, что среди жителей этих двух кварталов не встретится человек, который помнит бой в кафе «Корона»?

Нет, он никуда не пойдёт.

— Вас, Шарль, я не спрашиваю,— продолжала Натали.— Было бы преступлением отрывать вас от любимой...

— Вы, как всегда, правы,— Шарль Кюба с благодарностью посмотрел на Натали.

А Патрика Дюрана всего передернуло от этих слов. Он задохнулся от обиды, ненависти, горя, кровь прихлынула к лицу, даже в глазах потемнело. И он сказал через силу:

— Я готов, мадам Кольвен, и я счастлив.

— Ты счастлив? — сразу отозвалась Нина.

— Да, счастлив.— Патрик говорил, глядя поверх головы девушки, и в этом отрешённом взгляде, в голосе было сознание какой-то известной только ему силы и правды.

— Я сейчас, лишь возьму сумочку и сменю туфли,— предупредила Натали, поднимаясь по лестнице.— Подождете меня?

— Конечно, мадам Кольвен.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Натали поднялась в свою комнату. Хлопнула дверь, и в гостиной словно остановилась жизнь, все молчали, погруженные в свои мысли. Патрик замер у двери, потупясь. Роже и Шарль, откинувшись, сидели в креслах. Нина бесшумно прохаживалась вдоль широкого окна — четыре приглушенных пушистым ковром шага вперед, четыре — назад, лицо замкнуто. Сергей стоял возле рояля, поглядывал на собеседников, душа его наполнилась гордостью за Натали и недовольством собой, своим положением гостя в чужой стране, в сущности — постороннего человека. А разве они ему чужие?

Нина — дочь, куда уж роднее; Натали — его любовь на всю жизнь; Роже есть Роже, и его надо воспринимать таким, каков он есть; Патрик Дюран — сын его ближайшего друга. Только Шарль Кюба — чужой.

Казалось, среди близких ему людей он мог бы играть более активную роль, и в то же время что-то останавливало, точно подсказывая, что вмешиваться в их дела он не имеет права: чужая страна, этим сказано все.

Но выразительное лицо Нины, на котором со всей очевидностью прочитывалось страдание, терзало душу, и Бородай хотел подойти к ней, утешить, сказать что-то. Но не успел.

Девушка порывисто, стремясь утвердить свою свободу и независимость и вместе с тем подчеркнуть бесшабашную удаль, подошла к креслу, где расположился Шарль Кюба, присела на широкий, обтянутый коричневой матовой кожей подлокотник. Посмотрела с вызовом на Дюрана, потом наклонилась, мягким движением обняла Шарля за шею и, зная, что этого делать не следовало бы, поцеловала.

Патрика Дюрана передернуло, будто ударило током.

— Правда, мы поедem в свой медовый месяц на Гавайские острова? — спросила Нина так, словно в гостинной, кроме их двоих, никого не было.

— Конечно, сразу после свадьбы, — охотно, с нежностью отозвался Шарль. — О билетах я уже договорился, остается уточнить дату. Чудное будет путешествие: Париж — Рим — Стамбул — Карачи — Бангкок — Гонконг — Сингапур... Ты только вслушайся в чарующую музыку этих названий. Они звучат как мечта далекого детства. Я еще мальчишкой восторженно молился богу, и теперь он воздал мне...

Сергей Бородай видел, что, разговаривая со своим женихом, и только с ним, Нина не выпускала из поля зрения и Патрика Дюрана. Понимал, что всю эту жестокую игру она затеяла для того, чтобы сильнее ударить его, отомстить... Кому отомстить? Самой себе? Ведь она не любит Шарля Кюба, не любит! Как же будет жить с ним всю жизнь? Долгие, долгие годы... Они станут мукой, страданием, не радостью... Неужели и здесь нельзя ничем помочь?

Сергей Бородай заметил, как мгновенно менялось еще юношески худое лицо Патрика Дюрана: то бледнело, то наливалось краской. Какая борьба шла в его сердце? Каким будет его последнее слово?

— Простите, господин Кольвен, — бледный, готовый на крайность, стараясь придать голосу уверенность и спокойную силу и видя, что из этого ничего не выходит, и потому становясь отчужденно равнодушным, сказал Патрик. И Нина сразу почувствовала этот, появившийся в его голосе новый оттенок, поднялась с подлокотника кресла и отошла от Шарля. — Мне хотелось бы поговорить с вами.

— Говори при всех, — отозвался Кольвен. Он не уловил опасного нюанса в голосе и словах Нины, был просто доволен ее поведением. — Мы же одна семья. От родственников у меня нет секретов.

Патрик взглянул на Бородай, и Роже, заметив это, улыбнулся.

— Тебя смущает Сергей? Можешь не бояться. Он мой друг с военных лет, я верю ему, как себе...

Кольвен вдруг подумал, что Патрик может спросить: «Верит ли вам Сергей Бородай?» Запнулся, но, судя по всему, у Патрика и в мыслях ничего подобного не было, его всего наполняло лишь оскорбленное чувство, ревность и ненависть к нахальному ухмыляющемуся Шарлю Кюба, счастливому сопернику, уверенному, что на свете можно купить все, даже любовь.

— Нет, — упорно глядя на ковер, боясь поднять глаза, чтобы никто не смог прочесть его мысли, ответил Дюран. — Всего несколько слов мне хотелось бы сказать лично вам. Думаю, они будут далеко не безынтересны.

«Ну и времена настали, — подумал Кольвен. — Раньше на этого Патрика с его секретами я и внимания не обратил бы, а сейчас на тебе: бог знает что кажется... Придется выслушать, иначе не успокоюсь. Глупость какая-нибудь...»

— Ну что ж, — неохотно соглашаясь, сказал он. — Пойдем в кабинет, послушаем твои тайны.

— Да, сейчас все узнаете, — Патрик прошел в распахнутые Кольвеном двери кабинета, тяжелые, дубовые, они бесшумно закрылись.

— Славный, только очень нервный парень, — сказал Сергей Бородай, поглядывая на двери, за которыми, казалось, замерла жизнь.

— И на удивление вежливый, не правда ли? — проницески спросила Нина, и Сергей снова поразился характеру собственной дочери.

— Не знаю, вежливый ли, но мне понравился, — весело сказал Шарль. — Я уважаю людей, настойчивых в своих желаниях. Кажется, я своевременно понял его характер.

— Вы с ним и раньше были знакомы? — спокойно, не придавая особого значения своему вопросу, спросил Бородай.

— Знакомы? — засмеялся Шарль. — Да, были знакомы. Как директор завода со своим рабочим. Он некоторое время работал для нашей фирмы. Недолго. Потом был какой-то перебой с заказами, сокращение, пришлось расстаться. И скажу откровенно: мне не хотелось этого делать, специалист он прекрасный. Ничего, скоро дела поправятся, и я снова его возьму.

— Он не пойдет, — возразила Нина.

— Почему? Наверняка пойдет. Разве не все равно, для какой фирмы монтировать электрические реле?

Они вели спокойную беседу, а сами думали только об одном:

что происходит там, за закрытыми дверьми кабинета. Шарль Кюба был убежден, что Патрик не мог знать его секретов, но странное предчувствие надвигающейся беды холодило душу.

— А вообще, Шарль, — внешне меняя тему разговора, а по сути думая об одном, спросил Бородай, — у вашей фирмы много заказов?

— В нашем городе или вообще?

— Ну, скажем, в этом городе.

— Нет, немного, единицы. Кое-что уже сделано, кое-что намечается. В этом городе, уважаемый мосье Бородай, меня держат не заказы, а Нипа. Сразу после свадьбы для нас распахнет свои двери весь мир. Сидеть в этой глуши мы не будем... Этот город не для Нины, не для ее красоты, не для ее характера. Он не к лицу ей. Только два города достойны ее.

— Париж и Нью-Йорк? — спросил Бородай.

— Да, только в обратном порядке — Нью-Йорк и Париж.

— Нет, только Париж, — решила Нина.

— Ты так говоришь, потому что никогда не была в Америке. После Нью-Йорка наша Франция покажется тебе глухой провинцией. Но у тебя будут все возможности для сравнения и выбора. Если бы вы знали, как я ее люблю!

— Я тоже тебя люблю, — с вызовом взглянув на отца, сказала Нина.

— Ну, Шарль, — деланно улыбнулся Бородай, снова посмотрев на дубовые двери, — вам и вправду можно позавидовать.

— Именно на это я и надеюсь.

Разговор внешне казался логичным. Но если бы спросили, в каком направлении потечет он дальше, вряд ли кто ответил на этот вопрос, все внимание было приковано к дубовым дверям, к событиям, которые развивались за ними. И почему эта встреча старого Кольвена с Патриком Дюраном так волнует всех? А может, причиной этого нервы? Напряжение, вызванное решением Натали? Нет, вряд ли.

— К слову, где мадам Натали? — спросил Шарль.

— Переодевается, — ответила Нина.

— Так долго? Возможно, она опомнилась и передумала? — В голосе жениха прозвучала не то надежда, не то разочарование.

— Нет, — сказал Сергей Бородай, — передумать она не может. — И словно в подтверждение его слов Натали Кольвен появилась на лестнице.

— Ну, вот я и готова, — приветливо сказала она, спускаясь в гостиную. — Где же мой спутник?

Она успела переодеться, и строгий темно-синий легкий костюм английского покроя придавал ей деловой вид. А глаза остались прежними — испуганными и решительными одновременно. Видя, что на вопрос никто не ответил, повторила:

— Где же он?

Шарль молча кивнул на двери кабинета.

— У Роже?

— Да.

— Почему?

— Не знаю.

Тяжелые двери приоткрылись, и Патрик Дюран вошел в гостиную, следом за ним Роже Кольвен, он крепко закрыл дверь и стал возле, как часовой. Лицо его изменилось, нет, оно не побледнело, не налилось краской, просто как-то отяжелело и стало намного старше. Он взглянул на Натали без прежнего интереса: в жизни произошли посерьезнее события.

О чем они говорили в кабинете? Какую тайну приоткрыл Дюран? Почему при всех в гостиной не захотел сказать? Отчего у него такой скорбный вид? А лицо Роже? Отчего он вдруг постарел на несколько лет? Неужели подозрения оправдались?

Все эти вопросы промелькнули в мыслях Сергея Борода, и ни на один из них он не нашел ответа. Ясно было только одно: случилось что-то важное и, очевидно, тайной оно останется недолго.

— Пойдем, Патрик, я готова, — сказала Натали и остановилась, с недоумением глядя на Роже. — Что случилось? — тревожно спросила она.

— Ничего, ничего, — не узнал своего голоса Роже. — Вы идите, идите...

— Не переживай так, — успокоила Натали, — все будет хорошо.

— Да, да, — не глядя на нее, ответил Роже, — все будет хорошо, все будет очень хорошо. Идите, идите.

Натали внимательно посмотрела на мужа и искренне его пожалела, такими несчастными были у него глаза. Возможно, следовало бы остаться дома. Но тогда она всю жизнь вспоминала бы этот миг с чувством унижительного стыда, если бы изменила своему решению.

— Пойдем, Патрик, — сказала. — Не волнуйся, Роже, очень скоро ты будешь гордиться тем, что я делаю сейчас. Все будет хорошо.

— Да, все будет очень хорошо, — отчужденно повторил Роже. Мысли его в это мгновение были настолько далеки от Натали и памятки, что женщина, почувствовав это, остановилась на пороге.

— Ты будешь дома? — мягко спросила она.

— Да. Наверное. Иди и поскорей возвращайся. Мне очень недостает тебя.

— Хорошо, я скоро вернусь. Будьте здоровы!

— Счастливо, — ответил Сергей Бородай.

— До свидания, — промолвил Патрик и вышел вслед за Натали.

Как только закрылась за ними дверь, Роже Кольвен резко повернулся, подошел к Шарлю Кюба. Теперь он смотрел только на

него, потом прошелся по гостиной, глаза стали острыми, несчастными и решительными одновременно, они чем-то напоминали глаза человека, который взобрался на высокую вышку над водой и знает, что придется прыгать.

Нина не видела никогда прежде своего отчима в таком состоянии. Пожалуй, маме сегодня не надо бы уходить. Тут, в ее доме, назревали серьезные события. Известно, что даже заяц, загнанный погоней, может броситься на собаку... Вот о таком зайце почему-то и подумала Нина, глядя на Кольвена.

— Роже, скажи, что случилось? — осторожно спросила она.

— Правда, что с вами, Роже? У вас нелепый вид, — Шарль засмеялся.

— Спокойно, Роже, — сказал Сергей Бородай, догадываясь о причине его волнения.

Кольвен снова прошелся по гостиной, исподлобья поглядывая на Шарля.

— Да не волнуйтесь вы, — беззаботно сказал Шарль, — нечего волноваться. Мадам Кольвен спокойно обойдет свои кварталы и вернется домой героиней не столько в глазах французского народа, сколько в своих собственных. А герои, получившие признание, легко успокаиваются.

Кольвену показалось, что выпшка, с которой предстояло прыгнуть, с каждой минутой становится все выше и выше... И вдруг, решившись, подошел вплотную к удивленному Шарлю Кюба и отвесил ему две оплеухи.

— Вот получи! Падлюка! Пусть не думают, что я трус.

— Отец! Опомнись! — испуганно крикнула Нина.

Роже отскочил, минуту постоял, набычив голову, словно изговившись к нападению. Потом зло прохрипел:

— Ага, теперь ты называешь меня отцом! Да я его сейчас...

Ничего, кроме глубокого удивления, не отразилось на лице Шарля Кюба. Улыбка, словно приклеенная к губам, застыла...

— Я его сейчас... — выкрикнул Роже и снова бросился вперед, как в атаку. Но Сергей Бородай схватил Кольвена за руки, стиснул.

— Подожди, Роже, подожди, успокойся, — промолвил он. — Что случилось?

— Вы... вы горько раскаетесь, — придя в себя, обрел дар речи Шарль Кюба. Неуместная улыбка покинула его лицо, оно стало возмущенным и растерянным. — Вы горько раскаетесь! Только ваш почтенный возраст удерживает меня...

— От чего? — чужим голосом, словно испуганный заяц, пронзительно заверещал Роже. — От чего удерживает? От установки микрофонов в моем животе? Или Жан Патен вам за это не заплатил? А я удивляюсь, откуда ему известны все мои секреты! Вольтеровский простак я, остопоп несчастный, забыл, в каком веке и в каком обществе мы живем. Прошу этого мер-

завца, жениха моей дочери, проверить, нет ли в моих лабораториях микрофонов или каких-либо других записывающих аппаратов, полагаюсь на него как на родного человека! Он проверяет и говорит: нигде ничего нет, наверное, подкупили ваших сотрудников! Мои ребята, о которых я так скверно думал, оказываются честнейшими людьми... А этот... Этот искал и не нашел микрофоны! Конечно, не нашел и не мог найти. Ему заплачено и за то, что он их установил, и за то, что не нашел! Вот какой у тебя женишок, — перенес огонь Роже на Нину, — милуйся и радуйся!

— Шарль, это правда? — спокойно спросила Нина.

— Это мерзкая клевета! — запальчиво ответил он.

— А что, если мы сейчас пойдем в лаборатории и найдем их? — вновь взрываясь злобой, крикнул Роже. — Это тоже будет клевет!

Шарль Кюба глубоко вдохнул и медленно выдохнул, стараясь обрести утраченное равновесие: дело принимало куда более опасный оборот, чем он предполагал.

— Шарль, отвечай, — настаивала Нина.

Он взглянул вскользь на Сергея Бородаю, и показалось ему или действительно в глубине зрачков сталевара мелькнула тень удовлетворения.

Не визгливые крики Роже Кольвена, не ледяное спокойствие Нины, а именно эта тень удовлетворения в глазах совсем чужого человека чуть было не толкнула его на Кольвена с кулаками. Неизвестно почему, но Шарль Кюба был убежден, что за этим разоблачением стоит Сергей Борода, сам понимал всю бессмысленность своей догадки, — в самом деле, что мог сделать в таком случае чужой человек, никогда не бывавший в лабораториях Кольвена? Ничего! И в то же время упорно жила мысль, что именно Борода был причиной его краха. Но Шарль понимал, как смешно и неубедительно прозвучало бы его обвинение, скажи он нечто подобное. Не повышая голоса, с отвращением он сказал:

— Я не собираюсь отвечать на оскорбления. Если в ваших лабораториях установлены микрофоны, я к этому не имею никакого отношения.

— А кто же имеет? Там работали только ваши люди.

— Не знаю. Людей и фирм, которые могут установить микрофоны, больше чем достаточно. Но ваши слова глубоко оскорбили меня, и я впредь не хочу иметь с вами дела. Я уйду отсюда и не вернусь. А ты, Нина, если меня действительно любишь, если ты моя невеста, уйдешь вместе со мной.

— Ты не ответил на вопрос: это правда или ложь? — Голос девушки прозвучал спокойно, и это насторожило Шарля.

— И не собираюсь отвечать. Оправдываться — это наполовину признать себя виновным.

— Итак, это абсолютная клевета?

— Да, поклев и клевета. Ты уйдешь со мной?

— Мне трудно решить сразу, — уклонилась от прямого ответа Нина. — Мне хочется взглянуть на лабораторию.

— Хорошо, можешь полюбоваться. Но что бы ты там ни увидела, все мои предложения остаются в силе: я тебя люблю и готов с тобой идти под венец. Прощайте, мой будущий тесть, мне было весьма полезно с вами познакомиться. Всего доброго, мосье Кольвен. В аптеке продаются гормональные пилюли для усиления мозговой деятельности, советую приобрести и принимать по одной три раза в день. Всего наилучшего!

И, гордо вскинув голову, изо всех сил стараясь сохранить достоинство и вид человека, одержавшего моральную победу, он вышел из комнаты.

— Какой подлец! Вы видели что-нибудь подобное? — спросил Кольвен, когда шаги Шарля стихли на каменной дорожке, ведущей к воротам.

— Можно подумать, что ты открыл для себя что-то такое, чего не знал прежде, — сказала Нина.

— А ты, ты знала? — выкрикнул Роже, вновь ожесточаясь и подступая к девушке.

— Прибереги свои эмоции для другого раза, — предупредила Нина новый нервный взрыв у Роже.

— Ты знала о микрофонах?

— Нет, об этом ничего не знала. Но о том, что он способен на такой поступок, знала. И не только он один.

— Кто еще?

— Ты, например. Возможно, и я. Мы все тут такие. И сознавать это противно, но изменить невозможно. Так уж создан наш мир.

— Ты, может быть, и сейчас за него собираешься замуж?

— Не знаю.

— О боже! — Кольвен схватился за сердце. — Мир просто помешался, даже в родном доме нет честного человека. Имей в виду, если ты выйдешь за него замуж — приданого тебе не видать как своих ушей.

— Да, это я поймею в виду.

— Значит, ты все-таки думаешь...

— Думаю. Мне сейчас приходится думать больше, нежели когда-либо в жизни. Думать и решать...

— Я что-то не понимаю, — вдруг сказал Бородай, который до сих пор молча внимательно слушал разговор, — да, я здесь что-то не понимаю. В его поступках нет логики, они непоследовательны, Роже. Ведь от того, что он установил микрофоны, разгласил твои профессиональные секреты, пострадал не только ты, но и Нина, ее часть приданого, а следовательно, и он сам. Как это прикажешь понимать?

Кольвен посмотрел на Бородаю, как на малого ребенка, который позволил себе вмешиваться в разговор взрослых.

— Ты бы уж помолчал со своими наивными представлениями о честности. В нашем понимании они просто смешны.

— Не понимаю, почему?..

— О господи, святая простота, — рассердился Кольвен, довольный, что может наконец на ком-то сорвать зло. — Это означает, что Патен дал ему больше, чем стоит все приданое Нины. Все продается на свете, Сергей, все!

— Нет, не все, — тихо возразила Нина.

— Ты бы уж помалкивала, — Роже не принял во внимание реплику Нины. — Все продается! И дело в конце концов только в цене. Но как ловок, подлец! Хотел получить и приданое и деньги Патена. Грандиозно!

— Ты им восхищаешься, Роже? — без малейшего намека на иронию спросила Нина.

— Отцом меня ты уже не называешь? — оскорбился Кольвен.

— Сейчас мне это сделать труднее, чем прежде.

— Ясно. И все же я тебе отвечу: да, восхищаюсь! И не волнуйся, для тебя еще не все потеряно, он вернется сюда, или я плохо знаю этот свет. Хочешь знать мой совет? Пожалуйста: выходи за него замуж. Если кто-нибудь и сможет создать для тебя богатство, прочное положение в обществе, одним словом, оправу для дорогого бриллианта, так это он.

— Ты действительно так думаешь? — спросил Бородай.

— А ты молчи! — вконец рассердился Кольвен. — Твои соображения ничего не стоят, потому что ты ничего не понимаешь. Ты живешь на другой планете.

— Нет, мы живем на одной планете, — уточнила Нина.

— Ну и что из этого? — резко повернулся к ней Роже.

— Ничего особенного. Я думаю, — ответила девушка.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

К памятнику Сергей Бородай пришел во второй половине дня, когда солнце стало понемногу клониться к закату. Смутное настроение не покидало его. Вся сцена в гостиниой Роже Кольвена еще и еще раз прокручивалась в памяти, как короткий фильм на экране, все время всплывали какие-то новые детали.

Судьба близких людей, Нины и Натали, беспокоила его. И потому раздражало и огорчало чувство собственного бессилия, невозможности вмешаться, повлиять на ход событий. Ведь он здесь всего лишь гость, гость в чужой стране.

И все-таки, несмотря на то что активности он не проявлял, его присутствие весомо влияло на ход событий. Натали пошла приглашать людей на открытие памятника, и это прекрасно. Там, в гостиниой, во время разговора, он узнал свою любимую, она осталась прежней, время и тихая благополучная жизнь не изменили ее, не сделали равнодушной... Потом пришел Роже

после разговора с Патриком, и тогда вырисовалась драматическая судьба Нины, и сердце обнял мрак: невозможность постичь характеры людей, понять их мысли, желания... Конечно, это касалось не всех, только Нины, его дочери, его кровинки...

Что он может посоветовать? Выходить за Шарля Кюба? Что ж, для Нины не исключен и такой вариант, она прожила бы жизнь богатой, внешне счастливой, в действительности же лишенной главного — уважения к себе. Вернуться к Патрику Дюрану, который любит ее и готов жизнь отдать за ее счастье? Нина просто не обратила бы внимания на такой совет.

А откуда это видно? Почему такая уверенность? Беда в том, что они с родной дочерью и близкие и чужие люди, он мало знает ее — характер, душу, принципы, то главное, что составляет образ человека. Лучше всего и легче было бы предложить ей: «Едем к нам в Запорожье, комната для тебя есть, работу найдем сразу. Люди, которые имеют дело с камнем, скульпторы, всюду нужны, и не будет перед тобой никаких проблем».

Не будет ли? Вот тогда-то они и начались бы, эти проблемы. Правда, если бы привез ее туда не отец, а любимый, все встало бы на свое место.

Бородай глубоко вздохнул. Не там, в Запорожье, живет ее любимый, а тут, во Флеманше, и неизвестно, как она поступит в следующую минуту. Таков характер.

Субботний вечер приближался, хотя солнце стояло еще высоко. Улицы почти безлюдны, они оживут позже. И снова Бородай почувствовал, как приятно и вместе с тем больно бродить по городу своей молодости.

Ноги будто сами привели его к заводу Батле. Воспоминание о вечерней встрече с Ленуаром еще жило в памяти, а после этого дня, проведенного у Кольвенов, стало серьезнее и значительнее. Он не торопясь шел по улице и вдруг остановился, увидев двух национальных гвардейцев. Почему они здесь? Поодаль тоже можно было различить высокие фуражки с широкими золотыми ободками. Что это, рабочих с завода Батле собираются выдворять силой?

Все может быть.

Тогда наверняка дело дойдет до стычки, потому что ребята из своего завода так просто не уйдут. Значит, будут раненые, а может, и убитые, даром так много гвардейцев слоняется вокруг. Нет, не слоняются, их разместили продуманно. Очевидно, события разворачиваются далеко не так, как хотелось бы хозяевам завода, если приходится прибегать к силе.

Сам он правильно делает, что идет туда? А кто может знать, куда он идет? Улицы Флеманша не перекрывают, правил он не нарушает. Полицейские могут фотографировать его сколько угодно. Он просто гость, прогуливается по городу, и все тут.

Какой-то паренек лет двенадцати выскочил из-за толстого ствола каштана, взглянул на Бородаю черными глазами и пропустил к заводу. Сергей не обратил на него внимания: мало ли тут бегают остроглазых мальчишек, отцы которых захватили завод. Сердце их сладко замирает в предчувствии близкой опасности, может даже кровавой стычки, и для них это не только игра, они понемногу проходят и школу.

Гвардейцев поприбавилось. Теперь они стояли не только на перекрестках, а и посредине кварталов, сосредоточенно-спокойные, будто бы от всего отрешенные. Действительно они уверены в своей силе или только хотят в этом убедить и себя и других? Что это, военная или пока всего лишь психологическая игра? Все может быть. Завтра в центре города состоится небольшой митинг, посвященный открытию памятника. Может, власти побоятся соединить два события, митинг и восстание на заводе Батле?

Восстание? Не слишком ли громко сказано? Нет, не слишком. Рабочие захватили завод — это и есть восстание, нарушение всех привычных норм и порядков, пусть абсолютно бескровное, но все-таки восстание. И это хорошо понимают полицейские.

Но если они сегодня силой очистят завод, то завтрашний митинг у братской могилы из обычной встречи старых друзей и воспоминаний о минувших боях может превратиться во что-то совсем иное. Под весь город будто подведен заряд огромной взрывной силы. Конечно, психологический, не тротильный, но это не меняет сути дела.

Еще один перекресток. На нем четверо гвардейцев. Один с фотоаппаратом. Навел объектив на Бородаю, щелкнул. На здоровье, фотографируй! Никто тебя не боится, ничего запретного или противозаконного Бородай не делает... Но это, кажется, старый Ленуар идет ему навстречу. Вот и отлично, сейчас все прояснится, что там творится на заводе Батле.

— Здорово! — подчеркнуто бодро сказал Анри Ленуар, оставившись перед Бородаем.

— Здравствуй, рад тебя видеть! — весело отозвался Сергей. — Что там у вас происходит? Почему гвардейцев как бураков на грядке понатыкано? Что они затеяли?

— Ты к нам шел?

— Да, хотел пройтись около завода, посмотреть...

— Не нужно этого делать.

— Почему? — удивился Бородай. — Разве запрещено гулять по городу?

— Давай пройдемся по этой улице, — Ленуар взял Бородаю под руку и повел улочкой, которая уводила в сторону от завода. — Гулять по городу не запрещено, вот мы с тобой и прогуляемся. Понимаешь, они ищут какой-то конкретный повод, чтобы выкинуть нас с завода. Таким поводом может стать твое

присутствие. Они тебя задержат, не арестуют, а просто задержат. Спросят, кто ты, а дальше все пойдет как по маслу... У тебя карманный ножик есть?

— Конечно,— Бородай не понял ход мыслей Ленуара.

— Для них вполне достаточно. Советский коммунист доставляет рабочим завода Батле холодное оружие. Им даже не придется подсовывать тебе в карман какой-нибудь завалявшийся револьвер, и без того все будет убедительно.

— Вы что-то уж очень осторожны...— недоверчиво сказал Бородай.

— Полицейские всюду одинаковы, а повод был бы превосходный. Они тоже кое-чему научились и знают, что ты не собираешься организовывать революционный переворот во Франции. Но неприятностей нам и тебе могут преподнести немало.

— Я думаю, что гвардейцы появились здесь в связи с завтрашним митингом.

— Мы тоже так думаем и не верим, чтобы они и вправду пошли на штурм. Слишком много о нас писали в газетах, слишком много к нам приковано взглядов и внимания. Ты правильно сказал, это все-таки Франция. Но дать им в руки козырь, сам понимаешь, было бы глупо.

— Верно,— согласился Бородай,— я как-то не подумал об этом, отвык от таких мыслей. Хорошо, что ты меня встретил.

— Не случайно, конечно. Нас Поль предупредил.

— Кто?

— Мальчишка, сын нашего Ксавье. Ты помнишь наше старое партизанское правило — без разведки ни шага? Так вот, у нас всюду сторожевые посты стоят, чаще женщины и вот такие подростки. Они — наши глаза и уши. К ним не придерешься, а нам все, что происходит в городе, известно. Ты правильно сказал, гулять по улицам Флеманша не запрещено никому.

— У вас есть реальные шансы на победу?

— Думаю, что есть, и даже немалые. Понимаешь, компания каждый день терпит огромные убытки, а завод в наших руках уже третий месяц. И потом, наш пример для них не очень приятен. Это, конечно, не революция, но где-то чуть-чуть ею пахнет. Они очень боятся этого аромата.

— И попробуют все погасить?

— Вот именно. Ты меня правильно понял? Мы очень хотели бы видеть тебя своим гостем, в цехе...

— Понял тебя правильно,— ответил Бородай.— Не беспокойся.

— Вот и хорошо,— впервые за все время разговора улыбнулся Ленуар.— Хочешь зайти в бистро выпить стакан вина?

— Нет, не хочу, спасибо.

— Тоже правильно. Понимаешь, к советским людям во Франции привыкли, знают, что они обыкновенные люди, а не бандиты с пожарами в зубах и гранатами в карманах, готовые

резать капиталистов при первой возможности. Но советский человек во Флеманше и именно в такой ситуации, около нашего завода,— это все равно что заряд взрывчатки. Такова сила вашего примера, даже если ничего не делать, не говорить. Можешь быть уверен, именно так воспринимают тебя полицейские.

— Понимаю,— тихо сказал Бородай.— Ты прав.

— И ты не обиделся?

— Нет.

— Вот и прекрасно. Чудеса творятся на свете! Сама мадам Кольвен ходит по городу, приглашает на открытие памятника. Это твое влияние?

— Нет, она сама так решила.

— Молодчина. Между прочим, скажи Жоржет Дюран, чтобы поостереглась немного. Поначалу они неподалеку от памятника поставили полицейского, потом видят: неудобно — и сняли его. Теперь там какие-то парни в штатском слоняются. Правда, на открытии памятника даже мэр будет присутствовать, но осторожность не помешает. Ну ладно, будь здоров и держись от нашего завода на расстоянии,— невесело засмеялся Ленуар, сверкнули белые зубы, на удивление крепкие у такого старого человека.— Счастливо тебе.

— Счастливо.

Ленуар повернулся и, тихо насвистывая песенку, зашагал к своему заводу, не обращая внимания на гвардейцев, будто их не было.

Бородай минуту смотрел ему вслед, потом медленно направился к центру города. Почему-то вновь вспомнился корреспондент в вагоне Москва — Париж. Интересно, сам-то он верил тогда в свои слова? А про «Батле» просто не знал? Мог и не знать. Но разве этот завод единственный пример во Франции, да и не только здесь, а в целом мире? Просто корреспонденту невыгодно знать о нем. Ему нужны факты, которые подтверждали бы, а не опровергали его теорию.

Когда Бородай дошел до памятника, установленного в небольшом сквере, лучи клонящегося к закату солнца стали почти косыми.

Сквер во Флеманше называли городским парком, хотя занимал он, наверное, не больше двух гектаров. Деревья в нем росли высокие и могучие, и потому это название никого не удивляло. Широкие дорожки, посыпанные ярко-желтым, скорее красноватым, гравием, разрезали сквер по диагоналям, в центре стоял накрытый белым полотнищем, невысокий, массивный памятник. Бородай знал, видел на фотографии — глыба гранита, из которой, как из каменного плена, стремится вырваться, освободиться партизан: вот уже показалась его голова, рука с автоматом... Внизу имена героев, похороненных в братской мо-

гиле... Вокруг густая тень платанов и кленов, тщательно подстриженные газоны, как огромные зеленые ковры, вдали слышен смех детей, и дедушки с бабушками сидят на лавочках, молча, безучастно, будто только ощущая жизнь.

Бородай огляделся. На дальней скамейке увидел человека с газетой в руках, которому явно нечего было делать в этом сквере. С другой стороны — еще один, тоже скучающий человек. Людей в парке мало, и эти двое выделяются, но, по всему видно, не очень беспокоятся о том, чтобы остаться неприметными; они тут для соблюдения порядка, не больше.

В парке — не только незнакомые люди; издали Бородай увидел, как к памятнику подошла Люси Шабер, торжественно-строгая, положила к подножию большую алую розу и замерла, глядя на полированный холодный гранит и на теплый живой цветок, думала о чем-то своем, сокровенном.

Сначала Бородай не хотел мешать. Но потом не выдержал, подошел, стал рядом. Люси взглянула и обрадовалась.

— Здравствуй, Люси, — поздоровался Бородай.

— Здравствуй! Как хорошо, что ты приехал... Очень рада, что поставили памятник, а вот стою, вспоминаю, а на душе больно и горько...

Она помолчала немного, глядя, как при дуновении легкого предвечернего ветра чуть заметно колышутся, словно оживают, лепестки розы. И сказала грустно и задумчиво:

— Завтра здесь будет много народу и масса цветов, а сегодня только одна роза. Моя роза... и в сердце горькая печаль разлуки. Иван всегда был моим, только моим, а сейчас ощущение такое, словно завтра его у меня отнимут, и он будет принадлежать всей Франции, всему миру... Наверное, думать так не очень-то разумно, но чувство именно такое... И потому сильно щемит сердце...

— Понимаю, — ответил Бородай, — только в главном ты ошибаешься: он очень любил тебя. Ивана Климова у тебя никто не сможет отнять. Никогда.

— Это верно, потому что таким, каким я знаю Ивана, его не знает никто, даже родная мать.

— Это разные вещи.

— Да, совсем разные. Он был необыкновенный, иногда непонятный и мне и другим. Не знаю, были бы мы счастливы, но я его действительно очень любила, и, погибнув, он остался в моей душе навсегда. Это звучит, может, немного странно, но как иначе скажешь о своей любви? Я не вышла замуж, хотя могла это сделать. Нет, нет, не подумай, будто я хвастаюсь... Я не святая и не ханжа, у меня в жизни были близкие друзья. Но выйти замуж для меня означало — совсем, навсегда изменить Ивану, разрешить кому-то другому занять его место в моем сердце...

Еще немного помолчала, потом как-то очень просто сказала:

— До сих пор жалею, что пуля, которая ударила мне в плечо, не прошла чуть ниже, там, где бьется сердце.

— Нет, Люси, не говори так. Это счастье.

— Не очень-то большое, если рядом нет Ивана. Все оказывается куда труднее: и сложнее и проще, нежели думалось...

Она снова замолчала, на этот раз надолго. А потом, улыбувшись ясным, милым лицом, изменила тему разговора:

— Наш сонный Флеманш проснулся и гудит, как улей.

— Не такой уж он и сонный.

— Что ты имеешь в виду?

— Завод Батле.

— Ну, это мелочи по сравнению с сенсацией, которую подарила Флеманшу мадам Кольвен. Слышали вы что-нибудь подобное, люди добрые? Это же просто можно свихнуться. Разве неправда? Мадам Кольвен, сама мадам Кольвен ходила по домам и приглашала людей на открытие памятника.

— Не преувеличивай, это имеет значение только для нее самой...

— Нет, если и преувеличиваю, то самую малость. Люди просто поражены и наверняка придут к памятнику в надежде на новую сенсацию. И это хорошо, пусть приходят: хотят или не хотят, а лишний раз вспомнят о наших парнях. Это ты недоумил ее идти по домам?

— Неужели ты думаешь, что Натали кто-то может надоумить или приказать?

— Натали, конечно, пельзя, а вот мадам Кольвен — не знаю. Хотя нет, приказать ей действительно никто не может. И я ей завирую. Она всегда была смелой.

— А ты всегда была трусихой? Да?

— Если хочешь знать, да. Даже тогда, когда кинула им под ноги гранату и бросилась сквозь дым, я обмирала от страха. Еще и сейчас колени дрожат, как подумаю. А все-таки вспоминать приятно. Как-то гордо — вспоминать. Понимаешь, была война, оккупация, и мы боролись, кто сильнее, кто слабее, но боролись. Было голодно, холодно, страшно, но, если меня спросить, когда я жила по-настоящему полной жизнью, я назову это время. Потом настал мир, нас убаюкала тишина, покой, победа... И все реже думалось о могилах друзей, и все чаще о себе... Послушай, у вас тоже так? У вас тоже для молодежи война — это что-то похожее на древнюю легенду?

Сергей Бородай ответил не сразу.

— Нет, не совсем, — медленно сказал он, — не совсем так, потому что у нас очень много родных могил... Но чего греха таить, понемногу забывают и наши ребята.

— Да, — словно размышляла вслух Люси Шабер, с трудом отыскивая свою нить в их общем, туго переплетенном клубке

мыслей.— Приходят другие поколения, которые ничего не знают ни про войну, ни про бомбы, ни про голод, ни про палачей гестапо... Хорошо, что мы открываем этот памятник... Кто-то спросит... Кто-то вспомнит... Кто-то расскажет... И вдруг оживут они, мертвые... Пусть только в нашей памяти, но все-таки оживут и скажут: «Люди, мы очень любили вас!»

Она говорила тихо, сдержанно, взвешивая каждое слово, и невольно ее настроение передавалось Бородаю.

— Знаешь, есть вещи, над которыми время не властно. Это такие понятия, как героизм и подлость. Их нельзя ставить в один ряд, настолько они различны. Единственно, что у них есть общего,— это то, что ни одно, ни другое не забывается... Никогда.

— Возможно, что и так,— продолжила его мысль Люси,— но время идет, никуда от этого не денешься, и те наши годы отдаляются, будто прячутся за туманом памяти... А когда приехал ты, и люди вспомнили свою молодость, вспомнили, какими мы были настоящими, и стало стыдно за этот покой, довольство, забывчивость... Понимаешь, стало стыдно, это точное слово. Именно потому Натали взбунтовалась и пошла звать людей. Не знаю, надолго ли ее хватит, но все-таки пошла. И я ей завидую... У нее хватило мужества разорвать тенета, и я восхищаюсь ею. А у меня смелости неостало, я, видишь, не пошла. Но она еще появится, еще наверняка придет, моя смелость.

Сергей Бородай подумал, что отважнее и решительнее женщины, чем Люси Шабер, он не встречал, и потому немного странно, что ее так поразила поступок Натали.

— Ты думаешь, что я вступлю в компартию? — как-то неуверенно сказала Люси.

Сергей понимал: говорит она о вопросе, над которым много и трудно думала и который все-таки оставила нерешенным.

— Я еще не знаю... Хотя почему меня могут не принять? Наверняка примут. Но прежде мне самой нужно решить. И как я поступлю, еще не знаю.

— Нет, уже знаешь,— сказал Сергей Бородай.— Подумаешь и подашь заявление. И я тебе советую это сделать.

— Ты за меня поручился бы? — серьезно, словно этот вопрос имел для нее жизненно важное значение, спросила Люси, не отрывая взгляда от темно-алых, нежных лепестков розы; теперь и ветер утих, перед вечером прилег отдохнуть на просторных газонах городского парка, а лепестки все трепетали и трепетали, словно живые.

— Да, я за тебя поручусь,— так же серьезно ответил Бородай.

— Спасибо, я так и знала. Но и во Франции найдутся люди, которые за меня поручатся, если я решусь подать заявление.

— Я уверен.

Они снова помолчали, Люси трудно было вырваться из пле-

на мыслей, которые овладели ею, но она все-таки вырвалась и буднично спросила:

— Когда ты едешь?

— В понедельник утром.

— Ну, тогда у нас еще будет время повидаться, мы обязательно встретимся.

— Обязательно.

— Приезжай еще как-нибудь... Мне очень хотелось бы побывать у тебя в гостях, хоть одним глазком посмотреть на твой Днепрогэс. Но вряд ли это осуществимо, такие поездки не для нас. А ты приезжай, непременно приезжай. Ты просто не имеешь права не приехать...— Шагнула к нему, обняла, на миг припала к груди, прислушалась. Потом сказала: — Бьется сердце. Как это хорошо, когда у человека бьется сердце. До свидания, Сергей!

Она быстро пошла, почти побежала по аллее, гравий сухо поскрипывал под ее туфлями: ей хотелось, чтобы Бородай в эту минуту не видел ее залитого слезами лица.

Глядя ей вслед, Сергей представил ту, давнюю, минуту, когда его, Сергея Бородаю, уже не было в кафе «Корона», а Иван Климов упал у окна, и молоденькая, на вид слабенькая, а на поверку оказалось, очень сильная Люси Шабер припала ухом к его груди, в отчаянии надеясь услышать толчки живого сердца...

Бородай стоял, смотрел на закрытый белым покрывалом памятник, и мысли его были далеко от сегодняшнего дня, проникали в глубину забытых и в то же время незабываемых дней, вызывая из небытия образы утраченных друзей, и были их лица настолько осязаемо-реальными, что казалось, с каждым можно было поговорить, посоветоваться.

Нет, ничего не посоветуют ему мертвые друзья. Только живые, и в том числе он сам, Сергей Бородай, в ответе за их память и, как это ни странно, за их будущее. Между ними и Бородаем пролегла межа смерти. Думать о ней не хотелось, и потому он вновь мысленно обратился к живым — к Люси Шабер, к ее любви и верности. «Да, ребята, — мысленно обращаясь скорее не к тем, кто лежал под тяжелой гранитной плитой, а к себе, сказал Бородай, — пока у человека бьется сердце, ничего не потеряно. Климов, Лефевр, Дюран, четвертым должен был последовать Сергей Бородай... Как не хватает вас рядом, на белом свете, ребята... Ох, как не хватает...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Кто-то подошел, стал рядом, Бородай повернул голову и увидел Нину. Лицо строгое, замкнутое, на плече большая тяжелая сумка. Девушка готова ко всем вопросам и не боится любого разговора, по всему видно, многое перегорело в ее душе.

— Ты почему пришла, Нина? — спросил Бородай и вдруг, проникаясь отцовским беспокойством и надеясь стать ей чем-то полезным, добавил: — Меня искала?

— Нет, — сухо ответила девушка, — на граните пужно исправить год рождения Клода Дюрана. Патрик просил.

— Он придет сюда?

— Не знаю. Меня это не интересует. И, если хочешь знать, по-настоящему никогда не интересовало. Так, легкое увлечение.

— Почему тебе хочется выглядеть хуже, нежели ты есть на самом деле?

— Ошибаешься, я такая, какая есть. Ни хуже, ни лучше, типичный представитель современной разочарованной молодежи.

— Мне не казалось, что ты разочарована.

— Не знаю, право... Да и значения это не имеет.

— А что имеет?

— Как выяснилось, на свете не осталось вещей, которые имели бы для человека существенное значение. Ничто не стоит внимания.

— Даже жизнь?

— Что в ней хорошего?

Бородай слегка улыбнулся, и эта едва заметная, легкая улыбка раздосадовала девушку: подумаешь, смотрит на все с высоты своих лет, кичится независимым положением советского гражданина и думает, будто он, и только он, владеет ключом от вечного источника познания истины.

В глубине души она сознавала, что у Бородая и в мыслях нет ничего подобного, что все это вздор, выдуманный ею из-за единственного желания выплеснуть на кого-то горькое недовольство собой. Да, сделать это было просто необходимо. И, стараясь обострить разговор, Нина спросила с вызовом:

— Почему ты не спрашиваешь меня, что я решила относительно Шарля?

— А зачем? Решаешь ты, как решишь, так и будет.

— Думаешь, я могу выйти за него замуж?

— Не исключено.

— Ты правда допускаешь такой вариант?

— Допускаю.

— Правильно. Я выйду за Шарля.

Нина внимательно посмотрела на отца, желая увидеть на его лице следы возмущения, обиды, несогласия. Но Бородай и глазом не моргнул.

— Понятно, — почему-то сказал он.

— Что тебе понятно? — рассердилась Нина.

— Что ты его очень любишь. — Бородай поспешил отойти в сторону, потому что оставаться в непосредственной близости от девушки было небезопасно: она могла взорваться от возмущения, как граната. А ему сейчас хотелось побыть в одиночестве,

подумать, разобраться в мыслях и поступках людей, которые жили, любили, страдали совсем рядом, совсем близко от него, а может, прежде всего разобраться в своих мыслях и переживаниях. И Бородай отошел от памятника, сел на плетеный стул под платаном. К нему тут же подступила старушка, протянула маленький розовый талончик и сказала:

— Десять сантимов.

Так, за плетеный стул нужно платить. Бородай достал мопетку. Старуха осмотрела ее внимательно, словно опасалась, чтобы ее не обманули, и, тяжело вздохнув, отошла.

Теперь Сергей Бородай мог спокойно смотреть на затянутую полотнищем глыбу памятника, на парк, на Нину. Мысли, все его внимание сосредоточились на дочери. Что ждет ее в будущем?

А Нина тем временем немного приподняла скрывавшееся памятник белое полотнище в том месте, где была надпись, тут же человек, который сидел на дальней скамейке и читал газету, поднялся и исчез за деревьями. Вскоре появился полицейский, подошел к Нине, девушка достала из сумки бумагу, тот прочитал, приложил пальцы к длинному козырьку форменной фуражки, вернул бумагу и ушел, а человек с газетой снова уселся на скамейке. За памятником, как за живым существом, следили, вернее, не столько за памятником, сколько за людьми, находящимися возле него.

Нина сердито оглянулась: все раздражало ее — и этот мягкий теплый вечер, и ясное, прозрачное предзакатное небо, а главное — ее собственные мысли, тоскливые и непонятные. И откуда взялось щемящее чувство неудовлетворенности? Глупость все это и чепуха, рефлексия от сознания своей неполноценности. Но она сумеет справиться и со своим настроением, и со своими чувствами, решит, как сочтет нужным, удобным, выгодным, наконец. А чувства... Что ж, они далеко заведут, только дай им волю. Как ни странно, разоблачение Шарля большого возмущения не вызвало в ее душе. Ну и что? Добавилась еще маленькая черточка к уже знакомому портрету, а уродует она его, эта черточка, или, наоборот, украшает — это еще, как говорится, надо посмотреть. Во всяком случае, здесь ничего неожиданного не произошло. Есть, правда, другая, по-настоящему болезненная ранка возле самого сердца, до которой страшно дотронуться, и хочется забыть о ней, и невозможно забыть...

Она смотрела на буквы и цифры, обозначенные на граните: «Клод Дюран, 1925—1944». Пятерку следует изменить на тройку. Совсем молодым парнем был этот партизан Клод Дюран, ему тогда исполнилось всего-навсего двадцать один год. И погиб... Она сейчас старше его. Как же нескладно устроена жизнь! Люди волнуются, суетятся, воюют, убивают друг друга, а потом все заканчивается двумя датами на могильном надгробье. Стоило ли бороться, если им самим не досталось и капли радости после победы?

Стоило. Наверняка стоило! Беда в том, что она опоздала родиться. Если бы появилась на свет до войны, если бы имела возможность участвовать в движении Сопротивления — жизнь ее сложилась бы куда интересней!

А сейчас ей всего-навсего выпало на долю подправить одну цифру. Ну что ж, сделаем эту работу добросовестно. Хотя как-то послужим погибшим героям.

Открыла сумку с инструментами, выбрала небольшое долото, молоток, кусочком мела обвела цифру, которую нужно выбить на камне. Прикинула, как сделать лучше, экономнее, чтобы подчистка была незаметной. Ну что ж, пятерку на тройку замесить не сложно...

Уверенно ударила молотком, раздался негромкий, скрипучий звук. Она знает, как пужно обращаться с камнем — бить несильно, осторожно, но часто, отбивать маленькими кусочками. Гранит легко поддается обработке.

Кто-то подошел, остановился в стороне. Ну и пусть стоят, смотрят, какая ей разница. Она сделает свое дело, уйдет и больше никогда не приблизится к этому месту, потому что имя «Дюран» острой болью отзывается в сердце.

Оглянулась: возле памятника, заложив руки за спину, стоял Патрик. Плечи его поникли, словно на них взвалили непомерную тяжесть. Стоял, не обращая внимания на Нину, и это обидело ее.

— Зачем пришел? — резко спросила она.

Патрик переступил с ноги на ногу, посмотрел на нее незнакомыми взрослыми глазами: такого выражения в них Нина прежде не замечала. Спокойно и отчужденно Патрик ответил:

— Прости, это городской парк, и гулять в нем никому не запрещено.

— А тебе приходило сюда не следовало бы.

— Почему?

— Потому.

Они произносили пустые слова, понимали это и оттого раздражались, но найти другие, важные, необходимые им обоим, не могли.

— Ты мешаешь мне работать.

— Неправда, я стою в стороне и даже не смотрю на тебя.

— Вот как, значит, тебе уже не хочется смотреть на меня?

— Я этого не сказал.

— Ты отвлекаешь мое внимание.

— Подумаешь, великое дело — немного подправить цифру...

— Ради бога, помолчи!

— Хорошо.

Сидя в отдалении на лавочке, Сергей Бородай мог догадаться об их разговоре, настолько выразительны были их лица. Да, все не просто. Столкнулись два сильных характера, и ни один не

сдается, не хочет уступить другому, и чем все это закончится, неизвестно.

Нина снова принялась за работу. В нервных частых ударах молотка ей слышался тревожный призыв: «Слушайте, люди, мы открываем памятник Клоду Дюрану и его друзьям. Они отдали жизнь за то, чтобы вы могли ходить по земле, работать, смеяться и плакать, любить и ненавидеть... За то, чтобы вы могли жить». А Патрик слышит это? Она опустила молоток, взглянула на Патрика. Тот стоял по-прежнему сосредоточенно-отчужденный.

— Скверный у вас вкус, — сказала Нина. — Не могли заказать что-нибудь выразительное, полное движения, полета. Здесь же все обычно, скучно. Простая гранитная плита. Таких памятников тысячи. Они лишены фантазии и потому ничего не могут рассказать людям.

Снова взглянула на Патрика, мгновение подождала ответа, потом сердито спросила:

— Почему ты молчишь?

— Потому, что ты запретила мне говорить, — спокойно ответил Патрик.

Нина возмущенно пожала плечами.

— Когда-нибудь здесь поставят памятник монументальнее пирамиды Хеопса. А над вами, людьми без фантазии, весело посмеются.

Ей казалось, что сердце, в предчувствии какой-то опасности, болезненно сжалось, подступив к горлу, перехватило дыхание. И она вся замерла в тревожном ожидании.

— Что ж, не исключено, что когда-то здесь действительно поставят памятник и выше и красивее. Только смеяться над нами никто не будет. Это уж точно. Просто у нас мало денег.

— У кого это «у нас»?

— У Комитета ветеранов войны.

— Ты что, уже в ветераны затесался? — Нина сознавала беспричинность своих придирок, но остановиться не могла.

— Нет, я только сын погибшего партизана. Пожалуйста, не обращай на меня внимания, работай. Всего доброго!

Он повернулся, намереваясь уйти, но Нина сказала:

— Подожди.

— Что ты хочешь от меня?

— От тебя я ничего не хочу. Только скажи, кому я должна сдать работу?

— Никому. Самой себе. Желаю успеха!

И снова повернулся, чтобы уйти, потому что долго выдерживать такое напряжение, прикрытое обычными, стертыми, как старые монеты, словами, было трудно. Ему хотелось оказаться сейчас как можно дальше от сквера, от памятника, от Нины... Но снова прозвучал ее голос, на этот раз веселый:

— Подожди.

— Что еще?

— Ничего особенного, — предвкушая победу над собой, над Патриком, над всем светом и хорошо понимая, как трагична, более того — омерзительна эта победа, девушка сказала: — Я приглашаю тебя на свадьбу. Она состоится в субботу, восемнадцатого июля, в церкви святого Августина.

Земля качнулась под ногами Патрика Дюрана, но тут же выравнилась. Он оглянулся, словно ища спасения. Далеко на лавке сидел Сергей Бородай, смотрел куда-то в сторону. Он говорил Патрику, что за счастье нужно бороться. Патрик послушался, попробовал бороться, и вот что из этого вышло: в глазах Нины ловкий делец, продажная тварь Шарль Кюба стал привлекательнее, чем был прежде. Ну еще бы — такую штуку отколол: установил микрофоны в лабораториях Кольвена! Современнo и оригинально. Будет чудесным мужем, хитрым, богатым, изворотливым. За таким не пропадешь.

А он, Патрик Дюран, попробовал было разоблачить подлость и в глазах Нины оказался всего-навсего смешным неудачником, донкихотом... Ну что ж, и поделом ему! Знал, на что шел, было время разобраться в характере девушки. Но если она думает, что он сейчас сорвется, наговорит глупостей, то заблуждается; у него хватит силы выдержать!

— Спасибо за приглашение. Обязательно приду.

— Придешь? — поразила Нина, и светло-серые глаза ее широко распахнулись.

— А почему бы и нет? — Патрик говорил спокойно, словно в приглашении Нины и в самом деле не было ничего необычного. И именно это сразило Нину — не слова, а спокойный, полный достоинства тон.

— Придешь? — и на миг не допуская такой возможности, в глубине души боясь ее, переспросила Нина.

— Непременно приду. Думаешь, у меня не хватит сил прийти и полюбоваться на тебя в белой фате? Хватит. Я теперь все на свете смогу выдержать. Ты меня научила владеть собой. Но и сказать тебе, что я о тебе думаю, у меня тоже хватит мужества.

— Мне это безразлично.

— А выслушать все-таки придется. — Голос юноши звучал спокойно, ровно, будто говорил он о каких-то незначительных вещах. — Тебя просто купили, да-да, купили за деньги, за роскошную жизнь, за Гавайские острова... Просто купили...

Последние слова проговорил с горечью, ясно понимая душевное состояние девушки, не обвиняя ее, а, наоборот, жалея. Нина почувствовала эту нотку, и возмущение, обида с новой силой вспыхнули в ее сердце. Но силы еще хватило, и, понимая, что идет по краю пропасти и только чудо может ее спасти, сказала насмешливо:

— Эх ты, а еще мужчина! Где твоя хваленая французская галантность?

— При чем тут галантность? Мы не в салоне у мадам Помпадур, — усмехнулся Патрик. — Тебя именно купили! И любовь нашу ты продала. А я люблю тебя больше жизни... И мне казалось раньше, что и ты тоже...

Несоответствие тихого, спокойного голоса и трагического смысла сказанных слов поражало, делало их убедительными, проникновенно-точными и по-настоящему безнадежными. Крик, отчаяние, угрозы не коснулись бы сердца Нины, а вот спокойный голос Патрика доводил до потери сознания.

— И мне казалось, что ты тоже меня любишь... Я так хотел, чтобы у нас был ребенок. А сейчас думаю: как хорошо, что этого не случилось. Страшно подумать, что он мог бы походить на тебя...

— Замолчи! — крикнула Нина. — Я не выдержу!

— Выдержишь. — Юноша уже не собирался жалеть свою бывшую возлюбленную. — Выдержишь, в церковь с ним пойдешь, и медовый месяц проведешь на Гавайских островах, и дети у вас будут, на него и на тебя похожие, прекрасные дети...

— Патрик, что ты мелешь? — тихо простонала Нина. Но вывести парня из состояния холодного ожесточения было трудно.

— Правду говорю! И вообще — видеть тебя не могу, так ты мне противна!

Он повернулся и, ощутив мгновенно, каким тяжелым, неповоротливым стало все тело, будто скованное стальной броней, медленно пошел от памятника.

— Патрик! — окликнула Нина. Но парень не остановился, не оглянувшись, он просто не слышал ее зова. Он вообще в эту минуту ничего не видел и не слышал. — Патрик! — крикнула девушка в отчаянии. — Патрик, подожди! Патрик!

Она и сама еще не сознавала, почему ее вдруг оставили силы. Но разве человек, чьи нервы напряжены до предела, может предвидеть, где и когда он сорвется? Нина вдруг поняла, что в жизни ее произошла катастрофа. Все! Выхода не было и жить не имело смысла.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сергей Бородай, конечно, издали не мог расслышать разговора, но смысл его угадал точно. Роль стороннего наблюдателя, иностранца, который не имеет права и не может позволить себе вмешаться в события, разворачивающиеся у него на глазах, ему надоела, и все-таки ее, очевидно, нужно было играть до конца. Но когда Патрик повернулся и побежал от памятника, Бородай не выдержал, поднялся и поспешил к Нине. Патрик почти налетел на него и, отскочив в сторону, бросился прочь. Лицо его было землисто-серым.

Бородай не остановил парня. Не он, а Нина занимала его мысли, ей нужна была помощь. Он подошел, взглянул на расстро-

енное лицо дочери. Нижняя губа прихвачена зубами, щеки пылают, а бледный, как восковой, лоб покрылся испариной. Невесело, ох как невесело Нине! И если разобраться честно, никто, кроме нее самой, в этом не виноват. Но не читать же ей сейчас нотации, что в том проку? Надо помочь.

И, сам еще не зная, как это сделать, Бородай сказал строго, скрывая собственную боль:

— Ну что, довела парня?

Нина резко повернулась, стояла — в левой руке зубило, в правой молоток, лицо перекосила гримаса злобы: казалось, в эту минуту она была готова ударить. Но, увидев отца, спросила тихо:

— Как же быть?

Кровь медленно отхлынула от щек, ставших прозрачно-восковыми, глаза, огромные, потемнели от горя и растерянности.

— Послушай, ты мой отец и любишь повторять слова, что отвечаешь за меня, за мою жизнь, ну, если ты такой мудрый, скажи, что мне сейчас делать?

— И ты меня слушаешь?

— Не знаю, — не сводя глаз с памятника, точно это была единственная по-настоящему надежная точка на земле, ответила Нина.

— Тогда зачем же спрашиваешь?

— Не знаю. Говори, прошу тебя, только не молчи.

— Если ты честна перед собой, — взвешивая каждое слово, сказал Бородай, — и если ты хочешь быть по-настоящему счастливой в жизни...

— А если я понимаю счастье иначе, чем ты?

— Потом решишь. Сейчас послушай, как понимаю его я.

— Слушаю.

— Так вот, если ты хочешь всю жизнь открыто смотреть людям в глаза, а главное, быть честной перед собой, то сейчас бросишь этот проклятый молоток и зубило, пойдешь в город, найдешь Патрика Дюрана...

— Патрика Дюрана? — со страхом и одновременно почему-то с огромным облегчением переспросила Нина.

— Да, его. Найдешь его и скажешь...

— ...я законченная идиотка, бросаюсь тебе на шею и прошу простить меня, потому что люблю тебя и жить без тебя не могу! — Нина твердо, с откровенным ликованием выговаривала каждое слово.

— Абсолютно точно, — согласился Бородай. — Именно это и нужно сказать.

— Не говори глупостей. Мне он противен!

— Я вижу, как он тебе противен. Характер у тебя противный, вот это верно, еще не раз в жизни наплачешься с ним, а пойдешь ты к Патрику или нет — твое дело. Просто не знаю, хватит ли у тебя сил переломить себя. Это и вправду нужно

быть по-настоящему сильным человеком, чтобы не постесняться признать свою глупость.

— Ты думаешь, у меня для этого не хватит силы?

— Не знаю, захочешь ли ты этого. Захочешь ли спасти любимого, рискуя собственной жизнью, как мама меня когда-то спасала?

— Почему все вы так любите вспоминать войну?

— Потому что она проявила все лучшие стороны человеческого характера.

— И худшие тоже, — резко вставила свое слово Нина.

— Да, сразу становилось ясным, кто герой, а кто подлый трус.

— И меня ты, конечно, относишь к категории трусов?

— Я этого не сказал.

— Но допустил такую возможность?

— Да. Тут все может быть. Может, ты к Шарлю Кюба побежишь. Это тоже не исключено. С твоим характером...

— Может, и пойду, может, и пойду. — Нина провела рукой по лбу. — Спасибо, отец, ты все правильно понимаешь. Мне бы хотелось походить на тебя. Жаль, Гавайских островов никогда не увижу...

— Возможно, и не увидишь, — сказал Бородай.

— Ты берешь на себя слишком большую ответственность, решая все за меня. Но ты прав. Ничего не известно, и все может случиться. А сейчас у меня к тебе просьба — уйди отсюда. Мне все-таки нужно исправить...

— Тебе много чего нужно исправить! — веско заметил Бородай.

— Нет, пока только цифру на граните.

— Характер — прежде всего! — не выдержав, крикнул Бородай.

— Сейчас ты меня просто побьешь?

— Очень было бы кстати...

— А вот и нет! Не имеешь права вмешиваться в наши внутренние французские дела, — попробовала улыбнуться девушка и сразу поняла неуместность своей шутки. Но Бородай именно она и успокоила. Нина могла шутить, — значит, все в порядке. Он улыбнулся дочери и запагал по аллее из парка. А Нина долго смотрела ему вслед, потом повернулась к памятнику. Теперь молоток ударял чаще, со страстью, почти неистово, будто работой Нина хотела заглушить в себе остро жалающие сердце мысли. Возможно, горше всего — это когда бросаешься в воду вот так, не глядя, не зная, к какому берегу пристанешь. Однако нужно все-таки что-то решать, на счастье, на беду ли себе, но решать нужно...

Две женщины подошли к памятнику, сели на лавочку в сто-
ронке. Не прерывая работы, Нина искоса, снизу взглянула — Мария Кондратьевна Климова и Оля. Ну что ж, все правильно.

Где же еще и быть Марии Кондратьевне, если не здесь? Они ей не помешают.

Оля сразу принялась подсчитывать цифры в блокноте: всегда морока с этой валютой. Но Марии Кондратьевне не было дела до финансовых затруднений переводчицы.

— Ты посиди тут, а я погуляю, — сказала она.

Оля даже не взглянула на нее, знала — беспокоиться нечего: и к Климовой пришла та особая ответственность советского человека, находящегося за рубежом, ничего с ней не случится...

Мария Кондратьевна подошла к памятнику, остановилась, прислушалась к четким ударам молотка, посмотрела на Нину:

— Здравствуй. Ты что здесь делаешь?

— Да вот, кое-что исправить нужно. Здравствуйте.

— Ну хорошо, работай. Ты моей встрече с Иваном не помеха, — милостиво разрешила Мария Кондратьевна. Остановилась неподалеку, так что Нина видела ее лицо, и замерла, глядя не на памятник, укрытый полетником, а на весеннюю живую землю. Где-то там, в ее ласковой теплой глубине, оплетенный живыми корнями трав и деревьев, лежал ее сын и потому не представлялся ей мертвым, ведь вокруг него была живая, родящая земля...

«Она, пожалуй, молится», — подумала Нина, взглянув на застывшее, озаренное внутренним спокойным светом лицо старухи. И ошиблась. Мария Кондратьевна не молилась, просто в эти минуты, вызванный из небытия силой памяти и материнской любви, рядом с ней стоял Иван, и разговаривать с ним можно было мысленно, не произнеся вслух ни одного слова. Почему-то казалось: пошевелинешься — и он исчезнет и не появится вновь. И старуха окаменела, вглядываясь в еще по-юношески нежное лицо сына.

Кто-то подошел к ней, стал рядом. Мария Кондратьевна недовольно оглянулась.

Жоржет Дюран в темном плащике тоже смотрела на памятник. Нина медленно, ритмично ударяла молотком, и чудилось, что в гранитной глыбе бьется каменное сердце.

— Здравствуйте, — промолвила Жоржет.

Мария Кондратьевна кивнула в ответ.

— Я вам не помешаю?

Климова не знала ни одного слова по-французски, но вопрос прозвучал настолько естественно, что ей показалось, что она понимает все. Хорошо, что к памятнику пришла Жоржет Дюран, именно такой собеседник, молчаливый и все понимающий, и нужен ей.

Нина, владевшая французским и русским, с изумлением прислушивалась к этому разговору двух матерей. Каждая из них рассказывала о своем, а казалось, что течет общая беседа.

— Жаль, что не владею русским... — посожалела Жоржет. И Мария Кондратьевна, думая о своем, сказала:

— Как страшно породнились мы с тобой, Жоржет Дюран.

Теперь короткая модная стрижка французенки, широкие каблуки ее туфель, слегка подкрашенные губы уже не вызывали в ней раздражения. Осталось только чувство матери, потерявшей сына, да сознание того, что Жоржет Дюран тоже мать. И слова тогда полились свободно, легко, важно было не то, понимают ее или нет, а то, что ее слушают, и она может выговориться, побыть с сыном.

— Мы живем в селе, неподалеку от Рязани, — сказала Мария Кондратьевна, — над селом пролетали самолеты, крошечные, будто майские жуки. Мой Ваня, в то время еще маленький и тихий, как девочка, часами на них смотрел. Вот так ляжет на траву, у нас трава высокая, шелковистая, мягкая, раскинет руки, вперит глаза в небо и любитесь...

— Он был очень хорошим мальчиком, мой сынок, — рассказывала Жоржет. — Смешно, я постоянно думаю о нем как о совсем юном, а ему сейчас было бы под пятьдесят. Тогда, еще в начале войны, он как-то пришел домой поздно. Я было прикрикнула на него — уж очень не любила, когда он поздно возвращался, — а сын ответил, что я опоздала, он давно вырос и стал коммунистом. Я поначалу хотела отлупить его, как мальчишку, а потом поняла, что и впрямь опоздала, он как-то незаметно стал совсем взрослым. Помню, я в тот вечер страшно испугалась, даже молилась за него, за спасение его души. Но скоро бросила, поняла, что иначе он жить не может, хотя и не одобряла его поступка.

— А потом он вырос и стал взрослым, — будто заново узнавая давно хоженные тропы и с радостью находя прежде не замеченные приметы и людей, которые уже забылись, говорила Мария Кондратьевна. — Он стал взрослым. Только все равно, когда к нему обращались, смущался и краснел, как девушка. Но выдумщиком он был отменным, все время что-нибудь придумывал. А однажды сказал: «Мама, хочу быть летчиком». Рано утром ушел, а я долго стояла на пригорке и смотрела ему вслед... Он стал летать и однажды так низко пролетел над нашим домом, что даже тарелки на полке зазвенели... Я узнавала его машину, и номер, и как мотор гудит...

— А потом случилось то, что всегда случается с молодыми ребятами, особенно когда они такие веселые и живые, как мой Клод: у него появилась девушка, рыжая-прерывающая, в веснушках, в наших краях почему-то все девушки веснушчатые. К счастью, с годами это проходит. Так вот, вся в веснушках, но все равно очень хорошенькая. Они не часто бывали вместе, совсем не часто, но я все-таки заметила, что она беременна. И я строго сказала Клоду: «Немедленно женись, бессовестный соблазнитель! Я не позволю тебе обманывать молоденьких девушек и очень хочу, чтобы у меня были внуки». А он только рас-

смеялся в ответ: «Ты всегда опаздываешь, мама, мы уже давно муж и жена».

— А потом он исчез и очень долго не подавал о себе вестей. Я уже начала волноваться и ходила в военкомат. Но там только многозначительно улыбались, будто им были известны все военные тайны, на самом же деле они тоже ничего не знали. А однажды хлопнула дверь, я смотрю — он на пороге, а на гимнастерке у него орден. «За что тебе дали?» — спрашиваю. «Сам не знаю, — отвечает, — летал немножко над Халхин-Голом. Если бы ты знала, мама, сколько на земле ровного, ну совсем как стол ровного места. А озеро там горько-соленое, рыба не водится». Уже большой, совсем взрослый, лейтенант авиации, а глаза как у озорного мальчишки, только и думает, какой бы номер позабавней выкинуть. «Женился бы», — говорю ему. «Некогда, мама, — отвечает. — Впереди война». И я вдруг увидела, что он стал мужчиной, командиром...

— А потом родился Патрик, в тот день, когда фашистов разгромили под Сталинградом. Просто диву даешься, война уже три года бушует, а они нашли время для любви. Хотя и то правда, молодые его всегда находят, это только нам, старым, удивительно. Всюду траур, знамена со свастикой приспущены, а у нас дома двойной праздник. Она тогда уже с ним жила, моя невестка, хотя они и не были обвенчаны, на мирные дни свадьбы откладывали... Клод сердился и повторял: «Под Сталинградом их разбили, а что делаем мы? Ждем, пока нам победу на тарелочке преподнесут?»

— А потом, когда настоящая, большая война грянула, его полк Москву с воздуха защищал. От него кое-когда приходили письма без конвертов, треугольником сложенные. Всего только четыре, я их и сейчас храню за портретом сына. Приходит как-то сосед, газету приносит. Смотрю — Ванюшка мой, строгий, постаревший, видно, нелегко в военном небе летать. Но он, наверняка он, ошибки быть не могло. И целая статья о нем. На таран пошел, гитлеровскому самолету винтом хвост срубил и сумел с парашютом выброситься, живым и здоровым остался. И вскоре после этого я письмо от него получила: «Не волнуйся, мама, это совсем не страшно». А больше не стало писем... Я долго ждала, потом командиру полка написала. Ответили: «Ничего о нем не знаем, на аэродром не вернулся». И все — не было писем.

— А потом они стали выпускать листовки и рассказывать людям, как на Восточном фронте немцев бьют. Незадолго перед этим появились в нашем городе советские парни, военнопленные; Клод с товарищами помогал им в побеге из концлагеря, они на карьерах работали. Выпускали листовки, а Катрин разносила их по городу. В те дни она жила на квартире: так было безопасней, но я снова заметила, что она беременна... Гестаповцы застрелили ее прямо на улице, ее и моего второго вну-

ка, еще не родившегося... Тогда я сказала Клоду, что хочу стать коммунисткой. И правильно сделала, хотя в то время это было страшно. Клод прямо почернел от горя, а потом вместе с Иваном Климовым, Сергеем Бородаем и Жаном Лефевром они разгромили гестапо... И погибли. Трое погибли. Но, даже убитые, они для меня остались живыми, вместе ведут бой, и все они наши сыновья...

— Потом пришло уведомление: пропал без вести, только портрет его среди героев первой эскадрильи авиационного полка на стене висит... Вот и стоим мы с тобой, Жоржет, рядом, потому что стали сестрами, стоим и слушаем, как по всей земле плачут матери над могилами своих сыновей...

Сергей Бородай не ушел из весеннего парка, наполненного легким шумом молодой листвы. Он сидел на отдаленной лавочке, поглядывал на памятник, на Марию Кондратьевну и Жоржет Дюран, стоявших около него, слышал удары Нинино молотка. Но о чем говорили две старые женщины и говорили ли они вообще или просто молча, скорбя сердцем, стояли, он не знал.

Нина же была рядом и слышала каждое их слово. Вот она ударила наконец в последний раз молотком и, критически осмотрев свою работу, осталась довольной: да, все было сделано аккуратно. А на душе разлился удивительный покой, даже непонятно, откуда вдруг взялась эта легкость... Говорили матери у могилы своих сыновей, как они говорили! У нее, у Нины Кольвен, тоже будут дети, и чем раньше это случится, тем лучше. В этом она сейчас уверена. Катрин, когда родился Патрик, было лет восемнадцать, не больше, а ей, Нине, уже скоро двадцать пять...

Поднялась, сложила инструменты в сумку, посмотрела на обеих женщин, — они стояли у могилы неподвижно, словно каменные изваяния, погруженные в свои мысли и свою горе. И только жили их скорбные глаза, они продолжали беседу...

Нина застегнула сумку и, уже не оглядываясь, даже не замечая сидящего на лавочке Бородаю, вышла из парка. Как это славно, когда так хорошо на душе — ясно и не надо больше принимать решений.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

На другой день, в воскресенье пополудни, Роже Кольвен открыл маленьким плоским ключиком дверь своего дома и, минуя холл, вошел в гостиную, с удовольствием ощутив ее покой и прохладу. День выдался ясным, солнечным. На улице и в парке было жарко, да к тому же толпа, когда ты становишься ее частью, усиливает ощущение духоты. Сосредоточенно, так, будто на свете ничего нет более важного, подошел к бару, открыл дверцу, достал высокую, с длинной шейкой, бутылку вина

«вувре», налил полстакана, пригубил, смакуя его кислотоватерпкий букет, и блаженно опустился в мягкое кресло.

Уют и тишина царили в просторной комнате. Аккорды героическо-торжественной музыки, которые, казалось, заполнили весь город, больше того — весь мир, сюда не долетали. Там, в парке, заканчивалась церемония открытия памятника, — Роже Кольвен наблюдал за всем происходящим, стоя в сторонке. Тревожное чувство не покидало его даже здесь, в собственном доме, и для этого было несколько причин.

Во-первых, резкая перемена в настроении и поведении Натали. Со вчерашнего дня, когда она приняла на себя роль глашатая, скликающего горожан на торжественную церемонию, ее охватил душевный подъем, и Роже имел все основания опасаться, а вдруг захочет его дорогая супруга еще и выступить на митинге.

Во-вторых, Нина сегодня не ночевала дома. Правда, такое с ней случалось и прежде — субботние веселые компании, с вином, танцами и, кто знает, чем они еще там развлекались, зачастую заканчивались в воскресенье. Тогда почему-то это не волновало Роже: Нина человек взрослый и, надо думать, разумный. Но сегодняшнее ее исчезновение тревожило, хотя он знал, что с нею ничего не случилось, она была в парке.

В-третьих, он никогда не предполагал, что на открытие памятника соберется такое множество людей. Пришли, наверное, чуть ли не все рабочие Флеманша, и партийные и беспартийные. Вот, оказывается, есть все-таки сила, способная их организовать! Тревожно как-то...

В-четвертых, крайне неприятно вспоминать вчерашний разговор с Шарлем Кюба... Может, не стоило поддаваться эмоциям и отрезать себе пути к отступлению или хотя бы маневру? Может, не следовало с ним так резко обходиться... А как? Целоваться с ним? Спасибо сказать за то, что установил микрофоны? Нет, тут все верно, и нечего волноваться. Роже Кольвен — честный человек, и репутация его безупречна, а Шарль Кюба подлец, и сомнений здесь быть не может. Однако они есть! И именно это неприятнее всего.

И наконец, в-пятых, Сергей Бородай. Откровенно говоря, его можно бы передвинуть на первое место, потому что с него-то все и началось... Если бы не его приезд...

Этой последней проблемы Роже Кольвен обмозговать не успел. В гостиной раздался мелодичный звонок, возвестивший о том, что пришел кто-то из посторонних: у своих были ключи. Кого еще бог послал?

Сегодня воскресенье, и, конечно, Жаннет куда-то отправилась со двора, возможно, как и все, митингует в парке. Придется открывать самому.

Роже, с раздражением поставив на столик стакан с вином, поднялся, прошел в холл, нажал кнопку автоматического зам-

ка, услышал, как хлопнула калитка, потом открыл дверь дома и, не испытав особого удивления, увидел перед собой Шарля Кюба.

— Здравствуйте,— сказал гость.— Разрешите? Вы удивлены?

— Здравствуйте,— ответил Кольвен, стараясь сохранить в голосе вчерашнее пренебрежение: пусть помнит этот подонок свое место.— Проходите. Нет, не удивлен. Зная немного ваш характер, был уверен, что вы придете, и даже сказал об этом сегодня утром своей семье...

— Вы ясновидец,— Шарль позволил себе пошутить.

— Нет, я просто трезвый бизнесмен. С вашей натурой вы не могли поступить иначе.

— Вам все еще не нравится мой характер?..

— Мне думается, это не лучшая тема для разговора. Во всяком случае, уделять особое внимание вашей персоне я не намерен. Хотите вина?

— Значит, еще сердитесь? Ну и напрасно. На моем месте вы поступили бы точно так же. Спасибо. Вина выпью с удовольствием: на улице жара.

Кольвен налил, и хрустальный бокал как бы превратился в огромный желтовато-розовый, с дымчатым отливом топаз... В словах гостя Роже почувствовал какую-то правду, хотя согласиться с нею не хотелось, и оттого на сердце тяжело оседал мутный осадок недовольства собой.

— Прекрасное «вувре»! — отпив глоток, сказал Шарль. Он, как всегда, удобно расположился в кресле, и вид у него был по-прежнему беззаботный.

— Да,— согласился хозяин.— Виноград пятьдесят второго года. Тогда было солнечное лето.

— Совершенно верно, отменный год для вина,— с видом знатока заметил гость. Несколько минут они молчали, смакуя терпкое вино, сосредоточенно и деловито, будто важнее не было занятия.

— Скажите, об этом Бородай догадался? — спросил Шарль.

— Нет, вы переоцениваете его способности и возможности.

— Не переоцениваю. Это вы их недооцениваете.

— Разве вам не все равно, кто мне сказал или как я догадался? — взорвался Кольвен.— Разве что-нибудь изменится? Вы как были, так и останетесь...— Он хотел сказать «подлецом», и вчера наверняка сказал бы не задумываясь, но сегодня почему-то сдержался, хотя представления его о Шарле не изменились.— Нет больше честных людей на свете,— с горечью закончил он свою мысль.

— Зато есть честно заработанные деньги,— мягко улыбнулся Шарль.

Они снова помолчали, словно изучая друг друга, отпили еще

несколько глотков вина. И пауза определила начало новой темы в разговоре.

— Вы были на открытии памятника? — спросил Шарль.

— Не совсем так. И был и вроде бы не был. Но я все видел.

— Стояли за оградой?

— Да.

— Таких, как вы, было немало. Позиция удобная.

— Конечно.

— А вот я был у памятника, толпу вряд ли поймешь, не побывав в ее гуще. Должен вам заметить, мадам Натали поразила меня...

— Да, ее приглашение сыграло серьезную роль, — скромно, но с гордостью отметил Кольвен.

— Не о том речь, — отмахнулся Шарль. — Конечно, она пригласила несколько десятков наших аборигенов, но не это решило исход дела.

— Простите, именно это! — обиделся Роже.

— Я о другом. Меня поразило выражение ее лица. Думаю, Роже, в недалеком будущем вас ждут разнообразные сюрпризы...

— Я тоже так думаю, — хмуро согласился хозяин.

— То-то и оно. А их, этих сюрпризов, будет куда больше, нежели мы думаем. Что такое пять тысяч человек? На бейсбольном стадионе это до смешного мало. Десятка полицейских вполне хватит, чтобы разогнать их: они разобщены и не организованы, эти люди. Но пять тысяч организованных людей — это уже страшно. Поверьте моему вьетнамскому опыту, тут потребуются батальоны, если не полки и не дивизии. Перспектива у нас весьма сложная...

— У нас? — скептически взглянул на него Роже Кольвен.

— Да, у нас. Мы с вами по одну сторону баррикад, какая бы благородная ненависть ко мне ни клокотала в вашей груди. Это бесспорно. Но, как вы догадываетесь, я пришел не для того, чтобы решать ваши политические проблемы.

Кольвен посмотрел на своего гостя с чувствами весьма противоречивыми. Конечно, этому молодчику чужды малейшие моральные устои, за деньги он не пощадит и отца родного. Но здесь необходимо себя спросить: так ли это плохо? Возможно, наоборот? Просто отлично? В духе времени? Во всяком случае, в находчивости ему не откажешь. Иметь родственником такого человека было бы, наверное, и выгодно и удобно.

Но разве, став его зятем, Шарль Кюба изменится? Ведь он заботится только о своем кармане. Только о нем! А чем отличается от него сам Роже Кольвен? Разве он думает не о себе? Разве делает то, что выгодно другому?

Эта мысль неожиданно смутила. Нет, неправда, он, Роже Кольвен, — честный человек. На его совести нет ничего похожего на подлость с установкой микрофонов.

А случай в кафе «Корона» двадцать пять лет назад?

Смешно сравнивать! Тогда шла война, немцы вели огонь, и подступиться к кафе было просто невозможно.

А Люси Шабер прошла...

Ну и что из того? Ей просто повезло. И вообще эти случаи связывать невозможно, абсолютно невозможно! Роже Кольвен честный человек, а Шарль Кюба обыкновенный мерзавец. Именно так к нему и надо относиться. Вот и все.

— Как вы сами понимаете, я пришел сюда не для разговора о политике, — подчеркнул гость и тем самым заставил хозяина подумать о Нине.

Кольвен сразу нахмурился. Хотя бы поскорей настал понедельник!

— Она еще не вернулась с митинга, — сухо ответил он.

— А что скажете вы? — хотел получить более определенный ответ Шарль.

— Решать будет, как вы сами понимаете, Нина. Приказать ей я не могу. К счастью, вы тоже.

— Верно. — Шарль допил вино, поднялся с кресла, прошелся по гостиной. — Как все глупо вышло. Моя жизнь зависит от какой-то нелепой случайности. Ненавижу все, что неуправляемо... Я люблю ее, Роже... Понимаете, люблю... Если бы не это, все было бы иначе... Это мое единственное слабое место.

— А микрофоны у вас не слабость?

— Нет, наоборот, моя сильная сторона, и вы это прекрасно знаете. С Ниной ничего не поделаешь, если она не захочет...

— Вы правы, — с удовлетворением отметил Роже. — И поймите в виду, в нашей семье все такие.

Шарль насмешливо улыбнулся.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним, — не без ехидства обронил хозяин. — Сколько вам дал Жан Патен? — спросил он, рассчитывая наповал сразить гостя, но тот и ухом не повел.

— Во всяком случае, куда больше, нежели обещали вы. Когда уезжает из Флеманша ваш дорогой друг?

Внешне вопрос не имел никакого отношения к теме их разговора, но Роже Кольвен легко уловил связь.

— Не позднее завтрашнего дня. Он вам мешает?

— Он мешает не только мне, но и вам. И не старайтесь меня убедить, что это не так. Если хотите знать, то все наши неприятности начались с него.

— Вы ошибаетесь. Для этого он просто ничего не сделал.

— Но был здесь! Прохаживался, задавал учтивые вопросы, приглядывался, делал свои, нам с вами неведомые выводы, в которых наверняка не было ничего особенного, а людям казалось, что он знает какую-то свою, наивысшую истину, потому что он оттуда, из Советского Союза. Ореол революции, ореол этой страны — великая сила. Я уже не один раз имел возможность убедиться в этом. С ними лучше дружить, чем воевать.

— Это правда,— сказал Кольвен,— вообще всегда приятнее убедиться, что человек тебе друг, а не враг. Но все же почему вы думаете, что именно Сергей догадался о вашей микрофонной деятельности? Ведь у него для этого не было никаких оснований...

— Конечно, догадаться о микрофонах Бородай не мог, но он надоумил Дюрана, тот стал думать и делать выводы. Я допустил ошибку, нужно было взять людей из другого города.

— Нет,— сказал Роже,— все равно это ничего бы не дало. В нашем городе или в другом, они всегда находят общий язык. Они все заодно.

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — со злой усмешкой проговорил Шарль. — Устаревший лозунг.

— Это мы хотим, чтобы он был устаревшим, и частенько нам удается убедить себя в этом. А когда доходит до дела, то он становится такой силой, что даже жутко...

— Ну, так вы же изучаете Маркса,— едко улыбнулся Шарль.

— Да, изучаю,— не принял насмешку Роже.— И вам советую. Я таки найду в его учении слабое место.

— Желаю успеха. Я же надеюсь только на силу.

— Нет,— убежденно сказал Кольвен,— силой вы с ними ничего не сделаете. После каждого боя — выигранного или проигранного, это не столь важно,— они накапливают опыт. А это дорогая штука — опыт. Понимаете, Шарль, я много читал, думал, размышлял и пришел к твердому убеждению: марксизм надо лишить его базы — пролетариата. А для этого пролетариат надо просто-напросто сжевать и проглотить, сделать рабочего не врагом, а сообщником капиталиста, заинтересовать в прибылях, дать акции — одним словом, изменить его суть. Вот тогда, возможно, как-то и удастся справиться с марксизмом...

— Батле попробовал. И что получилось? — отмахнулся Шарль как от назойливой мухи. — Я слышал сотни таких теорий. Все правильно, классовый мир держится до тех пор, пока хорошо идут дела; если у меня богатые прибыли, я могу позволить себе роскошь с кем-то ими поделиться. А лишь только начинается спад, сразу каждый хватается за свой карман, и от вашего излюбленного классового мира остаются одни черепки. Сила, сила и еще раз сила — вот единственно возможная политика. Только таким я вижу наше будущее.

— Весьма недалёковидная и неумная политика, — грустно подвел итог Роже. — Гибкость — вот лозунг дня.

— Ну, и многого вы с ним достигли? — засмеялся Шарль.

— Мало, конечно. А все потому, что окружен предателями,— зло огрызнулся Кольвен, но гость не обратил внимания на его слова.

— Что же касается вашего уважаемого друга, партизана Сергея Бородая, то вы, как я уже говорил, глубоко заблуждаетесь. Именно в нем причина перемены мадам Натали, бунта

моей невесты, неожиданной прозорливости Патрика Дюрана, да и ваших личных переживаний. Лично сам он ничего не сделал, но всех заставил задуматься. А когда человек начинает думать, это чревато...

— Возможно, что и так, — имея в виду Натали и внутренне соглашаясь со словами гостя, сказал Роже. — Завтра он уедет.

И такое горячее желание поскорее распрощаться с Сергеем Бородаем, зажить снова тихо-мирно прозвучало в его словах, что Шарль Кюба злорадно усмехнулся.

— Мы с вами союзники, Роже. Это вам только кажется, что мы враги.

— Нет, не кажется, — покачал головой Кольвен. — Мы с вами и союзники и враги одновременно. И никто не знает, кем мы окажемся завтра. Подождите, по-моему, они идут...

Действительно, на крыльце послышались шаги, дверь распахнулась, и Натали Кольвен, а вслед за ней Нина и Сергей Бородай вошли в комнату. Роже безотрывно смотрел на лицо жены: она, конечно, была прежней, его любимая Натали, — те же волосы, те же глаза, те же губы — и в то же время иной, какой-то чужой. Она вроде бы помолодела на несколько лет, похорошела, в глубине темных зрачков вспыхнул задор, а с губ не сходила легкая счастливая улыбка. Роже отметил все это с душевной болью и восхищением. Увидел позднюю синюю жонкилию — цветок, лихо заправленный за ухо Натали, и понял, что перемены произошли куда более значительные, чем он предполагал.

А Натали, шагнув от двери, остановилась, пораженная.

— Шарль, вы здесь? Вот не ожидала!

На лице Шарля Кюба не было и тени неловкости или смущения. Оно оставалось приветливым, улыбчивым и снисходительно-любезным.

— Что вас удивляет, мадам Кольвен? — непринужденно спросил он. — Небольшие недоразумения между единомышленниками могут возникать и возникают всегда. Они только укрепляют отношения.

— Воистину, — сказала Нина.

Шарль Кюба внимательно и быстро окинул ее взглядом. Почему-то он всегда думал о ней как о молоденькой девчонке. А сейчас перед ним стояла женщина, высокая, очень красивая, не девочка, а именно женщина, уверенная в себе, в каждом своем жесте и слове, довольная жизнью и собой. Подобное выражение он отмечал прежде в глазах своих бывших возлюбленных после сладостно проведенной ночи. Что ж, такой Нина правила ему еще больше... Все это капризы — она может откалывать какие угодно номера, но, как рыба на длинной капроновой леске, никуда не денется, как бы она глубоко ни заплывала.

А Натали смотрела на Шарля Кюба так, будто открыла в нем новую, до сих пор неведомую ей черту характера и пока не знала, как ее расценить. Во всяком случае, продолжать разговор на эту тему было неловко, и она сказала:

— Ужасно хочется пить. Завтрак через час. Ты побудешь у нас, Сергей?

— Да, до четырех.

— А в четыре?

— Встреча с товарищами.

— Прекрасно. Что ты выпьешь?

— Все равно. Но не забывай, на улице жара.

— Значит, вино. Вы были в парке, Шарль?

— Был, — ответил Кюба, глядя на Нину, которая опустилась в кресло, стоявшее в отдаленном углу комнаты.

— Никогда не думала, что будет так потрясающе интересно, — рассказывала Натали, стоя у бара и разливая вино в высокие резные стаканы с массивным дном. Ее крупные сильные руки, напоминавшие белых птиц, как бы медлили, как бы еще не решились, на какой стакан опуститься. — Удивительное чувство! Вот живет человек, думает, что все у него есть, ничего больше ему не надо, а потом оказывается, что в жизни-то его ничего яркого и не было. И понял он все это неожиданно, вдруг. Возможно, что-то подобное ощущает парашютист, когда совершает свой первый прыжок: и радостно ему до восторга, и страшно до потери сознания.

— Для вас эта минута настала, мадам Кольвен? — осторожно спросил Шарль, поглядывая почему-то не на хозяйку, а на Сергея Бородаю.

— Да, настала, — созналась Натали.

— Я даже думала, что мама там выступит, — отозвалась Нина.

— Даже так? — не испуганно, а печально спросил Роже, утверждаясь в своих самых горьких предположениях.

— А почему бы и нет? — Натали поставила стаканы с вином на большой деревянный поднос, обнесла всех гостей. Энергия в ней, казалось, била через край, не давая и минуты побыть спокойной. — Но я думаю, что мое время еще не настало. Наверное, для того, чтобы сказать так, как говорила мать Ивана Климова, нужно много пережить, передумать, понять и мудро, не торопясь, оценить. Однако оно ведь когда-нибудь настанет, мое время.

— Не хватало только, чтобы моя жена выступала на митингах, — в глубине души не веря в такую возможность, заметил Кольвен.

— Прости, Роже, — мягко ответила Натали. — Но решать это будешь не ты.

— Как это — не я? — Роже даже побледнел, как от нанесенной обиды. — Разве я тебе чужой человек?

— Нет, ты, конечно, мой муж,— светилась улыбкой Натали.— Но решать это все-таки не тебе.

Она все еще хотела сделать беседу легкой, шутливой, по Роже было не до юмора. Это чувство, столь развитое у французов, изменило ему, как видно, надолго.

— Кому же тогда? — до конца хотел все уточнить Кольвен, хорошо понимая, что этот разговор лучше бы было вести без свидетелей. Оглянувшись, увидел Бородая, который, откровенно любуясь Натали, не торопясь, маленькими глотками пил холодное вино. И его вдруг осенило: — Значит, теперь он? Он будет решать за тебя?

— Смешно,— медленно, становясь серьезной, сказала Натали.— Неужели ты не понимаешь, решать могу только я одна, и никто больше. Бывают дни, когда человек делает то, что должен делать, что предназначено ему судьбой, богом, всем течением его жизни. Если он, конечно, честный человек.

В этих словах вконец расстроенный Кольвен тоже почувствовал отдаленный намек на свое прошлое и уже готов был броситься в жаркий словесный бой, спасая свою честь и репутацию, но Шарль Кюба опередил его.

— Простите,— сказал он тихо, но с нажимом, твердо,— я пришел сюда не для философской полемики. Должен признаться, меня прежде всего интересует моя собственная судьба. И здесь я для того, чтобы узнать некоторые подробности своего будущего. Нина, скажи: осталось ли в силе твое решение о нашей скорой женитьбе или некоторые двусмысленные факторы повлияли на него и оно изменилось?

— Микрофоны вы уже считаете двусмысленными факторами? — возмутился Кольвен.

— Извините, Роже,— перебил его Шарль,— мадам Натали только что объяснила вам, что взрослый человек в демократической Франции сам имеет право решать свою судьбу. Я сделал предложение Нине, очевидно, она и должна мне ответить.

Роже Кольвен недовольно хмыкнул: все будто сговорились, хотят отодвинуть его на второй план, но ничего, он хозяин своего дома, своей фирмы, а следовательно, и хозяин положения. Он еще свое возьмет!

Шарль Кюба на лице Нины не заметил и тени волнения: вне всякого сомнения, что-то изменилось в душе девушки. Что тому причиной? Приезд Бородая? Решительность Натали? Пять тысяч горожан на открытии памятника? Неужели такие банальные вещи могут оказаться сильнее прелестных, как мечта, Гавайских островов?

— Могу я повременить с ответом? — спросила Нина.

— Нет, у нас было достаточно времени для раздумий,— сухо произнес Шарль.— И в конце концов я должен знать, что меня ждет.

— Вы могли бы поговорить об этом с Ниной наедине, — сказал Бородай, приходя на помощь дочери, но она только кинула на него взгляд: нет, помощь ей не нужна.

— Наедине? — переспросил Шарль. — Почему? Мне думается, дело это семейное, и секретов у нас друг от друга нет, я жду ответа.

— Хорошо, — согласилась Нина. — Ты его получишь.

— Когда?

Она взглянула на часы, мгновение подумала:

— Минут через десять — пятнадцать.

— Что может измениться за десять минут, если ты перед этим раздумывала десять лет? — взорвался Роже Кольвен, так до конца и не сумевший разобраться в своих противоречивых чувствах: хочет он, чтобы Нина вышла замуж за Шарля, или, наоборот, противится этому. Все перемешалось на белом свете, даже собственная душа стала потемками. Вот что значит — приехал чужой человек и все перебаламутил.

А собственно, что он такого сделал? Прогуливался по городу, встречался со старыми друзьями, произнес речь у памятника, не очень горячую, но проникновенную. Такую, что всегда вызывает в сердцах людей приятные и гордые воспоминания о минутах, когда и они были смелыми. Потом выступила Мария Климова. Тут все обстояло куда сложнее. Она говорила спокойно, тихо, но люди почему-то слушали не переводчицу, а ее старчески хрипловатый голос. И казалось, все понимали и смахивали непрошенные слезы. Потом представили слово Жоржет Дюран. После ее выступления они с Марией Климовой расцеловались. А толпа в эту минуту сторожко замерла, примолкла, словно изготовилась к решительному действию. Кольвену показалось, что национальные гвардейцы, которые стояли возле ограды через каждые пятнадцать — двадцать метров, мгновенно куда-то исчезли, и оттого на душе стало как-то беспокойно. Чувство неуверенности пришло за ним и сюда, в его тихий дом, с прочными стенами, в уютную, с плотным ковром и мягкими креслами, гостиную. Эту комнату он особенно любил, она всегда казалась ему надежным другом, неприступной крепостью. И вот поди ж ты — и сюда может проникнуть тревога.

Ничего не сделал Сергей Бородай. Говорил, пил вино, смеялся. А от него, как круги по воде, расходились флюиды воспоминаний о давних героических временах, о молодости и волнующие мысли о далекой и могучей стране где-то там, на востоке. Сила Бородай не в нем самом, а в примере его страны. Да, но какое все это имеет отношение к Нине? Уж не решила ли она уехать из Флеманша, сменить его на Запорожье? Документы оформить, наверное, не так сложно...

На мгновение Роже подумал, что, пожалуй, хотел бы этого. Какое множество проблем разубилось бы одним махом! Исчезли бы эти проблемы или, наоборот, только встали бы во весь

рост? Кто знает... И чего тянет эта вздорная девчонка? Зачем понадобились ей десять минут? Что может случиться за это время? Возможно, она ждет кого-то? Кого?

— Хорошо, — великодушно согласился Шарль, — десять минут — не срок, можно и подождать. Я не очень обременю вас своим присутствием, мадам Натали?

— Отчего же, сделайте одолжение, — усмехнулась она.

И Кюба сразу насторожился: не над ним ли она? Весьма неприятна эта атмосфера неопределенности. Нина что-то задумала... Что?

— Хочешь еще вина? — обратилась Натали к Бородаю.

— Нет, спасибо.

Слова прозвучали, а тишина от этого не нарушилась.

«Говорят, у Гавайских островов бирюзово-зеленые волны, — думала Нина. — Как было бы славно посмотреть... Возможно, когда-нибудь это и случится...» Все-таки правильно ли она решила? Что за несносный характер: решение принято, более того — подкреплено делом, а ей нейдет — перепроверить, поставить под сомнение. Ну и что, это, как ни говори, а самая важная минута в ее жизни. Нет, неправда, самая важная была вчера, там, у памятника... И все-таки трудно быть до конца честным человеком. А почему трудно? Ведь у нее есть надежная поддержка, отец сидит рядом, попивает маленькими глотками терпкое вино, вид спокойный, довольный, а глаза тревожные, хотя нет-нет да и мелькнут в глубине зрачков смешливые искорки, словно весь этот разговор доставляет ему удовольствие. Неужели он так ничем и не поможет ей? Как ничем не поможет? Разве он мало сделал для нее? А что, собственно, сделал? Приехал, поговорил, завтра уедет. А этого мало?..

«Идиотизм, сидим и ждем десять минут, которые неизвестно зачем понадобились этой взбалмошной девчонке, — размышлял Шарль Кюба. — Это еще одна черта твоего характера, моя разлюбезная: тебе нравится играть людьми, если они хоть немного зависят от тебя, не можешь упустить случая покуражиться над ними... Но дай срок, я быстренько тебя от этого отучу. Десять минут тебе не нужны, ты только ломаешь комедию, цену себе набиваешь. От богатства и Гавайских островов не отказываются в наше время. Только в прошлом веке модной была пословица: с милым рай в шалаше. Сейчас она смешна и нелепа. Ты все уже решила и просто морочишь мне голову. Но я люблю тебя, потому что ты очень красива, и позволяю тебе эти небольшие капризы, хотя, видит бог, дорого ты мне заплатишь за эти десять минут!»

«В этом году почему-то очень поздно зацвели жонкилии, — совсем неожиданно и некстати подумала Натали, сама удивляясь своим странным мыслям. — Зло надо вырывать с корнем, где бы ты его ни увидел... Господи, о чем я думаю, когда решается судьба Нины. И как-то странно она решается... Зачем ей пона-

добились эти десять минут? Кто-то должен прийти? Патрик Дюран? Возможно. Нина всегда имела склонность к театральным эффектам. Впрочем, к чему ей они? Грустно, конечно, но поедет она, скорей всего, на Гавайские острова. Это неотразимая сила — Гавайские острова... А моя судьба тоже решается сегодня? Нет, все давно решено. Удивительно, стоило только появиться Сергею, чтобы многое изменилось в жизни, чтобы люди захотели стать чище, честнее. Почему он так влияет на людей? Ведь, в сущности, он ничего не сделал, даже говорил мало. Как хорошо, что она состоялась в моей жизни, эта вторая встреча...»

«Как относится сейчас ко мне Натали? — думал Роже Кольвен.— Странно, приехал Бородай, и многое изменилось... Лучшее бы он не появился во Франции ни тогда, ни сейчас. Нет, погоди, тут что-то не так: Сергей мой верный друг. Он завтра уедет, а Натали останется, с нею мы будем доживать свой век. Она моя жена, моя половина. Жаль, что у нас нет детей. Что же выходит, от Бородая у нее родилась дочь, а от меня нет? Еще одно унижение? Еще одно сомнение в моей полноценности? Это сейчас хорошо рассуждать и делать умные выводы, а тогда я не мог, просто физически не мог принести патроны. Видели бы, какой был лютый огонь, хотя Люси Шабер прошла...»

«Ниночка, милая моя Нина, найди силы, переломи себя, пойми, что это решается не твоя судьба, это решается судьба правды, честности, веры в человека. Выпроводи ты отсюда раз и навсегда Шарля Кюба, с его наглой уверенностью в неотразимой силе денег и Гавайских островов. Ты верно думаешь, Шарль, я не знал и даже догадаться не мог о микрофонах, лишь всего-навсего посмотрел на тебя с другой, не с привычной для всех точки зрения, а вслед за мной это сделал Патрик Дюран. Вот и лопнула, расползлась по швам твоя тайна, как гнилое рядом... Все дело в точке зрения на подлость... А он хороший парень, Патрик Дюран... Как же убедить Нину?.. Вот здесь уж ничего не поделаешь. Она, и только она, может решить. Одна. И больше никто. Скажи хоть слово, подай совет — и сразу вместо пользы принесешь вред: такой уж характер. Завтра я уеду из Флеманша... Как же так случилось, что я ничего не смог сделать ни для Нины, ни для Натали? Нечем похвастаться... Короткой была она, наша вторая встреча, Натали, а люблю я тебя так, будто и не было двадцати пяти лет разлуки. А может, я ошибаюсь, может, все-таки удалось чем-то помочь?»

Шарль поднялся со своего кресла, кожаная подушка скрипнула сухо и пружинисто, прошелся по гостиной. И, уже обрета равновесие и юмор, сказал с улыбкой:

— Одного я не могу понять, мосье Бородай, как вы догадались о микрофонах?

— А вы уверены, что это он догадался? — быстро спросил Роже.— Вы думаете, что никто другой на это не способен? Да?

— Вот именно.

— А вы помните наш разговор о разных точках зрения? — не унимался Роже. — К слову сказать, в лабораториях установлены телевизионные микрокамеры, а не микротелефоны. Последнее достижение техники.

— Прекрасно. Но я все-таки не понимаю, какое к этим камерам я имею отношение?..

— Правильно. На вашем месте я бы говорил то же самое: моя хата с краю, я ничего не знаю.

— А делал бы как? — неожиданно спросила Нина.

— Неуместный вопрос, — рассердился Кольвен. — Можешь быть уверенной, поступил бы честно, как подсказывает мне моя совесть.

— Нет, — уточнил Бородай, — о микрофонах я впервые услышал здесь, у тебя в доме, из твоих же уст.

— А Патрик подумал о них после разговора с тобой в кафе «Корона», — торжествующе сказала Нина.

— Откуда ты знаешь? — ошетинился Роже.

— А это уж мое дело. Знаю, и все.

— Хорошо, — теряя терпение, Шарль досадливо отмахнулся, — это уже история. Плюсквамперфект — давнопрошедшее время, а нужно думать о сегодняшнем дне. Десять минут еще не прошли?

— Нет, — ответила Нина.

— Прости, Нина, но я тоже не понимаю, что может измениться за эти минуты, — встревожилась Натали.

— Десять минут — это очень много, — сказала, как отрезала, Нина.

И Роже Кольвен, услышав, каким тоном были сказаны эти слова, прямо подскочил в кресле, легко поднялся и, приступив вплотную к Бородаю, горячо проговорил:

— Это все ты! Опять что-то затеял! Признавайся, что надумал?

— Чего ты от меня хочешь? — Усы Бородай смешливо дрогнули. — К сожалению, я ничего не сделал в этом городе.

— Сделали другие, а первопричина всему — ты!

— Не думаю.

— Нет, это правда, и как славно, как хорошо! — сказала Натали.

Роже Кольвен тяжело вздохнул, будто выпустил воздух из кузнечных мехов. И в этот момент в передней прозвучал знакомый мелодичный звонок.

— Кто это? — удивился Роже.

— Возможно, моя судьба, — засмеялась Нина.

— Я открою, — Натали вышла в переднюю.

«Патрик Дюран, и я хочу посмотреть на выражение их лиц, когда они встретятся, — думала Нина. — Эффект, правда, немно-

го театральный, мелодраматический, но я имею на него право. Пусть будет подарок отцу: ему наверняка понравится».

Но вернулась Натали чем-то расстроенная.

— Кто там еще? — нетерпеливо спросил Роже.

— Сергей, это к тебе. Люси Шабер. Она не хочет входить, боится нас потревожить.

— Как не хочет входить? — воскликнул Роже. — Что, мы стали недостойны ее посещения?

— Нет, не в том дело, — попробовала пояснить Натали. — Может, ты выйдешь к ней, Сергей?

— Сиди, — приказал Роже. — Сейчас она будет здесь.

Он выбежал в переднюю, раздосадованный, но довольный тем, что напряжение последних минут прошло. И вскоре вернулся вместе с Люси Шабер.

Без белоснежного фартучка и накладки она выглядела иной, может немного старше, строже.

— Так вот она, твоя судьба? — зло засмеялся Шарль.

Но вопрос повис в воздухе: было непонятно, к кому он обращался; не один человек — трое могли бы ответить на него.

— И это твоя судьба? — подхватил Роже Кольвен и весело рассмеялся. А Люси покраснела, потом кровь отхлынула от мгновенно побледневшего лица.

— Пожалуйста, извините, — сказала она, — но иначе я не могла. Из Парижа неожиданно приехала хозяйка «Короны». У них там разнесся слух, что во Флеманше чуть ли не восстание. Она и захотела сама убедиться в этом. А это означает, Сергей, что ни сегодня вечером, ни завтра утром мне не удастся отлучиться. Даже прийти на вокзал не смогу... И потому позволила себе побеспокоить вас, мадам Кольвен... Мне хотелось попрощаться...

— Спасибо, Люси, — благодарно поднялся ей навстречу Бородай. — Очень рад, что ты пришла. Я бы не уехал, не попрощавшись с тобой. Однако как ты всегда приходишь вовремя...

Роже передернуло от этих слов, он ощутил намек на тот роковой бой в кафе «Корона», хотя на самом деле Бородай и в мыслях не держал ничего подобного.

— Да, она всегда приходит в самую нужную минуту! Осторожно, господа! — с деланным испугом вскрикнул Кольвен.

— Что с тобой, Роже? — удивилась Натали.

— Да, да, именно так. — Он явственно представил то, чего в действительности быть не могло. — Посмотрите, у нее в руке... у нее в руке...

И в самом деле, в руке Люси Шабер сверкнуло что-то круглое, металлическое, и Шарль Кюба отступил на шаг, вскинув руку, словно защищаясь, но тут же опустил, расслабился, потому что Люси весело рассмеялась:

— Опомнись, Роже, это же не граната! Это просто маленькая баночка консервов для мадам Марии.

— Кто тебе сказал, что я подумал о гранате? — вскипел Роже. — Что за глупости!

— Мне показалось...

— Пусть тебе не кажется, — не мог успокоиться Роже.

— Прости, пожалуйста. Сергей, возьми, это для матери Ивана, ведь ей очень понравились эти консервы...

Бородай слегка улынулся, вспомнив, как отнеслась Мария Кондратьевна к лягушачьим лапкам. Но Кольвен понял эту улыбку по-своему. И тут же обиделся.

— Нечего веселиться!

— Веселиться и в самом деле нечего, — ответил Сергей Бородай. — Спасибо, Люси, большое спасибо.

— И приезжай почаще, — сказала Люси, не обращая на присутствующих внимания. — Так хорошо, когда ты здесь... Молодо как-то очень...

Подошла к Бородаю, обняла, поцеловала, уже без смущения, а, наоборот, уверенная в себе, гордая. Оторвалась от него, посмотрела в лицо, словно стараясь запомнить. Потом сказала:

— А ты и вправду мало изменился. Такой, как был. До свидания, Сережа. Простите, господа, я понимаю, что побеспокоила вас, но другого выхода у меня не было... Еще раз извините! Всего доброго. Держись, Натали!

Потом, резко повернувшись, поспешила к выходу, понимая, что ежели не сделает этого сразу, то расплатится. Роже Кольвен направился вслед за нею и тут же вернулся, как только в передней мягко, металлически кляцнули двери.

— Неприятной она какой-то стала, бесцеремонной, — он презрительно скривил губы. — Врывается в чужой дом без приглашения, дает советы, в которых никто не нуждается. Мало учтивых людей осталось на свете.

— Абсолютно согласен с вами, — сказал Шарль и посмотрел на Нину. — Однако вернемся к нашим баранам. И это твоя судьба? Скверный у тебя вкус. На твоём месте я бы выбрал что-нибудь попростойнее...

— Странно, почему я подумал, что у нее в руке граната? — Роже с усилием рассмеялся. — Ха-ха!

— Успокойся, — тихо заметила Натали. — Успокойся, ведь тебе вовсе не хочется смеяться.

— Старые воспоминания... — сказал Бородай.

— Вот именно. Игра воображения, — подхватил Шарль Кюба. — Официантка из кафе «Корона» во главе новой французской революции...

— У нас не было революции, — быстро возразил Роже.

— Нет, была, этакая домашняя, уютная, во главе с официанткой, ха-ха-ха! — залился смехом Шарль Кюба. И, будто связанный с ним какой-то нервной ниточкой, сначала тихо, потом все громче и громче засмеялся Роже.

Первой не выдержала Нина, по достоинству оценив странную картину: в комнате трое сосредоточенно молчали, а двое — весело смеялись. Ожидание прихода Патрика Дюрана стало просто невыносимым. Грудь наполнила волна холодного презрения. Ничего, сейчас посмотрим, как вытянутся ваши физиономии. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

— Замолчите, вы... — тихо сказала она. И, возможно, поэтому все отчетливо слышали ее. — Вы не ошиблись. Именно это и есть моя судьба.

— Какое она имеет отношение к тебе? — встревожился Кольвен.

— Прямое. Ко всем нам она имеет отношение. А к тебе, Роже, больше всех.

— О чем ты говоришь? Эти неуместные намеки...

— Успокойся, бой в кафе «Корона» меня уже не интересует. Я теперь знаю о нем все. И цену каждому его участнику тоже знаю.

Кольвен, будто призывая в свидетели самого бога, драматически поднял руки, но Нина не обратила на его жест внимания.

— Меня интересует современность и будущее, а не прошлое, — сказала она. — Так вот, чтобы избавить вас от раздумий и сберечь вашу драгоценную нервную энергию, я должна вам сказать: свадьба состоится.

Нет, Шарль Кюба не проявил радости. Он был далеко не глупым человеком и сейчас понимал, что на этот раз речь идет не о нем. И потому отчаянно заныло сердце. Может, именно в этот момент он понял, как любит эту девушку и что теряет сейчас.

Зато Роже Кольвен не все понял, быстро пробежал взглядом по лицам. Сергей Бородай казался довольным, Натали встревоженной. В чем дело? Может, он, Роже Кольвен, ошибался: может, плохо знал характер Нины? Господи, уж поскорей бы убирался отсюда Сергей Бородай, а они одни как-нибудь во всем разберутся...

Он так искренне подумал об этом, что сам удивился. Вот уж действительно, встреча старых друзей!

— Точная дата свадьбы еще не назначена, — торжественно продолжала Нина. — Мы с Патриком еще не все обговорили...

— С Патриком? — шарахнулся в сторону, словно наскочив на препятствие, Роже.

— Да, с ним. Я выхожу за него замуж. И чтобы вы не сомневались, скажу вам больше: эту ночь я провела с Патриком в отеле...

— Шарль, это ложь! — еще стараясь спасти положение, крикнул Роже. — Она почевала дома.

— Нет, — мягко, но твердо сказала Натали, ясно определяя свою позицию. — Нина сегодня дома не почевала.

— И ты не волновалась? — пронзительно вскрикнул Роже.

— Нет, не волновалась. Нина предупредила меня по телефону. Она сказала, что остается на уик-энд у друзей. Разве это впервые?

— Ты была на вечеринке? — все еще не выпуская из рук ниточки надежды, спросил Роже.

— Нет, я была с Патриком. — Нина смотрела на Шарля Кюба, с удовольствием отмечая, какими оплеухами шлепают эти слова ему по щекам.

— Вот оно, молодое поколение, без святыни, без идеалов, без скромности, — снова воздел к небу руки Роже Кольвен.

— А ты, отец, что скажешь? — круто повернулась к нему Нина.

— По сути все правильно, а тон мне не понравился, — ответил Сергей Бородай.

— Хорошо, — согласилась Нина, — тон, пожалуй, и в самом деле не из лучших. Вам всем ясна моя судьба?

Снова окинула всех взглядом, чуть дольше задержалась на лице Шарля. Он не выдержал, скривил губы в презрительной усмешке, длинными пальцами снял невидимую пушинку с рукава пиджака, пожал плечами.

— Люди будто нарочно стараются навредить себе, — сказал он. — И возможно, в этом полнее всего проявляется скудость их мышления. Что ты нашла в нем: простой электромонтер, рабочий, подневольный человек! Его можно или взять на работу, или выгнать... К тому же он коммунист... Ты подумала, Нина, какая ждет тебя жизнь?

— Счастливая, — твердо ответила она.

— Едва ли, — снова пожал плечами Шарль Кюба. Ему очень хотелось выглядеть спокойным, неуязвимым, пожалуй, давно следовало бы покинуть этот дом, но что-то в душе его сопротивлялось, не разрешая оборвать последнюю ниточку, которая связывала его с Ниной.

— Ну что ж, — сказала Нина, — ничего особенного не произойдет: будет и в нашей семье коммунист.

— В нашей семье уже когда-то был один коммунист, — с нажимом сказал Роже. И Натали с Ниной, несмотря на напряженность разговора, невольно улыбнулись, юмор никогда не изменял им.

— Ничего хорошего из этого не вышло, — уточнил Шарль Кюба. — Нет, все-таки странно. Простой электрик...

Роже Кольвен, как часто с ним случалось, вдруг повернулся в своей позиции на сто восемьдесят градусов, мгновенно присоединившись к сильному лагерю.

— Ну и что, если простой электрик? А быть таким интеллектуалом, как вы, лучше? Запомните: в этом доме ничто и никто не продается.

— Перестаньте, Роже,— как от назойливой мухи отмахнулся Шарль Кюба.— Эта поза вам не идет, и вы сами это отлично понимаете. Мы с вами сидим в одной луже, только мне выбраться из нее куда легче, чем вам. Кто просил меня подкупить химиков Жана Патена? Кто уговаривал установить микрофоны в патентовских лабораториях? Не вам читать мне нотации. Нину я любил по-настоящему, люблю и сейчас. И думается, такой жестокости от нее не заслужил.

— Влюбленные всегда жестоки,— печально изрек Роже.

— Возможно. Сейчас это уже не имеет значения, все выяснилось. Я ухожу. Но скоро, очень скоро и вы и Жан Патен приползете ко мне на коленях, потому что без моих услуг вам не обойтись. И имейте в виду: ничего противозаконного я не делал: микрофоны можно установить где угодно. Никакой криминальный кодекс за это не карает. Меня просили — я устанавливал, делал свою работу безупречно. Я ни в чем не виноват, и совесть моя чиста!

— Когда-то у нас судили гитлеровского палача,— тихо сказал Бородай.— Он сказал нечто похожее на вашу речь: мне приказывали, я убивал, я ни в чем не виноват.

— Благодарю за сравнение,— холодно сверкнул глазами Шарль.— И обещаю вам когда-нибудь это припомнить. Я не завидую вам, Роже, вы сейчас в сложном положении, и, как из него выпутаетесь, не представляю. Когда станет трудно, позовите меня. Мы люди одной породы и пойдем друг друга. Желаю вам счастья в шалаше, мадам Дюран.— Он посмотрел на Нину и очень хотел, чтобы его взгляд был холодным и насмешливым. Но сердце сжалось, и из благого намерения ничего не вышло, только сейчас он по-настоящему понял, что теряет ее навсегда.— Почему люди так глупы? Делают то, что заведомо им во вред? Ведь тебе не выгодно выходить замуж за Дюрана,— крикнул Шарль, обращаясь уже только к Нине.— Как ты не понимаешь, что это не выгодно!

— Если бы все делали только то, что им выгодно, люди, наверное, не очень-то отличались от обезьян,— спокойно заметил Сергей Бородай.

— Вот как! И вы заговорили? — удивленно воскликнул Шарль.— Ведь вы иностранец, который боится вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

— Но не боится вмешаться в собственные, семейные дела.

— Ага, выходит, это вы повлияли на нее?

— Она моя дочь,— очень тихо и веско сказал Бородай.— И довольно разговоров. Вам не кажется, что вы изрядно разболтались?

— Вот это да! Какой тон! — развел руками Шарль.— Вы что, уже хозяин в этом доме?

— Нет, просто хозяевам неудобно вас выгнать.

— А вам удобно?

— Удобно.

Шарль знал, что ему давно пора уйти, оборвав раз и навсегда эту, теперь он ясно понимал, призрачную ниточку, но что поделаешь, в сердце еще жила надежда на неожиданный поворот событий, на какой-то случай...

— Роже, вы тоже меня выгоняете? — спросил он, подавляя смятение.

Кольвен встревожился, желая оставить за собой пути к отступлению.

— Не воспринимайте все так трагично, Шарль,— заговорил Роже, пряча глаза.— Мы все сейчас нервно возбуждены. Я уверен, все еще образуется, уладится... Только не надо спешить с окончательными выводами...

— Нет, пусть сделает все выводы и уходит,— сурово сказала Нина.— Ты, Роже, можешь ворковать с ним, сколько твоей душе угодно, а я уже сыта...

— Я это вам еще припомню, Роже Кольвен,— взорвался Шарль. И хозяин сразу испугался. Еще не поняв, чем угрожает ему Кюба, всем сердцем, до омерзительной дрожи в животе, почувствовал опасность.— У меня еще будет возможность...

— Только не делайте глупостей, Шарль,— старался успокоить его Кольвен.— Я еще попробую...

— Ты еще попробуешь? — удивилась Натали.

Роже взглянул на ее недоумевающее лицо и тут же подумал, как смешно и несолидно он выглядит в глазах других людей. И, стараясь поправить дело, сказал:

— Да, Шарль, вам лучше уйти. А угрозы ваших я не боюсь, поэтому оставьте их при себе, на всякий случай...

Глаза Шарля Кюба, казалось, метали молнии, способные испепелить каждого, на кого обратит он свой взгляд. Он признавал, что ничто ему уже не поможет, во всяком случае сейчас. А потом? На что надеяться ему? На Роже Кольвена? Вряд ли... Хотя кто знает, как все обернется...

И потому он сказал:

— Желаю вам доброго пути, мосье Бородай.

— Спасибо. Очень хочется, чтобы я побыстрее уехал из Флеманша? — улыбнулся Сергей.

— Да, очень. Всего хорошего, господа. Простите...

И снова что-то надломилось в его голосе. И Бородай подумал: не так-то легко Шарлю Кюба уйти из дома Кольвенов.

Но у него хватило сил сделать это. Роже проводил его до двери и тут же вернулся в гостиную.

— Ты доволен мной, отец? — спросила Нина.

Кольвен посмотрел на нее, не сразу поняв, к кому относится вопрос. Но девушка смотрела на Бородаю, и Роже сокрушенно развел руками. «Она опять не называет меня отцом,— подумал,— а ведь я выгнал Шарля».

— Да,— просто ответил сталевар.

— Мы обошлись с ним немного резковато.— Хозяин недовольно поглядывал на своего гостя.— А он, возможно, намного лучше, чем нам показался. Примите во внимание его состояние...

— А я не хочу принимать во внимание,— сказала Натали.— Не хочу, и все.

— Натали, ты слишком категорична,— снова как бы в отчаянии вскинул руки Кольвен.

— Да, резка и категорична. И постараюсь сделать так, чтобы подлецов в нашем доме было как можно меньше,— ответила Натали.

— Мама, дай мне твой цветок,— вдруг попросила Нина.

Натали в первую минуту не поняла, о чем идет речь, потом достала из-за уха темно-голубую жонкилию, протянула дочери:

— Возьми.

Нина воткнула цветок в волосы за левым ухом так привычно и ловко, будто всю жизнь ходила с ним. Сергей Бородай, наблюдавший за ними, улыбнулся, а у Роже появилось еще одно основание для недовольства и тревоги.

Где-то за окном, за неширокой полоской сада, отделявшей дом от шоссе, прозвучал короткий гудок автомобиля, напоминавший птичью несмелую трель.

— Это за мной,— сказал Сергей Бородай. И Натали обеспокоенно вскочила:

— Мы еще увидимся?

— Конечно.

— Куда ты сейчас едешь?

— В танцевальный зал на рю Пастер. Там собрались товарищи. Не волнуйся, Роже, это не подпольная сходка. Встреча организована Обществом дружбы «Франция — СССР». Мария Кондратьевна про свою работу расскажет, я — про свой завод.

— Я пойду с тобой,— сразу решила Нина.

— Ты тоже, конечно, пойдешь? — обернулся Кольвен к жене.

— Нет,— ответила Натали,— для одного дня и без того довольно событий. Завтра мы проводим тебя, Сергей, на вокзал...

И в ту же минуту Роже Кольвен осознал, что завтра — совсем близко. Загудит тепловоз басовито, протяжно, и навсегда исчезнет из Флеманша Сергей Бородай. И снова начнется нормальная жизнь. Нормальная? Нет, ничего нормального в их жизни уже не будет, если подойти к ней с привычной меркой.

— Да,— сказал Кольвен,— вся наша семья проводит тебя на вокзал. Но я хочу, чтобы ты понял: невозможно было тогда принести патроны, понимаешь, невозможно!

— Конечно, понимаю.

— Ты мне веришь?

— Разумеется. Для тебя принести патроны было невозможно.

— Значит, ты все-таки считаешь, что я трус?

— Нет, я так не думаю. Просто то, что естественно для одного человека, для другого — невозможно.

— Ты снова о Люси Шабер?

— Да, о ней. И тебе советую тоже почаще ее вспоминать.

— В печенках она у меня сидит, твоя Люси Шабер!

— Подожди,— мягко сказала Натали.— Сергей спешит, его ждут.

Роже сразу почувствовал помощь, будто оперся о протянутую руку друга, и улыбка промелькнула в глубине его зрачков. Натали остается с ним,— значит, ничего не потеряно. Она, конечно, очень изменилась за последние три дня, и будущая их жизнь, возможно, будет мало походить на прежнюю, но они остаются вместе, а это главное.

Снова, как короткая птичья трель, прозвучала сирена.

— Пойдем,— сказал Бородай, поднимаясь.

— Пойдем,— поднялась с кресла и Нина.

И вдруг, даже для себя неожиданно, Натали шагнула к Сергею Бородаю, обняла его, понимая, что это, возможно, последнее их в жизни прощание, прижалась, словно ища защиты. И снова Сергей ощутил ее близость, теплоту ее тела, и воспоминание о тех далеких днях по-прежнему горячей волной затопило сердце.

— На вокзале нам, наверное, не удастся поцеловаться,— сказала она.

— Целуйтесь здесь,— милостиво разрешил Кольвен.

— Не очень-то они пуждаются в твоём разрешении,— насмешливо бросила Нина.

Натали не слышала этих слов. Сергей Бородай тоже.

Поздно вечером, когда крупные звезды высыпали на иссиня-черном французском небе, они сидели на лавочке у памятника. Сергей Бородай, Нина, Жоржет Дюран, ее внук Патрик и Мария Климова. Сидели, смотрели на памятник, подсвеченный косым лучом неяркого прожектора, и молчали. Думали о человеческих судьбах, которые зачастую странно переплетаются и неожиданно обрываются совсем не там, где надо бы.

Полицейский медленно прошелся по аллее, ничего не сказал, не остановился и исчез в темноте.

— В городе полным-полно национальных гвардейцев,— сказал Патрик.— Абсолютный классовый мир.

— Они испугались нашего митинга,— пояснила Жоржет.— И вот вам результат: администрация завода Батле уведомила, что завтра утром готова начать переговоры с рабочими.

— Кому вертелось, а кому смолось,— Нина теснее прижалась к Патрику Дюрану, ощутив надежную теплоту его сильного тела. В ее представлении почему-то возникло огромное озеро Ленина возле Запорожья и высокие белые облака над широкой степью.

Сергей Бородай промолчал. Вспомнил просторный зал, сотни знакомых лиц, на трибуне Марию Кондратьевну, рассказывающую о своем сыне. И еще думал о Нине и Натали. Ох, сколько еще всего будет в их жизни!

— Поздно. Пора и по домам,— поднялась с лавки Мария Кондратьевна. И, будто соединенная с ней какой-то невидимой нитью, поднялась Жоржет Дюран. Они стояли у памятника, и косые лучи прожектора освещали их старые, перепухшие морщинами лица. Глядя на них, сам не понимая почему, удивляясь и страшась своего поступка, Патрик Дюран крепко обнял и поцеловал Нину. Бородай только улыбнулся: мир противоречивый и тревожный, но жить в нем прекрасно!

СОДЕРЖАНИЕ

РАНА МОЯ — БЕРЛИН	5
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА	209

Вадим Николаевич Собко

**ВТОРАЯ ВСТРЕЧА.
РАНА МОЯ — БЕРЛИН**

М., «Советский писатель», 1980, 400 стр.
План выпуска 1980 г. № 292

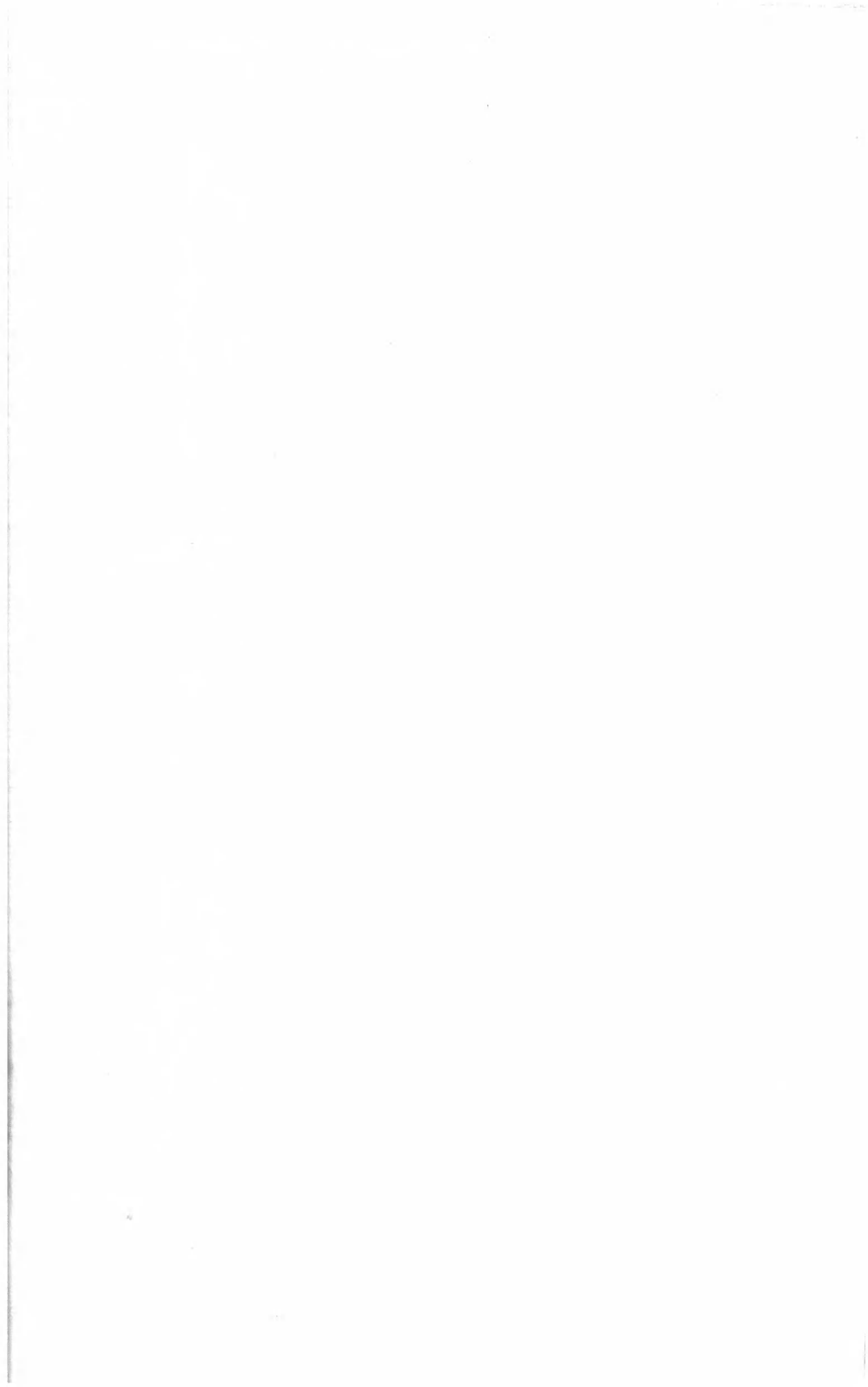
Редактор *И. В. Киреевко*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *А. И. Мордовина*
Корректоры *Р. Г. Рагимова* и *И. Ф. Сологуб*

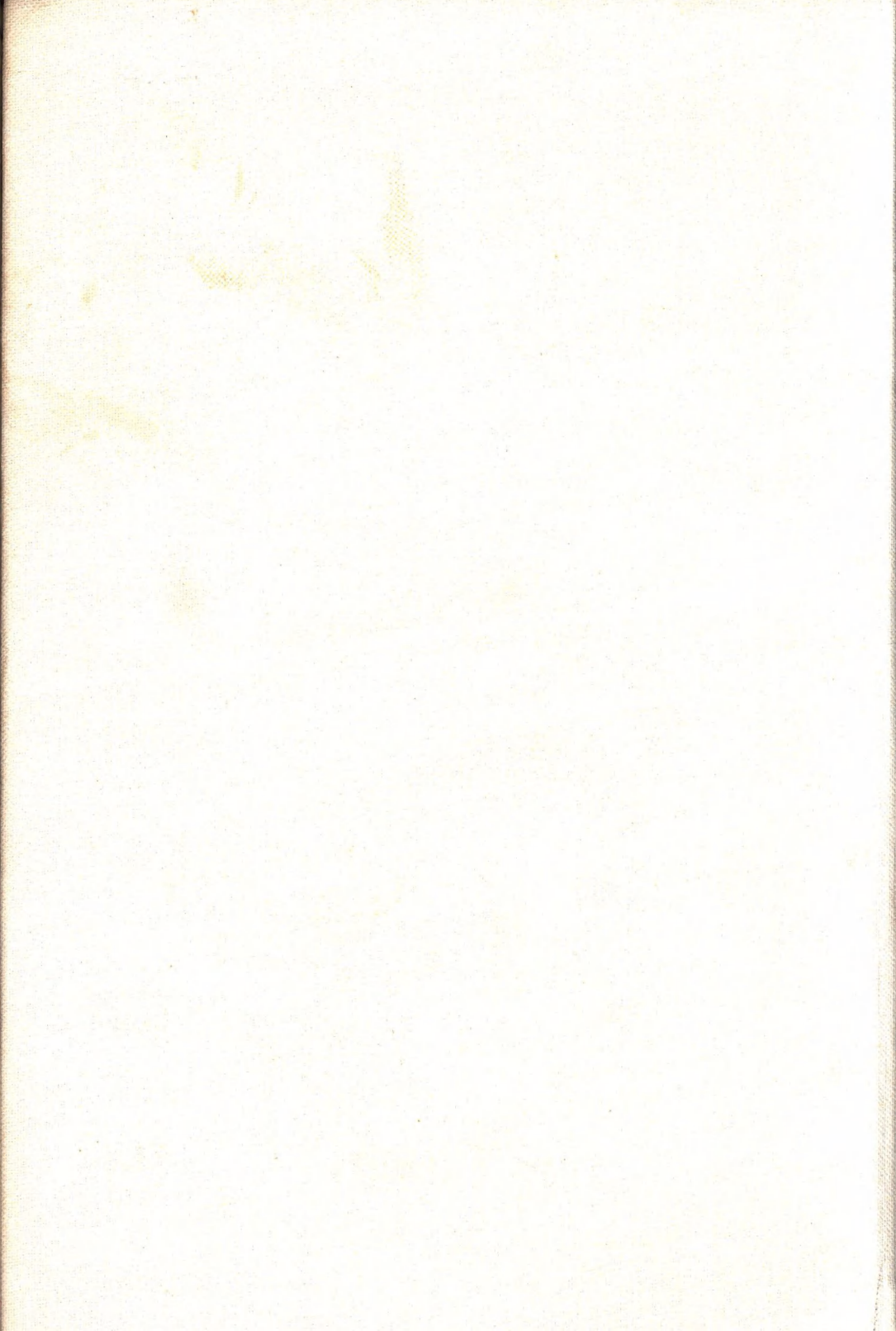
ИБ № 2173

Сдано в набор 01.08.79. Подписано к печати 30.11.79. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 25. Уч.-изд. л. 26,88. Тираж 30 000 экз. Заказ № 97. Цена 2 руб. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Отпечатано с матриц Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Валовая, 28 Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109









Броуна-беллетта
Ратна-морг-беллетта

Броуна-беллетта
Ратна-морг-беллетта